

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

7

1993

7

НОВЫЙ МИР

1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№7 (819)

Июль, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ “АРМАН”»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА
«ГАРАНТ»

г-жа Е. А. ЖУКОВСКАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГЕНИЙ ЛАПУТИН — Приручение арлекинов, роман	3
СТЕРЕОСКОП — Елена Гилярова, Юлия Покровская, Александр Миронов, Роман Солнцев, стихи	92
ВИКТОР ПЕЛЕВИН — Желтая стрела, повесть	96
СЕРГЕЙ ГРИБОВ — Звезды, камни, рыбы, стихи	122
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Квази	124
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ — Портреты	148
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Золотистая твердь, красная рябина, стихи	164
ДАУР ЗАНТАРИЯ — Судьба Чу-Якуба. Из исторических хроник. Перевел с абхазского автор	166

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЗУФАР ФАТКУДИНОВ — Афоризмы и размышления	181
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ОЛЕГ ЛАРИН — Не плачьте, глазки голубые...	185
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. АНДРЕЕВА — Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой	198
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Д. ШТУРМАН — У края бездны. Корниловский мятеж глазами историка и современников	213
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Предварительные итоги XX века</i>	
Н. ЛЕЙДЕРМАН, М. ЛИПОВЕЦКИЙ — Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме	233
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Анатолий Кузнецов. — I. Сергей Рахманинов. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. II. Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы. III. А. М. Пружанский. Отечественные певцы. 1750—1917. Словарь	253
SUMMARY	256

Господа зарубежные книгоиздатели!

Призываем вас быть предельно осторожными при заключении контрактов с германской фирмой «Найманис» (г. Сикоев) на издание литературных произведений, опубликованных в «Новом мире». Ставим в известность, что фирма «Найманис» никакими договорами не связана с «Новым миром», эта фирма нанесла ущерб «Новому миру», незаконно представляясь нашим агентом.

Соглашения о представительстве авторских прав писателя Сергея Залыгина и других авторов считать расторгнутыми.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

Господа зарубежные распространители!

Редакция журнала «Новый мир» восстановила договорные отношения с АО «Международная книга».

ЕВГЕНИЙ ЛАПУТИН

*

ПРИРУЧЕНИЕ АРЛЕКИНОВ

Роман

Большинство наших занятий — лицедейство.
М. Монтень.

Mundus universus exercet histrioniam¹.
Петроний.

Лицедейство — одно из самых забавных
человеческих свойств.

В. И. Кублицкий.

I

Когда-то меня еще не было, и только оплодотворенная материнская яйцеклетка, постепенно набухая, обещала стать мною. Природа (с прописной буквы) еще сомневалась, какой пол определить мне, и, подозреваю, я чуть было не стал девочкой, во всяком случае значительное присутствие именно женского начала всегда сильно чувствовалось во мне: в детстве тайком я наряжался в голубое бумазейное платье, украденное у соседки-ровесницы, слабуюмной и слюнявой бедняги; в раннем, еще довольно бесполом отрочестве у меня было несколько закадычных подруг, которые так свыклись с моим постоянным присутствием, что без стеснения при мне сковыривали друг у друга прыщики с атласных симметричных ягодичек, хранивших, помнится, отпечатки мелких клеточек от плетеных соломенных стульев, что были тогда в большой моде. Юношество было безнадежно испорчено попытками — когда наглými, когда робкими — гомосексуалистов поближе сойтись со мной: они прямо-таки кишели вокруг меня, и однажды — по неопытности, излишнему доверию и любопытству — я согласился посетить дом одного из них...

Кажется — только на интуицию опираюсь я в этом, — мать когда-то хотела разродиться непременно дочерью и, наверное, в каждый новый вечер своей безмужней, мистически долгой, почти бесконечной беременности уходила подалеже от случайных взглядов и случайных шагов и в одиночестве часами ощупывала живот, пытаясь пальцами познать все тайны плода, заключенного в ней. Иногда ей казалось, что она нащупала ушко, мигающий глаз или вполне различимую ручку, которая сможет когда-нибудь вполне сносно пробежать по золоту арфы, и на люди выходила тогда с просветленным, мечтающим лицом, отвечая на участливые вопросы, что вот, мол, жду дочь, она немного запаздывает, но скоро придет, она — арфистка, не то чтобы очень знаменитая, но тем не менее добилась довольно выгодного ангажемента и будет выступать во французской Опере; вы же знаете про французскую Оперу, это самое большое театральное здание Парижа, построено Шарлем Гарнье в 1861 — 1875 годах в оживленном, светском и светлом квартале, но ей как-то возразили, сухо ска-

Журнальный вариант. Печатается в авторской редакции.

¹ Весь мир занимается лицедейством (*лат.*).

зав, что каждой плодоносной женщине, разумеется, приятно иметь дочь-арфистку, однако развитие зародыша во время внутриутробного периода — явление странное и малоизученное, так, например, извлеченный на свет Божий в различные фазы своей эволюции зародыш может удивить неприятным сходством с рыбой или птицей. «Как, я могу родить птицу?» — удивлялась и негодовала мать и уже чувствовала, что ее живот стал силком, ловушкой, или — яйцом: вот-вот натянутая кожа у пупка должна была треснуть, лопнуть, дать свободу скользкому угловатому птенцу, остренький клювик станет клевать ее в грудь, требуя молочка, и мать возражала: нет, что вы, какие там птицы или рыбы! — а ей показывали картинки из научной книги, и она с ужасом видела в скрюченных тельцах очертания и рыб, и птиц, и снова птиц, и вот уже вкус перламутровых перьев ощущала она во рту и, ощупывая живот, чувствовала когтистую сморщенную лапку, несколько куриное крыло, какую-то там гузку или хрящеватый киль. Она, стараясь выглядеть бодрой и вполне легкомысленной, поделилась с кем-то своими опасениями, и кто-то ей рассудительно ответил, что полноте, какие там еще птицы, но все-таки не следует забывать о разных неприятных сюрпризах: новорожденный может оказаться с маленьким, наподобие кошачьего, хвостиком или иметь, скажем, восемь сосков, шесть пальчиков, одну ручку, два сердца, три почки, четыре, пять, снова шесть, семь, восемь — уже было, — девять, десять, одиннадцать... и к этому еще птичье лицо, огромное, с глазами навывкате по бокам, с ржавым громоздким клювом, с раздутым лоснящимся зобом. И лицо, звонко щелкая каменными губами, вдруг скажет...

Когда-то, а именно в 1777 году, в результате пари графа д'Артуа с Марией Антуанеттой архитектор Белланже за три месяца выстроил в глубине Булонского леса дворец Багатель. Думается, время — в эти годы, по мнению историков, происходил бурный кризис французского абсолютизма — для пари было выбрано не совсем удачно, но спорщиков, учитывая их возраст — графу только-только исполнилось двадцать, королеве двадцать два, — можно понять, тем более что обоим была свойственна одержимость. Но если д'Артуа, которого Манфред называет взбалмошным и своенравным мракобесом, главарем банды головорезов и убийц, невежественным и высокомерным грубияном и задирой, солдафоном с узким и озлобленным умом, прожил долгую, насыщенную хитрыми и интересными интригами жизнь, успев превратиться в короля Карла X, то Марии Антуанетте повезло значительно меньше — в тридцатисемилетнем возрасте ее под оскорбления и брань толпы возвели на гильотину. Королеву жалко, она, по мнению Мирабо, была «единственным мужчиной» в семье своего мужа, короля Людовика XVI, добродушного и слабохарактерного человечка, обожавшего охоту и столярное ремесло. Под звуки охотничьих рожков и повизгивание рубанка она как умела боролась с демократией и по-своему способствовала падению Тюрго и Малерба. Тем не менее ее жалко: она была безупречной супругой, мужественно держалась на допросах и на казнь пошла со спокойным насмешливым лицом. Судьба, награждая Марию Антуанетту мучениями, не поскупилась и на ее сына, Людовика XVII, который по настоянию Конвента воспитывался в семье башмачника и, не царствуя, умер от физического и нравственного истощения в возрасте десяти лет.

Еще задолго до родов в предвкушении дочери-арфистки его мать наконец-таки купила «Подробный путеводитель с историческими, архитектурными, географическими и прочими сведениями» того города, откуда ожидался тот самый выгодный ангажемент, и в ту пору ее частенько можно было увидеть напротив аккуратного музыкального магазинчика, чье большое квадратное окно в солнечные дни изнутри было разлиновано золочеными струнами арфы.

Родившегося сына (внешне она не печалилась о несбывшейся дочери) мать сразу же записала в именного шахматиста, который вот-вот уже замахнется на титул чемпиона мира, и, сколько помнил себя Андрей, всегда неподалеку от него была раскрытая шахматная доска, сервированная ладненькими шахматными фигурками. Ими он с удовольствием играл в солдатики, сосредоточенно и

хмуρο приговаривая к расстрелу то черного, то белого короля. Еще он помнил, как давным-давно, еще не умея читать, он подолгу, нервно и любопытно разглядывал картинки в путеводителе, почти насильно вызывая в себе странные видения: шахматные солдатики, приобретая неприятную живучесть, под азартные звуки горна будто бы проявлялись на фотографических изображениях дворцов, парков, проспектов и незнакомых площадей, и стоило только закрыть глаза, чтобы воочию увидеть потревоженных таким внезапным вторжением голубей. Он, воображая себя птицеловом, рвался следом, но не было нигде этих глупых сиреневых птиц, а, кажется, пахло порохом и, кажется, шла война: лежали убитые лошади, какой-то живой выворачивал карманы у какого-то мертвого, у выщербленной стены расстреливали бледнокожего неизвестного проказника, а надо, для пары, было расстрелять еще одного, и палец начальника казни показывал в сторону стонущего от страха Андрея, который стремглав убегал от наплывающих страшных и морщинистых лиц. Только в самое последнее мгновение он успевал за собою захлопнуть толстую картонную обложку этого проклятого путеводителя.

Позже, достигнув возраста приятной утренней твердости под одеялом (и уже досконально зная, как правильно распоряжаться ею), он подружился со своими детскими страхами, мог без особого труда выигрывать у сверстников в шахматы и почти наизусть выучил все подписи к картинкам путеводителя.

II

Потом появился Кублицкий. Нет, сначала была зима. Чуть раньше вернулась со службы мать и представила Андрею незнакомою бородатого мужчину, который мелкими наклончиками головы и заметно подрагивающим голосом выдавал сильнейшее свое смущение. Совсем не приученный к ревности — у них никогда не бывало в гостях незнакомых мужчин, — Андрей равнодушно после положенных по протоколу приветствий удалился в свою комнату, куда следом с оживленным по-незнакомому лицом вдруг проскользнула и мать. «Видишь ли, — сказала она, — Вадим Иосифович — мой старый знакомый, но мы с ним не виделись тыщу лет, и я совсем не знаю, о чем с ним и поговорить. Может быть, ты предложишь ему партию в шахматы?»

До того Кублицкий был безопасен с виду, так медленно с его кожаной шапки на собачий воротник пальто сползал снег, так мирно таяли его галоши, что Андрей снисходительно уступил просьбе матери и вдруг молниеносно проиграл первую партию, затем вторую, а там и третью с четвертой, несмотря на то, что Вадим Иосифович прощал зевки и всякий раз умолял Андрея взять неудачный ход назад. Сидевшая подле мать будто бы любовалась проигрышами сына, но потом, словно вспомнив, что ничего не понимает в игре, участливо поинтересовалась, кто кого.

— Пока что я, к сожалению, но все равно Андрей превосходный шахматист, — храбро солгал Кублицкий.

Около десяти вечера Кублицкий скромно попил чаю и, оставив в блюдце длинный волос от своей бороды, почти незаметно ушел, но послезавтра снова пришел, а потом и совсем зачастил, и от вечеров, наполненных вчистую проигранными партиями, Андрею казалось, что Вадим Иосифович приходит только из-за него, к тому же мать, не обращая ровно никакого внимания на игроков, где-то там у себя сухо шелестела страницами книги.

Когда-то Андрей пожаловался матери, что Кублицкий непобедим, что имеется странное несоответствие: с виду он мягок, тих и застенчив, а фигуры его свирепы, безжалостны и жадны. И что же ответила на это мать?

Когда-то мать ему ничего не ответила.

Да, мне было тогда уже больше шестнадцати, я проигрывал ему за партией партию и однажды, отчаявшись, согласился, чтобы он сыграл со мной вслепую. Он повязал на глаза черную косынку, отвернулся от доски и на ощупь закурил свою гадкую папироску. Первый раз мне пришлось смошенничать примерно на

десятым ходом — тихонько на одну клетку назад я подвинул свою королевскую пешку; Кублицкий нахмурился, а потом вдруг заулыбался: мол, все понятно, брат, можешь ловчить, все равно я тебя одолею. Не совсем по правилам пришлось играть и в дальнейшем, и Вадим Иосифович больше не хмурился, а лишь улыбался — как же я ненавижу его! Моя позиция становилась все хуже, и проигрыш был совершенно неотвратим, но мне все равно казалось, что играю я лучше, а проигрываю из-за того, что косынка Кублицкого повязана не совсем плотно и сквозь щелочку он прекрасно видит и расположение фигур на доске, и мои вороватые фокусы. Проверая свое подозрение, я замахнулся на него кулаком, но он не вобрал пугливо голову в плечи, не прикрылся рукой, а вежливо объявил мне очередной шах. Я представил вдруг со стыдом, как, сняв косынку, он позовет мать и, поколдовав над доскою своими короткими пальчиками, покажет ей ход за ходом, где и как смухлевал ее сын. Как же я ненавижу его! Я боялся разоблачения, и от этого ненависть моя удесятилась. Безучастным голосом я поинтересовался у него, доводилось ли ему слепнуть и прежде. Да, было что-то вроде того. А скажите, уважаемый Вадим Иосифович, верите ли вы в скоропостижную слепоту?

Я почувствовал вдруг знакомые по раннему детству внезапные наплывы своих мозаичных представлений: вот Кублицкий снял с глаз косынку, но все равно так черно глазам, что нет никакой возможности прозреть и уличить в нечестности недавнего соперника. Нет, он не откажется от привычки появляться у нас вечерами, но теперь приводить его будет нанятый поводырь. «Совершенно неожиданное свойство есть у моей слепоты, — как-нибудь скажет Кублицкий, — полное впечатление, что находишься в незнакомом прекрасном городе. Такие странные звуки вокруг. И запахи тоже. Постоянно чувствуешь себя путешественником».

Дворец Ключи построен в XV веке. Являлся одним из самых больших зданий по тем временам. Ранее на этом месте возвышался так называемый дворец дэ Терм — огромное здание галло-римской эпохи, точное назначение которого до сих пор не выяснено. От этого здания сохранился еще замечательный зал. Аббат города Ключи в Бургундии Жак д'Амбураз велел построить в изящном и великолепном стиле пламенеющей готики дворец для Марии Английской, «белой королевы», вдовы Людовика XII. Впоследствии, в XVII веке, дворец Ключи стал резиденцией папских послов. В XIX веке дворец стал государственным достоянием, и в нем разместили Музей средневекового искусства. В музее находятся весьма примечательные собрания скульптур, декоративных тканей, мебели, ювелирных изделий и так далее.

III

Еще продолжалась зима, но днем длинные сосульки на карнизах домов лоснились совсем по-весеннему.

Кажется, для Кублицкого это стало привычкой — появляться у них вечерами; иногда — с бледными губами и без папирос, значит, ночью опять прихватило сердце: удушье, боль в груди, онемение в левой руке и так далее; иногда — со свежей пушистой бородой, грудь не болела, и ничего не болело, и тогда он, расставляя фигуры, мог расщедриться на какой-нибудь рассказец из своей жизни, например, от скуки пришлось завести себе собачку, небольших размеров, с маркой шерстью.

В тот вечер он тоже не изменил себе — кратко позвонил в дверь и протер запотевшие стекла очков. Впервые дело до игры не дошло — из его рта сильно пахло ментолом, и он пожаловался на сердце, знаете, такое ощущение, что там живет больной зуб.

«Зачем же тогда пришли?» — чуть было не спросил Андрей.

Все было подстроено, все было ловко подстроено: и эта зубная сердечная боль, и скука адская, и эти фотографии из надоевшего, но приучившего к себе путеводителя, который Андрей, уединившись, снова лениво листал и вдруг

сразу насторожился, когда, разглядывая изображение огнедышащих пушек, наконец-таки услышал ту странную тишину.

Он на цыпочках подошел к двери и резко распахнул ее: в гостиной, за столом, над дымящимися чашками и тарелкой с нетронутым миндальным пирожным целовались Кублицкий и мать, целовались со старомодной старательностью, отрешенностью и глухотой. На грохот сердца Андрея, на грохот сосульки, сорвавшейся с карниза за окнами, Кублицкий и мать оторвались друг от друга и постарались принять безмятежные позы, хотя левая ладонь Вадима Иосифовича еще не успела разогнуться и будто бы продолжала держать теплую полусферу. Потом мать опустила лицо и неприятно шмыгнула носом, а Кублицкий встал и тщательно одернул пиджак.

Чтобы не слушать никаких живых и бессовестных объяснений, Андрей опростетью выскочил из квартиры.

Не произнеся ни слова, я готов... Я готов на все, я готов рассказать об одной улице, которая неведомо как оказалась подо мною. На ее левом берегу стоял мой дом, и три наших окна светились обманчивым благополучием. Прохожие — а их много было здесь — не удивлялись, откуда на этой привычной для них улице такой непривычный дом, такой непривычный я, и лишь нищие — бездомные, безногие и безглазые — дружно окружили меня, грея свои замерзшие руки — красные пальцы, синие ногти — у моих пылающих щек. Потом, сверкая черным жиром своих выпученных глаз, подошел злобный мясник, окровавленный, словно палач; он отогнал нищих и с привычным безразличием полез ко мне в грудь и живот.

Мое сердце, маленькое и кувыркающееся, шарахнулось от грубых пальцев мясника, я боялся, что он подцепит его своим ловким ногтем, и поэтому мне пришлось убежать.

Я бежал и боялся попасть под машину, но было уже поздно — все машины этого города стаей неслись за мной и в конце концов все разом наехали на мое часто дышащее тело: пришлось медленно и мучительно умирать по дороге в больницу, а в больнице с мужеством и достоинством воскресать, отворачивая забинтованную голову от худой материной руки, которая протягивала седой ворсинчатый персик.

И еще доктор приходил, молодой и уста.....

.....
 Меня зовут Семен Львович. — Простите?.. — Семен Львович, что ж тут непонятного? — Но Львович — это фамилия или отчество? — Конечно фамилия. Меня зовут Семен Львович Львович.

И еще доктор приходил, молодой и усталый, его звали Семен Львович Львович, обнимая мать за плечо, он шептал ей на ухо: «Еще рано, рано его беспокоить, пусть затянется рана, пусть хоть немного окрепнет» — и, не прекращая объятья, выводил ее из палаты, в которой, кроме меня, излечивалось еще множество людей: юношей и мужчин, отроков и отроковиц, стариков и старух, женщин и детей.

Доктор выпроваживал мать из палаты, а через мгновение или через ночь возвращался, успев еще кому-то спасти и сохранить жизнь, и на четвереньках начинал искать персик, мгновение назад или ночь назад скатившийся с материной ладони, и находил его на полу или отнимал у желтозубого рычащего старика. Кинув на меня тусклый от бессонниц взгляд, Семен Львович Львович начинал пожирать находку, макая подбородок в разверзнутую мякоть, а потом добирался до косточки, твердой и морщинистой, и, сильным языком обсосав ее со всех сторон, показывал пациентам, назидательно говоря: «Вот так-то, дорогие мои».

Когда-то потом, мгновение, ночь или персик спустя, доктор пришел в палату в красивом балетном трико — плавные линии мускулистых бедер, шаровидные колени, изящные породистые лодыжки — и с удовольствием станцевал нам.

Еще когда-то потом — стояла густая чернильная ночь — он разбудил меня, снял бинты, скovyрнул корки со ссадин и ран, длинными пальцами высмор-

кал мне нос и сказал тихо, чтобы никого не потревожить: «Вот мы и подлечились, голубчик, а теперь, пожалуй, домой».

Моей одежды здесь не оказалось, и мне пришлось натягивать на себя чужой камзол из красного фландрского бархата и испачканные дорожной грязью панталоны. Сжалившись надо мною — ночь продолжала наливаться чернильными соками, а наш приют находился за городом, среди густого сада, принимаемого неискушенным путником за парк Сен-Клу, — сестра-кармелитка дала мне маленькую лошадку, кажется, мекленбургской породы, и напоследок сказала, чтобы я берег себя.

Сен-Клу — великолепный парк, раскинувшийся на левом берегу Сены у въезда из Парижа в сторону Версаля. Парк Сен-Клу — все, что осталось от дворца, уничтоженного пожаром в 1871 году. В 560 году Клодоальд, внук короля Меровингской династии Хлодвига, отказавшись от трона, основал здесь монастырь, где и умер. Брат Людовика XIV Филипп Орлеанский приобрел здесь значительные угодья и в 1676 году соорудил дворец. В 1785 году Мария Антуанетта откупила поместье у Орлеанской семьи. В 1799 году во дворце Сен-Клу был совершен переворот, в результате которого вся власть перешла в руки Наполеона Бонапарта.

Да, действительно он остро чувствовал, что давно уже ночь. Он видел сутливых пешеходов, которые — рядом был железнодорожный вокзал — в избытке водились тут. Он слышал их странные разговоры, непонятным образом касающиеся теперь его самого; кто-то нашептывал кому-то: «Конечно, нельзя так говорить, но твои новые зубы тебе очень к лицу; Михельсон молодец, постарался, правда, теперь изо рта у тебя пахнет зубным креслом». Хотелось, чтобы не чувствовать себя одиноким, поддержать чужой разговор, закричать что есть мочи: «Ура! Виват! Да здравствует исцелитель Михельсон!»

Он боялся возвращаться домой, где откроет ему дверь Кублицкий. Кублицкий в полосатой пижаме, босиком, с полотенцем на шее, весь гладко причесанный от лба до подбородка. «Вот, ванну решил принять», — дружелюбно объяснит он, а потом с шутливой властью хлопнет в ладони, торопя мать с ужином.

На ужин будет жареная утка, беспомощно лежащая на спине, с огромной дырой между ног, и Кублицкий, воскликнув с азартом: «Вот это я понимаю!» — засунет в дыру жадную ладонь и выгребет оттуда горячую гречневую кашу.

Потом Кублицкий попросит что-нибудь «хряпнуть», и мать ответит, что осталось еще немного коньяку, но доктор Львович рекомендовал не увлекаться этим, хотя да, повод, конечно, есть, я тебе еще не говорила, Андрей, что теперь Вадим Иосифович будет жить у нас.

И вдруг неожиданно забрезжит избавление — чем-то закусывая опрокинутую рюмочку с коньяком, Кублицкий внезапно подавится, посинеет и начнет очень правдоподобно умирать.

— Помогите, — будет страшно хрипеть он, — поставьте меня на голову — преграда освободит дыхательный проход, и я снова стану веселым и счастливым.

Не думая о нарядном платье, надетом ею по случаю утки, мать, кряхтя, будет переворачивать вверх ногами Кублицкого, который упадет и раз и другой, разбивая тарелки и чашки.

«До того как помереть, он разнесет вам всю квартиру», — подумает Андрей и подойдет к матери, чтобы все же помочь ей, а Кублицкий вдруг перестанет синеть и давиться, а ловко пройдет по комнате на руках, успев вставить в рот губную гармошку, на которой бойко заиграет известный цирковой мотивчик.

Андрей возмущенно повернется к матери, чтобы сказать ей, что Кублицкий — фигляр, он обманул нас, но мать, невсedomо когда переодевшись девицей из варьете, будет превесело отплясывать, выстреливая ногами в ажурных чул-

как из-под сборчатой юбки. «Это мы оба придумали, — сквозь танец выкрикнет мать, — долго думали, как развеселить тебя, и, кажется, получилось, а?»

Кублицкий выплунет изо рта гармошку, крутанет сальто, приземлится на ноги и замрет в дурашливом поклоне.

— Смех, смех, смехота, опля, дрица, тру-ля-ля! — серьезно произнесет он, заканчивая выступление.

Андрею покажется, что ночью мать непременно попробует отравить его, и он снова убегал от нее. Но она догонит его. Она его уже догнала. Приблизившись к нему, притихшему и напуганному, она, с заплаканным, сложенным из острых, незнакомых уголков лицом, тихо сказала: «Я все понимаю. Если можешь, извини меня. Он больше никогда не придет».

IV

После случившегося они почти перестали разговаривать друг с другом, мать — из-за вполне понятного стыда и неловкости, Андрей... Довольно трудно правильно обозначить причину его молчания, но не было у него слов, чтобы объяснить, что уже никогда не придет в голову, как раньше бывало, украдкой целовать на ночь фотокарточку матери, или, припадая к ее левой руке, слушать, как нежно частят старинные часики, или... нет, не было слов. Лишь однажды, не сдержавшись, со злой ухмылкой он сообщил ей, что ему приснилось, как у нее выросли усы кренделями и черные лохматые бакенбарды. Она не осталась в долгу и как ни в чем не бывало поинтересовалась о планах на лето, ведь если они снова поедут на дачу, то хлопоты надо начинать уже теперь. По его молчанию она наверное поняла, что никогда, никогда в жизни он больше не поедет туда, и для чего-то выждав день или два, очень похоже изобразила свое удивление: «Но отчего же, мой милый? Ведь тебе очень нравилось там и прошлым летом и позапрошлым, а лет семь или пять назад ты так смешно рассказывал...»

Семь или пять лет назад он, радостный и взволнованный, вдруг подбежал к ней и почти прокричал, как красиво, как замечательно красиво вокруг — белая дыра облака на синем небе, арка радуги, листья, отряхивающиеся от случайного, на скорую руку, дождя, новое поколение сочных цветов, и, главное, пойдй, мама, погляди сама, у нашей калитки стоит пушистая, большая, светлоглазая собака, которая так обильно машет хвостом. Мать, смыкая пухлую книгу, ответила, смеясь, что нельзя так сказать про собаку, а впрочем, подумав, добавила она, это очень зримо — собака, которая обильно виляет хвостом.

Они вышли за калитку, мать несколько раз поцеловала душистый воздух, подзывая собаку, и та, радуясь, что с ней говорят на понятном языке, задорно прокашлялась, остановила хвост и умело и нежно водрузила дымящиеся шерстью лапы на плечи матери. «Ого, какие мы большие, ласковые, нежные, — тревожно и любовно произнесла мать, — только где же твой человек?» У собаки не было человека, то есть сначала не было — и несколько минут, и несколько часов, — а потом, когда стемнело, когда почернела листва и в небе бесшумно пенилась глазунья из одной-единственной луны, когда наконец Андрей, уложенный матерью в постель, уже засыпал, уже парил над сладкоголосой пропастью своего сна, в дверь постучали, в весь дом постучали — тотчас пропал сон, побелела листва, лопнул пузырь луны. «Мы с ног сбились, разыскивая ее, нам так неудобно перед вами, она, наша красавица, ужасно прожорлива», — доносились взволнованные голоса, и мать спокойно отвечала, что к чему столько напрасных волнений, собачка ничуть не помешала, напротив, мой сын сдружился с нею и утрату перенесет весьма болезненно, хотя да, вы правы, у детей все легче и проще, нежели у взрослых, и я совсем забыла сказать, что у вашей собаки совершенно взрослые мужские глаза...

Это глупо, но когда год назад на даче он впервые встретился с Зоей, то сразу почему-то вспомнил ту приبلудившуюся собаку (впоследствии случайно убитую, как говорили, во время охоты). «Уж не родственница ли вы одной моей знакомой симпатичной собаки?» — захотелось ему пошутить, но Зоя по-

своему расценила сосредоточенное немигание его глаз и очень внятно сказала: «Да, мы теперь каждый год будем снимать здесь домик».

Кроме них, в этот полуденный час на улице никого не было, и, может быть, из-за этого он вдруг почувствовал себя владельцем новоиспеченной приятной тайны, а Зоя опять спросила о кратчайшей дороге на почту, а потом совсем уже нетерпеливо: «Так как, вы сказали, вас зовут?» Краснея, он тихо назвался, и Зоя от удовольствия даже цокнула языком: «Какое у вас чудесное имя, как славно произносите вы его», а потом, будто устав шуриться солнечному свету, отвернулась от солнца и от Андрея и быстро пошла прочь. Кажется, никогда прежде не было столь приятного оцепенения — он не мог даже пошевелиться, хотя хотелось, конечно, пойти следом за этой незнакомой молодой женщиной и, например, подсмотреть, как она будет раздеваться перед сном, или — еще лучше — долго смотреть, как она спит, наверное, на спине, наверное, с чуть приоткрытым ртом, который он погладил бы дрожащим указательным пальцем.

— Мальчик, отчего вы не стали догонять меня? — следующим утром спросила Зоя, когда они случайно столкнулись в очереди за керосином, и он понял, что она безошибочно разгадала его вчерашнюю грезу.

Если бы его попросили описать Зоину внешность (не просили и не попросят никогда), то он бы начал со рта: ярко-красный, упругий... Зато Зоя попросила его прийти туда-то и туда-то, и он, конечно, пришел, выдав свою неискренность слишком уж гладкой и блестящей прической и ледяными — несмотря на жару — руками.

Он все больше молчал, он боялся, что, сославшись на жару, Зоя скинет свое тонкое ситцевое платье (под которым на каждый шаг легко отзвывалась ее высокая грудь), и в ответ придется раздеваться и самому — Зоя влетит его голое тело себе в распушенные волосы, и кто, скажите, кто бы освободил его?

Нет, пока они просто гуляли, и Зоя с лукавым любопытством выпрашивала сведения о здешних довольно-таки пресных достопримечательностях, к числу которых пришлось отнести и коричневую шелушащуюся подкову с пыльной дорожной обочины, и большой заостренный валун, казавшийся плюшевым от толстого слоя мха, и... что бы вам еще рассказать, Зоя, я, право, не знаю, чем утолить ваш интерес, разве что вот этим: неподалеку отсюда пять или семь лет назад стояла старинная полуразрушенная часовня с березой, росшей на ее дырвовой крыше; сейчас ни часовни, ни березы нет, они делись куда-то.

— Только не уставайте рассказывать, — попросила она, но сама, кажется, слушала невнимательно и шла все быстрее и быстрее.

Он едва поспевал следом.

— Ну-ка, мальчик, отведите меня лучше в лес, — вдруг сказала она, и он со страхом ответил, что лучше не надо, лучше побольше быть вот здесь, у всех на виду... нет, он подумал лишь, а непослушные губы шевелились сами по себе: «Да-да, конечно, в лесу приятнее, в лес так в лес».

В лесу горбатый лесник шел за ними по пятам, потом отстал, и только деревья шли за ними по пятам, потом, когда Зоя остановилась, деревья остановились тоже, тесно обступив их со всех сторон. Никого, только кукушка назвала свое имя.

— Подойдите поближе, мальчик, — серьезно и осуждающе произнесла Зоя. — Вы совсем не о том думаете.

Сразу же расступились деревья, и стало легче дышать.

На обратном пути — снова Зоя шла очень быстро, почти бежала — Андрей весело признался ей, что боялся и ужасно не хотел этой прогулки, а теперь я остыл изнутри и согрелся снаружи, теперь я благодарен вам, с вами приятно и интересно, словом, будем добрыми друзьями.

Зоя приподняла подбородок, переступая через сочный, с пушистой сединой куст крапивы, и не побежала дальше, а замерла. Очень странный ее взгляд, жадный и немигающий. Жадный и немигающий. «Добрыми друзьями...» — задумчиво повторила она.

Но что-то уже успело произойти; с приятным стыдом Андрей вспоминал Зоино разгоряченное лицо во время их стремительной прогулки, с приятным стыдом вспоминал он плюшевый валун, который хотелось сжать, исцупать любопытными пальцами, с приятным стыдом. Было радующее своей новизной чувство приближения к запретному и сладко-опасному, и поэтому он промолчал, когда мать кротко заметила ему, что не всеми будет правильно истолковано то, что он, совсем еще мальчик, хотя и взрослый мальчик, надолго уединяется в лесу с молодой привлекательной женщиной, из которого оба они выбираются на усталых заплетающихся ногах. «Надеюсь, ты понимаешь — я-то не подразумеваю ничего дурного», — добавила мать.

Затем, без особых приготовлений и предчувствий, произошла вторая прогулка, когда Зоя, поскользнувшись на глиняной горке, неловка и ловко упала, и у него сразу же вспотели ладони. Третья прогулка прошла скучно — Зоя не падала и не бежала, была очень сосредоточенной: внимательно принохалась к воздуху — пахло горьковатым дымком; вежливо поприветствовала горбатого грибника, который, видно, снова шпионил; назвала по имени мох на валуне — дикранум, повторите, мальчик, дикранум; пожаловалась на головную боль и выпрямленным указательным пальцем потерла себе лоб.

Четвертой прогулки не получилось, потому что рано, совсем не по-летнему стемнело — небо вывернулось наизнанку, целиком занятое плотной грозовой тучей, — и Зоя за руку отвела Андрея на берег довольно серого даже в сверкающие полуденные часы пруда и там рывком сняла свое платье, голой опытной рукой помогая раздеваться и ему.

Ву Синь, трактат «Возлияние трех вершин»: «Высочайшая вершина половой любви называется Вершиной красного лотоса. Под языком женщины есть два отверстия. Когда мужчина дотрагивается до них языком, нефритовая струя устремляется из своего бассейна. При рассмотрении она прозрачна и очень полезна для мужчины...»

Наверное, прошло довольно много времени. Грозовая туча превратилась в чистое ночное небо, глухо застегнутое на все пуговицы звезд, ветерок легко разнимал слипшиеся листья черных деревьев, от лица Зои остались лишь белки успокоившихся глаз и влажно мерцавшие зубы.

Потом мы, отвернувшись друг от друга, одевались, и я, бросив через плечо взгляд, увидел длинную прямую травинку, прилипшую к голому бедру Зои. Конечно, я раскаивался в случившемся, но в то же время думал, все ли я сделал так, как нужно, но Зоя, вдруг догадавшись о моих сомнениях, нежно успокоила меня: «Теперь уже все позади, ты умный, прилежный и послушный мальчик. Все было очень хорошо, признаться, не ожидала».

Теперь я по праву мог ненавидеть и презирать себя — впервые в жизни я по-настоящему согрешил. Какой безделкой казались теперь мне мои прежние проказы: как-то я украл из дома серебряную ложку и обменял ее на дюжину оловянных солдатиков, или в холодный зимний вечер стащил с уличного лотка горячий пирожок с капустой, или... Господи, какая же все это была ерунда!

Но уже дома, ночью, совершенно пустой, весь вылизанный изнутри вдруг разбушевавшейся бессонницей, я снова страстно возжелал Зою и был готов сию же секунду бежать к ней, не на шутку испугавшись, что ничего подобного с нами уже никогда не произойдет. Я пытался оживить в себе ощущения наших прикосновений, я снова хотел видеть ее надвигающиеся, с крошками хрустальных слез глаза, ее разомкнутые вспухшие губы.

Но на следующий день оказалось, что все страхи мои были пустыми: за минувшую ночь Зоя никуда не делась — внезапно не уехала и не умерла, а, ласково помахав мне рукой, продолжила болтать с нашим соседом, полубезумным садоводом, обожавшим целиться из своей длинной лопаты в симпатичное огородное пугало с двумя перламутровыми пуговицами на месте глаз.

Мне вдруг показалось, что она рассказывает садоводу, каким неумехой я был прошлым вечером, и весь красный от стыда прошел мимо них, а Зоя, уси-

лив мои подозрения, не пошла следом, и тогда чуть позже мне самому пришлось искать ее.

Я нашел ее. Мы разделись, словно собирались купаться, и, оттолкнувшись босыми ногами от чего-то твердого, будто поплыли, и сначала был почти штиль: нашим растянувшимся бесконечно телам было гладко и безмятежно, а потом появились волны и временами становилось очень трудно дышать, а я все равно знал, что с каких-то неведомых и недосягаемых глубин уже подступает мое блаженное облегчение.

Незаметно это вошло в привычку — находить Зою каждый день. Он уже боялся, что остановится сердце во время шторма и качки, которые, удлиняясь с каждым новым повтором, становились, кажется, чуть менее пряными на вкус.

Плавание по пульсирующим волнам, которые подкидывали их тела и сердца, плавание вдали от мучнистых материков, плавание... — оно обещало быть бесконечным, оно стало уже бесконечным, и только однажды навигаторы наскочили на мель, когда раньше времени вернулся из города Зоин отчим, но все обошлось: она, влажная и текучая, быстро вылилась из еще шевелящейся кровати и спряталась за полотняную ширму, откуда тотчас же вышла в строгом, почти школьном платье. Он, помнится, удивился такому быстрому перевоплощению, продолжая думать лишь о воде, столь мягко только что качавшей их, но Зоя зло дернула твердым мускулом на лбу: «Ну что же ты разлегся, вставай скорее!» — и решительной походкой последовала в сад.

Приклеивая к телу кору одежд, чувствуя с горечью, как неотвратимо прячется, удаляется его счастливое обнаженное тело, Андрей слышал приторный и притворный Зоин голос, каким управляла она с непозволительной — после недавних всхлипываний и мычания — легкостью.

— Какая приятная неожиданность, что ты раньше нагрнул, — бодро говорила она, — сейчас я соображу что-нибудь насчет еды, только, чур, кушать будем тут, в доме ужасная духота. Нет-нет, не ходи никуда, просто сядь, просто положи руки на колени, ты же знаешь, как я обожаю эту твою позу. Или лучше замри и не шевелись, я умоляю тебя — замри, замри...

Прежде чем уйти, исчезнуть и найти себя нынешним же вечером в кольцах Зоиных ласк (он и Зоя обстоятельно закончили прерванное днем), Андрей не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на отчима. Присев по-женски за кустом смородины, который уже прозрел черными круглыми глазами, Андрей внимательно разглядел его, замершего в дурашливой позе — отчим обожал детские игры.

— А теперь отомри, — смилостивилась Зоя, убедившись, что Андрея в доме нет.

Сорбонна (Парижский университет). Карл Великий основал первые парижские школы в Ситэ, неподалеку от собора Нотр-Дам. Вскоре эти школы получили название Университета учителей и учащихся Парижа и стали независимыми от епископа, короля и муниципалитета, сохранив зависимость только от папы (1215 год). В это время школы уже размещались в кварталах Сен-Северен, Мобер, а также на холме Сент-Женевьев, в Латинском квартале на левом берегу Сены, названном так потому, что латинский язык был общим для студентов, прибывших из различных стран. Парижский университет стал самым прославленным центром теологии и философии в Европе. Студенты обучались в колледжах, к которым принадлежала и Сорбонна, основанная в 1253 году Робером де Сорбонном, духовником короля Людовика Святого. В 1627 году кардинал Ришелье, в то время директор колледжа Сорбонны, поручил архитектору Лемерсье перестроить помещения для занятий и классическое здание церкви. В этой церкви находится усыпальница кардинала работы Жирардона. Университет постепенно приходил в упадок и был упразднен в 1795 году. Наполеон I восстановил его в 1806 году уже на современной для той эпохи основе. В этом виде он существует и в настоящее время. Однако здание, оказавшееся чересчур тесным, перестроено между 1885 и 1901 годами. В насто-

ящее время здесь размещается только часть университетских факультетов. Вокруг Сорбонны группируются лицеи, различные институты, высшие школы, студенческие общежития и столовые, что создает в этом районе совершенно специфическое оживление.

Год назад на даче мать, еще не потревоженная беглыми пальцами Вадима Иосифовича, мимоходом назвала мне одно имя, и я был готов тут же забыть его, но была в нем лукавая тавтология, насторожившая меня. Я переспросил мать: «Как-как ты сказала?» — и она, нимало не подозревавшая о том роде морской болезни, что сладостно терзала меня все последние недели, промолвила почти безразлично: «Я говорю о Юрии Георгиевиче. Ты должен знать его. Все думали, он Зоин отчим, оказывается — муж. А я чуть не ляпнула ему, что у моего сына нечто наподобие романа с его падчерицей. Представляешь, был бы номер».

Ах, оказывается, муж; первый отклик в душе — уныние, далее (в алфавитном порядке) — обида, покаяние, ревность, страх разоблачения. Наплыв этих чувств был столь обильным, непривычным и неприятным, что я как-то не подумал об отмщении, хотя, если остудить голову, — кому было мстить? Зое. Зое? Юрию Георгиевичу. Юрию Георгиевичу? Какая чепуха, я даже не думал об этом! Зато я подготовил для Зои речь, какую выслушала она с усмешкой в зеленых глазах и сказала, застегивая пуговицы на груди: «Во-первых, не смей ревновать, во-вторых, тебе не в чем каяться, в-третьих, он совершенно беззлобен и неопасен, пойди посмотри и убедись в этом сам. Если хочешь, все останется по-прежнему».

Я хотел и я пошел; действительно, все осталось по-прежнему: невдалеке от уже ослепшего смородинового куста Юрий Георгиевич, весело склабясь, все еще напоминал восковую фигуру. Внезапно напротив него выросла Зоя, тщательно застегнутая и причесанная, уже смывшая с щек розовую краску моих поцелуев. Она легко расколдовала его, засмеявшись беспечно:

— Отомри, я же давно сказала тебе — отомри!

Кто-то совсем недавно сказал, что Юрий Георгиевич обожал детские игры. Услышав Зоин смех, он обиженно поджал губы: «Я не наигрался еще, давай же продолжим».

— Может быть, довольно уже, — возражала ему Зоя, — мне кажется, ты изнуряешь себя этими бесконечными играми — под глазами круги, а щеки в глубоких складках. Еще немного, и сердце твое снова округлится в бильярдный шар. Оно медленно покатится по зеленому сукну, оно с глухим стуком ударится о выпуклый борт — так, по-моему, описывал ты свой последний нервный припадок. И только доктор Львович увесистым шприцем сможет остановить катание твоего сердца — лишь после укола оно наконец избавится от шаровидности и приобретет все свои анатомические правильные неправильности.

— Нет, продолжим игру, — настаивал Юрий Георгиевич, — теперь моя очередь, теперь я приказываю тебе замереть.

Она замирала, она превращалась в статую; волосы ее затвердевали, и платье затвердевало тоже.

— Вот какая ты у меня, вот какая ты у меня красавица, — довольно бормотал Юрий Георгиевич и усталой походкой шел в дом, где переодевался в широкую бархатную блузу и повязывал грязный длинный фартук.

— Да-да, вы правы, — раскланивался он с невидимыми зрителями, выйдя из дома, — я скульптор, а это моя последняя работа.

Он вновь приближался к неподвижной Зое и трогал ее за грудь, за согнутый локоток.

— Нет, не подсохла еще, надо чуть-чуть подождать.

Он немного ждал, я столько же терпел. Чуть погодя Юрий Георгиевич, поднатужившись, отрывал Зою от земли и устанавливал на мраморный постамент, где ее уже поджидала слашавая эпитафия.

Еще Юрий Георгиевич любил играть в прятки, и пока галопом охотничьего пса он носился по нашим дачным улицам, образовавшим частые и уютные

тельные кресты, Зоя пряталась у меня на груди и после наших бурных сдвоенных судорог одеваться вовсе не торопилась, а потом все же неохотно собирала одежду и тут же отбрасывала ее: «Пожалуй, успеем еще разок, только ты уж постарайся на славу!»

Но Юрий Георгиевич отменял наше очередное отплытие, появляясь в опасной близости от нас, и Зоя кидалась ему навстречу:

— Ну как же ты меня отыскал, ты всемогущ, ты ужасно настоящий мужчина.

— Зато ты у меня такая, такая красавица, — отвечал он, разбивая свое тело на ромбики садового гамака.

— А помнишь, когда я по твоей команде замерла и окаменела, ты поставил меня на мраморный постамент. Там уже стоял мужчина в тунике и легких латах. Он сказал мне: «Я — святой Георгий»; и я ответила каменным ртом, что да, конечно, он — святой Георгий работы Донателло.

— Обожаю Флоренцию, — зачмокал Юрий Георгиевич, — на левом берегу Арно, где треугольники Фьезоле, я не бывал уже давно, зажатый каменной неволей. Ты помнишь церковь Сан-Миньято? Ты помнишь пыль серых дорог?.. Мой надзиратель сер и строг. Меня казнят... Казнят? Невероятно. Моя банальнейшая казнь мир не изменит, только птицы всплакнут и сядут отдыхать на камни улицы Уффици. Я не умру. Меня найти всегда вы сможете на пьядце дель Дуомо, где тени мраморного дома дают начало новому пути.

— Я обожаю, обожаю тебя, — шептала восхищенная Зоя, в такие минуты, кажется, забывая меня. — Я готова на все, я готова играть с тобой во все детские игры.

И они действительно играли, и в прятки, когда запыхавшаяся Зоя с разбега снова бросалась мне на грудь, и в салки, когда несущийся по березовой аллее Юрий Георгиевич едва поспевал за своей выставленной вперед ладонью, но любимой у них была игра в жмурки, когда...

То, к чему так пристрастился Андрей, ему не надоедало, и Зое — если судить по ее отзывчивости и изворотливости, с которой она оставляла все домашние дела, не вызывая у мужа подозрений, — не надоедало также. Но на исходе августа заметно похолодало, а каждое утро начиналось с дождя, и Юрий Георгиевич больше не уезжал в город по делам, слоняясь все время поблизости.

Зоя стала почти недосыгаемой, хотя лицо ее, склонившееся над книгой или вязанием, дразнило и назойливо возникало за мокрыми окнами их маленького домика. Андрей кидал маленькие камушки в ее окно, но она, не замечая его стараний, медленно исчезала, слизываемая дождевой каплей. Лишь однажды у них появилась возможность как следует обняться, но помешал виденный прежде грибник, который недобро погрозил им согнутым пальцем. Лишь однажды она со своей застекленной веранды заметила Андрея и даже попыталась что-то крикнуть ему. Отозвался мнимый отчим, который вырос прямо из-под земли с огромным зонтом в руках. «Да что ты так беспокоишься, малышка, тут я, тут», — сказал он.

От бесконечных дождей, от вездесущего Юрия Георгиевича, от мутного, вязкого тумана над ближайшим леском Андрей заскучал, невесело мечтая о том, как хорошо было бы прорыть ход в Зоин альков и утащить ее, горячую и влажную, нежную и спящую и еще такую-то и такую-то, и будто нарочно, дразня его, Юрий Георгиевич, похожий на часового, прохаживался взад-вперед по улице с грязной лопатой наперевес: мол, все ходы уже вырыты, опоздал, дружок.

Чтобы только не молчать, чтобы хоть на мгновение прервать тоску по Зое, Андрей предложил матери вернуться в город, на что она, никогда не любившая дождей, тотчас же согласилась.

Зайдя в их немного одичавшую за лето квартиру, где и пахло незнакомо, и мебель стояла чуть-чуть не так, Андрей со слезами на глазах вывел пальцем на пыльном столе: «Зоя». но в течение последующих двух или трех недель она

стала постепенно забываться, а к октябрю в памяти от нее почти ничего не осталось, хотя однажды, уже по первому снежку, по телефону позвонил рогоносец Юрий Георгиевич, который вежливо, с небольшим разгончиком («Вы должны помнить мою жену...») передал просьбу Зои вернуть какую-то несуществующую книгу. Какой бесхитростный, неуклюжий ход!

Он, конечно, не стал ей звонить, объясняя себе это заботой о матери, которой Зоя не нравилась никогда, и вдруг стал гордиться своей самоотверженностью, своим маленьким бескорыстным подвигом.

V

Людовик IX родился в 1215 году от брака Людовика VIII и Бланки Кастильской. Первой крупной политической акцией в его правление было подчинение графа Раймунда Тулузского и умиротворение страны. В 1248 году он затеял крестовый поход, начавшийся весьма удачно — пала строптивая Дамьетта, — но затем фортуна вдруг оравнодушела к нему: brave воины в одночасье стали выглядеть брызжащими оборванцами, лошадей поразила неизвестная болезнь, от которой у них раздувались и лопались животы, обнаглевшие лазутчики заползали по ночам в палатку к самому королю и по-своему забавлялись там — пили вино из королевского кубка, паясничали и передразнивали спящего властелина, крошачищем угольком писали на его беспокойном челе гадкие, унижительные слова.

Король пытался навести порядок в войске и для острастки казнил двух наиболее обессилевших солдат; он пригласил какого-то седобородого кочевника, чтобы тот вылечил лошадей; он, изловчившись, поймал одного лазутчика и велел со всеми почестями повесить его, но намыленная веревка лопнула некстати, и приговоренный с петлею на шее заячьими прыжками умчался прочь.

Было от чего впасть в отчаяние, и его биограф, пронырливый Жуанвилль, со смаком описывал тоску и хандру короля в те невеселые дни, венцом которых стал его плен. Свобода стоила ему восьми тысяч византийских червонцев.

Лишь через двадцать два года он вконец оправился от скорби и горечи и, дав уговорить себя своему брату Карлу Анжуйскому, предпринял новый крестовый поход на Тунис, где его поджидала сильнейшая эпидемия бубонной чумы, от которой он и скончался. Утешая мертвого завоевателя, папа Бонифаций VIII признал его святым.

Но нет, видно, ни публичные, ни интимные подвиги теперь не в цене, и поэтому после преступления матери он позвонил Зое.

Все складывалось донельзя удачно — на ближайшую ночь у Зои не было никаких планов, так как Юрий Георгиевич вдруг обзавелся железнодорожным билетом и в нынешний же вечерок собирался куда-то отбыть ненадолго.

В ее квартире не горел свет (барахлило электричество), и поэтому Зю пришлось узнавать по ее ничуть не изменившемуся голосу и по рукам — затейливый перстенок, бородавочка на мизинце. Здравствуй, здравствуй, моя незабвенная Зоя!

— Как жаль, что ни черта не видно, — пожаловалась Зоя. — Раздетая тобой, я кажусь себе мандариновой долькой без кожуры — просвечивает ароматная мякоть, вот-вот под крепким зубом брызнет кисловатый нектар.

Он снова любил ее и просил зажечь хотя бы свечу, чтобы убедиться, не подменили ли Зою, а она, задыхаясь, говорила, что нет и в помине никаких свечей, и спрашивала: «А помнишь, а помнишь?..»

Он помнил. Он знал. Он метался, дрожа, по теплой золе обгоревших аллей, он видел, как пальцы, минуты кроша, кормили секундами злых голубей. Не смей, прикажи своим пальцам застыть! — кричал он. Молчал он. И жирные голуби напрасно старались куда-нибудь взмыть, цапагая крыльями камушки голые. А где-нибудь там гулял спаниель, с тьявканьем глупым гоняясь за мячиком, который бросал ему маленький эльф, смеявшийся изредка смехом ребяческим. И он тогда начинал понимать всю мистику встреч в пылающем парке, и вот бы тогда убежать без оглядки, но нет, вновь прилив и пора отплывать. Про-

щай, кровь улыбки на белом лице! ты не впитаешься пористым прошлым, ты не погаснешь, как блик на кольце, которое было дешевым и пошлым. Их символ любви.

(Действительно Зоя когда-то подарила ему медное маленькое колечко, которое не налезало даже на его мизинец.)

А потом вдруг все стихло, и не хотелось больше ни стихов, ни объятий, ни Зоинных напомаженных губ; хотелось спать, хотелось тихих, осторожных движений и в одиночестве — сонно и легко пересечь город, заглядывая в окна низких домов, покружить над площадью, оплавленной по краям полуночным жаром, к утру выплыть в предместья, где последний снег и первые почки, где белое небо и черные птицы, где большая река и маленькая дощатая пристань, где пахнет железной дорогой, по которой мчится теперь Юрий Георгиевич, чья соседка по купе уже успела сказать своими карминовыми губами: «У вас очень мужественное лицо, а я так одинока. Нет, муж не в счет, он добр, скромен и честен, но абсолютно не понимает меня», — осталось подождать лишь немного, дайте только поезду разогнаться посильнее.

Он хотел как-то объяснить Зое свое отсутствие, но она уже врывалась в его сновидение, говоря, что чувствует себя здесь как рыба в воде, и Андрей просыпался от этих слов, угадывая в них неясный намек и угрозу, от которых было в пору расплакаться, потому что по-прежнему не понимал он правил игры на этом бесконечном, совершенно невидимом поле.

— Ты здесь словно рыба в воде, — говорил обессиленно он, — но кто бы мог вообразить себе, как устал я от всех этих превращений и перемен, от рыбы и от воды, от рыб и от вод, и давай я провожу тебя из мглистого зала своего сновидения, заперев высоченную дверь на засов собственного указательного пальца.

Останусь ли я один? Наверное, да. И только шорох в углах напомнит мне шелест твоего платья с отложным воротничком и кружевными манжетами. Да, я останусь один, ибо ты давно уже живешь в том самом изнеженном моими мечтами в городе. Здесь ты полюбила ночные прогулки, и я успею задохнуться от ревности, вообразив вдруг твоего случайного ночного спутника, что с ловкостью всамделишного призрака отлепится от колонны национальной ассамблеи и тотчас же сумеет понравиться тебе своими черными накрахмаленными усиками, деликатной картавостью языка и отливающими перламутром глазами. Твой изначальный страх — ты так испугалась сперва! — уступит место веселью и любопытству: ведь так романтично довериться призраку и следовать за ним в таинственную прохладу еще мало изученного города, от которого пронзительно пахнет духами, кофе, бенедиктином, жареным картофелем, каштанами, дичью на вертеле и воском укорачивающихся свечей. Пройдя мимо дешевой, но чопорной танцульки под аккордеон на площади Бастилии, мимо погребков экзистенциалистов, пьяными голосами наизусть цитирующих Сартра, Мерло-Понти и де Бовуар, мимо богемных кабаре, из которых высыпаются горстями вежливые и обходительные педерасты, все же больше похожие на мужчин, чем их спутники — огромные, волосатые, напоминающие чучело медведя из русского помещичьего дома, — мимо масляного пятна на террасу Сакре-Кёр и сверху полобуетесь на город, выглядящий так, будто его специально для вас уложили в мягкую вогнутую ладошку. Легкая и податливая от предчувствий, ты будешь не мигая смотреть на блестящие бусинки города, но твой спутник, твой призрак не тронет тебя, а только бережно накинёт на твои плечи свой нежный пиджак, после чего неслышно исчезнет...

Он, кажется, проснулся, или это снилось ему: вот Зоя, опершись на локоть и обливая его струями своих распущенных волос, прошептала едва слышно: «Мальчик, мой дорогой мальчик, как хорошо, что ты все-таки нашелся». Ему снилось, или он вспоминал, как вдруг стали гореть аллеи старинного парка: горели скамьи, круглые тумбы с афишами; потом пламя выплеснулось за тяжелые чугунные ворота и, подгоняемое ветром, устремилось по улицам города. Пахло гарью. Теперь Зоя по-настоящему проснулась и сказала, что если он на-

мерен спастись, то путь только один — через окно, а там уже торчала голова спасателя всех горящих — городского брандмайора, который, придерживая блестящую каску, мило представился: «А вот и я. Прошу любить и жаловать. Мечтаю быть пожарным маршалом. Мечтаю выгашить вас живыми из огня. Только пускай дамочка сперва что-нибудь на себя накинёт».

Да полноте, так ли глупо все было?.. Хотя действительно где-то когда-то сгорел один дом — пламя медленно и неохотно поползло по стенам и в мгновение ока жадно проглотило остроконечную крышу с проржавевшим флюгером, что откликнулся только на северный ветер. Тогда в толпе нашелся какой-то сумасбродный смельчак, который устремился к пожару — пламя перед ним вытянулось во фрунт.

Я видел зеркало, в скользких углах которого еще попыхивали отблески того пожара. Я видел себя — бледного, меланхолического юношу с обнаженной грудью и провинившимися чреслами, который, сидя в ногах у обездвиженной Зои, все ждал, что его начнут обвинять и судить, дескать, не вздумай отпираться, любезный, во-первых, все нам здесь сжег, а во-вторых, погляди-ка, вот как распласталась твоя измученная жертва.

Между мною и жертвой вдруг возник Юрий Георгиевич, с лицом гладким и тяжелым, словно булыжник. Он посмотрел по сторонам, тихо обмакнул в рот тонкую папиросу и нежно вывел на грифельной темноте слова сурового приговора... И скажите, мог ли я оправдаться?!

Я мог. Я мог сказать Юрию Георгиевичу, что кругом лишь обманы, мол, мне изменяет мать, вам изменяет Зоя, и, знаете, не только со мной — например, двадцативосьмидневный месяц назад у нее был студент консерватории, который чудесно играл на валторне и, как хомяк, вгрызлся в Зоин локоток, когда она протягивала ему для поцелуя обнаженную руку. «Ах ты мой прожорливый музыкантик, — говорила она, — того и гляди ты съешь меня целиком. Лучше сыграй что-нибудь...», — и он играл, а она запрокидывала голову, смыкая, как кукла, глаза, и шевелением пальцев приказывала, чтобы исполнитель отложил инструмент и приблизился к ней.

Но я знаю, что случилось и с вами, Юрий Георгиевич, отчего вы так внезапно вернулись. Вы все-таки дождались, пока поезд разгонится посильнее, и закрыли шторой окно, чтобы ночные птицы не видели, как одно голое тело застелило другое. Вы не торопясь подстраивались под стук колес, а ваша сентиментальная и порочная спутница рыдала, что снова она обманывает мужа, который где-то там сейчас мучается от ревности и подозрений, и никому, вы понимаете — ни-ко-му! — он не может рассказать о щупальцах страшных предчувствий, что намертво присосались к глянцу его воспаленной души. Разве что цыганскому мальчику-попрошайке, разве что искалеченному ветерану дюжины кровопролитных кампаний, разве что мне (дотошно изучающему расписание поездов под стеклом, чтобы седоусый машинист отвез меня поскорее в любимый мой город), но мы, все трое, тотчас же расходимся в разные стороны, только увидев, как измученный человек — судя по всему, чиновник средней руки — неверной походкой вознамеривается подойти к нам.

Нет, дело не в этом; вы, Юрий Георгиевич, вдруг вообразили, что и Зоя, пользуясь вашей отлучкой, жалуется кому-то: «...нет, муж не в счет...» — и с таким звериным оскалом вдруг повернулась к вам ваша ревность, что стало невмоготу — домой захотелось, к теплым Зоиным ногам, к ее кофейно-папиросному дыханию (перед сном она пила настоящий мокко и много курила) и, главное, к восхитительно белой пустоте его половины их супружеской постели, где Зоя одна, одна, одна...

Но я, кажется, сильно виноват, я не должен был стягивать покрывало с окоченевшей тайны, чтобы вы, словно в покойницкой, опознали ее.

Я виноват, но недосыгаем — очень полезно порой чувствовать себя совершеннейшим невидимкой.

В заключение — несколько слов, хочется пролить свет на кой-какие обстоятельства. Дело в том, что на правом берегу Сены, на пересечении осей север—

юг и восток—запад старого Парижа, на месте разрушенной в 1802 году крепости Гран-Шатле раскинулась площадь того же наименования, соединенная с островом Ситэ мостом Меял (О'Шанж). В центре площади находится фонтан «Шатле», иначе называемый Пальмовым фонтаном или еще фонтаном Победы. Приказ соорудить здесь фонтан был дан Наполеоном I. При Наполеоне III площадь значительно расширили, по обеим сторонам ее построили театры: театр «Шатле» (на три тысячи шестьсот мест — самый большой театр в городе) на западной стороне и «Театр Сары Бернар» на восточной. Горожане прозвали эти театры из-за их формы двумя сундуками. Неподалеку от площади Шатле находится живописная башня Сен-Жак. Эта башня в готическом стиле, построенная в XVI веке, представляет собой колокольню некогда стоявшей на этом месте церкви Сен-Жак-ла-Бушри.

VI

Письмо

Здравствуйте, Вадим Иосифович,

после разоблачения Вы исчезли, но позвольте мне не верить в Ваше подлинное исчезновение.

Позвольте мне повспоминать. Мы с Вами играли в шахматы, и Ваши мертвенно-бледные пальцы, на которых поблескивал лед холодных — по сезону — ногтей, вслепую разрывали картонную пачку папирос, и шведская спичка, густо горя, освещала первую из метаморфоз: заурядное шахматное поле, обозначенное по краям латинскими буквами и арабскими цифрами, постепенно превращалось в чистую эспланаду, куда, жирно печатая шаг, уже выступает колонна солдат, готовящихся к очередному смотрю; тихий ветер с неподвижной реки пытается распушить офицерские плюмажи; король вдруг предстал Королем, подозрительно принимающимся к спарже, бекону и бледному (слишком много сливок) кофе. Это завтрак, а всю предыдущую ночь кто-то бегал на цыпочках, шепотом звал сообщников, ногтем пробовал, хорошо ли наточен кинжал, и от страшных догадок было не уснуть...

От завтрака пронзительно пахнет миндалем — неужели снова покушение? неужели снова напоминание о смерти? Что ж, значит, дворцовому шуту опять придется отведать с королевского стола, но нет, нет: нет конвульсий, замирающего дыхания и молочной пены у губ, нет торжествующей ухмылки на лице отравителя, который пока еще не распознан, и только когда-то потом, в другие времена, в другой стране и при другой династии королей, найдется осведомитель, способный раскрыть истинные помыслы вон того ничем не примечательного господина, что с преувеличенным вниманием поглядывает в окно, и лишь побелевшая рука на эфесе шпаги (полагающейся по этикету) выдает в нем досаду и немую ярость.

Так, что дальше? — дальше игра продолжается и метаморфозы тоже: успела наступить ранняя, сомневающаяся весна, потептели Ваши, Вадим Иосифович, ногти, какая-то фигурка, которой неумело руковожу я, крадется нескончаемыми лабиринтами, где, кстати, довольнолюдно, и все встреченные пытаются убедить меня, что ничего особенного не происходит: позвольте, какие лабиринты? — недоумевают они, обычные европейские улицы, вот теперь мы раскрываем зонты — значит, начинается дождь.

«Ах, полноте», — не верю я им, но они вежливо протестуют: «Да нет же, здесь все настоящее, дома, особняки и дворцы. Вот здесь живет исцелитель Михельсон, вон там — мраморный, с завитушками на голове ангел, чуть подальше — восковая копия знаменитого Короля, а в глубине леса по-прежнему стоит дворец Багатель. Так что не волнуйтесь, здесь все так, как описано в книгах».

Моя фигурка... вдруг оказывается, что она бесстыдно нага, но я вижу, как чужая рука грубо вторгается в партию, брезгливо держа кончиками пальцев целый ворох кукольной одежды: костюмчик заводного музыканта, который после троекратного поворота ключа в спине начинает размахивать крошечным смычком, форма паровозного машиниста и балетное платье его единствен-

ной пассажирки, парадный мундирчик пожарника, камзольчик из поддельного бархата...

Но, впрочем, нет сил больше писать, до свидания, Вадим Иосифович.

Людовик XV, которому всякий всезнайка приписывает одну знаменитую, но совершенно бессмысленную фразу², был королем Франции с 1710 по 1774 год. Король получил хорошее образование и проявил себя способным учеником, но был крайне развратен и слабохарактерен. Пренебрегал своей женой Марией Лешинской, которая, руководствуясь аристократическими понятиями о чести и достоинстве, на супружеском ложе вела себя скованно и бесстрастно. Король, видно, терзался, что жена не в состоянии оценить его мужские достоинства, и, наверное, поэтому то и дело затевал рискованные военные кампании. Но война за австрийское наследство складывалась удачно лишь в первые месяцы, когда были завоеваны испанские Нидерланды. Зато потом последовало чувствительное поражение в Италии, которое продолжилось несколькими кряду проигрышами на море, и посему несолоно хлебавши пришлось возвращаться домой, по пути завернув в Аахен, где король, превращая каждую букву в затейливый вензель, подписал отказ от всех завоеваний и громогласно провозгласил законность притязаний Марии Терезии на австрийскую — довольно любезную с виду — корону. А дома Лешинская опять, подставляя для поцелуя губы, плотно сжимала их, и опять не хотела разоблачаться при свечах, и опять яростно отвергала все предложения короля как-нибудь разнообразить их любовь, и опять... Последовала Семилетняя война: Франция перешла на сторону Австрии, но противник, игравший под цветами английского флага, был явно в ударе — несколько хитрых ходов, несколько павших крепостей, несколько тысяч убитых. «Ого, да у вас неплохой аппетитик», — хотелось сказать противнику, видя, как смачно поглощает он вражеские колонии. Мат.

Снова домой. Дома маркиза Помпадур: самка, львица, повелительница плоти, ненасытная в наслаждениях. «Мы будем любить друг друга при полуденном солнце, — шептала она, — я сама развяжу тебе все шнурочки и бантики, стяну ботфорты, уколюсь о шпору, сама себе оближу кровавую ранку». «Да, да, — соглашался король, — только чтобы все было взаправдашнее: яркое солнце, влага подмышек, густая кровь. Никаких имитаций».

«А вот еще что я придумала», — говорила она и вела короля в так называемый Олений парк, где застыли в ожидании фигурки молодых обнаженных девушек. «Вот оно, самое лакомое чудо, какое мне доводилось видеть! — ликовал король. — Это же самый настоящий гарем! Будь же благословенна твоя извращенность! Теперь я — шах. Шах. Расставь, о маркиза, фигурки, и мы начнем игру». Они играли, и в кратких перерывах король читал Ибн аль Фарида:

Такова любовь! Береги свое сердце³,

ибо страсть — дело нелегкое, и никто из тех, кого она изнурила, не избирал ее в здравом уме!

Живи во имя любви, чья легкость — мучение, чье начало —
болезнь, а окончание — гибель!

Но я думаю, что смерть от страстной любви есть жизнь,
которую мне щедро даровал тот, к кому я пылаю страстью...

Никто не может жить любовью, не умирая во имя любви,
подобно тому как, прежде чем собрать мед, приходится испытать укусы пчел.

Надо сказать, что король вообще весьма жаловал арабо-мусульманских мистиков и поэтов, находя какое-то наслаждение в кратких суфистских изречениях. И впрямь как может не понравиться знаменитое высказывание аль Халладжа: «Я — Истина»?!

Помпадур охотно соглашалась: «Да, конечно, ты — Истина» — и зорким оком следила, чтобы девушки в Оленьем парке обновлялись, а когда король уставал от их скользких тел, вновь предлагала себя, радуя его изобретательно-

² Речь идет о словах «Après nous déluge» (франц.) — после нас хоть потоп.

³ Буквально: свои внутренности.

стью и фокусами. И король, знающий толк в шахматной игре, соглашался, называя перемещения рокировкой. Их покой охраняли стражники с алебардами.

Бесконечные оргии, удачливость в незаконной любви, пренебрежение к делам государства вызвали негодование в определенных кругах, и в 1757 году на короля было совершено покушение. Покушавшийся, некто Дамиен, был схвачен с поличным, и король долго всматривался в его глаза, повторяя всего лишь одну фразу: «Как же ты мог, как же ты мог? Ты покусился на Истину».

По подозрению в участии в заговоре Дамиена были изгнаны иезуиты.

Вскоре, в 1765 году, умер единственный законный сын короля. Еще больше возрос долг государства, достигший к 1774 году четырех миллионов ливров.

Какое выбрать для себя местоимение?

Я выберу «я» — ближайшее зеркало покажет раскрытый, как у нарисованного хориста, рот. Я выберу «он» — дотошный прохожий засуетится, увеличит себе глаза нацепленными на нос очками, въедливо спросит: «А кто это — он?»

Я (или он) успокоит прохожего — тот, о ком идет речь, неопасен и неагрессивен, более того, он (или я?) даже невидим.

Да, невидим, уберите очки.

Какое выбрать для себя местоимение? «Я», «он» совсем не подходят — сразу определяется принадлежность к событиям, которых как будто бы и нет. Остаются местоимения множественного числа.

Я напишу так... Я напишу, стараясь не замечать собственной согбенной фигуры, у которой — если приглядеться — босые, с просинью ноги и длинные беспокойные руки, далеко вылезшие из рукавов рано обмелевшего пиджака, купленного матерью на два или даже на три года вперед, но что делать? — дети иногда начинают быстро расти.

Я напишу, что один мальчик, которого моя подслеповатая тетка (раскладывавшая во время своих внезапных наездов веер из желтых фотографий незнакомых покойников) могла бы легко спутать со мной, однажды расплывчатой туманной ночью, заключив глупое пари с несносными моими приятелями, сжимая ледяной ладонью готовое лопнуть сердце, на цыпочках через весь город крался на старинное, испещренное крестами кладбище, чтобы пробыть там в одиночестве некоторое — ну, скажем, полчаса — время. Я напишу, что впервые в жизни мальчик оказался ночью вне дома, и темные пустынные улицы по-настоящему напугали его. Я напишу, что будто кисть неумелого урбаниста обвела ночной город: зыбились кривые высокие дома, лишенные дневной прочности и устойчивости, живые силуэты у редких освещенных окон живыми не казались и, неподвижные, напоминали денежные водяные знаки, изогнувшись, тянулись к едва заметной луне кирпичные заводские трубы, словно хотели проглотить ее.

Каждый шаг мальчика был проложен ватным туманом, и поэтому не щелкали по асфальту его твердые башмачки — будто бы не шел он, но летел, подталкиваемый в спину слабым, но настойчивым ветерком, решившим прогуляться сегодня в сторону кладбища. Мальчик уже разубедился в собственной храбрости, осознал никчемность поступка, но не было сил вернуться домой, и ветром все сносило и сносило его к крестам и надгробиям. Чтобы хоть на мгновение остановиться, мальчик схватился за медную ручку на дверях вышколенного насупленного дома, но ручка беззвучно отлепилась, капнув на землю бутафорским шурупом; он обнял толстый морщинистый вяз, но дерево раскрошилось меж пальцами; изловчившись, он плюхнулся на скамью, но скамья, как лодка, понесла его дальше, скинув на островке с тусклым обугленным фонарем.

(Был ли тусклый обугленный фонарь, было ли искрошившееся дерево, была ли дверь без ручки? Когда-то потом я пытался отыскать их. Безуспешно.)

Я, негласный и невидимый свидетель этой ночной прогулки, держал мальчика за руку, чтобы не чувствовал он себя так одиноко, чтобы не было ему страшно так, но он, вовсе не замечая меня, продолжал тихо, в такт своему сер-

дцу, дрожать и даже, кажется, уже плакал, стараясь не разбудить бездомного нищего, что тяжело спал с широко раскрытым, словно зевающим ртом.

Я напишу: мальчик плакал. Я напишу, что большие чуть навькате глаза были явно велики его маленькому лицу, тем более когда он плакал — глаза еще больше увеличивались, а лицо уменьшалось. Чтобы как-нибудь разжигать его страх, я предлагал прочитать ему придуманные мною вывески на струившихся мимо домах, и мальчик послушно читал, не переставая думать, сколько осталось идти ему до кладбища — пять? десять минут?

Одна сырая минута сменялась другою. Прочитанные без интереса мальчиком вывески я переносил с улицы на улицу, но не высохали его слезы, и читая сызнова опрятные буквы, он совсем не думал о том, что только недавно он видел все это. Только недавно — пять? десять минут назад?

«Оптовая торговля запахами». «Принимаю заказы на изготовление музыкальных инструментов из металла и камня». «Придаю чехлам форму удобной и красивой мебели». «Срочно отменяю зубную боль».

Что еще я мог предложить ему? Иссякла моя фантазия, а мальчик даже не улыбнулся ни разу, не попробовал запомнить заманчивых адресов, по которым ждали его приветливые ненастоящие люди, готовые продать, принять, придать, отменить...

«Обещаю счастливые совпадения и случайности» — нет, это тоже не заинтересовало его.

Я напишу... Я напишу, стараясь не расплескать своей жалости и сострадания: я искренне сочувствовал ему. До боли в собственном сердце я разделял его испуганное сердцебиение, моя грудь изо всех сил старалась не отстать от его прозрачной одышки, а он по-прежнему не замечал меня, моих холодеющих пальцев, туго вплетенных в его беспокойную вспотевшую ладонь.

Я напишу: мы шли бок о бок. Постепенно мальчик заражал меня своим страхом, гипсовой бледностью и холодом щек, и вот уже мне казалось, что это невозможно, да, да, невозможно — увидеть, как его трясущиеся руки отворяют неповоротливую кладбищенскую калитку, как в железной ограде обнажается зияющая дыра, куда нас вталкивает ветер, как из-под ближайшего могильного камня навстречу весело тарачится полуистлевшая человеческая ступня, выползшая в этот туманный час подышать свежим воздухом.

Я хотел расплести наши руки, я хотел тихо шепнуть ему на ухо: «Дальше иди один. Главное — не бойся. Ничего дурного не приключится. Только перекрестись».

Не получилось... Не получилось...

Я напишу: мы шли бок о бок, мы оба боялись и плакали, наши руки срослись, и я чувствовал, как теплая, пушистая кровь мальчика сильными волнами набегают на мои какие-то очень далекие берега, по которым разгуливали наши беспечные двойники, не обращавшие ровно никакого внимания на нас, на нас, на нас...

Кто кого вел? Я вел мальчика и, стараясь запутать его (чтобы удлинить дорогу до кладбища), переименовывал улицы. Я поменял местами аптеку и булочную, в тесный двор перед магистратом я втиснул просторную площадь рыбного рынка, для достоверности посыпав блестками рыбьей чешуи, я расчленил перекресток, и четыре бульварчика, усердно вгрызавшихся в него, были теперь скромными переулками, в один из которых я запустил человека во френче, чтобы тот, отвлекая мальчика, посверкивал стеклышками пенсне, пошлепал себя по карманам в поисках спичек, засвистел фальшивую мелодийку. Человек откликнулся на мои пожелания: вдавил себе в глаза осколки слюды, достал ноты аргентинского танго, сухие губы свои раздвинул мундштуком папирсы. Мальчик не замечал перемен, не замечал человека во френче, который, не найдя спичек, на спотыкающихся ногах брел следом за нами, гнусаво прося прикурить.

Я замечал. Мальчик остановился у булочной и долго водил глазами по витому, как лента Мёбиуса, кренделю. «Вот здесь мы с мамой покупали аспирин», — сказал он, отправляясь дальше.

Кто кого вел? Он вел меня, хотя я как мог сопротивлялся, уже жалея, что ввязался в эту неприятную историю, но мальчи́к упрямо не обращал внимания на все мои молчаливые протесты и лишь горько — но отнюдь не удивленно — всхлипнул, когда навстречу ему из зеркальной витрины шагнули мы оба. Указательным пальцем свободной руки я постучал себя в грудь, но мальчик снова не увидел меня, а лишь аккуратно и точно повторил мое движение.

Я напишу... Я напишу, что человек во френче растолкал бездомного нищего и прикурил от его свирепо зажегшихся глаз. «Эге, да ты не так прост, как кажешься», — одобрительно хмыкнул человек и, обняв нищего, властно увлек его за собой. Ушли. Одиночество.

Я напишу: одиночество. Я найду одноименную вывеску на подозрительном с виду салоне, сквозь закрытые ставни которого едва тлеет бархатный розовый свет. Я заставлю себя представить, как из бесшумного фаэтона, что предусмотрительно остановился поодаль, выскользнули замотанные в плащи высокие немолодые мужчины, решившие здесь, в этом салоне, среди приторной музыки и босоногих женщин, продолжить свою вечеринку; дыхание ветра с вкусным запахом толстых сигар.

Я снова напишу: одиночество, улицы снова извилисты, темны и пустыжны, и оттого, что рядом мальчик, одиночество не меньше, тем паче что мальчик порой куда-то исчезал, не отпуская, впрочем, моей руки.

Мальчик исчезал, и тогда мальчиком становился я. Мальчик появлялся, но все равно мальчиком оставался я.

Сожаление. Сожаление: зачем согласился я стать свидетелем его (моей?) ночной прогулки? Я хотел как-нибудь отделаться от него.

Кто кого вел? Мы шли в ногу, я пытался запутать его. Я перепробовал, кажется, все: бездомного нищего, угрюмого маньяка, выковыривающего сухой папиросой огонь из его пустых глаз, пожилых бонвиванов и даже — себя. Не помогало. Выдернутые нити переименованных улиц запутались и покрылись узлами, столоничальник из магистрата повязывал фартук, готовясь торговать хариусами, другой чиновник (оформленный моим воображением неясным этюдом) пытался перетащить на место переулков исчезнувшие бульвары и скрепить их в виде старого перекрестка простым канцелярским клеем и нитками, аптекарь Ризенкранц, разбуженный неясной тревогой, изумленно взирает на булочника, переносившего в аптеку лотки со вчерашним, начавшим твердеть хлебом и пухлые мешки с мукой...

Не помогало...

О мой герой коленопреклоненный! ты помнишь ли Аркадии леса? Ты помнишь: имярек, тобой казненный, умело восходил на небеса...

Не помогало, а где-то совсем близко, в каких-нибудь двух кварталах от нас, разбуженное нашим хождением, уже шевелилось кладбище, постукивало крестами, зевало желтым кругом луны, стряхивало с ив прикорнувших птиц, которые, улетаая, поворачивали к нам свои недовольные лица.

Предупреждение. Некогда предупреждали, что не стоит принимать близко к сердцу полеты птиц с человеческими лицами, но я, коченея от ужаса, не мог оторвать взгляд от летящей под ручку парочки — коллежского регистратора Елифанова (похороненного — согласно бесстрастному могильному камню — почти столетие назад) и приват-доцента Смоленского, который, ловка сея красные искры, умудрялся еще и курить на лету. Я видел инженера-путейца Паныгина, на шее которого болтался грубо накрахмаленный пластрон, а на перламутровых перьях хвоста — широкие полосатые подтяжки; я видел форсмейстера Ганса Циммермана, умершего от удара во время венчания и до сих пор не снявшего с перепончатых розовых лапок белые шелковые перчатки.

Я напишу: кладбище неумолимо надвигалось на нас, оставалось закончить лишь одну, последнюю улицу, где по утрам с гиканьем носились гоночные катафалки, где наемные плакальщицы в перерывах между погребальными церемониями дули теплое ситро, где на Пасху, объевшись вареными яйцами, собаки бродили гурьбой, где безродный человек, которого тут все называли Кузьмишкой, ласково напрашивался подсобить, где я никогда не был и не буду.

Где? Я не знаю, я лучше напишу: нам пришлось остановиться, ибо выдуманная мною вереница слепых, выведенных на прогулку усатым поводырем, пересекала дорогу.

Я напишу: мальчик удивился и поллюбопытствовал у поводыря, отчего так странно все, и поводырь, запихивая в узкие ноздри табак, ответил, что страдает бессонницей, а им, слепым, все равно, когда гулять: Меня неприятно кольнула грубость подобного ответа.

Я напишу: на грузной тележке слепые везли за собой большие куранты (выколупнутые из рыхлого тела вокзальной башни), по которым время можно было определять на ощупь и которые протяжным боем умели напоминать о себе каждые пятнадцать минут.

Ловко придумано!

Я напишу: в новой редакции стихотворение звучало так: о мой герой коленапроклоненный, ты помнишь ли Аркадии леса, ты помнишь: имярек, тобой казненный, с улыбкой восходил на небеса?

Мой мальчик, который еще совсем недавно плакал, вызывая во мне мучительные спазмы жалости, теперь успокоился и повзрослел. Он улыбался надменно, скаля крепкие квадратные зубы, он загородил себе глаза буржуазными очечками в золотой оправе, а к нижней избалованной, капризной и гладкой губе прилаживал английскую вересковую трубку.

... Ты помнишь ли Аркадии леса? Ты помнишь: имярек, тобой казненный, вихляя жирными студенистыми бедрами в тесных клетчатых штанах, отбивая вульгарную чечетку лакированными остроносими штиблетами, поминутно щелкая крышкой часов, чтобы не опоздать, выбрасывая из карманов картинки, изображающие голых растопыренных женщин, портя воздух и громко рыгая, шествовал на небеса.

Мальчик! где оно, обаяние нашей первой далекой встречи? Где грустные, но приятные предчувствия, которые, перемешиваясь с туманом, делали нас всесильными и отважными? Ты помнишь, как, сросшись руками, мы плыли сквозь город, не замечая призраков и химер?

Я напишу: ты забыл. Ты стал неприятно ловким, шустрым и проворным. На свое покато плечо ты прилепил мохнатый эполет, ты не поспешил на лучшее портного, которые обмотал тебя дорогим сукном и утыкал иголками, ты, одетый с иголочки, вышмыгнул на темную улицу и присоединился к пожилым сладострастам, что стучали и до сих пор стучат колотушкой в дверь из вишневого дерева.

Их впустят или впустили уже: девушки Роза и Софья вытянут голые развратные руки и ртом, похожим на отпечаток большой ядовитой ягоды, скажут... Ты и твои брюхастые спутники даже не заметите, что на двух девушек приходится только один рот и лоно приходится только одно. Девушки улягутся на косолапую оттоманку, и вся ваша компания, упав на четвереньки, превратится в свору голодных псов, жадно чавкающих и грызущихся у миски с грязной похлебкой. Ты будешь сильнее и злее других, ты доберешься до девушек и в одиночестве овладеешь ими. Потом ты разорвешь их надвое и более свежую и привлекательную половинку засунешь себе в карман, чтобы дома еще раз насладиться любовью.

Я не хочу узнавать тебя нового, твоих новых, освободившихся от меня рук, которые заталкивают меня же на кладбище, чтобы я перестал жить. Ты скovyрнул надгробие с заброшенной могилы приват-доцента Смоленского и голосом, грубым от лжи и вина, уговариваешь меня, чтобы я занял место растворенного временем Григория Ермиловича — так, наверное, звали ученого мужа.

Напрасно. Напрасно ты хочешь отделаться от меня подобным путем. Я не боюсь твоей мерзкой улыбки, глубоко вдавленной в холеные бритые щеки. Тебя казнят.

Я напишу: я позвал паялача. И из темного, густо заштрихованного паутиной тайника тотчас же явился он, любезный моему сердцу заплечных дел мастер:

— что-нибудь стряслось?

— Да нет, ничего особенного. Просто есть один человек, которого не мешало бы казнить...

VII

Надо отдать должное Кублицкому: со своей стороны он, кажется, сделал все возможное, чтобы его смогли считать бесследно исчезнувшим персонажем.

И все же он находил хитрые способы сообщить о себе, о новостях в своей жизни: например, на улице под ноги попался пучок длинных волос, и приходилось понимать поневоле, что Вадим Иосифович недавно побывал у брадобрея, лишившего клиента его слишком приметной бороды.

Подобные вот сигналы раздражали безмерно, и Андрей все время чувствовал себя опоздавшим, казалось, что будь он чуточку расторопнее, то непременно удалось бы схватить Кублицкого за руку, но со временем это стало выглядеть милым бесполезным чудачеством — нагряться неожиданно, проснуться внезапно; простота таких методов познания подразумевала и простоту ответных ходов, и поэтому вслед за успокоенностью, умиротворением, желанием раз и навсегда простить мать, забыть, слышите, забыть! я не желаю, не желаю иметь ничего общего, это случайность, это трагическое стечение обстоятельств, это, если хотите, оптическая иллюзия, когда он и она вместе, он — болезненный толстяк, коротконожка, с пористой кожей на унылом носу; она — нежна, музыкальна, чутка, умеющая быть трогательно домашней, до сих пор ее глаза страдают и плачут, до сих пор мне девять лет и у меня свирепая корь...

Донимал его Кублицкий и в снах. То снилось Андрею, как Вадим Иосифович старательно складывает из осколков зеркала отражение своего гладко выбритого лица, и приходилось, чтобы отделаться от Кублицкого, просыпаться скорее или переворачиваться на другой бок, где поджидало Андрея четкое, реальное, хотя и черно-белое, утро, которым, держа пальцами за уголок свежего, мокрого еще отпечатка, любовно помахивал в воздухе фотограф-любитель.

Ах, кабы удела фотография передавать звуки и запахи! Пахло бы музыкальными шагами настройщика, который успел уже нынче покопаться в гулких глубинах белого, обледеневшего лаком рояля, выпутив из струн голодную истерзанную мышь, пахло бы ванильным печеньем, выстраиваемым причудливыми горками на витрине кондитерской лавки, пахло бы лавандовыми духами, отпущенными на свободу после ночного ареста в парфюмерном магазине на авеню Георга V, дом 3. Смех еще, хриплый, усталый смех двух проституток (не попавших в кадр), возвращающихся после работы домой, пробные звуки валторн, клавишинов и скрипок — в консерватории уже начались занятия, а в Опере репетиция, — и если прислушаться, то можно почувствовать, как старается изо всех сил Зоин валторнист, раздувает щеки и наполняет фальшивыми слезами глаза... — мальчик, он совсем еще мальчик, глупыш, наивно надевшийся, что его украдливые визиты к взрослой ухоженной женщине останутся тайной, хотя так хочется похвастаться собственной доблестью, но тайна со временем станет воспоминанием, которое вскоре зачахнет, и только когда-то потом, в незнакомом просторном городе, белое от пудры и старости женское лицо из партера заставит его на миг замереть...

Звуки и запахи, смех и ваниль, бессолнечное утро с шагреневым небом, и возомнившийся фотограф-любитель жалуется, что освещение недостаточно, иначе утро получилось бы еще четче и правильнее, иначе люди стали бы похожими на самих себя, иначе не удалось бы Кублицкому вот так просто, отстригшись от своей бороды, не попадаться на глаза, хотя — продолжает фотограф — скоро лопнут почки дождей, и вода смоем грим с лица Вадима Иосифовича, даст взойти новым волосам на его щеках и подбородке, и он, мокрый и виноватый, снова явится вам, дескать, не взыщите, это опять я, но так трудно оставаться неузнанным, когда кругом лишь дожди.

Но не было ни дождей, ни плоских фотографических утр, а были весьма странные события, которые, правда, никто не считал специально подстроенными: из зоологического сада убежал кровожадный зверь, где-то неподалеку от

города поезд сошел с рельсов, из кукольного театра исчезли марионетки, и никто, конечно бы, не поверил, что теперь они, словно живые настоящие люди, расхаживают по улицам, заглядывают в окна домов и мягко стучат в двери.

Или еще открылась в городе выставка восковых фигур, и особые подозрения вызвал там искусственный почтальон, сжимавший музыкальными пальцами пухлый конверт, который мучительно захотелось выхватить и вскрыть.

Но почтальон приходил к нему сам. Нет, действительно к нему приходил почтальон, вылепленный в натуральную величину, с щедрыми, приличествующими его должности и возрасту подробностями. Письмо: выведенная маленьким циркулем печать, кустики букв. Письмо: городские власти приглашают принять участие в организованной поимке Кублицкого В. И. Работает буфет.

Не обманули; действительно работал буфет — бойко торговали крышоновом и веснушчатými — от тмина — булочками, которые, чавкая, уминали собравшиеся горожане, одетые по случаю предстоящей забавы в замшевые охотничьи костюмы, с ягдташами, в демикотоновые спортивные сюртучки. Дышали в такт ветру изогнутые перья на тирольских шляпах, поскрипывали кожаные сапоги с ремешками и пряжками.

Из узких щелей между домами выползали плоские одичалые борзые, от голода более горбатые, чем позволяла природа, и, высоко поднимая лапы, словно ступали по мокрому, липко бродили между людей, лишь подрагивающей холкой выдавая свое нетерпение и ожидание скорого гона.

Какие-то шустрые молодые люди организовали аукциончик: били колоутушками по медной тарелке, считали до трех, кричали, с рыком минуя первый слог: «Пр-р-родано!» — и азартный эстет, бережно принимая на руки строгий штуцер, нервную аркебузу или вычурную кулеврину, тотчас же посылал за оружейных дел мастером Астрахановым, ибо лишь он один ведал, куда насыпать порох и как подносить фитиль. Наконец-таки, после многих увещаний, посулов и даже угроз, он явился, шаткий и дряблый от пьянства, но ничем именинникам помочь не мог, а только глупо и бессмысленно ковырял пальцем в стволах, нюхая испачканный ржавчиной ноготь.

У театральной тумбы, сплошь уклеенной правилами охоты и противоречивыми описаниями Кублицкого, другие молодые люди — видно, родственники первых — устроили беспроегрешную лотерею-аллегри, и розовый билетик, украшенный клеймом торгового дома Меркеля, давал право на получение одного кулечка с порохом, или двух литых пуль, или трех собачьих намордников.

Уже прибежали запыхавшиеся егеря, уже мать, покрытая незнакомой тальмой, прохаживалась рядом, уже вынесли на инкрустированном паланкине церемониймейстера, уже солнце лежало на крыше самого высокого в городе особняка, но охота никак не начиналась — чувствовалась какая-то неразрешенность, некое затруднение... Никак не могли прийти к согласию, как может выглядеть нынче Кублицкий: утверждали, что он приземист и коренаст, утверждали, что он — переодетая женщина, утверждали, что, как птица, живет он в гнезде на коричневом вязе у Ильинского сада.

Согласно древним охотничьим традициям, за соблюдение которых вызвался отвечать кареглазый незнакомец во фризовой архалуке, подстреленного Кублицкого следовало положить на правый бок, головой в направлении к тому месту, где будут стоять егеря, стрелки и гости. Уже приготовили веточки кедра, одну из которых надлежало вставить в смертельную ранку Кублицкого, а другую, обмочив в его свежей крови, прикрепить к лентам охотничьих шляп; уже безжалостный жребий выбрал, кому быть загонщиком, а кому — стрелком; уже пощелкивали на ветру флажки... Но нет, никак не могли начать, все спорили о повадках Кублицкого, говорили, что теперь у него брачная пора и поэтому он необычайно свиреп, говорили, что теперь у него линька и поэтому он осторожен и вкрадчив, говорили, что он самец-единорог и, убитый, требует к себе ритуального траурного почтения, говорили, что у фрекен Эльзы уже третий день регулы и она никого к себе не зовет, говорили, что эфенди Асаф видел в Стамбуле младенца о двух головах, говорили, что напрасно церемониймейстерпил теплую водку — опять будет блевать и расстегивать себе брю-

ки, говорили, что если грейпфрут назвать помпельмусом, то где-нибудь поблизости непременно окажется толстый голландец в клетчатых бриджах и роговых очках, который заулыбается понимающе, закричит по-гусиному: «Га-а-а-ага!» Будто бы забыли, зачем собрались здесь: прогнали Астраханова, небрежно отложили оружие, купленное на аукционе, не заметив, насорили по всей площади круглыми пулями, к которым, как к гороху, приценивались теперь ненасытные голуби, расхаживающие тут с видом жирных купчишек, и напрасно, кажется, незнакомец в архалуке лез из кожи вон, чтобы не угас интерес, чтобы не утих азарт.

Раздобыв где-то морской рупор, он надсадно кричал, что самый меткий и везучий стрелок получит на память если уж не чучело Кублицкого, то череп его — обязательно, ибо удачно скомпонованные череп, нижняя челюсть и мелкие плюсневые косточки являются красивым и долговечным трофеем, каковой — если повесить его над камином — способен придать комнате уютный, благополучный вид, и взявшийся неведомо откуда Юрий Георгиевич, хищно поглядывая в сторону Андрея, старательно записывал за незнакомцем, что после отделения головы снимаем с черепа кожу, острым ножом уstraняем мясо, удаляем мозг; затем погружаем череп в посуду с мягкой, чистой и холодной водой и вымачиваем так целые сутки, периодически меняя воду; потом погружаем череп до выростов лобных костей в горячую воду и вывариваем два часа; далее вываренный череп следует отбелить, высушить и укрепить на деревянном щитке...

«Если вас интересует шкура, — продолжал незнакомец, — то следует запомнить, что продольный разрез на брюхе, как при освеживании копытных, не делается. В данном случае кожа прорезается только по внутренней поверхности ног до анального отверстия. Шкура снимается со всей туши методом выворачивания. Перед началом этой процедуры необходимо дать стечь крови. Места ранений следует присыпать древесными опилками... Надо стараться, чтобы на шкуре не оставалось мяса или жира, иначе при сушке она запарится... Надо помнить, что высушенная шкура должна сохранить все свои подлинные размеры — от носа до хвоста...»

Как объяснить вам, господа? Вдруг то, в чем был уличен в нашем доме Кублицкий, стало казаться сном, и не было никаких вещественных доказательств, чтобы убедиться в обратном. Я отдергивал штору, и от дрожащего, как стенка мыльного пузыря, стекла шел легкий запах ментоловых капель. Но запахи не в счет, тем более что был лишь намек на запах, приглашение, так сказать, к размышлению, и действительно хотелось наконец отличить от мнимого явное. Я спрашивал себя: а может ли быть мнимая явь? или наоборот — может ли быть?.. Встревоженный запахом, я осторожно выходил на мнимые улицы и видел воочию живых людей — они толкались каменными плечами, и тяжелые испарения поднимались из их воспаленных чрев. Как ни внимательно вглядывался я в людей, в их каменные плечи, в их складчатые бронзовые накладки, в их мраморные гладкие лбы, все-таки не находил среди них Вадима Иосифовича, но все равно понимал, что не исчез он, а лишь хитро выбрал новые, непонятные и незаметные для посторонних формы своего существования. Его вроде бы не было, но в то же время он был везде, и я, довольно быстро разгадав его уловку, старался не замечать, как маляр, опутанный веревками, словно Петрушка в кукольном театре, лениво водил кистью по отвесной стене громадного дома. (Маляр со спиной Вадима Иосифовича. Я пробовал было кричать: «Послушайте, вы уронили кисть!» — и с лесов на меня смотрело удивленное незнакомое лицо, которое выдавала какая-то быстрая складочка между бровями.)

Или так: мы с матерью, напуганные все учащающимися моими отлучками в другие реальности и времена, старались дружить, хотя наша новая дружба походила на старую не более, чем, скажем, курага походит на свежий абрикос, но тем не менее мы изо всех сил старались изображать дружбу, любовь: все эти ужимочки, все эти приторные словечки, приправленные сахаринном, но не сахаром, все эти подчеркнутые любезности. Вдруг стало иметь значение, кто первым войдет в дверь (мы долго препирались, пропуская друг друга, и так бы

ло стыдно...), вдруг она вышивала монограммы на моих носовых платках и, смущаясь, преподносила их мне упакованными в нежное саше, вдруг к ее приходу я начинал дверные ручки мятой бузиной, и они горели — так бессовестно горели! — на скромном предзакатном солнце; вдруг нам обоим приходило в голову попробовать мороженое в новом кафе на углу Милютинской и Рождественской, хотя третий день у меня побаливало горло, а мать с отроческих лет недолго любила такие вот заведения, где поджарый студентка заказывает стакан холодной воды, где щебечут беспутные гимназистки, где сидит отставной жуир и, кутая глаза морщинистыми веками, думает о том, что снова он молод, что снова изрыгают пену бутылки с шампанским, что снова все вокруг пеэстрит от цыганок, а под столом ножка в шелковом чулке, и ножку всю можно измять, истрогать умелыми пальцами... Бурные радостные сборы. А если я предпочту эти бусы? А ты не будешь возражать, если я пойду без галстука? Да. Нет.

С тяжелым сердцем мы выходили на улицу — по рассеянности мать забывала надеть бусы, а я не надеть галстук, — и на душе было так, словно кто-то наследил там босыми влажными стопами. Многолюдная, многоголовая толпа угадывала наше невеселое настроение и, злорадствуя, напоминала нам о Кублицком — то там, то сям мелькали разрозненные части его старомодных туалетов, поделенные между несколькими носителями, которые всё торопились прочь, укрывая свои ухмыляющиеся лица то полкой длинного плаща, то просто растопыренной ладонью.

Мы останавливались. Мы с укором смотрели друг другу в глаза. «Давай вернемся, — говорила мать, — я забыла надеть бусы». «Давай вернемся, — говорил я, — я забыл снять галстук».

Глупо и пошло, но что-то нам надо же было говорить!

Мы понуро возвращались домой, и я не признавался в том, что уже третий день побаливает горло, что из гладкого и скользкого оно превратилось в узкое и шершавое, и мать, вторя мне, не признавалась, что не любит дешевых кафешек, где и студенты, и гимназистки, и жуиры — какое-то неприятное и угрожающее смешение времен, — к тому же она сама, будучи юной, однажды побывала в подобном заведении, казавшемся таким благополучным с виду — аккордеонист со склоненной головой задумчиво обнимал свой тихо поводящий боками аккордеон... музыка... продолговатые капли дождя за окном... голые дольки пахучих апельсинов... еще, кажется, кофе... что-то еще и кто-то еще, и слова, сначала нежные и просительные, затем — громкие и требовательные, и сразу же — бег, истошная попытка спастись, а за спиной, мокрой и прозрачной от дождя, — топот тяжелых башмаков, судорожное дыхание и растопыренные жирные пальцы...

Когда-нибудь я попрошу мать рассказать об этом подробнее...

Когда-нибудь, но теперь мы открывали двери нашей квартиры и пристыженные и настороженные заходили внутрь и не знали, куда деть наши руки, куда деть наши глаза. Хотелось произнести вслух мучившую нас фамилию, хотелось увидеть Вадима Иосифовича, застать его за каким-то никчемным, безопасным занятием, но мать категорически отказывалась, что узнала быструю складочку на рябом от краски лице маляра или двубортный чесучовый пиджак, напыленный на верткого хромого, который, загоразивая лицо рваной газетой, послал нам глумливый воздушный поцелуй. Но как же я хотел все-таки застичь, обнаружить Кублицкого! Я думал, что он — жертва, я думал, что я — охотник, я думал, что увижу его слюну, стекающую из распахнутого рта. Я не заметил, как жертва стала ловцом, теперь уже Кублицкий не стеснялся и все чаще подходил на недопустимо близкое расстояние: все чаще я слышал его дыхание, запах его сладковатых лекарств; я чувствовал, как толстенький его указательный палец забавляется со взведенным курком; я почти что видел его песика маркой окраски, который, злобно урча, натягивал поводок и был готов броситься за мною, раненным, вдобавку. Но пока еще Вадим Иосифович медлил, оттягивал удовольствие, забавлялся, обманывал меня. Вдруг наша обычная немая лестница озвучивалась его — безусловно его! — шагами, и я, разъяренный от страха, выскакивал на площадку: очень мирный глухонемой сосед

живший напротив, приветливо хлопал глазами и тыкал указательным пальцем вниз: вот, мол, на прогулочку собрался; или, подосланный Кублицким, мужик орал на всю улицу: «Ножи точку, ножи точку!» — предлагая, видно, мне вооружиться заранее; или, репетируя осаду, водопроводчик на час отключал из нас воду, и сохло, нестерпимо сохло во рту; или кроссворд из журнала предлагал угадать фамилию неизвестного шахматиста на «К»; или на соседней, сплюсненной с боков и изогнутой, как запятая, улице открывалась выставка художника-примитивиста, который пытался убедить всех, что антоновские яблоки похожи на ярко-желтые кляксы; или пластический хирург сосредоточенно колдовал над лицом прокаженного; или в кармане оказывалась монетка — какая-нибудь албанская лека, — и на нее, конечно же, ничего нельзя было купить; или...

Ну как все-таки объяснить вам, господа?! Я видел подлинных охотников, которые, преследуя вепря, грубо отпихивали меня, когда я цеплялся за горячие стволы их ружей. Я видел солнце и тень: на солнце бутоны разнимали слипшиеся за ночь лепестки, а в тени тлел мертвенный иней. Было, кажется, раннее воскресное утро, и Бог весть зачем я оказался на улице, на которой минуту назад не было еще ни меня, ни хриплых длинноногих охотников, а только позвякивала тележка молочника, уже скрывшегося за углом.

Помнится, я возмутился, вознегодовал: какое вы имеете право охотиться здесь, в городе, где так много спящих беспомощных людей, ваша тяжелая пуля может навьлет пронзить любого из них, прошу вас, убирайтесь отсюда... и охотники, которым хитро и весело подмигивал из предместного леска спасшийся зверь, гортанно бранясь, остановились, спешили, разнуздали своих переливчатых скакунов.

Щемящее беспокойство овладело мною: я подумал — неспроста, неспроста эти сильные загорелые люди вдруг перестали браниться и, набивая короткие трубочки крупно порезанным табаком, так внимательно изучают меня, шурят хищные глаза, перебрасываются роскошными словечками на мужском своем языке.

Ближайшее окно, из-за которого могла появиться бы помощь, было предсудетельно загорожено ставнями, молочник — мирный гражданский плут, совершенно не способный быть чьим-либо спасителем, но все же... — уже настолько углубился в сегодняшние улицы, что даже бубенец на его тележке подавился и стих; оставалась надежда на квартального, но хмуρο вспомнилось, что он всего лишь литературный персонаж.

Один. Вдруг отчаянная, неестественная надежда: да они хотят подружиться со мной, принять в свое удалое братство! Откуда-то я знал об упоительном обряде посвящения в охотники — смесь барокко и рококо: сейчас мы, обнявшись, выйдем к кудрявому леску, разожем костер, и жидкое пламя до углей утопит в себе корявые сучья. Сейчас, когда мой страх отменил амнистию вепрю, я бы с удовольствием подстрелил его... круглая рана в боку, мощная упругая струя крови, будто у винной бочки вышибли пробку... хмельная, горячая кровь, мы поочередно приложимся ртами к дырявому вепрю и, распрямляясь, будем сплевывать жесткие щетинки, прилипшие к губам. Мы, мы... — не счастье ли это, ведь совсем недавно еще я был один, один. Хмельная, горячая кровь, от нее так необычно, так странно в голове, каждая долька моего мозга ожила, распрямилась, руки перестали дрожать, и глаза не слезятся. «Я согласен, согласен», — шепчу я, и мне дают колчан, стрелы и лук, чья тетива так туга и остра. Я согласен, согласен... я согласен попасть стрелой в золотой ранет, что бесстрашно водрузил на свою плоскую голову один из моих новых товарищей. Несоответствие: маленькое яблоко и большая голова, лучше бы — наоборот. Пожалуйста — мне идут навстречу, — можно и наоборот, — но снова я вижу лишь маленькое яблоко и огромную, в половину неба, голову: глазам трудно смотреть сквозь облака, печет от близкого солнца лоб.

Дальше все очень медленно: кровь вытекла из убитаго вепря, он лежит на боку мятый и маленький, хмельные охотники в плавном танце кружатся вокруг, матовыми губами произносят слова: «Ну давай же, давай, прищурь один глаз, прицелься и выстрели, раз-два-три, раз-два-три, только не промахнись,

раз-два-три, раз-два-три», — и я послушно прикрыл один глаз. И другой глаз тоже прикрыл: хотелось спать.

Дальше все очень медленно: стрела выпорхнула из моих слабых пальцев, и охотники, не прекращая танца, закричали: «Поглядите-ка, что натворил этот негодник, ведь он убил нашего товарища, Ганса или Петра, Луиджи или Рене, раз-два-три, раз-два-три, и мы вынуждены теперь оставить свой трехдольный танец и отомстить, раз-два-три, раз-два...»

Дальше все очень быстро: я открыл глаза — и сон как рукой сняло. Действительно я промазал, и моя стрела глубоко сидела в глазнице Ганса или Петра, Луиджи или Рене — бедняга еще не умер, еще корчился на сочной траве, сжимая коченеющими пальцами не нужное больше яблоко. Да, да, очень быстро: быстро охотники шарили у себя по карманам, доставая порох и дробь, быстро я убежал от них, быстро вдогонку мне грохнул первый выстрел, и матерый кобель-трехлетка визжал и крутился на месте, требуя, чтобы его спустили с поводка. Спустили. Его гуттаперчевые прыжки, его оскаленный рот в клочьях розовой пены, его мокрые желтые зубы и смрадное дыхание его...

Я убил собаку. Но если бы меня за убийство судили и просили — для облегчения участи — назвать орудие и способ убийства, то, огорчая милягу адвоката и рыдающих родственников, я бы ничего не ответил: я забыл, я не помню, как я ее убивал.

Я убил собаку, она, как вепрь, как Ганс или Петр, как Луиджи или Рене, лежала среди луговых цветов, и голодные птицы склевывали ее глаза. Снова за спиной грохотали выстрелы, ознобом подернулся кудрявый лесок, вытряхнув из недр своих линялых русаков, которые стремглав бежали, чтоб спастись, но разве, зверь, найдешь спасение ты в беге, усладу в сумрачной своей норе, когда все позади — охотников морщинистые лица, лай псов и перхоть дробы, покрывшей небо, траву и цветы? С рассветом следующего дня ты снова выйдешь на лесные тропы, чтоб вновь бояться умереть, и снова ляжками ты заработаешь спасенье, которые, как пружины, вытолкнут тебя из круга опасности... И так до послезавтра, а послезавтра ты прыгнешь чуть слабее, а дробь окажется проворней, чем обычно, и все, конец.

Будто бы что-то грозило начаться и никак не начиналось. Никак не могли начаться стихи, никак не могли начаться меткие выстрелы, хотя я бежал по открытой местности, и охотники сумели бы без труда поразить меня.

Снова медленно: уже почти окружив меня, загонщики и стрелки, разбившись попарно, опять начали танцевать, собаки, словно забыв про погоню, растянулись на теплой земле, положив на лапы умные головы. Что еще? еще, навевшись глазами убитого пса, сытые птицы с распластанными крыльями прилипли к небу, и солнце, опущенное облаками, светило вполсилы...

Чуть быстрее: коренастый егерь пригласил меня на танец, и я обнял его за потную дегатированную спину. Раз-два-три, раз-два-три — считали мы вместе, и лицо егеря было насмешливым и суровым, а мое — заискивающим и слабым, хотя, может быть, что-то я путаю: порой мне казалось, что, прилепив ладони к зеркалу, я танцую с собственным отображением, которое пока вело себя миролюбиво и вполне благочинно, несмотря на то, что я постоянно сбивался и однажды при развороте даже наступил ему на ногу.

Еще чуть быстрее: хотя мне достался покладистый партнер, танец не причинял удовольствия, ибо среди прочих танцующих я заподозрил Кублицкого с Юрием Георгиевичем, которые, облавив друг друга, увлеченно вальсировали (в то время как остальные уже перешли к мазурке), хитро и ядовито поглядывая на меня, переговариваясь на каком-то особом, видно, охотничьем языке, и — верите ли! — я не понимал ни единого слова!

Аллегро: вдруг что-то случилось — то ли движение неосторожное, то ли просто жиденький ветерок вымыл из моих рук зеркальный осколок, и я уже не танцевал, и мой добрый покладистый егерь — тоже, и Кублицкий с Юрием Георгиевичем — тоже, и вообще никто больше не танцевал. Стало тихо, совсем тихо, мучительно тихо, лишь поскрипывала, качаясь, стрела в глазнице убитого Ганса (или Петра, или Луиджи, или Рене)... Еще тише: кто-то походя дернул стрелу, и она, словно штопор, вытянула за собой тусклый окровавленный

глаз — заворчали, заволновались собаки. Молча: молча егерь, опустившись на одно колено, пичкал свое огромное ружье ржавыми пулями, молча Кублицкий с Юрием Георгиевичем доставали сверкающие свои кинжалы, молча перестало светить солнце, скрывшись за пазуху зеленоватой тучи.

Снова медленно: медленно и старательно я убегал от своих мучителей, которым, видно, уже наскучило так долго забавляться со мной — они наконец-таки вспомнили, что их стихия — охота, горячий воздух погони, хриплые стоны обезумевших от вожделения собак... Охотники мчались за мной, разрывая шпорами кожу своих сытых лошадей, охотники мчались за мной — оборачиваясь, я видел их искаженные яростью лица, на которых вдруг суживался один глаз — они метились, метились в меня и стреляли наперебой из длинных двустольных ружей; каждая вторая пуля могла исправить ошибку первой...

Вдруг воображение обгоняло меня, и я с ужасом видел уже спешившихся, уже окончивших свое дело охотников. Кольцом они сидели у моего поверженного, побежденного тела, что было разомкнуто тяжелыми пулями — я видел собственное неподвижное сердце, изящную чету почек, слиток гладкой печени, чуть надорванную кишку... Как объяснить вам, господа? — теперь я слышал голоса охотников, они пировали и бражничали, они бранились и спорили, чья же именно пуля свалила меня, и егерь брался разрешить их спор. Изучая, он ощупывал меня, и его руки накрепко примерзали к моему окоченевшему телу, как, бывало, в детстве мой язык примерзал к раскаленной холодной кладбищенской оgrade — какого-то там декабря мы с матерью ходили к серому гранитному надгробью, чтобы кинуть птицам пшена и смести снег с головы кудрявого ангела.

Я спасался все медленней, и снова воображение обгоняло меня — прикрывая чресла, по городу разгуливал обнаженный ангел, ласково спрашивая у прохожих, где в это время года он может найти... Да, он искал меня! Находил. Вырывал из рук бранчливых охотников. Успокаивал, каменными пальцами промакивал жгучие слезы с моих розовых щек, вел все к тому же надгробью, буквы которого в свое время я не удосужился сложить в печальные торжественные слова. Зато теперь, теперь у меня была возможность прочесть, я читал собственную фамилию, имя; я читал: «Незабвенному сыну и пасынку, трагически убитому на охоте, от скорбящего Вадима Иосифовича и безутешной мамы».

Пухлыми ручками мой ангел отодвигал могильную плиту, учтивыми жестами приглашая меня спуститься под землю, и когда я в испуге отказывался: «Нет, нет, ведь там кто-то уже лежит!» — он, грубая, силой запикивал меня туда. Я был под землей, я слышал сладковатые запахи тления, я чувствовал, что наверху уже наступила зима — поскрипывал снег под чьими-то невеселыми ногами, птицы хлопотали у разбросанного пшена, горько вздыхал обнаженный ангел.

Еще медленнее, почти неподвижно: дожидаясь, пока стихнут шаги и насытятся птицы, я выбирался из своего укрытия, и ангел, приледеневший к постаменту, не в силах был помешать мне, а только шептал гадкие напوماженные словечки.

Вокруг был город и была ночь. Я вспомнил какого-то мальчика, который некогда пытался убедить меня, что покойный приват-доцент Смоленский на самом деле мой ни разу не виденный отец. Я спорил с мальчиком, но его настойчивость была так приятна!

Вокруг был город и была ночь. Я возвращался домой.

Как объяснить вам, господа?! Воображение сыграло со мной злую шутку: я думал, охота закончена и опасности позади, я думал, что я теперь бестелесный призрак и даже гладкий ночной воздух в силах проветрить мое невесомое тело, я думал, что я могуществен и хитер и в силах теперь легкими шагами прокрасться домой, чтобы внезапно обрадовать мать и розогорчить Кублицкого, которые, наверное, уже легли спать, слипшись, как монпансье, но, избавляя меня от сомнамбулических представлений, прямо за спиной раздалась чечетка оглушительных выстрелов, и я увидел, что охота в разгаре и охотники в остроносых ботфортах почти настигли меня. Снова, подныривая под едкий пороховой дым, по моему следу мчался оскаленный грифон, и мне снова приходилось умерщвлять его.

Это уже было когда-то... Когда-то окаменел живой, с гусяными крыльями ангел, когда-то окаменели люди — кардиналы, герцоги и короли, — превратившись в скульптуры на неподвижных конях, когда-то окаменел кудрявый лесок — теперь мы опротивело неслись по городу, и я, спасаясь от нового выстрела, от нового грифона и от нового трехдольного танца, вспоминал, что все это уже было когда-то.

Я вспоминал подробный, хотя и несколько слащавый путеводитель — снова перед глазами мелькали золоченые дворцы и ровные, разглаженные воображением улицы, маленькие, будто вылепленные из теста церкви и старинные площади, подмывающие корни каштанов и вязов фонтаны с застывшей, словно хрустальной водой и живописные скверы, розовые и зеленые от травы и тюльпанов, обе Триумфальные арки, одна из которых, на площади Карусели, была с колоннами, а другая, на площади Звезды, без них... — это уже было когда-то.

Медленно или быстро — теперь все равно. Воспоминания успокоили меня, охладили лоб. Я пришел понемногу в себя и больше не бежал. Я перешел на шаг. Мраморный вельможа поманил меня пальцем, и с легкостью, неожиданной для моего состояния, я вспрыгнул на пьедестал. Я поцеловал гладкую каменную руку, и мраморный человек, удовлетворив свою вековую жажду теплым, живым прикосновением, взял меня под свое покровительство — тотчас же мои преследователи поскущели и съезжились, теперь их куцые ружьишки не стреляли и, потеряв голос, лишь слюнявились жиденьким дымком, теперь их карликовые песики, предчувствуя скорую непогоду, дрожали, скулили и просились на руки, теперь я был высокомерен, могуществен и хитер... — и это уже было когда-то.

Теперь я не прочь был станцевать: раз-два-три, раз-два-три, быстро или медленно — все равно. Теперь, беззаботно посвистывая, я мог повторить путь, некогда пройденный Зоей, от площади Бастилии, мимо погребков экзистенциалистов, которые липкими пальцами вновь теребят свеженький номер «Тан модерна» и повторяют вслед за Кьеркегором и Сартром: «Если мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на самом деле ангел?» — мимо богемных кабаре, где опять педерасты тянут вперед карминовые губы и просят потрогать их ватные груди, мимо звуков и немоты, мимо призраков и людей, мимо яви и сна, и так до террасы Сакре-Кёр, где Зои, конечно же, нет, но есть женщина другая, или девушка другая, что отрешенно глядит на оставшийся внизу город, высасывая слабенький дым из своей уже почти потухшей папиросы, и когда я приближусь к ней, обожгу чистым дыханием, поцелую спелые дольки ее губ, расскажу про смертельную опасность, еще недавно грозившую мне, то она доверчиво обнимет меня, прижмется некрепко и тихо-тихо, на самое ухо, произнесет свое имя.

VIII

И действительно, все чаще в последнее время рядом с ним можно было увидеть некую вполне стройную девушку — судя по походке и сладким ужимочкам, девицу еще, — хотя никак не удавалось разглядеть ее лица, ибо старалась она повернуться к любому зевাকে, к любому наблюдателю непременно спиной и лишь в сумерки позволяла себе вдруг запрокинуть голову и резво покружиться на месте, отчего черный шифон ее юбки вздымался круглой волной и загорался быстрыми искрами.

Но то, что было для других простым и понятным — вон, поглядите-ка, наш знакомец со своей барышней гуляет, — вызывало у Андрея неприятное затруднение и раздумье: вдруг, когда запекшиеся губы еще не успевали остыть, отдохнуть после глубокого поцелуя, он совершенно забывал, как зовут его спутницу и откуда она взялась. Тягостные, ипохондрические сомнения: он начинал сомневаться в существовании террасы Сакре-Кёр, сомневаться в подлинности девушки, хотя, казалось бы, вот она, рядом, и стоит только протянуть руку... Он слушал вечерний воздух, надеясь, что случайный звук подскажет ему правду, но было тихо, лишь где-то на Спасской визгливая баба кликнула своего

подгулявшего муженька; он протягивал руку, и пальцы проваливались во мшистую темноту или упирались в шелушащийся ствол березы, он протягивал руку, и рядом никого, никого не было, хотя только что на этом самом месте...

Еще недавно она натужно покрхтывала под его твердыми губами и даже давала потрогать ногу в фильдекосовом чулке, а теперь исчезла, смешалась с прохладой аллея, и вот уже лицо ее, нагломерно посмеиваясь, смотрело с рекламного плаката (анфас) или — в профиль — с экспрессионистского полотна; вдруг распахивались двери — заканчивались занятия в балетном училище, — и разом у всех балерин, почти незаметных от худобы, оказывалось ее лицо; вдруг он узнавал лицо вагоновожатой, которая, сморщив щечки, закладывала на своем трамвае крутой поворот, и хотелось крикнуть вдогонку: «Да ведь это с тобой, с тобой я только что целовался!»; вдруг весь город начинал сверкать ее лицами, и вдруг разом пропало все.

И снова: поцелуй, прогулки в саду, когда от каждого шага подпрыгивает раскаленное, измучившееся сердце, и снова — тягостные, ипохондрические сомнения.

— Зоя? — несмело спрашивал он и по ее удивленным глазам понимал, что ошибся, обозначился, и следом менялось лицо на плакате, и на картине (А. Макке, «Магазин шляп») тоже менялось лицо; ржавел свезенный на край города трамвай, у которого были выбиты стекла, а в проходе между поломанными деревянными скамьями сохли человеческие испражнения; балерины, сплетенные из ивовых веточек, растворялись в свежей листве... а она, ни о чем не подозревая, говорила, что иногда глаза его мертвеют и теряют блеск, и от этого ей становится по-настоящему страшно.

Он провожал ее до дома, в отличие от нее очень прочного и реального, с толстыми стенами из шершавого кирпича, с маленькими оконцами, сквозь которые можно разглядеть всю бессмысленную пантомиму любопытных жильцов, и перед прощанием она уже не давала целовать себя, а только протягивала — для пожатия — потную ручку и надламывалась в совершенно неуместном книксене, подсмотренном, видно, в каком-нибудь театральном спектакле, где и героиня и герой... ах, Боже, эти имитации любви.

Затем, будто бы сами собой, снова происходили их встречи, и снова под его пальцами шуршала ее фильдекосовая нога, и снова ее мягкие, словно из ваты, губы тшились произнести какое-то имя, которое Андрей никак не мог слышать, и снова она поворачивалась к нему боком, как на картине Макке...

Чувствуя, что все это неспроста, он был настороже, хотя старался ничем не выдать своих подозрений, но она заводила его на какие-то безлюдные знакомые улочки, где стояла заброшенная церковка, где бездомные кошки, присев на корточки, лакали из серых блестящих луж, где было что-то еще — очень вчерашнее и очень неопасное, и там, вдаль от чужих голосов, вдруг называла его шевалье Дегрие, а себя — Манон Леско, и Андрей, забыв об опасениях, спрашивал, что привело ее в Амьен и есть ли у нее тут знакомые. На это она весьма простодушно ответила, что родители отправили ее сюда для определения в монастырь.

...Разговор этот протекал так, что мои чувства ей стали вполне понятны, ибо она была опытнее меня: в монастырь ее отправляли помимо ее желания и, очевидно, с намерением пресечь ту любовь к удовольствиям, которая в ней так рано сказалась...

После минутного молчания она заявила, что вполне ясно представляет себе страдания, ожидающие ее, но такова, очевидно, была воля Божия, так как небо не оставило ей какого-нибудь другого выхода... Прекрасная незнакомка отлично поняла, что в мои годы обманщиками не бывают...

О чем, о чем они говорили? Она тоже помнила коронации, дворцовые перевороты и войны, но в то же время говорила, что все это — лишь обманы и ошибки, и даже в отношении меня вы ошиблись: я, конечно же, не Манон Леско, а вы — не шевалье Дегрие.

Оказывается, несмотря на юный свой возраст, она уже пережила драму первой любви, оказывается, год назад был у нее один мотоциклист, который, подъезжая к ее дому в клубах дыма на блестящем мотоцикле, замирал как вкопанный, и все видели, какой он красавец — в кожаной куртке, в огромных перчатках-крагах, с острыми поджатыми коленями, с очками на пол-лица, и она на глазах у всех садилась к нему за спину, обхватывая руками его горячий живот. Мотоциклист нажимал на какую-то педальку, и сразу же дом отпрыгивал далеко назад, а под переднее колесо проваливалась бесконечная дорога. А однажды они спасались от дождя, который на всей скорости преследовал их, и им удалось спастись — дождь отстал, и, забравшись на крутой склон твердого высокого холма, они видели, что кругом дождь, дождь, дождь, и в лужах пузырится разноцветная, словно мыльная, вода, и лишь над холмом было сухо, и когда они вернулись в город, все спрашивали, как им удалось уцелеть, ведь такой сильный был дождь, настоящий потоп — в домах затопило первые этажи, из родильного отделения больницы вымыло всех новорожденных, на кладбище вода растворила землю, и из одной обмелевшей могилы поднялся, весь в Георгиевских крестах, генерал, возмущенный случившимся, и даже успел пальнуть из пистолета, хотя, кажется, ни в кого не попал, хотя, кажется, все это враки, я имею в виду генерала, но мотоциклист был, был и сплыл, вернее — уплыл, записавшись матросом на корабль, и сейчас ему хорошо где-то там, где коралловые округлые острова торчат из воды, как ягодицы нырнувших великанш, где горизонт расчерчен треугольниками яхтенных парусов, где все наоборот: зимой — лето, а летом — зима; где мореплаватели прокладывают путь по звездам Мицар и Алькор, но все равно я не верю в любовь, потому что мой мотоциклист такие слова говорил, а потом просто исчез, и вообще, мне ужасно не везет на настоящего мужчину, на плечо которого можно было бы рассчитывать в трудные мгновения жизни.

Кажется, она была чувствена и глупа, и, чтобы проверить первое и не очень замечать второе, он увел ее в городской сад, в котором заостренные указатели, противореча друг другу, все же выводили к озерцу с гладкой зеленой водой, где лодочник, добродушный старикан, слишком уж настоящий из-за своей мховой бороды, давал напрокат огромную лодку, что опасно шаталась под напряженной ногой.

Они заплывали на маленький островок, где их наверное никто не мог видеть, но она наотрез отказывалась прилечь на теплую траву, говоря, что очень дорожит той капелькой крови, что выступит из нее в первую брачную ночь.

И им оставалось лишь кататься на лодке до изнеможения, до пузырчатых мозолей на руках, а потом она везла его на танцы, где он, чуть не засыпая под музыку, снова просил ее о давешнем, и она опять отвечала отказом, но Андрей не слышал никаких слов, ибо давно уже был игрушечным человечком, танцующим с механической куколкой.

Кто-то вставлял ключ, принуждая куколку к новому танцу, кто-то вставлял ключ, и через весь город понуро брели вельможные мертвецы, оставив без присмотра свои бездонные громоздкие могилы, или глупо мигали куклы из желтой соломы, или громко стреляла мортира, пугая до смерти кавалькаду резвых охотников, колонну усталых солдат или команду храбрых пожарных, политых для украшения розовой мыльной пеной, которая так похожа на жидкий кондитерский крем, а сами пожарные — чего уж лукавить — на шоколадные фигурки с праздничного торта, словом, кажется, время полдника: я повяжу на шею салфетку, я приглашу соседа, чьи щеки как ржавые от рыжей щетины, я скажу по-английски: «Five o'clock», я разрежу пузатого брендмайора и терпеливо дождусь, пока из него вытечет вся густая ликерная кровь...

Однажды не было ни лодки, ни танцев, и они допоздна праздновали именины худого какого-то юноши, и уйдя только за полночь, обратили внимание, что на улице стоят совсем незнакомые деревья и дома, но привычного вовсе и не хотелось, и поэтому они не стали искать нужный номер трамвая, а просто подставили себя слабому ветру, который нес их и нес. и когда вдруг случилась

остановка, напротив был яркий стеклянный подъезд с толстым привратником, что спал, растопырив ноги, на стуле.

Смеясь и пугаясь, Андрей растолкал привратника и ссыпал всю мелочь в его толстые жадные пальцы. Безумная роскошь внутри — чистота, запахи фруктов, цветные витражи. Привратник нацепил генеральскую фуражку и снова заснул.

— Наверное, мы во дворце, — сказала она.

Он почувствовал себя королем, он повелел, чтобы жильцы не покидали своих квартир, он повелел, чтобы заткнулся привратник, бормочущий что-то сквозь сон. Они стояли на площадке между этажами и в случае опасности лишь чудом успели бы принять безупречные безмятежные позы, но опасность не ожидалась — ведь он же повелел...

Платье ее, оказывается, застегивалось на тысячу пуговиц, и все они мелко юлили под пальцами, но в конце концов платье сморщилось и упало. Она стояла будто античная статуя, молча, неподвижно, прикрыв пах руками, и вовсе не хотелось нарушать величие ее позы, а хотелось и самому раздеться, замолчать и окаменеть. Но она вдруг стала медленно опускаться прямо на пол, и вдруг сразу вспомнилась Зоя, которая белыми от нетерпения губами бормотала какую-то бессмыслицу, напоминая о новом отпльгтии, и — помните? — мы уплывали с ней, испытывая жгучее наслаждение от грубой кочки и от волн, что бесновались там, под нами, грозя разбить наш утлый челн... Сплетясь горячими ногами, мы не боялись утонуть и в бурных судорогах страсти вновь продолжали грешный путь: тела сгибались, пели снасти... Потом вдруг ветер утихал; наш путь кончался. Снова суша. Мужчина скучный подъезжал, с ботинок мокрых снег счищал и тишину в подъезде слушал, крадась по мраморным ступеням. Теперь — одеться, встать, уйти. Банально сдвинуты колени, одежд застегнуты крючки, глаза серьезны и сухи, как будто не было пути, как будто плавать не умели ни я, ни та матерая женщина, любившая, чтобы я вмещал в каждый свой поцелуй ее краткое имя.

Своими воспоминаниями я, видно, потревожил жильцов, и сразу все задышало, задвигалось: по лестничным маршам бодро засеменяли люди — вверх и вниз, по отвесной стене, как огромная капля, стекала желтая кабинка зарешеченного лифта, привратник позвонил в колокольчик и строго спросил: «Можно открывать глаза?»

Да, можно открывать глаза, можно бодро семенить, звонить в колокольчик и кататься на лифте — моя принцесса чудом успела одеться и даже чиркнуть себе помадой по воспаленным губам.

Так называемые Елисейские поля — самый прекрасный проспект Парижа, тянущийся от площади Согласия до Триумфальной арки на площади Звезды. Прокладка этого проспекта началась под руководством Ле Нотра с установки скульптурных групп, известных под названием кони Марли — творения Гийома Кусту (1747 год). Со стороны площади Согласия проспект окаймлен садами и изящными постройками (рестораны, театры), дальше, в направлении площади Звезды, слева возвышаются два выставочных здания, так называемые Большой и Малый дворцы, построенные в 1900 году для Всемирной выставки. Остальная часть проспекта, до Триумфальной арки на площади Звезды, тянется между высокими домами современной архитектуры, в которых размещаются редакции многих газет, кинематографы, магазины, торгующие главным образом предметами роскоши, магазины по продаже автомобилей большинства существующих марок. Проспект как бы является связующим звеном между старым и современным Парижем. В дни национальных праздников по проспекту церемониальным маршем проходят войска, и он служит местом патриотических манифестаций.

Потом газеты, хрустя по-особому, объявили великую сушь, и от нестерпимой жары, от горячего облака молочного пара, в котором плавал весь город, хотелось поскорее раздеться, разуться, стать голым, босым и всесильным. Она и словом не обмолвилась о том, что едва не произошло в том разноцветно-лучи-

стом, заостренном к небу подъезде. Наверное, от страсти, которая, как колючее молодое растение, хищно продиралась сквозь ее горящие внутренности, ходить она стала громоздко и неуклюже и уже не разрешала целовать и трогать себя, а только молчала, иногда начиная безутешно рыдать. Иногда пленочка ее молчания надрывалась, и тогда оголялись прежние, уже надевшие слова — она снова вспоминала об удалом мотоциклисте, жаловалась, что нынче на мужчину положиться нельзя, или вдруг приплетала какое-то трагическое несправедливое событие, никак не связанное с ней, но она не лгала, нет, совсем не лгала, а, напротив, была бесконечно правдива, объединяя плавной властью судьбы всех обездоленных женщин. Она вдруг соглашалась, что именно ее именем Прево назвал свой безвкусный роман, что именно ее Макке изобразил на картине, что именно ее вывели из дворца и подвели к угрюмому палачу.

Молчание. Воспоминания... Воспоминания в виде колоды глянцевого карт — он видел надменных королей, смиренных дам, собственное лицо с телом валета...

Игра: дама побивает валета, король забирает даму. Испуганные слова: уже игра началась, а мы совсем не знаем правил...

Испуганные слова: он пригласил ее к себе домой и больше жестами, чем словами объяснил ей, что там уже ничто помешать им не сможет, и она с благодарностью согласилась, но в назначенный час, попав в ногу с минутной стрелкой больших настенных часов, вдруг появилась мать, которая сказала, что нет, она не видела рядом с домом никаких удивительных барышень.

IX

Вчера снова была зима. Вчера снова была Зоя — я видел, как они с Юрием Георгиевичем осторожно спускались по обледеневшим ступеням бывшего дворца, превращенного ныне в театр, где только что закончилась сладкоголосая опера. Юрий Георгиевич был взвинчен и сердит; по клубочкам пара, резко вырывающимся из его усатого рта, я понял, что теперь ему не до искусств и классических композиций, — кажется, он догадался обо всех Зоиных похождениях, или вдруг она сама проболталась ему. Не желая усугублять ссоры, я поостерегся подходить к ним и издали наблюдал за тем, как испуганная Зоя, подобострастно семеня за мужем, пробует объяснить ему, что осведомитель его нагл и лжив, что она погорячилась и в сердцах оболгала самое же себя, что она готова на все, лишь бы он простил ее, хотя прощать, собственно, не за что.

— Я готова на любую нелепицу, хочешь, например, я громко запою прямо здесь, на улице, только бы ты не сердился, — говорила она.

Украдливо следовал я за ними. Возмущенный Юрий Георгиевич размахивал перед собою руками, словно дирижировал морозной уличной тишиной, и его папираса, обнажая красный искрящийся табак, была точь-в-точь дирижерской палочкой. Зоя пела. Зоя старалась и пела изо всех сил, и снег тихо ложился в ее широко разинутый рот. Зоя пела, и верхняя кровавая губа ее почти прилипала к ноздрям, а нижняя, вывернутая наизнанку, обнажала влажные, чуть тронутые кариесом зубы. Я не различал слов, хотя, кажется, их и не было, и только лишь Юрий Георгиевич, принимая этот стон, эту мольбу за песню, расходился все больше и вот уже даже вспрыгнул на каменный постаментик, где дрожал от страха и холода гипсовый купидон.

Жили они, оказывается, невдалеке от театра, и их дом, описывая который — в прежние времена — Зоя не жалела ни чувств, ни самых затейливых эпитетов, оказался много скромнее, чем можно было предположить, хотя действительно окна с широкими карнизами выходили на реку с паромом, а у ступеней подъезда присела парочка карликовых львов со снежными париками между собачьих ушей.

Успокоенный заботливым пением жены, Юрий Георгиевич заметно подобрел и, обыскивая себя в поисках ключей, вдруг вспомнил, что однажды, будучи студентом, принимал участие в тушении настоящего пожара. «Был примерно вот такой же вечерок, — говорил он, — морозный и хрустальный, и ты даже вообразить себе не можешь, как мне шла пожарная каска».

Чуть порозовело от каких-то дальних огней чистое, очень театральное небо, медленно, словно на ощупь, мимо проехала старая пожарная машина. «Вот-вот, так все и было, — еще пуще оживился Юрий Георгиевич, — но черт возьми, куда подевались ключи!»

Ключи не нашлись, и они, топчась на заснеженных ступеньках, долго звонили в дверь и ругались вполголоса, что опять эта слепая карга, привратница Изабелла Игнатьевна, дрыхнет мертвецким сном, а они тут должны зябнуть, и снова Юрий Георгиевич начинал злиться, обвиняя жену в холодности и неблагосклонности, и Зоя, успокаивая его, льнула к нему и, давая тискать себя, оглашала окрестности незнакомыми мне визгливыми возгласами.

Наконец им открыли дверь, и немного спустя загорелось окно на каком-то нечетном — третьем или пятом — этаже.

И все-таки вчера снова была зима. И снова был Вадим Иосифович Кублицкий, с которым играл я в шахматы и, увлеченный тревожными размышлениями, почти не замечал, как он осторожно, чтобы не видела мать, снимал визитку и показывал мне круглый аппетитненький мускул на белоснежной руке. «Вы что-то сказали?» — спрашивал я, внезапно вскидывая глаза, но никак не удавалось застать его врасплох — отделенный восемью клетками шахматного поля, он невозмутимо сидел напротив меня, одетый как позавчера и как неделю назад, то есть в суконный пиджачок, локти которого зеркалились и просвечивали. Короткопалые руки, мнущие новую папиросу, однокрылый мотылек зажженной спички, зыбкое лицо в тонкой табачной пене, отвесная борода...

— Нет, я молчал, но вам шах...

Где-то далеко, за нашими спинами, мать заваривала чай — пахло бергамотом и ванильным печеньем, и Вадим Иосифович жадно раздувал ноздри и закатывал глаза: угроза; угроза, обозначенная коротким персидским словом, слишком явная, чтобы не заподозрить настоящую, трагическую опасность, которая пока невидима, и лишь гнетущие предчувствия служат ее авангардом.

Я пытался спастись, дрожащим пальцем я трогал свои фигуры, выбирая наиболее твердую, чтобы она смогла надежно защитить короля, но фигуры, словно отлитые из воска, таяли от моих горячих прикосновений, и букет зимних цветов, принесенных Вадимом Иосифовичем, таял тоже, и за окном ледышка с неподвижной каплей напоминала восклицательный знак. Непрочность, непрочность во всем: растаявшие шахматные фигуры стекали на пол, вместо цветов в вазе подрагивала талая вода, вместо льда за стеклами — свежие почки, уже высунувшие зеленые язычки, вместо одуловатого Кублицкого — легкая бесплотная тень, бегло говорящая на персидском.

Несколько вопросов:

1. Какое время года или хотя бы — какое время суток теперь?
2. Вадим Иосифович, вы, оказывается, успели обзавестись новой бородой?
3. *Croyez-vous, que nous ferons de bonnes affaires aujourd'hui?*⁴
4. Вы что-то сказали?

Он сказал, что объявляет шах, то есть объявляет угрозу королю, то есть охотится за ним, но одно обстоятельство осложняет все дело: король оказался восковым и бесславно растаял, тогда как охоту никто не отменял, и поэтому не взывайте, Андрюша, но мне придется... и, понимая смысл давешних предчувствий, я снова видел белоснежные руки Кублицкого: он азартно переодевался — скидывал визитку с шелковой розой на лацкане, ажурный пластрон, бостоновые брюки со штрипками, требуя, чтобы мать принесла ему парадный охотничий костюм и ботфорты, а выездной лакей седлал нервного ахалтекинца.

Где-то там, вдали, где узкие улицы собирались в каменный кулачок площади, уже призывно гудел охотничий рог, и я, глядя в последний раз на доску — нет, не было спасения, — пытался выбраться из собственной квартиры, расталкивая посыльных, которые явились поторопить Вадима Иосифовича, но он,

⁴ Как вы думаете, хороши ли будут нынче наши дела? (Франц.)

празднично одетый, отнюдь не спешил и, важно прохаживаясь по комнатам, повторял лишь одно и то же: «Ditres au roi de Naples qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon echiquier»⁵.

Я не знаю, что было вчера, хотя моя безымянная девушка утверждала, что будто бы была среда, и, значит, завтра Иванов день — день, когда прыгают через пламя, танцуют вокруг дерева Марины, а ведьмы летят на Лысую гору.

Хотелось кое-что уточнить, и я отправлялся на наше место, под часы, которые — так и есть — показывали 24 июня, но там моей безымянной красавицы не оказывалось, и я — в поисках ее — отправлялся по улицам и городам, спрашивая встречных, не видели ли они барышни в фильдекосовых чулках и черной шифоновой юбке. Нет, не видели.

Странные улицы, странные города: рука, уставшая от кружев русских церковных куполов, постепенно переходила к романским и готическим углам, хотя, кажется, еще не поздно было вернуться в страну, где взорвали храм Спасителя, но нет, уже вливались неслышно омнибусы, какая-то особа визгливо требовала, чтобы ее называли... ну, скажем, баронессой и оказывали соответствующие почести, в кухмистерскую ломился подгулявший мещанин, на М. Бульваре (дом 10) открылся паноптикум, в котором фигуры из воска, ерничая, воспроизводили всем известные исторические происшествия, с уличных лотков продавали значки, сувениры и прочую туристическую дребедень, но я польстился лишь на старый, а следовательно — мертвый, путеводитель, где чей-то фаберовский карандаш заботливо оставил мне множество пометок и тайных напутствий, и вроде бы прояснилось, куда и зачем идти.

Я шел, но, кажется, совершенно напрасно, ибо нигде не было моей гладкокожей подруги, а на месте ее исчезнувшего дома лежало только помоятое мотоциклетное колесо. Совершенно напрасно: я не знал про Ивана Купалу, я не понимал смысла творящегося праздника, я чурался красивых, мокрых после купания людей, которые сердечно поздравляли меня, преподнося цветочный, перевитый кануфером венок. Или предлагали мне куклу из соломы в рост человека, одетую в женское платье и украшенную лентами и монистами, но я отказывался и от верка и от соломенной женщины, хотя красивые мокрые люди весело настаивали: «Ну бери же, бери, вот она, твоя безымянная красавица, твоя гладкокожая подруга!»

Он устал. Он устал от воспоминаний, обманов, метаморфоз и ожидания опасности, которая проявлялась пока скрытыми, едва уловимыми симптомами. Он заходил в охотничий магазин, и маленький продавец гладил руками скользкий пустой прилавок — так и есть, за несколько последних дней скупил все ружья, порох и дробь, «какая-то грандиозная охота готовится, что ли», говорил продавец. Он видел подозрительных глухонемых, которые оживленно общались, размахивая руками и гримасничая, и в этих суматошных жестах, в этих впусую растворяющихся ртах Андрей угадывал напоминание о себе, обсуждение каких-то хитросплетенных планов, и вот уже хотелось оглохнуть и онеметь, чтобы понимать их тайный язык, чтобы не быть застигнутым врасплох, чтобы... отчаяние... Он видел какого-то необычайно шустрого слепого в огромном шапокляке, который, как гриб, вдруг выныривал из подземного перехода и бодро семенил по тротуару, якобы невзначай избивая прохожих своей легкой и звонкой тростью. Чувствуя недоверие к черным очкам слепого, к его слишком уж нахальной беготне и безобразному шапокляку, Андрей старался укрыться куда-нибудь, убежать, но слепой следил за ним и там, где почти не оставалось людей, а из дырявых — от разбитых окон — домов несло мертвечиной и плесенью, вдруг догонял, вдруг клал тяжелую руку на плечо и просил перевести через улицу, а на руке у него громко тикали часы, а на другой стороне улицы были лишь пустыри и помойки, но разве позволительно было сказать вслух о всех своих подозрениях!

— Не верю! — хотелось крикнуть изо всех сил, и, кажется, он уже кричал так, но глухонемые недоуменно пожимали плечами, переводя его истощенный

⁵ Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень и что я еще неясно вижу на своей шахматной доске (франц.).

крик на вычурный язык тонких гнутых пальцев, но слепой в шапокляке давно привык не обращать внимания на всякие оскорбительные реплики, но над похоронной процессией, вдруг появившейся из-за кирпичного угла, продолжала грохотать музыка, и он, пристроившись рядом, с ужасом узнавал, что покойник — нечаянная, случайная жертва, никто не думал не гадал, и вот нате вам, но ничего не попишешь, несчастный случай, судьба, фатум.

— Не верю, — упорствовал он, но покойник не вставал, и смерть его не была мнимой, и тогда Андрей сдавался, соглашался с неотвратимостью: «Что-то вы сказали, очень громко играет музыка, я не расслышал последних слов» — и чей-то черный траурный рот по слогам повторял: «Фатум, фатум, фатум» — и даже рассказывал вкратце всю историю убийства, но он все равно ничего не слышал, потому что музыка играла все громче и громче, и вот уже, подчинившись выдохам трубачей, люди из процессии стали пританцовывать на ходу, сначала стеснительно и осторожно, затем — уж больно зажигательна была мелодийка! — резво и бойко, и тогда прохожие, еще только что благоговейно обнажавшие головы, поняли, что это — карнавал, маскарад, буффонада, какой-то странный праздник, наверно, языческий, и тоже пустились в пляс, и, забыв о службе, танцевали полицейские, городовые и строгие милицейские чины, и беременные женщины, рискуя расплескать содержимое, танцевали также, и вот уже кто-то, запалив костерок, с радостным ревом прыгал через остроконечное пламя, и, бросив гроб, все бежали купаться на реку, усыпанную звездами, и снова плели из соломы хрустящих улыбающихся женщин, чьи лица были безнадежно знакомы...

Он устал. Он устал от повторений и напрасных, совершенно бессовестных грез, когда мечталось, что Кублицкий вдруг помер и его на глазах у всего города небрежно сносят на кладбище, где уже приготовлена гулкая яма. Или, вновь неприязненно замечая, сколь милостива мать, сколь аккуратны и тщательны ее тонкие одежды, как очень в меру блестят ее украшения, среди которых почти не выделяется подлинный бриллиант, он сладостно представлял, что ничего этого нет, а есть маленькое морщинистое личико с дырочками для глаз, носа и рта, сутулая спина, саржевая кацавейка, толстое медное кольцо, оставляющее зелень на пальце.

Он устал, устал ждать свою анонимную девушку, которая так и не пришла под часы, успевшие — за время ожидания — сделать несколько полных оборотов, и приходилось ни с чем возвращаться домой, стараясь не замечать шевеления назойливых теней, как видно, подготавливающих что-то.

Где правила игры, горячий круг загадок? Где я, плутающий в ходах необычайных грез? Где то, что я приму, на что я падок — паноптикум из неживых и мягких поз? Где дух дождя, питающийся плотью, где радость радуги среди кристалльных призм и гладь озер, разбившаяся в ключья от звездопада мрачных укоризн?

Но нет, не было правил в этой затянувшейся демонической игре. Я не был охотником, и из-за пустячного обстоятельства план Кублицкого сорвался, тем более что сбежавшего из зоологического сада зверя довольно быстро сумели поймать.

Но я чувствовал, что так просто Вадим Иосифович не оставит меня в покое: выбирая для своих зловещих раздумий бесконечные ночные часы, он названивал своему знакомому палачу, который, правда, отказывался наотрез: «Вот еще чего выдумали. Куда же это я ночью попрусь? У меня и инструмент не готов. Ишь какие нетерпеливые, будто до утра подождать не могут».

Услужливая телефонистка вторгалась в их разговор: мол, не желает ли абонент поговорить еще с одним палачом — принимает экстренные и ночные вызовы.

Вадим Иосифович желал, по-военному четко называл мой адрес, и совсем немного спустя у нашего дома уже собирались гости — герои чужих сновидений, — которые, задрав головы, глазели на окно моей спальни. Все было обставлено не без шика: сновали вертлявые газетчики, посыльные приносили какие-то пакеты, почтальоны разыскивали адресатов, неведомые мне музыканты

рассаживались по росту, споря, чей инструмент важнее, и так далее и так далее, словом, царил оживление, суматоха: какой-то старик, лязгая тяжелыми орденами, требовал, чтобы его посадили на самое почетное место в первом ряду, и все весело требовали праздника, праздника! поскорей! И из своей комнаты ко мне приходила мать с легким зыбящимся телом и неровными, будто второпях нацарапанными морщинами на лбу и силой выводила меня наружу.

И вскоре палач прибывал, ласковый и услужливый, в новом нарядном вицмундире, и, чуть смущаясь — розовели аппетитные щечки — столь большого собрания благодетельных людей (среди которых попадались, кажется, его короткие знакомцы), заискивающе говорил: «Минутку терпения, сейчас все будет исполнено по первому разряду».

Его просили дать автограф — он давал (все любовались, как лихо вечное перо выписывает затеяливые кренделя); просили разрешения потрогать топор — разрешал, и более того, самолично заклеивал пластырем палец какому-то недотепе, в волнении порезавшемуся об острие; просили поиграть мускулами — играл, играл, скидывая вицмундир, под которым оказывалось расшитое звездами гимнастическое трико: становился на мостик, растягивался в шпагате, делал *salto mortale*, страшно скалил зубы и замахивался, будто бы мгновение моей казни уже пришло.

Кутерьма продолжалась бы бесконечно, но Вадим Иосифович приближался к весельчаку:

— Это, собственно, я вызывал вас. Надо бы пошептать.

— Да-да, — спохватывался палач, — за нашими играми мы совсем забыли о виновнике торжества. Ну, и где же он, наш счастливчик?

(Несколько замечаний частного свойства: был дождь, который после трех томительных дней ожидания, пожалуй, все-таки разочаровал всякого любителя свежести и чистоты, хотя голова стала болеть чуточку меньше; было маленькое уличное происшествие, да нет, ничего особенного; у одного знаменитого русского автора было написано: «Это город осолосумасшедших... Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека...»)

Х

Где, где ты теперь, моя безнадежная любовь?! Лишь ты одна знаешь, что теперь подле меня — никого, лишь ты одна слышишь тот хруст, с каким одиночество сгрызает меня. Наверное, я чем-то обидел тебя и потом, раскаиваясь в давешнем (не помня, впрочем, подробностей размолвки), бесконечно долго искал тебя в надежде, что все-таки состоится наша новая встреча.

Я искал тебя рядом с твоим домом, но однажды прямо на моих глазах шустрая бригада строительных рабочих-близнецов, напиговав стены брусками динамита, на счет «три» безжалостно дом подорвала — тотчас же к дымящимся еще руинам хлынули какие-то бездомные оборванцы — хотели разжиться чем-нибудь, — и один, кому досталась неповрежденная искусственная челюсть, улыбался старательнее других. Я искал тебя под часами, стрелки которых уже давно заволокли паутиной, но люди, не замечая их неподвижности, свсряли по ним время и всячески делали вид, что всё торопятся куда-то. (Лишь одна незнакомка, разодетая в пух и прах, никуда не спешила и всякий раз, когда показывался я, молитвенно тянула руки и приближала свое напудренное лицо — я не поддавался на обман, я замечал подделку, и тогда... Нет, ничего.) Я искал тебя в кондитерской у вокзала, но там за покатым прилавком стоя дремала поджарая женщина с лицом пожилой борзой, и сквозь сон отрицательно отвечала на все мои вопросы, и сквозь сон продавала печенье, эклеры, миндальные орешки, цукаты и несвежий заварной крем, а проходя мимо лотка с сахарной пудрой, вдруг сильно чихнула во сне, и лицо ее побелело.

Дорога домой: мимо ярких цветочных клумб, мимо горстки пепла рядом с опрокинутой урной, мимо миловидной нищенки, у которой вот уже несколько лет на коричневой ладошке лежал заплесневелый пяточок... но я вспоминал, что вчера снова была зима, и видел, как обледенели цветы, и чувствовал, что —

от обильного снега — улицы белы и мягки под ногами, и провожал взглядом нищенку, садившуюся в маленький, почти игрушечный вагон настоящего поезда, который никогда не довезет ее до теплого бархатного песка, измятого голыми телами прошлогодних купальщиков.

Где, где ты, моя безнадежная любовь?! Подозреваю, что ты просто-напросто умерла, ибо, кажется, только смерть могла так прочно и заботливо запеленать тебя, навечно украв у моих меркнувших глаз. Какие-то косвенные признаки указывали на то, что в несчастье повинен Кублицкий (ох уж эти его дурацкие фокусы, взять хотя бы затею с палачом!..), но того и след простыл, и лишь иногда сухие и черные, словно обугленные, зрачки матери напоминали о нем.

Да, моя любовь, ты просто-напросто умерла, и так легко было умереть тебе особенно этой неурочной зимой, каждая ледяная ночь которой наполнялась отблесками моих огнедышащих снов. Я помню тебя, хрупкую, избалованную моими кристальными мечтами... Ты умерла: замерзло сердце, заостенели остывшие пальцы, тело стало мутным и не лучилось больше бездонной прозрачностью, неряшливо растрепались и замерли волосы, рот застыл в стеклянном оскале, хотя прежде — так горько и приятно вспоминать это! — ты умела быть живой, ты увлажнялась от солнца и ласк, ты ловко уворачивалась от горизонтальных ветров и вертикальных дождей, ты умело примеряла корону, которую я придумал специально для тебя, ты, гарцуя в хрустальных башмачках, кокетливо прислушивалась к огромным часам, выбивавшим из себя ровно двенадцать ударов в самый неподходящий или, напротив, самый подходящий момент.

Да, любовь моя, ты умерла, и, значит, тебя должны были похоронить; я присматривался к похоронным процессиям, но из каждого плывущего по воздуху гроба торчали, небрежно покачиваясь, босые, совершенно незнакомые ноги — мозолистые, с рыжими твердыми пятками, и кто-то из похоронной процессии, промакивая алмазные слезы, говорил мне, что да, я безнадежно прав, плохие времена нынче: исчезают бесследно приятные барышни, мерзнет сердце, коченеют пальцы, и даже гроба по росту не сыщешь.

Ты умерла, и тебя должны были похоронить со всеми почестями и траурным достоинством, но городской оркестр, нанимавшийся прежде по таким случаям, куда-то запропастился, и злые языки поговаривали, что музыканты прячутся от позора: барабанщик там стал безруким, трубач — безгубым, а у скрипача... да, что-то случилось и со скрипачом.

Я пытался отыскать тебя на кладбище, но со свежих надгробий на меня смотрели заостренные морщинистые лица, ловко подражавшие птичьим головам, а кладбищенские рабочие, насобирав из молодой земли червей для рыбалки, на расспросы отвечали отвратительным шевелением грязных пальцев, мол, глухонемые мы, хотя только что отчетливо слышалось, как весело обсуждали они свою очередную проделку — подшутили над двумя новичками, поменяв после бодренькой эксгумации платье у них, представьте только, ха-ха-ха, генерал Артамонов с бородищей косматой лежит в парчовой юбке, а мадам Сумарокова — в кителе с аксельбантами, вот умора-то!

Грустно, было нестерпимо грустно. Иногда какой-то тухлявый старик... нет, о нем лучше не надо... его плачущие глаза, его ужасная одышка, от которой и самому становилось трудно дышать... нет, об этом в другой раз, и без того — грустно, грустно, грустно.

Моя избалованная капризная грусть... Она вдруг на целые дни оставляла меня, но нет, от этого не становилось легче, напротив, приходилось страдать больше прежнего — болезненная, кичливая смешливость одолевала меня — осуждение, упреки прохожих, а я все никак не мог успокоиться, хоча словно безумный, когда видел собаку с волочащейся парализованной лапой, когда видел опрокинутого ветром немощного горбуна (похожего на жука, никак не могущего перевернуться со спины), когда видел, как фыркнувшая из-под автомобильного колеса грязь густо заляпала белую одежду и румяное лицо юной франтихи. Еще смешнее было от каких-нибудь исторических промашек, которые я — чувствуя себя вдруг всемогущим — мог бы предотвратить, но не предотвращал, со снисходительным наслаждением любуясь началом обречен-

ных на провал военных кампаний, напрасными дворцовыми интригами, ошибочными действиями герцогов и королей, неудачной рокировкой собственного короля, которому, наверное, уже никогда не будет спасения.

Время потеряло счет и смысл, и стало казаться, что наша домашняя драма, приняв форму затейливого факта истории, состоялась много веков назад. Как и много веков назад, в углу гостиной дремали пунцовые, с пушистыми бантами тапочки матери, которые были на ней в тот самый день, когда она покорно подставила лицо под цепкие губы Вадима Иосифовича, как и много веков назад, чашка с недопитым бежевым кофе улыбалась алой помадой, как и много веков назад, каждый день состоял лишь из снега и льда, хотя отпечаток плоского солнца занимал теперь полнеба, как и много веков назад...

Но не желая мириться с твоей смертью, избалованная, грустная и капризная любовь моя (с каким трудом дается каждая буква!.. мучительно, мучительно писать... слезы застилают глаза), я, собрав из осколков чисел какие-то цифры, звонил по неизвестным мне телефонам, и трубка человеческим рассудительным голосом отвечала, что потерянного не вернешь, Бог дал — Бог взял, а однажды случайно наткнулся на говорливую Зою, которая — словно в старые времена — обрадовалась неимоверно, но отнюдь не удивилась и съезженным шепотком успела сказать: «Позвони чуть позже, сейчас не могу говорить — он дома. Ведь ты меня, именно меня ищешь, но я не умерла, и тело мое вовсе не помутнело. Приглашаю тебя удостовериться в этом». Откуда-то издалека застонал Юрий Георгиевич: «О, мрачная моя, бессильная ревность! Снова дразнят тебя неведомо чьи голоса». Гудки, гудки, гуд-ки.

В другой раз повезло больше — трубку поднял Кублицкий — нет, конечно же, никакого удовольствия, но зато профиль зыбкой надежды: вот теперь мне скажут, где распылен прах моей умершей любви. Голос Кублицкого — недоумение, протест: «Не знаю я никакого Владимира Осиповича!» Нехитрый ход, жертва второстепенной фигуры, он жертвовал собственным именем. Гудки.

Был и третий раз, когда... никогда, никогда не расскажут мне, как мучительно умирала она, а лишь складно и празднично солгут, что из заморских стран прибыл ее долгожданный жених, и сначала они пошли к знаменитому портному шить свадебное платье, а потом умчались в обнимку на новеньком гоночном мотоцикле, и кто-то даже видел, как перелетали они на нем через железнодорожный шлагбаум. Нет, подождите, еще не вешайте трубку, наша красавица просила передать всем кавалерам, чтобы они больше не искали ее, будто бы ее нет, будто бы она умерла. Да, конечно, и к вам это тоже относится.

Никто не знал о неурочной зиме, никто не видел снега и льда. Чтобы подразнить меня, люди опустили в скрипящие галоши и старательно обходили слюдяные лужицы, щедро разбросанные по земле после совершенно мнимого дождя. Кто-то смыл с чашки улыбку, кто-то смыл улыбки со всех человеческих лиц. Оставалось только вспоминать, и я вспоминал. Я вспоминал маленьких арлекинов, которые пытались убедить зрителей — таких же арлекинов, как и они сами, — густо заполнивших весь амфитеатр, в том, что все происходящее здесь отнюдь не игра, но самая настоящая жизнь.

Вспоминания... Воспоминания в виде разноцветных свечей, что уже подожжены чьей-то умелой невидимой рукой — оплывающий воск мягок и ласков, и хочется бесконечно тешиться с ним, находя неизъяснимое наслаждение в такой вот бесцельной забаве — лепить косолапые трогательные фигурки, веря в то, что они говорили когда-то или когда-нибудь еще заговорят.

XI

Повторение пройденного: до сих пор мне девять лет и у меня свирепая корь. Наверное, в этот раз меня прихватило не на шутку — и в помине нет той сладкой расслабленности, овладевавшей всем телом после первой же таблетки аспирина при обычной простуде; предчувствия, что наутро уже все пройдет, тоже нет.

Наверное, только недавно пришел и ушел врач, который неожиданно — словно разговаривал со взрослым — представился полным именем, вызвавшим

нечеткое удивление, и хотелось переспросить, уточнить, но он уже, согнувшись, сидел, что-по пища, за столом, и я должен был видеть, как сквозь натянутую ткань пиджака проступает перекресток подтяжек.

— Вот вам рецептик, — наверное, сказал он, — но самое главное, конечно, покой и обильное питье.

Наверное, белели таблетки, тяжелой горечью прожигавшие неповоротливый язык, наверное, были огромные чашки, где пузырилось отвратительно теплое, перемешанное с содовой молоко.

Были ночи, когда глазам было темно, и были дни, когда глазам было больно. Наверное, задабривая мою боль, мать преподнесла мне игрушечную железную дорогу, но столько фальши было в напрасной старательности маленького яркого паровозика, что даже наша — ныне покойная — домашняя кошка, вздрогнув от незнакомого стука, тотчас же успокоилась, смежив свои раскосые глаза. Тщетные попытки матери заинтересовать меня: она вставляла в трубу паровоза зажженную папиросу, в пассажирский вагон втискивала псевдочеловечков, грубо слепленных ею из хлебного мякиша, в почтовый всовывала клочки бумаги, обозначавшие, видно, важные письма, а в товарный накладывала якобы полезный для меня груз — какие-нибудь кедровые орешки или громоздкую шоколадную конфету, ядовито-сладкой пробкой залеплявшую мне горло.

Не желая огорчать ее, я, наверное, изо всех сил старался выглядеть азартным, веселым и увлеченным, но лицо мое от подобных попыток будто бы попадало под дождь — так много было на нем слез.

Я плакал. Я плакал, и действительно слез было очень много, или, может быть, и впрямь за время моей болезни начался дождь? — псевдочеловечки оживали, щелкали механическими зонтиками, переговаривались на незнакомом языке и, укрывая от непогоды раскуренные трубки, торопились куда-то. «Куда?» — кричал вдогонку я им, и они, сплюснутые, искривленные от тяжелых чемоданов, отвечали сквозь дождь, что снова спешат на вокзал, что скоро отходит их поезд.

И потом — на самом деле — был вокзал, полный такими вот ненастоящими людьми, слепленными из пластилина, хлеба и воска, и, наверное, вокзальные часы тоже были, были и били, откашливаясь простуженными ударами, и уже сизый — будто табачный — дымок изгибался, висел над трубой паровоза, и в почтовом вагоне шелестела исписанная бумага, и... вы же бывали на вокзалах, вы же знаете, что там и как.

По случаю болезни были и другие подарки: дюжина книжек с разноцветными картинками, подписи к которым уличали авторов во лжи, какой-то плюшевый слон, у которого на месте гениталий висела шелковая эмблемка с названием фабрики, альбом для рисования, матерчатая фигурка капрала наполеоновской армии, подозрительная труба, отдалявшая, если смотреть в широкий конец, собственную босую ногу на приятно далекое расстояние, пластмассовые очки с красным носом и черными усами и наконец... я знаю, знаю, как волнуетесь вы, ожидая, когда я дойду до главного.

Пожалуйста, но вы же и так всё знаете. Был тяжелый день — утром вырвало, днем разгулялась температура, и вечером снова пришлось вызывать врача, который пришел, но не ушел и вдруг издали ловко швырнул в меня холодным острым шприцем. Не попал, зато вторая попытка была удачной и третья тоже удачной, и мать, захлопав и оживившись, поинтересовалась, откуда столько умения, а он, пыжась от похвалы, ответил, что есть такая старинная английская игра — заостренным перышком попасть в мишень, и, мол, если желаете, могу обучить вас всем правилам и тонкостям, надо быть только внимательной и не суетиться. Да, она желала, она готова была не суетиться и быть внимательной. У вас есть мел? Мел был, была жирная меловая черта на полу. Ножку сюда, на линию не наступать, прищурьтесь, пли. Они оба кидали в меня острыми железными иглами, и я засыпал, засыпал от боли, продолжавшей терзать меня и во сне, который заставлял думать, что под ногами пропасть или бездонная река, но я не умел ни летать, ни плавать и поэтому — падал, тонул, умирал, я скажу по слогам: у-ми-рал, у-ми-... да, примерно на третьем слоге я

вдруг проснулся, я вдруг увидел ее, ее, в общем-то, немудреную игрушку — жестяной круг с механической танцовщицей на нем. Прилагался ключ, после натужного кручения которого раздавалась силпая потрескивающая музыка, и куколка начинала напряженно сгибать колени и кружиться на одном месте — вздымалась ее кружевная юбка, под которой были панталончики из нежной материи и стройные, нагревающиеся от работы моторчика ножки, а где-то не-вдалеке с бессмысленной яростью носился по кругу заводной паровоз (рычаги на колесах — словно руки калеки на ободах инвалидной коляски), хотя папир-роса из трубы давно уж погасла и вокзал опустел — кончились все дела: каждый пассажир добрался до своего домика, каждый адресат получил свое письмо, каждый сластена подавился своей шоколадной конфетой, — но мне-то что было до того? я любовался моей танцовщицей — гладкий шелк волос, огромные, в пол-лица глаза и улыбка, конечно, и улыбка, наверное, хотя потом, после последних аккордов, когда музыканты грузно оседали на хлипкие стулья и все начинали чувствовать, как душно, как накурено здесь, а небо за окном заволакивалось чем-то грязным и непрозрачным, так что никто не понимал, какое время суток и какое время года теперь, и в танцевальный зал врывалась рота чумазых солдат, которые арестовывали кого-то, — судья с фальшивыми буклями оглашал приговор... что, вы не расслышали?.. судья оглашал смертный приговор: повешение или расстрел — на вкус осужденного — он выбирал повешение или расстрел, но просил исполнить последнюю просьбу, и все знали, какой будет эта просьба — он хотел закурить, «я хочу закурить», говорил он, вдруг ни у кого не оказывалось табака, хотя только что был и такой и сякой, и отдохнувшие музыканты проявляли недовольство: пора начинать новый танец, за такие долгие паузы нас по головке не погладят... ну, скажем, вальс... ангажир-р-рую!.. раз-два-три, айн-цвай-драй... ножку сюда... вальс — король танцев... бесконечно, мы танцуем бесконечно — танцоры взрослеют, обзаводятся детьми, умирают, раз-два-три, за давностью лет осужденному отменили приговор, но потом музыка утихла, музыканты оседали на хлипкие стулья, несвежими платками промакивали свои вспотевшие лица, и она, моя танцовщица-чаровница-баловница, укоряла меня: «Ну зачем, зачем ты привел меня сюда!»

Или все было по-другому, хотя я не помню точно, как было, поначалу игрушка нравилась, очень, очень нравилась, а потом стала надоедать — стало казаться, что она уже не столь старательно сгибает колени, и мордочка ее отнюдь не забавна, а, напротив, приторна и скучна, словом, с каждым днем претензий становилось все больше, и вдруг — раскаяние: как же я виноват перед тобой, малышка! ведь мы вместе коротали долгие, мокрые от осени или ярыбые от снега вечера, и тебе вовсе не хотелось танцевать, но, повинувшись моим механическим просьбам, ты оживала со вздохом и опять начинала кружиться под искусственную музыку, пронизывающуюся иногда угрожающим хрипом пружин. Впрочем, тогда, когда мы были с тобой наедине, эта музыка казалась мне очень настоящей, и хотелось плакать и каяться в чем-то — я просил у тебя прощения, я умолял тебя, чтобы ты позволила мне стать таким же, как ты, погляди — говорил я — нас уже поджидает стремительный поезд, проводник в стерильной фуражке уже заваривает чай, пассажиры уже обулись в мягкие тапочки, чтобы — упаси Бог! — не потревожить нас, и что-то еще и кто-то еще, и когда до твоего согласия оставалось лишь несколько па, несколько медленных минут, обвивавших, как паутина, позолоченные стрелки неторопливых часов, в игрушке кончался завод, и куда-то вечно исчезал ключ, и сохло, сохло во рту от лекарства...

...и очень хотелось спать, ибо лишь сон, по законам которого вдруг начала развиваться реальная жизнь, мог, кажется, помочь, обнадежить, приложить правильный, успокаивающий ответ к каждому из тревожных вопросов.

Нечто важное — он остро чувствовал это — тайлось и в снах матери, но даже в воскресные дымчатые утра, когда все медленно и уютно... вот цокнула крышка на кипящем кофейнике... и можно размякнуть, пооткровенничать... вот, попробуй пирожное, замечательно свежее... да, мне тоже очень нравится

этот сорт... она все равно была настороже и никак не хотела разглашать тайну своих сновидений, хотя однажды Андрей был слишком настойчив... еще раз цокнула крышка, с шипением вниз поползла кофейная гуща, и пирожные оказались излишне сладки, или, напротив, кондитер напрочь забыл про сахар... и мать, едва не рыдая, вдруг сказала: «Да, я знаю, о чем ты думаешь, но мне снилось совсем другое», — и пришлось заваривать чай — пахло бергамотом (пахло бергамотом?!), — так как кофе убежал, а вместо никудышных пирожных есть белый хлеб с маслом; масло, замерзшее за ночь, не мазалось, но крошилось, и прозрачная масленка покрылась испариной.

— Мне снилось, что снова ты маленький и у тебя свирепая корь, — в конце концов с неохотой сознавалась мать. — Это звучит, конечно же, дико, но мне нравилась та твоя болезнь — я чувствовала необыкновенную близость с тобой тогда.

ХП

Вдруг оказалось, что — осень, вдруг оказалось, что недружная, с частыми отливами весна уже позади и горячее, свежее испеченное лето позади уже тоже. Вдруг оказалось, что впереди — вялая, совершенно никакая зима, и голубая весна с небом, лежащим в разлившихся лужах, и новое лето, когда он впервые познакомится с Зоей, и старая осень — он уже вывел пальцем на пыли полированного стола: «Зоя», не без сожаления прикоснувшись в воспоминании к ее атласному тельцу.

Прошлое и будущее пересекались в нем; была зима, черными, словно обугленными фигурками он снова играл против Кублицкого и снова, к огорчению последнего, проиграл. Раздосадованный проигрышем и тем паче неприятным огорчением Вадима Иосифовича, Андрей сообщил ему, что есть некие Кондратьевы, которые сдадут им на лето дачу, и если вы желаете, то можете посетить нас, я официально вас приглашаю. «Ах ты гусь лапчатый, — недобро хмыкнул Кублицкий, — хочешь свести меня со стариком. Ведь я наперед все знаю. Прошлое и будущее пересекаются во мне тоже».

Были и будут лета, был и будет старик, их дачный сосед, известный в прошлом шахматный маэстро. Даже во времена своей знаменитой ничьей с Чигориным и выигрыша в обоюдном цейтноте у Лужина он был далеко не так молод, как хотелось бы того летописцам, обычно изображавшим его хлыщеватым юношей с тонкими, будто пририсованными усиками, а теперь и вовсе его хватало лишь на то, чтобы неподвижно сидеть в громоздком кресле на велосипедных колесах, которое взад-вперед по ровной березовой аллее возила скудно оплачиваемая сиделка, заносчивая сухопарая девица, ловящая на лету подопечного, когда он, засыпая, начинал валиться вбок. Желая позлить девицу, однажды Андрей потряс перед стариком сложенной шахматной доской, и тот, вздохнув сокрушенно: «Да будет когда-нибудь этому конец!» — выпростал изпод шотландского пледа сухие, почти деревянные руки, к пальцам которых налипли какие-то тусклые кольца, и принялся за суматошные нервные ходы, вначале казавшиеся Андрею только бессмысленными, но вскоре пришлось снимать с доски собственного больше не нужного короля и выслушивать приговор: «Юноша в игре не понимает ни аза». Девица прыснула.

Девица прыснет, когда Кублицкий (поскольку приглашения Андрея никто не отменял), подкараулив денек попригожее, пожалует на дачу. Одетый с шиком выставочного манекена, с юрким кобельком на поводке (белая, совершенно белая собака; действительно, очень маркий цвет; лишь черная точка под задраным хвостом), Вадим Иосифович даст разглядеть себя, позволит поглядеть песика: «А вот, собственно, и я, прошу любить и жаловать. Надеюсь, наслышаны. Я тут с проверочкой». Жадно оближет губы, мокрая улыбка зардеет на бледном лице. «Ну-с, с чего начнем?»

Проверяя правильность воспоминаний Андрея, он начнет с Зои: с пристальным наслаждением через окошко будет изучать ее спящую; потом она проснется, и Кублицкий на цыпочках пойдет за ней к купальне, но Зоя плавать

не станет, не разденется донага, а лишь зачерпнет воды из своего зыбющегося отражения.

«Разочарован, весьма и весьма разочарован, — скажет обиженно Кублицкий, — нет, не такой, вовсе не такой представлял я вас, милочка, отрок все преувеличил» — и Зоя не почувствует движений чужих жадных губ, не скажет, оправдываясь, что всю прошлую неделю у нее была жуткая простуда — распухший нос, мокрые носовые платки, некрасивый квакающий кашель, — а муж, Юрий Георгиевич (у него появилась новая забава: став перед зеркалом, называть себя Георгием Юрьевичем), этот несносный Юрий Георгиевич, этот сексуальный эпилептик и человек-червяк — с каким жаром извивался он по ночам, с каким звоном лязгали зубы! — нарочно разбил все градусники в доме, с помощью которых три мудреца, три богатыря, три уважаемых трупа — А. Цельсий, Г. Д. Фаренгейт и Р. Реомюр могли бы сообщить об усилении тепла в ее обычно мерзнувшем тельце... так вот, были разбиты все градусники, под ногами хрустело тонкое разбитое стекло и мелькали шарики ртути, и никак нельзя было доказать свою болезнь, хотя однажды на огонек к ним заглянул доктор — приложил ухо к голой груди, чмокнул в сосок, погладил талию, называя ее поясницей... как хоть вас звать, доктор? не могу, не могу, ничего не могу, видите, занят! — вон, вон отсюда, негодяй, я не для этого звал вас сюда! (это Юрий Георгиевич закричал); и снова никак нельзя было подтвердить свою хворь, а Георгий Юрьевич уже извивался из зеркала: «Вот видишь, здорово, обнажись, обнажись скорей, и плевать на все сквозняки!»

Она не скажет, оправдываясь, что в этом году долго ждала прошлогоднего Андрея, но потом ослабила узел своего ожидания и в новой очереди за новым керосином встретила вдруг... о, эти гибкие юношеские члены, о, эта голубая чистота робеющих глаз, о, эти непослушные русые кудри, зачесанные за прозрачные уши! Она не скажет, что уже позабыла, как произошло их знакомство с Андреем, и поэтому, приблизившись к юноше, едва выдавила из себя: «Вы так напоминаете одного очень славного и странного мальчика... Он бывал здесь... Его нет теперь, но где-то он есть...»

Новый мальчик, угадав по глазам ее немую просьбу, боязливо назвал свое нежное имя, в котором поровну было согласных и гласных, и, кажется, был уже наполовину согласен с тем, что она только собиралась ему предложить, но вечером дня этого, или дня следующего, когда окрест расползлся масляный церковный звон и все дачники ослепли, оглохли и онемели, мальчик на свидание не пришел, хотя накануне она несколько раз повторила, где и во сколько надлежит им увидаться, но нет, не пришел, и напрасно светилось в горячих сумерках ее светлое платье, и напрасно голая шея источала запах духов.

Дома во сне орал Юрий Георгиевич — снова донимали его кошмары, — и она отправилась на берег пруда, где до сих пор не выросла трава, выжженная когда-то голым телом Андрея, и там вдруг увидела одежду мальчика — брюки его, пахнущие гладкими чреслами, скользкую шелковую рубашку — и толстый томик стихов, в котором наугад вычитала строки, каким-то образом относящиеся к ней самой, но дальше читать не смогла из-за томления, ожидания и нежной ревности — она ревновала мальчика к воде, сейчас жадно глядящей его, ревновала к автору стихов, у которого была французская бесполовая фамилия. Мальчик не выплывал, и она подумала, что он утонул, исчез. Она аккуратно расстелила его одежду на земле и сама легла рядом, положив пустой рукав шелковой рубашки себе на грудь. Заснула, а проснувшись увидела, как из рукава рубашки выползает скрюченная рука Юрия Георгиевича, который, тоже проснувшись, уже извивался, уже кланчал: «Ну дозволь, ну дозволь, без этого я не смогу заснуть!» «Хорошо, только быстрее» — снова закрыла глаза, почувствовав, что мальчик, наплававшись, выбирается из воды, что Андрей... — здравствуй, Андрей, нас сегодня здесь многовато, но ничего, как-нибудь разместимся, в тесноте, да не в обиде...

— Нет, в обиде, — канючил Юрий Георгиевич, и Георгий Юрьевич из большого зеркала платяного шкафа тоже был чем-то недоволен, но тем не менее, стараясь не отставать от своего прототипа, тянул к Зое руки, лягал ногами, желая побыстрее избавиться от пижамных штанов.

Ее ласкали руки — две, четыре (ласка в четыре руки?), шесть, восемь. еще две свои — итого десять, десять, десять, удесятенное блаженство, удесятенное счастье, удесятенный стыд наутро, когда было тихо еще, лишь маленькое солнце всползло по белым стволам шелушащихся берез, нет, это еще сон, это — продолжение сна, берез рядом с домом никогда не было, и нет, нет, нет, не трогай меня — это проснулся муж и, разверзнув дурно пахнущий рот, снова тянулся к ней: «Голубушка моя, а не повторить ли нам наше ночное приключение?» — и она отрицательно качала головой, и следом качался весь дом; качался дом: рухнули стены, лопнула крыша, мчалась спасательная команда — футбольная команда: «А теперь мы побалуем публику корнера и от Корнера, здравствуйте, Корнер, — это я, я по профессии немец, я буду учить вас немецкому языку, повторите хором мое немецкое имя — Отто Гансович, я расскажу вам свою невеселую историю: проклятие тяготеет над нашей несчастной семьей, фатер аус Берлин буль ошень, ошень важны шеловек и обе рук по карман ходиль и все делал так: пуф! пуф! а потом его убили на охоте — пуля вошла в глаз и вышла через ухо, успев сделать из папиного мозга фарш, я же, сирота казанская, работал брандмайором и знал немножко из Шиллера, но поэзия нынче не в почете, меня разжаловали, выгнали, отняли сверкающую каску и определили работать учителем: здравствуйте, я — Корнер, я по профессии немец, повторите хором мое немецкое имя — Ганс Оттович, это меня подстрелил на охоте какой-то маленький негодник, сегодня мы научимся считать — раз-два-три, айн-цвай-драй, un-deux-trois... о чем, о чем ты говоришь, Зоя, зачем ты пересказываешь мне свои дурацкие сны? (это снова Юрий Георгиевич... забыть закрыть скобки...

Все сначала: наскоро усладив настырного мужа, она, покачиваясь от сладкого омерзения, выходила гулять, и Юрий Георгиевич, изображая избалованную домашнюю собачку, скакал рядом на четвереньках (не забывая лишний раз заглянуть к ней под юбку), но она ускоряла шаг, и он, жалобно скуля, отставал и понуро возвращался домой. Вчера на ужин была заливная рыба, сегодня в полдень был заливной луг, на котором тот самый мальчик — умиление, умиление, она совсем забыла, что существуют и такие забавы, — запускал бумажного змея, и скажите мне, мальчик, отчего вы не пришли на свидание, разве вы боитесь меня?.. нет, я вовсе вас не боюсь, просто я занят, я запускаю бумажного змея... и она спохватывалась, что снова разговаривает сама с собой, хотя действительно мальчик пробовал запустить бумажного змея, но не было нынче ветра, и поэтому волосы не вздымались над ее белым лбом. Она подходила ближе и видела, что на змее жирным грифелем выведено ее имя, я не имел в виду вас — бормотал, смущаясь, мальчик, — тропические циклоны и бумажные змеи положено называть женскими именами... вы обманываете меня, мальчик, можно, я обожгу поцелуем вашу бледную щеку... и снова лишь сама с собой разговаривала она.

Словом, романа никак не получалось, и подобия романа не получалось тоже, хотя в мыслях она не раз уже примеривала себя к мальчику — неплохо, получалось совсем неплохо, неплохо, неплохо было бы вытащить его на прогулку, дикранум, мох назывался дикранум, но он упрямо отмалчивался, а однажды, когда она все-таки подкараулила его в одиночестве, мальчик открыл испуганно рот, собираясь, кажется, звать кого-то на помощь. Как все же хотелось его приручить, приножить, и она, уже не полагаясь на тонкую материю платья (не хватало только дождя, чтобы платье стало прозрачным), на собственные, что называется, чары, завалила его кучей мелких, блестящих на солнце подарков, и он, словно ворона, жадно выхватывал их у нее из рук и без благодарности распахивал по карманам. Как же так, как же, ведь прежде именно девственники... бывают девственники и девственницы, женщины и мужчины, ангелы и ангелы... особенно охотно расставались со своим добродетельным незнанием, но однажды, уже обесилев, уже готовая растерзать и испепелить его, она вдруг увидела в глазах мальчика холодные алчные огни и ленивый снисходительный опыт... да он же не девственник! — хотелось поделиться с кем-нибудь открытием, — да, а вы разве не знали? — ответили бы ей, он лечится здесь от дурной застарелой болезни.

Луи Филипп, король французов (а не король Франции), родился в 1773 году от проворного герцога Орлеанского, прозванного Эгалитэ. В детстве повезло — воспитывала его госпожа Жанлис, заядлая поклонница самого Руссо, знавшая наизусть все четыре тома благонамеренной и бестолковой книги «Эмиль, или О воспитании». С искусственным молоком искусственной матери маленький будущий король впитал и заунывный назидательный дух таких сочинений, как «Юлия, или Новая Элоиза» или автобиография «Исповедь», и хотя натиск добродетельной Жанлис был продиктован наилучшими побуждениями, можно представить себе все страдания высокородного ее воспитанника. Дальше — больше; когда малыш чуть подрос и окреп настолько, что мог сдерживать напряжение мочевого пузыря от антракта до антракта, она потащила его в театр на комическую оперу «Деревенский колдун», сочиненную все тем же неутомимым Руссо, но кривлянье полуголодных актеров не произвело на мальчика ни малейшего впечатления, и когда-то потом, когда пришел черед любоваться «Пигмалионом», еще одним произведением monsieur Жана (так позволял он себя называть своим близким), Луи вдруг воспротивился, полез в бутылку и даже пригрозил воспитательнице кинжалом с инкрустированной рукояткой. Последнее воспоминание младенческой поры: уже пахнувший смертью старец (Руссо) держит его на коленях и, предчувствуя скорую кончину (дело происходит в 1778 году), торопится поделиться некоторыми сокровенными мыслишками. Достав из широкого кармана камзола свой главный труд (мальчик каламбурит: главный труп) «Об общественном договоре, или Принципы политического права», он подписывает титульный лист, назвав по рассеянности будущего короля Филиппом Луи. Очень интересная книга.

Так, Руссо умирает — одним меньше; умирает Жанлис — минус два. Не с кем ссориться, не за кем подглядывать, некого передразнивать. Скучновато. Хороший пример подает революционер отец, и Луи Филипп тоже примыкает к революции. На вечеринке, где много вина и много девиц, он вдруг объявляет себя сторонником конституции, и все, ликуя, пьют за эту новость до дна.

Чувствовать себя героем удивительно приятно, и следующий тост Луи Филипп поднимает за национальную гвардию и якобинцев. Снова до дна.

Утром — тяжелая голова, пересохший рот и членство в якобинском клубе, но, будучи человеком слова, отступать он не стал и вскоре уже старательно участвовал в революционных войнах, в которых весьма сблизился с дипломатом и полководцем Шарлем Франсуа Дюмурье, человеком блестящих способностей и великих возможностей. Разгромив австрийцев при Жемаппе в 1792 году, Дюмурье год спустя вдруг переходит на их сторону. Измена произошла в приятной компании — его напарником был Луи Филипп. Дальше их пути разошлись — генерал занялся реставрацией своей политической карьеры, подружившись при этом даже с сановниками русского двора, а Луи Филипп из Австрии тихонько перебрался в сомнамбулическую Швейцарию, где скромно учительствовал под именем Латюра. Наверное, он был неплохим учителем, наверное, пригодились уроки Руссо, но швейцарские недоросли, путающие немецкие фразы с французскими, быстро обрыдли, и господин Латур, взяв билет на ближайший корабль, отбывает в Америку. Несколько недель в пути, несколько недель морской болезни, заставившей его проклясть всю предшествующую жизнь, но за день до прибытия море разгладилось, натянулось, и он заметно повеселел. Пронырливые репортеры из местных газеток пронюхали загодя, что за птица приплывает к ним из Европы, и прямо в порту с американской бесцеремонностью навалились на Луи Филиппа, который, будучи совсем не тщеславным человеком, предпочел бы остаться без столь горячего приема. Он говорил: «Вы ошиблись, господа, я всего лишь скромный альпийский учитель» — и они делали вид, что верят ему, но наутро газеты вышли с нарядными интригующими заголовками, и Луи Филиппу в срочном порядке пришлось поменять костюм и приклеить замечательные фальшивые усы: из зеркала на него посмотрел незнакомый, но вполне приятный господинчик.

Четыре года в Америке; он забавлял окружающих странноватыми европейскими повадками и плохим английским, многие слова которого, по старой памяти, пропускались через нос. «Дружище, — запанибратски говорили ему дружелюбные и наивные американцы, — дружище» — и радостно хлопали его по плечу. Потом в городок, где он обосновался, на почтовом дилижансе отсюда с Запада прибыла некая девушка, которая чуть прихрамывала из-за огромного пистолета, висевшего на боку.

Мэри. Мэри Смит. Любовь и беременность⁶. Благополучные роды, но на запах новорожденного тела со всех сторон слетелись ее братья, устрашающего вида мужчины, поднаторевшие в салунных драках и стрельбе навскидку, донельзя расстронные тем, что все произошло без их ведома. Луи Филипп, продолжающий скрывать свое истинное имя и истинное происхождение (в силу которого не мог позволить себе женитьбу), вынужден был ретироваться, и вот уже снова то же судно и снова морская болезнь.

Он поселился в Англии, купил маленький, весь в плюще домик, который обставил на американский манер, и любознательные соседи, недоуменно пожимая плечами, частенько заглядывали к нему в окна.

После реставрации Бурбонов он все же переехал в Париж, но бывший у власти Людовик XVIII дал всячески понять, что возвращение Луи Филиппа ему крайне неприятно, и тот, вздохнув, снова отбыл в Англию.

Новая встреча с Парижем состоялась лишь в 1824 году, после смерти Людовика XVIII, но ко двору Луи Филипп допущен не был и забавлялся тем, что, обосновавшись в Пале-Рояле, собирал у себя либералов. После июльской революции Луи Филипп был избран регентом, а затем признан палатой королем.

Вознесшись, он ни в чем не изменил своим привычкам, был спокоен, некапризен, отличался простым, покладистым нравом, безмерно грустя, кажется, о загубленной американской любви, так как многие письма, втайне от всех отправляемые им за океан, пропадали бесследно. Выходя на улицу, он внешне ничем не отличался от средней руки буржуа, дома ласково улыбался челяди и голубил каждого встречающегося ребенка, но его правительством было партийным и не угодило никому, кроме капиталистов. Из числа недовольных нашелся некто Физски, который, соорудив адскую машину, устроил покушение на короля, но что-то там не получилось, и взрыв грохнул совсем впустую.

Мягкость и скромность не позволили ему должным образом отреагировать на происки принца Луи Наполеона, и более того — неожиданно для многих Луи Филипп принял самое активное участие в реабилитации Наполеона I, устроив торжественное перенесение останков того с острова Святой Елены.

И все же народ его не любил. Нелюбовь усилилась, когда на сцене появилось министерство Гизо, противившееся избирательной реформе. 24 февраля 1848 года вспыхнула революция. Пригодилось умение менять облик — с новыми приклеенными усами, в новом платье с чужого плеча, в наемной карете король торопливо бежал. Прощайте, король! Вам осталось жить всего лишь два года.

Я помню. Я представляю. Я помню и представляю (будущее и прошлое попережнему перекрещены во мне). Я помню Зою в ту пору, когда мы еще не были знакомы с ней. Ей лет шестнадцать или около того; соблазненная в минувшую среду пожилым и ласковым акцизным чиновником, она с печалью вслушивается в свое изменившееся тело, всерьез подумывая о самоубийстве, но — как частенько водится в подобных случаях — уже загодя страшится прощальной боли и стесняется служителя судебного морга, который, циничный, неряшливый, лупоглазый, не удержится от какой-нибудь профессиональной шуточки, а затем длинным продольным разрезом разделит надвое ее живот. За окнами — дождь; потом будто по команде дождь прекращается, и солнце заливает все зеркала. В солнечном флере Зоя, почти слепая, почти на ощупь, бредет к само-

⁶ Подлинное имя ее неизвестно. По понятным причинам свой роман с ней Луи Филипп держал в строгой тайне, и даже Монталиве и Вилло де Жерэнвиле, написавшие обстоятельнейшие книги о нем, обходят молчанием эту цекотливую тему.

му яркому зеркалу, чтобы увидеть, насколько мерзка падшая женщина, но ей навстречу глядит миловидная скромница, тихая домашняя баловница, у которой есть папочка и есть мамочка, хитро шепчущиеся за стеной, и вот-вот они вынесут подарок по случаю долгожданного солнца, ну, например, золотые часики, или брошку с финифтью, или шелковый шейный платочек. Очень мило, спасибо вам, мои дорогие, обещаю впредь быть хорошей и доброй девочкой, обещаю и впредь ясных, безветренных дней. Действительно очень славный подарок — мягко тикают часики, брошка дышит вместе с грудью, шуршит, переливается платочек, — нет, что вы, совсем не хочется умирать, простите меня за мою хандру всю последнюю неделю, но тому, поверьте, была причина, а теперь, как встарь, пойдете все вместе в зоологический сад, и я, словно маленькая, буду держать вас за ручки; и они втроем выйдут на улицу, раскланиваются с соседями, подзывают извозчика и едут в зоологический сад, куда недавно доставили человекообезьяну, на которую — для приличия — нацепили полосатый костюм и смеха ради к роже накрепко примотали очки без стекол, но не до смеха и не до приличий, девочка хандрила, а теперь перестала хандрить. «*Houïta, notre fille a réellement cessé de broyer du noir*», — говорит шепотом папа.

Дома они закатывают веселый обед, папа, пригубив сладкого вина, разыгрывает из себя буйного пьянчужку, мама пробует играть пиццикато на старенькой скрипке, а Зоя то и дело отлучается к зеркалу, чтобы проверить, не изменилось ли отражение. Концовка обеда, когда подали десерт — мороженое с орехами, — оказалась подпорченной: у Зои разболелись зубы, — а наутро от все того же зеркала она узнала, что клык надколот (она так и не собралась сходить к дантисту Михельсону; приемные дни: вторник, суббота).

Зоя, я помню твою привычку закусывать при улыбке верхнюю губу, чтобы скрыть испорченный зуб, Зоя, я помню.

Я продолжаю помнить и представлять. Я вижу. Я вижу Вадима Иосифовича Кублицкого, который, одетый голоем, с огромным солитером в галстучной булавке, приближается к Зое, чтобы выпытать у нее еще кое-какие подробности, пока что не известные ни мне, ни ему, но она, кажется, не слыша его вкрадчиво-наглых вопросов, отвечает совсем невпопад, отвечает, что да, неподалеку отсюда стояла старинная часовенка с чахлой березкой на остатках крыши, да, такая часовенка стояла еще вчера, а позавчера она была совсем еще новой, и солдаты отступавшей наполеоновской армии устраивались в ней на ночлег. Странно, но я тоже помню все это. Я помню, что я — капрал императорской армии; мне холодно и страшно от непривычного русского мороза, болит не переставая левая рука, простреленная где-то под Смоленском; словно псы, глухо урчат мои недовольные солдаты, и мне нечем утешить их, успокоить, ведь совсем скоро прусская армия генерала Йорка фон Вартенберга перейдет на сторону врага, ведь совсем скоро последуют новые сокрушительные поражения, а чуть позже Наполеон примет цианистый калий, но не умрет, а еще позже, уже на острове Святой Елены, он скажет вслух фразу, ошеломившую многих: «Я должен был бы умереть сразу же после вступления в Москву...»

Нет, я представляю совсем другое. Я представляю, как Кублицкий, разочарованный Зоей, покинул ее и мчитя теперь по ровной аллее, чтобы сразиться в шахматы со стариком, — уже расставлены голые живые фигурки, и Вадим Иосифович для пробы берет за голову маленького безымянного капрала. «Такой фигуры нет, — встречает в мое представление заносчивая сиделка, — а есть всадники на конях, добрая матушка королева и строгий король-отец, есть триединое пространство, где запахи лукавых фей зовут нас к спазмам новых странствий, но ты не верь, но ты не верь. Хотя как просто: взять плацкарту и, бормоча прощальный стих, войти в вагон (ну, например: «Я еду к Сартру!»). Горячий чай даст проводник. Так, дальше — ночь, и ночь другая, и день другой, и третий день. Плечо соседа с полугаем успеет умереть, но лень сквозь сон раздумывать над этим, над бесконечностью дорог... Все — сон, и снова снятся дети, трубящие в извитый рог. Их зов и плач... Боязнь расплаты... Конец с началом сплетены... Твоя фальшивая плацкарта... Ты — на обочине пути...»

Я представляю: два игрока усаживаются за шахматный стол, заталкивают за тугие воротники крахмальные салфетки, поливают фигуры соусом и начи-

нают жадно пожирать их, причмокивая, облизываясь и сопя. На десерт — завитки белого крема с королей и ферзей. Заносчивая сухопарая девица, щеголяя фирменным передничком официантки из ресторана «Flambaut»⁷, старательно прилеживает едокам-игрокам, и когда партия ко всеобщему удовольствию заканчивается ничьей, она хвалит Вадима Иосифовича: «Вы очень даже изрядный игрок, вы ход за ходом повторили чигоринскую партию из венского турнира 1903 года».

(И все-таки есть маленькая, почти незаметная фигурка под названием капрал. Она была во власти Кублицкого, и он безжалостно пожертвовал ею, когда — согласно всем шахматным теориям — можно было бы обойтись без жертв. Я был бессилен и ничтожен, я ничего не мог изменить, хотя всемогущий Кублицкий жертвовал, кажется, мною...)

Я продолжаю вспоминать. Я помню недавнюю всамделишную зиму. Я помню, как однажды Кублицкий засиделся у нас допоздна, и за окнами будто бы натянули белую простыню — такой сильный начался снегопад. Вадим Иосифович, только что одержавший очередную викторию, озадаченно посматривал в окошко, а я злорадно представлял, каково ему будет добираться домой. Не заботясь его присутствием, его близким табачным дыханием, я спросил мать про Вадима Иосифовича, и она что-то ответила мне. Мне понравился мой вопрос и ее ответ, мне понравилось, что снег за окном смягчил, заглушил наши слова и Кублицкий их не расслышал.

Мне понравилось, как забеспокоился Кублицкий, как пронзительно воскликнул он: «Громче, громче говорите, я ни черта не слышу! Прибавьте же звук!» — и начал запихивать себе в ухо громадный слуховой рожок — сухо хрустнула барабанная перепонка, зарядила кровь... Пользуясь его удвоившейся кровавой глухотой, я снова спросил мать, откуда они знакомы с Кублицким, и она ответила, что случайно, совершенно случайно (она сказала: «Мне стало жалко его. Безнадёжно, неизлечимо одинокий человек»).

И все сначала: мы играли с ним в шахматы, до его виктории мне оставалось сделать всего лишь два или три хода, а за окном бесновалась метель. Даже начинающий игрок оценил бы всю безнадёжность моей позиции, но я мстительно тянул время, любуясь непогодой на улице, думая о каких-то совершенно отвлеченных вещах, и вот уже чувствовал, как тяжело моим ногам, вязнувшим во вспененном снеге, — я торопился. Встреча с моим секундантом была назначена у полосатой сторожевой будки ровно в полночь — я торопился, буднично в неряшливом башлыке, переложив ружье в левую руку, небрежно проверил мой паспорт — я торопился, секундант опоздал не менее чем на четверть часа — я продолжал торопиться. Место для дуэли было выбрано со знанием дела — зловещее безлюдье и угрюмый строй низкорослых елей, — но луна не была в глаза моему противнику (на что скромно рассчитывал я), и вообще луны не было, будто бы отныне ее отменили, и тогда наши находчивые секунданты вручили нам по фонарю. Обычные формальности — может быть, соперники пожмут друг другу руки и с честью разойдутся по домам? — нет; тогда извольте тянуть жребий, кому первому стрелять, — повезло Кублицкому; давайте разыграем пистолеты; со скольких шагов угодно стреляться? Вадим Иосифович вдруг раскапризничался: учитывая мою врожденную полноту и приобретенную близорукость — сказал он — я требую для своего выстрела десять шагов, а юноше с его гибкой упругой рукой и острым молодым глазом предлагаю не менее двадцати.

Начиналась и никак не могла начаться дуэль. Вдруг с жаром все принялись обсуждать, какой гдаз надлежит нам прищурить при выстреле. Кублицкий, весь мелко подрагивая, будто выдавал невесть какую тайну, шепотком сообщал, что у него целых два глаза: левый — сердечный, и правый — печеночный, левый — дальнорукый, правый — близорукий, и поэтому я бы хотел... но его уже не слушали, отвлекшись на что-то другое.

⁷ Ресторан «Flambaut» — ресторан с заслуженной репутацией. Фирменные блюда: фаршированный карп, гусиная шейка, жареный гусь. Израильские вина и Барак Палинка. Выходной день — понедельник. Адрес: 37, Rue du Faubourg-Montmartre. Телефон: PRO 70-93.

Вдруг ко мне приблизился некто маленький и черненький, словно угорек, и начал слезливо просить меня, чтобы я пощадил Кублицкого, поддался ему. Меня пробовали подкупить, говорили: «Назовите цену сами», но я был неприступен, и тогда, чтобы разжалобить меня, мне показывали детские фотографии Вадима Иосифовича. «Поглядите, какой любезник сидит, худенький, будто вьюн, — говорили мне, — и такую лапоньку вы собираетесь укокошить». Мне вдруг стало жалко Кублицкого, я вдруг поверил этим уговорам и фотокарточкам, но — готовый расплакаться и сам — вовремя увидел, что одежда моего собеседника расшита яркими звездами и к лицу его приделан дурацкий гуттаперчевый нос.

Ab ovo. Начинаясь и никак не могла начаться дуэль. Какой-то из моих сердобольных секундантов утешал меня, что не мне достался первый выстрел.

Какая разница, что будет в начале — говорил мне секундант, — какая разница, что будет в конце. Отвлекитесь, милейший, например, представьте себе скромное — только для двоих — путешествие: Аргентина манит негра. Приставьте зеркальце к фразе и прочтите ее задом наперед. Приставьте зеркальце к фразе и вы увидите, как с каботажного судна, замершего в одном из портов Патагонии, сходит кучерявый мавр, не знающий ни слова по-испански, не знающий, как объясниться в любви первой же встречной индианке-гурани, которая, восхищенная толстогубой красотой незнакомца, уже кидает к его косолапым ногам сентиментальную розу. Здесь — хорошо, здесь пахнет арахисовым и тунговым маслом, здесь — города, похожие на глянцевые почтовые карточки, на которых золотом вытеснено: Рио-Гальегос, или Санта-Крус, или Пуэрто-Десеадо... все — ложь, все — вычурный вымысел, на скорую руку почерпнутый из скучных географических словарей, но мавр-то, мавр, вы только полюбуйтесь, как хочется выглядеть ему живым и настоящим, он прямо-таки шипит мне в ухо, чтобы я побыстрее представил его собравшейся публике; господа, минутку внимания, я представляю вам... я представляю себе, что мавра зовут Азором, да, согласен, смахивает на собачью кличку, но ничего не попишешь, имя его — Азор.

Было холодно, было неправдоподобно. Я мечтал о сильном, циничном, безжалостном сопернике, которого почетно победить, от которого не позорно погибнуть, но, увы, грушевидный Кублицкий не справлялся с ролью подобного дуэлянта.

После долгих разговоров и препирательств, во время которых, прогорев до конца, потухли фонари (луна, правда, разошлась вовсю), нас все же расставили по местам и кое-как, наспех объяснили чопорные, старомодные правила подобных вот поединков, и когда я сказал, что согласен, да-да, согласен, согласен на все, только давайте уже начнем побыстрее, вдруг обнаружил, что вместо пистолета мне вручили серебряный, с черной слуховой рожок, с узкого конца испачканный чьей-то желтоватой серой.

Ab ovo, сначала; с самого начала дело было нечисто и игра велась не по правилам, но менять что-либо было теперь уже поздно, и поэтому, даже обнаружив обман, я только лишь промолчал. Я молча распахнул свою шубу (чтобы Кублицкому было лучше целиться, чтобы пуля его не запуталась в меху) и подставил сердце под хищный холодный свет луны, а оно — такое голое, такое маленькое на свету! — чистило, чистило (мой противник кричал: «Прижмите, придавите его рукой, иначе у меня ничего не выйдет!»), а до окончательной виктории Вадима Иосифовича оставалась лишь тонкая ниточка времени (которую я должен был самолично перерезать), а где-то за затылком, на твердой ровной стене сонно чавкали ходики, а роза упала на лапу Азора... путаница снова, снова начинается путаница, проба, проба пера... но так не хотелось проигрывать, истекать кровью, чувствовать, как льдом и инеем заволакиваются собственные мертвые и бесполезные глаза, так не хотелось...

Какое из местоимений выбрать для самого себя? Если я выберу «я», то выстрел Кублицкого поставит-таки кровавую точку на этой бесконечной истории; если я выберу «он», то он, вооруженный слуховым рожком, впитав в себя пулю Вадима Иосифовича, бесследно исчезнет, оставив меня навсегда одного.

Я выберу «они». Их много, они со всех сторон обступили Кублицкого, и он, рассеянно озираясь, не знает, в кого стрелять. Они... — одно целое; все, что бы-

ло когда-то, было именно с ними, они знают, что в любом из значительных грядущих событий для них уже приготовлена отдельная ложка. Они были и будут, они неуязвимы и непогрешимы. Я выберу «они».

Фонтан «Семь плакальщиц» был сооружен в 1768 году в честь одноименной поэмы английского поэта Вивиана Калмбруда, который в своем бессмертном произведении воспел некий удаленный французский монастырь. Главная героиня поэмы — мягкотелая сестра Жанна — страдает запущенной и злокачественной формой раздвоения личности, и та бодрая энергия⁸, с которой истекает болезнь, позволяет Жанне в конце концов видеть подле себя сразу семерых фальшивых двойников. Они в облике муз, они отличаются на лицо и на ощупь, они водят вокруг Жанны хоровод и ласково представляются по именам: Евтерпа, Эрато, Мельпомена, Талия, Клио, Урания, Терпсихора. Жанну обвиняют в ереси и под голыми нежными пяточками разжигают свирепый костер, из которого на глазах у изумленных инквизиторов выступают (по росту) семь невредимых подрумяненных муз. Они плачут и дышат горьким воздухом, перемешанным с пеплом исчезнувшей Жанны.

Фонтан построен неподалеку от набережной Сены и по замыслу соорудителей должен был питаться водами реки, но подводные трубы то и дело забивались мелкой речной рыбешкой, из-за чего фонтанные струи скудели, истончались, и лишь после того как рыба сгнивала, фонтан вновь начинал бить весело и упруго. Однажды фонтан выплеснул свежий еще, не успевший испортиться отрубленный женский пальчик, полыхавший кровью фальшивого рубина (безвкусный затейливый перстень застрял на основной фаланге), и городским властям пришлось подчиниться требованиям чувствительной публики и разобщить фонтан с Сенной. Несколько лет фонтан простоял в бездействии, но затем один шустрый итальянский инженер (имени его не сохранилось) разработал и воплотил в жизнь весьма оригинальный проект, по которому «Семь плакальщиц» подсоединялись к городской водопроводной сети.

Три четверти века безупречной работы фонтана; вода, с хлопаньем вырывавшаяся из ртов семи муз, неизменно собирала множество зевак, на глазах у которых однажды, в конце пятидесятых годов, писатель и философ Пьер Деланд отхлестал по щекам музу Эрато, после чего попытался выстрелить себе в голову, но попал в ухо и, истекающий кровью, был сначала свезен в полицейский участок, а затем — в приют для лиц с временным умопомешательством.

После очередного ремонта, который был поручен бригаде старательных немецких подрядчиков, фонтан вдруг забил жидкими зловонными фекалиями, и испуганные немцы объяснили, что, по-видимому, они, что-то напутав в чертежах, подсоединили фонтан к канализационной сети (так оно и оказалось).

В настоящее время фонтан не работает.

Теперь я все знаю, теперь я не позволю своему воображению вилить из стороны в сторону (как вилит переднее колесо под неумелым велосипедистом), я успокоюсь и медленно расскажу, как все было на самом деле.

На самом деле все было не случайно в тот черно-белый (небо — снег) вечерок — и мой очередной закономерный проигрыш, и внезапный густой снегопад, и долгий рев механической кукушки из собачьей будочки настенных часов, и сказанные аккуратным расчетливым шепотом слова матери о неизлечимом одиночестве Вадима Иосифовича.

Мне не стало жалко его — слишком унижительно совсем еще недавно бродил по доске мой король, спасаясь от неизбежного мата, — и поэтому, словно не было ни непогоды, ни позднего опасного вечера, прощаясь, я сильно размял руку Кублицкого (чтобы он поморщился. Он не поморщился) и глазами показал, где стоят его громадные бесформенные калоши. Он все понял и со вздохом сказал: «Что ж, пора и честь знать», он заткнул тяжелыми ногами калоши, но внезапно расчихался, раскашлялся и, хватаясь за сердце, попросил стул.

Вдруг в нашей маленькой прихожей стало тесно — и я и мать принесли по стулу, а Кублицкий, царапая стену ногтями, хрипел, что ему не хватает воздуха.

⁸ Так в тексте. Буквально: *sprightly energy*.

Открыли окно, впустили снег. Оранжевой корочкой льда покрылось недоеденное абрикосовое варенье (нет, это слишком; преувеличение).

С Кублицким действительно было неладно, будто бы загримировали его под горячее больное, — багряные щеки, сухие бледные губы, выпученные и неподвижные, как у статуи, глаза. «Холодно, холодно как, — пожаловался он, — словно впрыснули в кровь раскаленного льда».

Мы с матерью переглянулись — кому-то из нас следовало прикоснуться к его лбу, так некогда учил нас доктор Львович, говоривший, что в таком деле на руку полагаться нельзя, дескать, рука лгунья, а губы правдивы, губами, всегда только губами, — и я, различив в глазах матери мольбу, крепко поцеловал Вадима Иосифовича Кублицкого в лоб. Жар.

— Он поцеловал меня, словно покойника, — зарыдал Кублицкий.

— Что вы, что вы, — забеспокоилась мать, — сейчас мы вас будем лечить. Я не очень-то доверяю всяким там прикосновениям. Будет лучше, если мы найдем настоящий термометр.

Термометр был, даже два; один со шкалой Фаренгейта, расщедрившийся на целых 104 градуса, другой — с Реомюром (запнулся на 32-х).

Пришлось звонить доктору Львовичу, но по первому номеру сказали, что он давно уже съехал отсюда, по второму — что он здесь еще не живет, по третьему — что такого никогда не было и не будет, доктора Львовича, что сей доктор — всего лишь чей-то вымысел, вы только представьте себе: вымышленный доктор, мнимые болезни; позор, какой позор.

— Вадим Иосифович, — сказал я, укладывая телефонную трубку, — мне сказали, что ваша болезнь — мираж.

Неужто это и есть жизнь? — бесконечные репетиции чего-то грядущего: вчерашние девственники репетировали завтрашнее зачатие, сегодняшние больные репетировали вечную смерть. Мать сказала, что заболевший Кублицкий беспомощен, словно младенец, и поэтому она его никуда не отпустит, и Андрей, впервые с нежностью посмотрев на Вадима Иосифовича, увидел, что тот и впрямь совсем еще ребенок — пухлые, как у купидона, ручки, редкие влажные волосы, хрустальная нить слюны на нижней губе, — откуда, откуда здесь этот маленький мальчик? — хотелось спросить, но не спросил, а поцеловал, уже не по-медицински, а участливо и любовно, как целовал бы себя или, скажем, младшего брата, который капризничает и хворает, которого долго, нескончаемо долго не было, и вот наконец он тут — здравствуй, здравствуй, малыш, какая чудовищная несправедливость, что до сих пор мы были с тобой порознь и лишь только подглядывали друг за другом, мечтали, представляли и вспоминали, но теперь, слава Богу, мы вместе... дай же обнять тебя, дай слиться с тобою!

Мать постелила им вместе, и Андрей обнял скрюченное, с позолотой от щедрой луны тело Кублицкого и долго водил ладонью по его мягкой бесконечной спине, разглаживая, успокаивая бушующую лихорадку, а потом они вместе заснули, и им снились одни и те же сны. Снилось длинная дорога; снился овраг — деревья гурьбой спускались по крутому склону, с другой стороны поднимаясь поодиночке; снился поцелуй красивой женщины и некрасивого мужчины, который морщился и говорил, что нынче губы ее с горчинкой, а она отвечала, что виной тому крепкий кофе без сахара; снилась и вовсе какая-то ерунда, что-то наподобие жирных газетных заголовков, с непростительной легкостью складывающихся в гладкое бессмысленное стихотворение; снились мелькающие разрозненные части человеческих тел, словно белье в стиральной машине, а потом, к утру, все успокоилось и затихло, и снова было лишь одиночество, а за окном сыпал мелкий, как из солонки, снег.

ХIII

Милый, улыбчивый читатель! Ты ли, добравшись до описания болезни Вадима Иосифовича, прислал автору телеграмму: «Обеспокоен болезнью героя зпт сообщайте малейшем ухудшении тчк»; ты ли, предполагая фатальный исход, не поленился сходить в похоронный дом Яблоковых и с нарочным прислал

рекламный каталог этой уважаемой фирмы: на глянцевых фотографиях помимо величественных венков и разнообразных фасонов специфической женской и мужской одежды были изображены уютные вместительные гробы, лежащий в которых живехонький ковбой зазывно улыбался, одобрительно выставляя вверх большой палец; ты ли прислал на адрес издательства коробку с розовощекиными фруктами («Для Кублицкого В. И.»), пришедшимися так по вкусу издательским машинисткам, курьерам, шоферам и дворнику; ты ли?..

Милый, улыбчивый читатель! никто, кроме автора, не знает о твоём близком существовании, осведомленности и чутком, пытливом уме, но ты, дорогой книгочий, не очень-то ценишь тайну, свалившуюся на тебя, иначе не был бы твой голос столь громок и нахален, иначе не позволил бы ты себе таких безудержных фантазий. Вот послушай — эхо твоих последних слов еще не до конца впиталось улицами, домами и лакированными ночными лужами, — что говорил ты о матери Андрея: ей что-нибудь возле сорока лет; за последнее десятилетие у нее успела сложиться привычка стягивать с правой руки перчатку, если подле оказывался аккуратный строгий мужчина, лучше — пожилого возраста, лучше — вдовец, чтобы он увидел, что ее безымянный палец не стеснен золотом обручального кольца, но ничего путного из этой уловки не выходило — вдовец *vis-a-vis* деликатно справлялся, не жарко ли ей, и предлагал приоткрыть окошко (в железнодорожном вагоне, в тихом ресторанчике на берегу прохладного озера, в безликой просторной комнате, где еще целая куча людей, — разговоры о телетаназии, гносеологии и прочей скучнейшей чепухе) или долго разглядывал ее спокойные ногти и беспокойные пальцы и, вздохнув, спрашивал разрешения закурить — да, пожалуйста, курите, я не против, — на чем все и заканчивалось, не считая вязкого табачного дыма, от которого хотелось наплакаться влась.

Ах ты, лукавый пронира, автору трудно, автору невозможно спорить с тобой — может быть, что-то подобное и случилось с этой обездоленной женщиной, но скажи: отчего ты столь безжалостен, громогласен и быстронаог? Автору не угнаться за тобой, не заставить тебя замолчать, и вот уже неизбежна ваша встреча с Андреем.

Вечер, только что закончился дождь, на мокром асфальте лежат освещенные стены домов. Парят, не касаясь земли, автомобили, останавливаются, с чмоканием хлопают дверцы — кто-то вышел, кто-то вошел. Тебе, читатель, было скучно сегодня, ты читал, заедая чтение яблоками — капли яблочных косточек падали на раскрытые страницы, ты читал, глуховатым ухом слушая пресный дождь — такие дожди, внезапные и обильные, вовсе не редкость в твоих местах, а потом, когда кончилась очередная глава, совпав с окончанием дождя, когда кончились яблоки, тебе вдруг захотелось на улицу, нет, без особой причины, хотя заодно в кондитерской лавке можно купить треугольный кусок домашнего яблочного пирога — отчего ж не побаловать себя? — и вот уже ты купил пирог, и вот уже ты улыбнулся какой-то посторонней игривой мыслишке, и вот уже ты... но ты не возвращаешься домой, а, любуясь мокрым блеском вокруг, по выщербленным ступеням спускаешься в парк, где тебя окружает компания добродушных бездомных псов, которые, попыхивая глазами, попрошайничают и раболепно машут хвостами, и ты, радуясь собственной щедрости, отдаешь собакам пирог. Снова улица, слава Богу, она еще не обсохла и на ней все так, как было пятнадцать минут назад. В зарешеченном окне первого этажа женщина в длинном шелковом халате, любуясь глубоким зеркалом, длинными движениями расчесывает на ночь мягкие волосы. «*Vonne nuit*», — говоришь ты ей, но она не понимает по-французски и, обернувшись с поднятой рукой (ты успел разглядеть гребень с узорной серебряной ручкой), быстро кудахчет на совсем незнакомом языке гортанно и зло, и из пухлого кресла, казавшегося необитаемым, внезапно вырастает пучеглазый мужчина в феске (вот вы какой, эфенди Асаф), который подбегает к окну и грозит ночи смуглым увесистым кулаком. Снова кондитерская лавка, снова продавщица двумя взмахами ножа вырезает порцию рыхлого, сочащегося сиропом пирога. Спасибо. Неподалеку от лавки лоточник продает некрепкий сладкий кофе, сладкий — от сахара, не-

крепкий — от дождя, слишком много из неба вылилось воды, говорит он. Спасибо, ложь. Ты покупаешь стаканчик и, прислонившись к стене дома, пьешь кофе и ешь пирог. Ты обнаруживаешь на панели мелкую монету и, улыбаясь ногам прохожих, поднимаешь ее. Пока не кончился кофе с пирогом, ты не прочь поболтать, но у прохожих — глухонмота, в кондитерской лавке лягнул засов и потух свет, а торговец кофе, толкая тележку, удаляется прочь, и поэтому ты, используя найденную монету, из уличного телефона звонишь своему старому другу или молодой сестре, и так как особого повода для разговора нет, ты, пожирая пирог (кофе пролился), обсуждаешь с ним (с ней) сегодняшнюю книгу, обсуждаешь Андрея, который уже стоит за твоей спиной и равнодушно и устало ждет, когда освободится телефон, но, слыша вдруг знакомые имена и названия, тотчас же избавляется от дремы своей и апатии, возмущаясь, что о нем говорят как о не существующем или мертвом человеке, и, нервно ежась, хочет встрять в разговор, хочет опровергнуть несправедливые реплики — нет, у меня не прыщавые щеки, нет, у меня не обгрызены ногти, нет, я не безумен и не жесток и по-прежнему обожаю мать, ведь ближе ее у меня никого нет, нет...

Полчаса спустя: уже почти совсем ночь, мокрые стены темных домов выглядят бархатно-мягкими, маленькая, похожая на луковицу часов луна висит на посеребренной ниточке тонкого облака, спят голые теплые люди, но тебе, о, прозорливый читатель, не спится — ты идешь под руку со своим новым знакомым, который назвался Андреем, который все порывается что-то сказать тебе, но ты и так все знаешь: «Молчите, молчите, юноша, я тоже был молодым, я тоже знаю, что значит чувствовать на затылке горячее дыхание самой бессовестной мечты».

Автор — пошлое сусверие не позволяет ему воспользоваться личным местоимением — из своего таращащегося заоблачного окна (очень высокий этаж и никогда не работает лифт, поэтому все время болят ноги и донимает одышка) взглядом скользит за вами и благодаря сочной ночной тишине даже слышит некоторые из слов: вы лжете друг другу — ты, читатель, уже произнес свое имя — Максим Максимыч, — вымышленное, конечно, и врать не было никакой нужды, но ты оправдываешь себя тем, что оно псевдоним, и снова лжешь, хотя, кажется, совершенно непреднамеренно, и Андрей отвечает тебе тем же: «Вы, дорогой Максим Максимыч, знаете то, что неведомо мне».

Ах, какой же ты все-таки плут, любитель псевдонимов и фальшивой таинственности! Страдая вульгарной бессонницей, ты решил скрасить ее легким, как цветочный запах, знакомством с милым, застенчивым юношей, который наверное не польстит на твой ражий кошелек и слезки бриллиантовых запонок и не вытащит из кармана холодную финку, но — очнись! — совсем нечаянно ведет он тебя в сторону кладбища (куда нежалостливый автор, желая кое-что уточнить и проверить, уже отсылал его), и вряд ли придется тебе по душе некрополь, созданный посторонним сознанием: там с прежней грубостью чудят могильщики, там порхают тяжелые ангелы, каменными крыльями ломая верхушки деревьев, простертые к низкому пузырящемуся небу, там, задыхаясь, сушит в гробу ножами проснувшийся летаргик, засунутый под землю бездушными родственниками и невнимательным врачом, там захоронен — нелегально, без надлежащих документов — выкидывш двенадцатилетней проститутки, и лишь только там происходят встречи двух сестер-близнецов, до времени разлученных смертью.

Не в силах автора помешать вашей бессмысленной ходьбе; вы идете и будете идти, вы пройдете мимо зачатия (то эфенди Асаф взгромоздился на свою кареглазую серну и, постанывая, напоминает фехтовальщика, осуществляя за выпадом, выпад), вы пройдете мимо родильной больницы, где могучая, похожая на гипсовую гребчиху акушерка злобно выкорчевывает из лона исстрадавшейся роженицы скользкий морщинистый плод, вы пройдете мимо взрослых отроков и их важных зрелых родителей, вы пройдете мимо выпадающих в детство стариков, и когда до кладбища останется сто, двести или триста шагов (автор охотник до десятиричной системы), вы почувствуете скорбный аромат

смертного одра — уже притормаживает чье-то сердце, уже чей-то рот тщетно ловит ускользающий воздух.

Грустно. Читатель, это ты сказал — грустно, это ты сказал, что ожидал совсем иного от этого маленького сентиментального путешествия, начавшегося после того, как две одинокие продрогшие души наконец-таки отыскали друг дружку, и потом, как славное было потом — скромная обоюдная ложь, мягкая ртуть взаимных признаний, сладкая отрава, разлитая в воздухе, томление и тихое ожидание приятного сувенира, — но вдруг заорал, избавляясь от семени, этот проклятый турок, и тогда выяснилось, что от рождения до смерти — всего лишь несколько кратких улиц, и что, если нам, молодой человек, я забыл ваше имя, поскорее повернуть назад.

Путь назад, жизнь наоборот: от смерти к рождению. Читатель, ты вдруг сказал Андрею, что он как две капли воды похож на твоего почившего кузена, ведь совсем недавно еще у тебя был такой — весельчак, бабник и пьяница, — нашедший свой конец (с твоих слов) в нелепой дорожной аварии, когда его мотоцикл на всем скаку вдруг выхаркнул из себя какую-то важную шестерню и повалился набок, задавив бесстрашного седока. Выловленный из лужи крови с бензином, кузен с посторонней помощью проделал обычный в таких случаях маршрут больница — морг — кладбище, где состоялись многолюдные немногословные похороны, — облепившие деревья птицы любовались мертвым человеком, на дне распахнутой могилы сидела, задрала голову и дергая кадыком, коричневая лягушка, а чуть позже, после того как выпятилась грыжа могильного холма, состоялись пьяные разнузданные поминки.

Но сейчас вы стоите на том самом месте, где случилась авария, и тебе кажется, что с кузеном ничего страшного не произошло, тебе кажется, что кузен — Андрей: что же ты, братец, такое отчубучил, прикинулся мертвым, заставил себя хоронить... А тризну какую потом отгрохали! Ух и в копеечку же она нам вышла.

Несколько новых шагов: ты у же забыл про аварию, ты еще не знаешь о ней. Ты говоришь Андрею, по-прежнему принимая его за своего кузена, что вполне одобряешь его выбор, мол, невеста что надо, и невооруженным глазом видна вся ее девственность и непорочность, и какая красавица, как есть красавица: нежная, чуть недозрелая кожа, глазки, полные трепещущей влаги, маленькие ножки в сафьяновых туфельках, жемчужные зубки... да что там говорить, был бы я помоложе, но — взгляд на часы. На застекленный циферблат лениво улеглась луна, — кажется, мы опаздываем: гости в сборе (даже притащился на ковьялящих ногах самый что ни на есть настоящий генерал), скрипят пронырливые официанты, приглашенные скрипачи трут подбородками скрипки, в пасти огромного жареного кабана скромно притаилось крошечное райское яблочко, брызжет прохладное вино, сквозь ленты и банты рдеет невеста, уже загодя переживающая, все ли увидят наутро ее брачную простынку, похожую на японский флаг. «Ты уж не подкачай, сегодня ночью не подкачай, — возбужденно ты шепчешь на ухо Андрею, — не посрами нашу фамилию. Эх, ну и сладенькое же дельце тебе нынче предстоит, ведь я тоже был женихом когда-то».

Вы продолжаете идти, хотя тебе (или — вам? Автор в затруднении, не зная, каким местоимением правильнее определить лишнюю, постороннюю фигуру, назойливо застилающую протагониста, который вдруг позволяет себе ходы, не предусмотренные ни сюжетом, ни холеной авторской фантазией) хочется уже бежать, ведь ты (вы) — известный ценитель всяческих церемониальных торжеств — женитьб, крестин, поминок, — но приходится сдерживать себя — не годится, чтобы жених прибывал на собственную свадьбу взмыленным, лохматым и с вытарашенными глазами, и поэтому стоп, давай переведем дух, причешемся и вытрем шею платочком. Он послушался: остановился и, смотрясь в черное зеркало ночи, медленно причесался, подметив, без радости, свое сходство с неким кавалергардом, тяжеловатенько обнимавшим двух малокровных девиц на цветной афише ближайшего кинотеатра... и разве не было подобного с ним? разве не было подобного со мной? — растерянно спрашивал он, но ты,

всезнающий Максим Максимыч, хищно поджидающий такого вот вопроса, не радовал его утвердительным ответом: «Аберрация, дорогой мой, аберрация!»

И была уже не ночь, но смеркающийся день, и рядом был совершенно незнакомый человек, который требовал, чтобы его называли Максим Максимычем — совершенно странное, полужнакомое и полужабытое имя, — и был маленький флигель, притаившийся за углом огромного дома, именно во флигельке должна была состояться, и уже начиналась — у распахнутых дверей пенились гости: мужчины в жабо, женщины в пушистых платьях, — свадьба, и, кажется, напрасно было ждать, что развеется безумие его говорливого спутника, что приглашенные заметят подмену; напротив, они, истомленные ожиданием, при его появлении захлопали в ладоши и радостно загорланили, и ему пришлось с отвращением нюхать пудру, духи и одеколон — его целовали, терлись о щеку, подставляли для поцелуя лица и шеи — снова пахло одеколоном, духами и пудрой. Ему говорили, что он — Жан, ему говорили, что он — monsieur Серонже, ему говорили, что он — знаменитый мотогощик и на своем мотоцикле «Айнспер» уже хапнул кучу денежных призов и завоевал сотни хрустальных кубков, и он сначала яростно возражал, но потом, когда из задних комнат под куки, словно парализованную, подружки вывели невесту, которая слабо улыбнулась ему и приветственно пошевелила белыми, в шелковой перчатке пальчиками, ничего не оставалось делать как согласиться: «Да, это я знаменитый мотогощик, да, это меня зовут Жан Серонже».

Здравствуй, здравствуй, моя воскресшая любовь! Слава Богу, все уже позади — ревность, страхи, досада и заблуждения. Теперь все удивительно четко, будто каждая линия бытия прочерчена тонким и точным рейсфедером, но как сумрачно было прежде: сумерки и обманы, лабиринты маний; я отравлялся иллюзиями, я заштриховывал истину. Теперь я вижу, что ты не мертва и тело твое не помутнело, а глаза не налились смертью. Глаза твои живы, они вспухли прозрачными слезами, когда меня наконец-то подвели вплотную к тебе. О, роса твоих слез! Как слаб и слеп был я, бесконечно примеряя к тебе чужие образы и имена, на которые столь щедро оказывалась каждая душная ночь, но утрами, когда жидкое ржавое солнце растекалось за окнами, вдруг понимал, что опять заблуждался, и, не подступаясь к истине, вновь погружался в сладкий ядовитый сироп непроницаемой лжи. Мне казалось, что у меня есть другое имя (которое непрерывно вылепляли бледные уста моей матери; кажется, был в этом упражнении какой-то синкопальный, обморочный смысл) и другая жизнь, где алчный и злобный соперник, мореплаватель и мотоциклист, по локоть запускал свою сальную руку в нежный потайной кармашек моей робкой любви, и вот только теперь, когда зеленые брызги плещущейся листвы застилают глаза, все внезапно прояснилось и успокоилось: не было и нет никакого соперника, или если он был, то был мною... Я пожму себе руку, я поздороваюсь с собой: «Bonjour, mon ami».

Я видел свою невесту, бывшую Манон Леско, бывшую мертвую оледеневавшую принцессу, бывшую механическую куклку. Я видел обильную свадебную трапезу, я видел пащтет из заячьей печени, плавающий в прозрачном фраскатти, — деликатес, к которому я всегда питал особое отвращение. Я видел снова ночь — плоская, совершенно круглая луна скользко прилипла к черным стеклам бесчисленных окошек. В палисаднике, неподалеку от флигелька, на земле валялось несколько мертвых чужестранцев, одетых странно, по-маскарадному, и жадное воронье склевывало с их застывших лиц распахнутые беззащитные глаза.

Я видел себя. Я помнил себя. Я думал, что опять сплю, но моя невеста, плача, умоляла меня проснуться. «Ведь я и есть твоя умершая мечта, — совсем по-детски всхлипывала она, — но я могу воскреснуть, и чистая сторона мира вновь повернется к нам своим лучезарным лицом. И лоно мое вновь возжелает семени твоего, чтобы родить тебе нескольких ребятишек мал мала меньше, и все вместе мы станем счастливо жить в какой-нибудь удаленной горной хижине, и вместо шумных, суетливых соседей нас будут навещать добрые птицы, звери и гномы, лукаво отражающиеся в густой воде теплого озера, расстелен-

ного Создателем прямо под окнами нашей уютной избушки. Терпеливо и старательно будешь ты работать в лесу, и вечерами, когда небо разольется по черному зеркалу нашего озера, вся твоя семья, услышав стук деревянных сабо — усталый, нарубив хвороста, ты возвращаешься из леса, — выбежит навстречу тебе, радостно крича: «Дровосек, наш любимый дровосек вернулся!» И я заранее могу сказать тебе, что у нас будет на ужин: на ужин у нас будет сыр рокфор, чей тухлый запах вызовет у тебя прилив сил и пробудит столь приятные мне желания, на ужин у нас будет красное вино из дикой смородины и ломкие хрустящие галеты, а детям достанется по стаканчику козье молоко. Как славно, как славно все будет! В нашей бедной комнатке запоет сверчок, закричит камин, бросая отблески пламени на твое загорелое, обветренное и мужественное лицо, которому — на мой вкус, конечно, — очень пошла бы густая короткая борода, пронизанная чистой сединой, и грубая дымная трубка, направленная крепким пахучим табаком. Ты устал, ты очень устал, и дети устали тоже — у них слипаются глаза и подкашиваются ножки, — но спать они не ложатся, потому что я пообещали им меду. «Ну дай же им меду», — сердись ты, а я, залюбовавшись тобою, не слышу никаких слов, и ты, вздыхая, встаешь с продавленного стула, купленного у хромого старьевщика, и сам опускаешь в каждый детский по-птичьему разинутый ротик деревянную ложку, полную золотистого приторного лакомства, и благодарные дети, осторожно коснувшись губками твоей колючей щетины, спокойно засыпают вповалку, и мы остаемся вдвоем. Я чувствую, что рокфор уже начинает действовать — на лице твоём исчезает суровая отчужденность, а рука твоя, только что вяло лежавшая у меня на плече, постепенно оживает и напрягается и затем, словно беря след, начинает осторожно водить по мне, сперва — по домотканому платью, потом — по гладкому, отполированному местными ветрами телу, которое пульсирует от наслаждения, медленно сжимается и хочет целиком поместиться к тебе в ладонь. Мы оба, одурманенные твоими ласками, шатаясь, бредем в угол комнаты, где на полу валяются наши мягкие тюфяки, и опускаемся на них, успев сплестись в сложный, нераспутываемый узел, и последнее, что я успеваю сделать, это задернуть тиковую занавеску на окне, и все... потом я только кричу, еще туже затягивая узел, связавший нас, и снова кричу, чувствуя, как разрываюсь, лопаюсь по всем швам... и вдруг — тишина, меня больше не существует, вместо меня — разрозненные куски, будто бы я — упавшая статуя, и опять — тишина, и ночь, и догорающие поленья в камине, и ровное дыхание спящих детей, и вот уже — голубое утро, влажно расцветающее в долине, и ты, хмурающийся эпилогу своего короткого сна.

Будто бы мои мысли перелистывала она: ведь это я давным-давно сам назначил себя на роль многолетнего дровосека, ведь это я расстелил озеро под окнами нашей затерянной хижины, ведь это я, просыпаясь пораньше, воровал мед у диких пчел, чтобы угостить им своих ребятишек. «Ты украла у меня мою нежную грезу», — грустно сказал я невесте, и она грубо расхохоталась в ответ, обнажая свод бледного неба и острый трепещущий птичий язык.

После очередного исчезновения вернувшись домой, рядом со спящей матерью он увидел книгу. На шелест страниц мать открыла глаза. «Очень странный текст, — сказала она, — очень странный голос. Кажется иногда, что, живя, и мы подчиняемся лишь ему. Почитай».

Он читал: ...ну что ж, все как в старые времена — отчего вы сидите, слышите? в дверь звонят, Изольда Францевна приехала. Ну а откуда на сей раз? Да, спасибо, я знаю, из Бельгии, из Брюсселя. Нет, я не упомяну брюссельскую капусту — уже упомянул; я расскажу про площадь Гранд-Плас, рядом с которой вы, Изольда Францевна, жили со своим муженьком. Славная в этот раз досталась вам квартирка, в низкие большие окна выплескивались волны молодой ливневой воды старого вяза, росшего рядом с домом; упираясь локтями в подоконник, вы пили чай, вы ели вишневое варенье с косточками, сплевывая их в полные чашки. Вы пили чай с косточками... Да, извините, получилось неостроумно, все, шутки в сторону: вы пили кофе, и чашки от обилия гущи и сахара были очень тяжелыми, словно литыми. Отлучаясь в туалет, ваш муж говорил

серьезно и хмуро: «Пригляди, пожалуйста, за моим кофе, последи, чтобы он не остыл» — и пока он, страдающий несварением, безнадежно долго и сочно урчал своими дурными кишками над яйцевидным унитазом, кофе, конечно же, остывал, и вы из-за этого начинали чувствовать себя виноватой, бесконечно виноватой, виноватой.

Что еще? еще по утрам напротив ваших окон останавливалось белое, все в мелких завитушках — словно только что от парикмахера — облако, еще над городом летали птицы, которых из-за недостатка орнитологических знаний можно было бы вполне считать утками, ведь что ни говорите, в этих утках, в их постоянных возвращениях на родину, есть что-то очень романтическое, еще вам снились сны, и я бы рассказал про них, но мне не позволено прикасаться руками к нежным чужим тайнам.

По воскресеньям консьержка приносила вам земляничное мороженое, и за вашей спиной, Изольда Францевна, муж гладил ее по упругому крупу. «Возмутительно!» — сказали бы вы, но не говорили, так как не замечали всех этих ласк — ваш муж, зная о вашей близорукости, ловко поменял стекла в очках, и теперь все так расплывчато было перед глазами...

Впрочем, вы тоже не теряли времени попусту, встречаясь по вечерам у собора святого Гудулы или на мягких аллеях парка Хайсель с улыбчивым скромным молодым человеком, в узком лице которого без труда угадывались липкие наследственные черты самого... Да, да, Изольда Францевна, я промолчу, я знаю, что теперь не время произносить громкие фамилии, но все же — как не позавидовать — вы и представитель европейской знати.

Потом вы с мужем мчались в ночном экспрессе и, слушая пьяную оргию в соседнем купе, не могли без слез вспоминать своего кавалера, его чудовищно неумелые поцелуи, его проворные голубые глаза, его обещания уплыть вдвоем на корабле «Великая княгиня Анна» отчего-то на Кипр, где климат субтропический, средиземноморский, где в год выпадает 300 — 600 мм осадков, где добывается медная руда, а также пириты, хромиты и асбест, где есть равнина Месаория — единственное место на земле для безнаказанного грехопадения.

Потом была незнакомая гостиница и незнакомый город, хищно показывающий свой оскал из острых готических башен. На завтрак вы выбрали сыр, во многих дырочках, словно расстрелянный, и заедали его толстой морщинистой пенкой с густого какао. Когда пришло время восхода и между тремя домами, стоящими напротив гостиницы, зажглись два ослепительных вертикальных штриха, вы окончательно поняли, что несчастье неотвратимо...

XIV

Ночами — а они наступали все чаще: частые ночи, редкие дни — он просыпался от кошмарного ощущения, что тело его, торопясь и прихрамывая, вдруг удаляется прочь, тогда как сознание — глубинная какая-то, колючая точка — всегда оставалось поблизости, и приходилось тогда подниматься, вылавливать в темноте свое убегающее тело, покрепче прижимать его к себе и снова засыпать, но во сне слабели руки, и тогда он туго обвязывал себя ремнями и продолжал спать так, будто узник, приготовленный к завтрашней казни. Не очень охотно, с капризами, приходило завтра, желтело, голубело и зеленело за окнами, начинали тише работать часы, и в его комнату на цыпочках вкрадывалась мать, которая не замечала, что ее сын, словно перед закланием, мертво стянут ремнями, а, видно, только и ждала нового пароксизма лающей страсти у Вадима Иосифовича.

Теперь Кублицкий безотлучно жил у них, но не в своем жирно-твердом телесном облике, а в виде туманного, почти потустороннего образа, которому, за исключением осязаемости, были присущи все свойства живого, предрасположенного к смерти человека: он ел мокрую и сухую пищу, он надолго записался в уборной, подражая там пению канализационной воды, он встревал в разговоры и в молчание, он твердо подходил к спящему Андрею и потуже стягивал ремни, спутывающие его, или — когда ожидалось стоны и скрипы — грубо затыкал ему уши пучками травы.

И никак нельзя было поговорить с матерью наедине, после любого вопроса она лишь мычала, плотно зажатая ладонью Кублицкого, который, имитируя ее голос, елеяно отвечал (называя его сыном — омерзительнейшая вольность...), что нет повода ни для каких изумлений, дескать, давно замечено, что напротив реальной жизни выставлено некое зеркало, правдиво отражающее лишь бред и безумие, лишь мрак и черные лабиринты, лишь кривлянье истлевших мертвецов, изображающих из себя живых говорящих людей, лишь густые ветры, что несутся в сторону, противоположную вращению крыльев ветряных мельниц. Или, когда настроение у него было поигривее, Кублицкий шутил: «Я — ушки твоей мамочки, ну-ка, скажи в меня что-нибудь» — и Андрей говорил, потому как любое молчание напоминало смертельную болезнь и болезненную смерть, и он говорил (старательно делая вид, что обращается только лишь к матери, что кроме нее никого рядом нет)... Он говорил, что во всем виновата лишь она, он, постепенно распаяя себя, уже кричал, что она родила его самовольно, ведь он никогда не просил ее об этом. «Более того, — голос его срывался с небес и тек дождем в ее испуганных жилах, — тот стусок слизи, впоследствии ставший мною; всячески противился оплодотворению и всем этим внутриутробным развитиям, но ты не прислушивалась ни к предупреждениям, ни к сомнениям, ни к мрачным пророчествам снов. Три четверти от целого года я провел в твоём животе, перевернутый — для утехи зубоскалящей публики — вверх ногами, и твоя кровь, отравленная ревностью мужа (приват-доцент Смоленский! я публично объявляю вас своим отцом!) и хитрыми домогательствами Вадима Иосифовича, щедро прилиwała к моей голове — головная боль, головная боль — вот главное воспоминание той поры. Хотя сквозь ядовитые испарения той зародышевой поры проступает еще кое-что, например, два мучительных часа моего бесполостного рождения: нам обоим было ужасно больно, ослабившаяся от сладострастного напряжения акушерка, прилепив под нос густые усы, по-грузински гарцевала на твоём вспухшем животе, а потом, утомившись, залезала в тебя, и я помню ее ужасные многопалые руки, что, царапая, хватали мое нежное скрюченное тельце и вытягивали куда-то его. Лились теплые пахучие жидкости, яркий искусственный свет выжигал глаза, скрежетала под туманными ножницами добрая глупая пуповина... и я орал и сопротивлялся, будто бы заходя зная, что, разом преодолев ряд незначительных событий, окажусь vis-a-vis с ненавистным Кублицким, чьими глазами теперь вечно глядят на меня даже незнакомые полупризрачные люди, порой бегущие за переполненным трамваем, порой окаменевая и превращаясь в неподвижные статуи. Да, он — злой властелин наших жизней, мы оба зависим от него, и ты, его добровольная рабыня, и я, продолжающий оставаться лишь стуском сознания и теперь беспомощно и робко бродящий по пустым комнатам, где сквозь одно окно светит одна луна, сквозь другое окно — другая луна, а сквозь третье — огромный черный дом грозно накренился над моими босыми ступнями, которые, пользуясь моим тревожным сном, без спроса вылезли из-под коротковатого одеяла...»

Иногда в разгар ночи, когда настенный Буре грохотал как полагается, чтобы не сглазить всех этих сомнамбулических грез, к Андрею под ручку подходили мать с Вадимом Иосифовичем, которые, повторяя вслед за часами: раз-два-три, раз-два-три, — развязывали ему ремни и предлагали пойти прогуляться. Чтобы не сердить сына, мать для подобных прогулок выбирала костюм весталки, а Вадим Иосифович принаряжался в платье евнуха и начинал пиццать сквозь пузатые щеки. На улицах, которые по случаю ночи меняли свои дома и названия, вопреки ожиданиям было весьма многолюдно; какие-то пешие сновидцы раскланивались друг с другом; как мотыльки, на тепло человеческих тел со всех сторон слетались легкие, грациозные слепые, снова обманутые и полагающие, что близится время обеда; некий мальчик с приятным лицом, обнимая своего зыбачегося двойника, спрашивал у всех дорогу на кладбище; для потехи ватага веселых охотников постреливала в искрящийся звездами воздух, ловя ртами падающие теплые пули. Втроем они бродили по твердым улицам и мягким аллеям, подолгу сидели на парковых скамьях, чтобы закололо, зазно-

было отсиженную ногу, а потом, хромая, возвращались домой, а дома их снова оглушал, усыплял все тот же настенный неутомимый Буре.

Фантазии на тему доктора Львовича: ему столько-то лет, его тело, ухоженное по всем новейшим медицинским рекомендациям, нежно, гладко и безволосо и прямо-таки просится в руки. У него овальное лицо, нос пирамидкой и бледноватые, чуть подсушенные сигарным табаком губы, знакомые не только с родной речью и латинскими рецептурными фразами, но и с языком королей — французским, к учителю которого, воинственному старику с мумифицированными, в пятнах зеленой плесени щеками, он прилежно отправляется через весь город по средам и пятницам. При случае доктор не преминет щегольнуть своим дурным французским, в котором маловато носовых звуков, но зато избыток картавости. Он любит рассказывать, как однажды целый вечер провел в приятных беседах с одним португальским матросом, умалчивая, впрочем, что тот был мертвецки пьян.

Он — хирург и при виде всякого смертельного больного, с хрустом натягивая резиновые перчатки, вприпрыжку устремляется к нему, чтобы поскорее сделать какую-нибудь операцию, увидеть кровь, утолить — как он пошучивал — внутреннюю неистребимую жажду, и когда вмешательству подходит конец, доктор, шатаясь, с устало-пьяным лицом отходит от хирургического стола и принимает в объятия перепуганных родственников пациента, которым, пережевывая табачный дым, говорит: «Будет жить... Но если бы еще немного, то спасти было бы невозможно». Он — хирург и остается им даже вне больничных стен, рыская в гололедные дни по скрюченным улицам, чтобы вовремя поспеть к какой-либо аварии и с наслаждением первым прикоснуться к сладко-кровавому месиву. Замирая от ужаса и сладострастия, он тихонько порхаёт по плохим кварталам, где люди сосредоточенно и увлеченно режут и стреляют друг друга, и стоит — после финала — хмельным зрителям в обнимку разойтись по смрадным жилищам, доктор на цыпочках выходит из своего укрытия и припадает ухом к чужой сочно-прекрасной ране, чтобы услышать, есть ли под ней еще жизнь (которую он готов безостановочно спасать), совершая — по возможности — прямо тут же на мостовой какой-нибудь замысловатый хирургический фокус. И в последний раз: он — хирург и с особой, глубинной нежностью исподволь истязает свою маленькую, похожую на аккуратную букольку экономку, которая не знает, как расплатиться с природой за свой давний, еще ювенильный аборт, и поэтому стоически терпит все муки, обливаясь кровью, когда доктор — любознательно и любезно — скармливает ей твердое яблоко со спрятанной внутри бритвой, или засовывает в ее пуховую подушку с дюжину стальных швейных игл, или высыпает ей под босые ноги осколки старинного венецианского зеркала. Потом, дождавшись предвестников ее вялой агонии, он, встревоженный и лохматый, выбегает на улицу, освещенную полночью, где его уже поджидает метель, и, весь, как в стружьях, в снегу, умоляет шофера случайной машины отвезти пострадавшую в больницу, где самолично сделает ей успешную операцию...

Или: он — педиатр. Любой комок недавно рожденного тела приводит его к желудочным спазмам и вызывает острый аппетит. Не подпуская к ребенку родителей, он разворачивает все пеленки, представляя, что снимает крышечку с блюда, где нежится лакомство, которое, прежде чем съесть, нужно обязательно поцеловать. Опустившись на колени, он долго и мелко целует младенца, и лишь когда возмущенный отец громогласно заявляет, что сейчас задушит этого сумасшедшего врача, или щелкает портсигаром, делая вид, что заряжает револьвер, доктор Львович наконец поднимается и безошибочно-просветленно называет диагноз и требуемое лечение. Встречаются в его педиатрической практике и пациенты постарше — плаксивые девочки и неряшливые мальчики, — и те и другие весьма неразборчивые, словно обернутые тонкой пергаментной бумагой, и доктор, страдающий самой злокачественной формой бесплодия, вдруг начинает трепетно грезить, что вот они, его собственные отпрыски, и, уже почти засыпая от властной внутренней неги, называет детей строгими иудейскими именами и сажает их себе на колени. Он спит, беспокоясь, что у его ненаглядных малышей рези в животе и вишнево-красовые поно-

сы, он спит, сердясь на доктора, который обещал прийти к трем, а сейчас уже пять, он спит, видя, как из задних комнат медленно выплывает его добрая Рахиль, говорящая, что у их старшего скоро бар-мицва... Он спит всего лишь несколько минут, успевая вот так, сидя, прожить несколько десятилетий, и дети, испуганно и неподвижно сидящие у него на коленях, становятся уже его внуками, перед которыми он, проснувшись, опускается на четвереньки — поглядите, поглядите, ваш дедушка лошадка — и хочет покатать их... но тем неприятнее отрезвление — грубый башмак истинного папаши аппетитно наступает ему на распластанную ладонь, и доктор, едва не плача, объясняет свою нелепую позу, говоря, что из крахмальной манжеты выскочила жемчужная запонка, которую надо непременно отыскать, так как вся его лекарская сила заключается именно в ней.

Или: он — гинеколог и отличается, подобно другим представителям этой профессии, нагловатой вкрадчивостью и однообразной ласковостью, которыми скрывает кишение похабных мыслишек. Но вместе с тем, оказываясь перед глубинами женского лона, он начинает вдруг судорожно бояться, что сейчас навстречу ему глянет усатое нахмуренное мужское лицо, которое плюнет в него прогорклой слюной и расхохочется властно: «Эх ты, братец!» Поэтому держит он в кармане халата острую шпильку, которой готов выколоть страшному лицу глаза, но идут годы, а rendez-vous почему-то никак не может произойти, и тогда к его суеверному ужасу примешиваются любопытство и нетерпение; со звериной, хищной остротой он начинает чувствовать, что встреча необходима, так как лишь она способна освободить его от неясного, какого-то кишечного бремени. Промучившись в размышлениях не одну ночь, он наконец отваживается на робкое ухищрение: развешивает по стенам своего кабинета яркие подарочные приманки — разукрашенные дикарские маски, сверкающие птичьи перышки, скорлупу от орехов, засохших жуков, осколки зеркал, звонкую фольгу, — но все напрасно, кажется, напрасно все... Женщины, хранящие грудь свою под неприступно-толстыми шерстяными кофтами, но зато с бесконечно голыми ногами, такими же голыми губами смеялись над всеми странностями доктора и его кабинета, напоминавшего скорее гнездо длинноклювой вороны, но он, не видя и не слыша всех этих ухмылок, заставлял пациенток поскорее одеваться и белоснежными от страха ладонями выталкивал их на улицу, успевая шепнуть им на ухо рецепт каких-нибудь вагинальных свечей или контрацептивных микстур. Проветрив кабинет от женского запаха, он тоже выкрадывался наружу, чтобы в толпе, среди жадно дышащих домов, растекшихся площадей, нескончаемых стен, за которыми старчески шаркали собаки и люди, увидеть воочию свое наваждение, и порой казалось ему, что он уже видит его — оно гарчевало на лошади или мчалось в карете, оно поднимало мушкет или блистало жалом изогнутой сабли, оно играло в неслышные шахматы или затевало скромный дворцовый переворотик.

Наверное, так тянется долго, наверное, он успевает умереть, так и не встретившись с призраком, но зато с приятной, недокучливой вежливостью передает по наследству и страх, и любопытство, и нетерпение своему преемнику, зовущемуся — по странному случаю — тоже доктором Львовичем, доктором Семеном Львовичем Львовичем, который все свободные от бурления полуголых пациенток часы тратит на утомительные разъяснения, что вовсе не является родственником своего предшественника, весьма нсобычного врача, однажды повисшего внутри хрустального купола летнего неба в грубой пеньковой петле.

Он — хирург, педиатр или гинеколог; так, по крайней мере, он представляется новым знакомым, весело потчует их забавными анекдотами из своей медицинской практики, но, оставшись в одиночестве, тотчас же превращается в злобного, мрачного молчуна, что охотно подтверждает огромный зеркальный шкаф.

На самом же деле доктор — патологоанатом и, выбирая ночи подождливее, понепригляднее, с демоническим злорадством следует в твердый и прочный морг, по пути негодуя на статуи, что они бессмертны и их нельзя вскрыть. Он любит — наедине с собой — повторять, что человек существо не цельное, но

полое, и нет ничего слаще, как остудить руки в его мертвом полом пространстве. Когда-то, в детстве, он видел, как фокусник из шапито, сверкая усатой улыбкой, бесконечно долго вытягивал из перевернутого цилиндра блестящую ленту; теперь, подражая ему, доктор так же ловко управляет с человеческими кишками. Ему нравится работать без ассистентов, с запертыми шторами, закрытыми дверями и выключенным светом, и лишь капля свечного огня озаряет его священнодействие. Он может работать и без свечи, в крошечной темноте; так дело движется медленнее, но приятнее, он начинает чувствовать себя слепцом, запущенным в комнату, полную приятных доброжелательных сюрпризов, и его глаза, так и не привыкая к темноте, вдруг видят, как какое-нибудь тело, распростертое на секционном столе, начинает всячески проявлять свою любовь к нему, ласково, по-щенячьи жмурясь и улыбаясь розоватым распотрошенным животом. Такая работа на ощупь может приводить к самым неожиданным последствиям, и иногда больничный дворник, отпирая наутро двери, восторженно-удивленно завидует следам явной ночной оргии и весьма необычной позе крепко спящего доктора. Днями, на службе, он сух и строг, но радуется глаз безупречным костюмом, гладкими брезгливыми пальцами и виртуозной точностью своих прозекторских движений. Порой, когда на небе вовсю свирепствует солнце, его одолевают приступы черной меланхолии, которые он объясняет тем, что загадочный зал морга в такую погоду слишком уж смахивает на изжеванный городской пляж, но все же — не часто — доктор разоблачается до купальных трусов и сквозь зубы интересуется у лежащих покойников, какова нынче вода. И они что-то отвечают ему на своем немом вечном языке.

Почему-то я знал, что было прежде и что случится потом, но время настоящее (которое я заполнял чтением какой-то бесконечной книги; с неторопливым достоинством книга худела справа и толстела слева) совсем не подчинилось мне. Желто-зелеными утрами, когда мы завтракали втроем, Кублицкий, паясничая, воровал из моей тарелки теплую, телесную пищу, и моя мать, вместо того чтобы одернуть его, делала вид, что ничего не замечает, и с какой-то сонной нарочитостью говорила, что зря мы не поехали этим летом на дачу и те самые Кондратьевы уже вряд ли на следующее лето нас пустят туда. Я по-прежнему путался в местоимениях и не знал, как говорить и кого она имеет в виду, когда говорит «мы», но Кублицкий, за последние дни вполне освоившись и со своим полупрозрачным обликом, и с нашими малозумными завтраками *de trois*, ласково возражал ей, что беспокоиться, собственно, нечего, ибо совсем недавно, правда, не очень законным путем, довелось побывать там в одной приятной компании (хитрый взгляд на меня) — там все по-прежнему: люди, деревья, дома, качели, — но мать, снова застигнутая врасплох своей внезапной глухотой, не отвечала ему, а плаксиво жаловалась, что с этим кофе просто беда — не успеешь отвернуться, как он уже норовит залить газовый огонь. Я удивлялся, видя, как от такой безделицы она готова нешуточно разрыдаться, но Кублицкий, казалось, только и ждет ее крохотных, почти игрушечных слезок и, с радостным аппетитом облизываясь, уже взгромождался на стол, принимая стойку охотничьей собаки. «Сухой кусок в горло не лезет, — говорил он, — лучше всего хлеб запивать слезами». Потом мать плакала, часто, по-кукольному, хлопая седыми ресницами, и Кублицкий действительно ловил каждую ее слезу, высывая длинный, почти собачий язык.

Каким-то образом пронюхав о моей осведомленности во всех этих прошедших и будущих временах, Кублицкий, одурманенный пищей, подолгу мучил меня, устраивая — как он выражался — «экзамен», и я отчего-то не мог отказаться и послать его к черту, а, ужасно волнуясь, словно мог получить дурной балл, старательно, боясь что-нибудь перепутать, отвечал ему, что были войны, пожары, мятежи, любовные интриги, шахматные партии, внезапные смерти и деторождения; еще был спектакль заезжего театра, был скрипач с альтом, были легкие, почти незаметные дожди перед сном, а будет семицветная, как флаг тропической страны, радуга, будет выставка голых скульптур, будет — как снег на голову — родственница из другого, многоугольного и многоязычного, города, которая порадует всех своими повадками пожилой балерины, слад-

ко пахнувшими глазами, привычкой привязывать себе перед сном два больших птичьих крыла и настоятельным требованием называть ее просто Madame.

И действительно — он словно бы проник во все сокровенные тайны бытия, — после скоротечных, с редкими, будто нарисованными простым карандашом каплями дождей улицы наряжались в радугу, перед музеем сгружали заколоченные ящики, в которых робким стуком напоминали о себе привезенные мраморные люди, а в какой-то анонимный день недели с другого конца света к ним прибыла родственница, ни разу не виденная прежде, но без стеснения ринувшаяся целоваться со всеми присутствующими, сделав исключение лишь для Вадима Иосифовича, которого, кажется, просто не замечала.

Мать, всегда особо жалуемая кровное родство (усматривая, видимо, в нем одну из самых приятных загадок природы), этому визиту вдруг испугалась и, подкараулив Андрея, дрожащими губами объяснила свой страх, шепнув, что навсрное знает о смерти Madame еще в пятьдесят четвертом году, о чем, во-первых, свидетельствует нотариальное заключение, а во-вторых — некролог из вечерней газеты, но гостья, уловившая шепот, с привычным спокойствием отмела все сомнения, назвав собственную смерть чьей-то злобной неостроумной выдумкой, мол, некий имярек подстроил все это, и с нотариусом и с некрологом, а лично она по-прежнему жива, иногда ходит к себе на могилу, время от времени фотографируется на фоне надгробия и, уколовшись об иголку, дает собачке слизнуть теплую животворную кровь. «Мне довелось даже выиграть пари, — похвасталась она, — когда один скептик потребовал эксгумации. Но как вы понимаете, мой гроб был совершенно пустым». Отчего-то это признание огорчило и обеспокоило Кублицкого, который, по-прежнему не замечаемый Madame, тяжело метался по комнатам, словно громадный жирный мотылек, и не было средства, чтобы остановить, успокоить его даже тогда, когда он смахивал своим неуклюжим полетом вазочки с полки и чашки со стола. Madame, ранив босые ноги о черепки и осколки (ее всегда теперь можно было найти по розовым следам), сетовала на разрушительной силы сквозняки, хотя Вадим Иосифович, истерзанный невниманием, оглушительно орал ей на ухо: «Так ведь это я, я расколотил все тут! Так ведь это я всеилен и вечен!» Madame ковыряла ухо и говорила, что где-то там, в каких-то ее аурикулярных глубинах, противно хлопает вода, и Андрей, недоумевая, начинал потихоньку верить в то, что она и впрямь не замечает Вадима Иосифовича, но однажды, проснувшись перед рассветом, когда утро уже прорезывалось сквозь кирпичные стены далеких домов, он увидел сосредоточенно-яростный поединок между ней и Кублицким, который был уже не мотыльком, но многокрылым серафимом. Бесновато наскაკивая на Madame, которая напоминала достойную мудрую птицу, Кублицкий неприятным, каким-то чечеточным шепотком припоминал ей эпидемии во время крестовых походов и отрубленные головы королей, и она, стараясь пронзить его своим оскотеневшим ртом, возражала свирепо: «А вам-то откуда это знать, самозванец?!»

Увидев, что за ними подсматривают, они тотчас же разошлись — Madame юркнула под одеяло, Кублицкий спрятался за паутину под потолком, — и до самого завтрака дом наполняла сонная капель его ядовитой слюны.

Во время завтрака была какая-то уютная, усталая умиротворенность; был черный коричневый кофе, за которым можно было бы, пожалуй, поинтересоваться у Madame о ночном происшествии, но она, предвосхищая вопросы, похвалила матери ее новое снотворное, дескать, какое несоответствие — столь маленькая таблеточка и такая убийственная сила: я заснула как провалилась, и даже утренний звонок будильника показался урчанием в собственном животе.

Сколько уже она жили у них? День, секунду, ночь?.. Текущее время все не давалось в руки, не разрешало приголубить себя, и Андрею уже начинало казаться, что он помнит Madame задолго до собственного рождения. В вечера посуше и потверже они выходили на прогулки, стараясь не замечать, что невидимка Кублицкий снова увязался за ними, но успокаивало лишь то, что и у других празднующихся были свои невидимки, которые, извиваясь, реяли над их потными головами (мрачно чернея, когда попадали на круг плоской шаткой луны), или по-птичьи сидели у них на плече, или по-собачьи липли к

ногам, успевая при этом обмениваться с Вадимом Иосифовичем какими-то пугающими inferнальными знаками. Была осень, и на аллеях тихо кипела опавшая листва; была осень, и Madame говорила, что уже загода мерзнет от зимней ледяной грусти. Мать брала ее под руку и успокаивала, мол, что ты волнуешься, милочка, ведь так уже было и раньше: осень — зима — лето — весна, — было и обошлось, и Madame разглаживалась, промокала платочком слезы, отгоняла грядущую холодную зиму горячими глоточками кофе, который они пили в одном и том же бистро. Один и тот же по-бульдожьи слюнявый официант (это не слюни, это пот, говорил он, у меня страшно потеют десны. И язык. И скажите мне кто-нибудь наконец: язык — это наружный или внутренний орган?) уже знал, что после кофе и мяконецких, с каким-то плотским намеком крендельков Madame будет раскладывать на столе фотографии, и поэтому быстро убирал чашки, опорожнял пепельницу, стелил чистую скатерть и со внимательным почтением замирал подле ее плеча. Обращаясь больше к официанту, нежели к Андрею и матери, Madame озвучивала свои фотографии, говоря голосом то мужа (застигнутого объективом на пляже) — маленького, со всех сторон лысого, словно ягодика, человека, — то полоумной мечтательной бабушки, забывшей с годами подробности всех внутрисемейных связей, то двух совершеннолетних дочерей-близнецов, которые без умолку молили всякий вздор, отчего-то возбуждавший Андрея. «Ну-ка, ну-ка, расскажите о них поподробнее, очень прошу вас», — попрошайничал он, пытаясь скрыть сладкую истому, сковывающую его мускулы, но Madame добродушно отмахивалась (снова обращаясь лишь к официанту): «Да полноте вам, чего может быть в них интересного, две обыкновенные егозы».

Фельдгегерской почтой прибывал пакет с новыми фотографиями, и за время, пока Madame жила у них, можно было бы ожидать каких-нибудь изменений в обликах ее домочадцев, но муж по-прежнему нежился на пляже, бабушка с уже знакомым веселым безумием таранилась навстречу неизвестному фотографу, и лишь сестры-близнецы становились другими, стремительно — вопреки повелениям времени — молодея, в конце концов превратясь в двух милых бесполок малышей: вместо лиц — собранная в мелкую гармошку кожаца, вместо одежд — бесконечные банты и кружева, хотя глаза оставались довольно взрослыми, круглыми и настороженными. «Про моих малышей даже писали в книжке», — говорила Madame и доставала из огромного, распухшего ридикюля подарочный том учебника по акушерству и гинекологии, отворяя его на известной 137 странице, где черным по белому шло описание каких-то зародышевых существ.

Углубившись в генеалогические расчеты, Андрей выяснил, что сестры приходятся ему троюродными тетками, будучи при этом на целый год моложе его. Столь отдаленное родство позволяло — не навлекая на себя никаких епитимий — успешно влюбиться в одну из них, а при известной сноровке или везении — сразу в обеих, и, с трудом дожидаясь ночи и всеобщего сна, Андрей со всех сторон обкладывал себя непроницаемой темнотой и тайком разнимал надвое свое сердце, чтобы вручить каждой из сестер по его спелой сочно-ароматной горячей половинке...

Я предчувствую, я предвкушаю любовь. Не желая утруждать себя никакими воспоминаниями (все равно оказывающимися только лишь ложью), я уже вижу перед собой двух одинаковых, неразличимых *virgo*⁹, которых, боясь что-нибудь перепутать, никогда не называю по именам, выбирая ласкательные зоологические словечки, что весьма — судя по их довольным мордочкам — нравится им. У них на двоих четыре руки и четыре ноги (итого — восемь), и поэтому я не могу избавиться от ощущения, что имею дело с неким очеловеченным насекомым, но лицо всегда только одно, и, оставаясь наедине с ним, я не очень-то грешу против истины, представляясь пылким, целомудренным и верным влюбленным.

⁹ Девственница (*лат.*).

Сестры наивны и простодушны, и, не подозревая меня в двуличии, доверчиво овевают мое ненасытное тело ветром своих распушенных волос и потом, укрывшись в девичьей спальне, обхватив руками счастливые колени, открывают друг с другом: «Я, кажется, влюблена...» — «Я, кажется, тоже...»

Я привыкаю к ним и в меру сил люблю их, но чем крепче привязанность и чувства, тем сильнее мне хочется назвать их, хотя я по-прежнему не знаю, кто из них кто. Воспоминания отказываются быть ложью, и вот снова — с недовольством и недоверием — я знаю, что некогда уже были две совершенно одинаковые сестры, со временем утратившие милую свою близнецовость, так как одна из них умерла и превратилась в могильный холмик с мраморным ангелом, а другая стала моей схоластической матерью.

Воспоминания повелевают мне; раздвигая губы сестер поцелуем, я втискиваю в них прежде знакомые имена — Зоя, Манон Леско... — которые, кажется, весьма по вкусу им, во всяком случае они требуют продолжения ласк. Или, совсем уже потеряв голову и запутавшись (сестры все еще не знают, что я у них один на двоих), я ворую из домашнего шкафа материно платье и заставляю их в день свидания надевать его. Вдвоем со своей переодетой сороконожкой я иду на кладбище, где знакомлю ее с мраморным ангелом, который любезно отвешивает комплимент: «Ваша мамочка заметно помолодела. Если так будет продолжаться и дальше, то она догонит в возрасте свою покойную сестру». И действительно, рядом с собой я вижу свою юную, еще непорочную мать, которая с панической любовью наблюдает кладбищенских ангелов, невольно отмечая их сходство с новорожденными детьми. Когда-то забыв Зою и Манон Леско, я словно бы похоронил их, но теперь они встают из могил и, взявшись за руки, приближаются к зеркалу моей памяти. «Если угодно, мы тоже двойняшки», — шепотом говорят они.

В пышные лиственные полдни все выглядит яснее и проще, но вечерами снова начинаются гонки с моими прихотливыми призраками, устав от которых однажды, я отчаянно назначаю встречу сразу обеим сестрицам.

— Познакомьтесь, это моя сестра, — хором говорят они и от волнения не замечают, что каждая выдала самое себя.

Мы втроем сидим за каким-то столиком, на который красавчик официант водрузил совершенно не нужную здесь свечу, чье пламя испуганно шархается от каждого движения руки; стараясь поспеть за судорожным биением трех сердец, в рюмках торопливо всплывают пузырьки шампанского; трубач из малолюдного оркестрика отрешенно вытряхивает из перегретого мундштука белесую слюну; кусок мяса, уже проколотый вилкой, мерзнет на плоской тарелке; надкусанное яблоко медленно ржавеет в обнаженном месте; слово, сказанное чьим-то ртом, повисает в воздухе, и ловкая ладонь быстрым защелкивающим движением ловит его, будто моль; у сестер дрожат подбородки — они обо всем догадались.

Мне вовсе бы не хотелось сцен ревности, скандалов и пошлых суицидальных угроз, и поэтому как можно ласковее я бормочу что-то о собственном неведении, мол, сама природа позаботилась о моих птичках так, что никто не в силах разобраться теперь, кто из них копия, а кто — оригинал. Заронив, кажется, этим беспомощным лепетом кое-какие сомнения в головки моих очаровательных сотрапезниц, я понемногу перехожу в наступление, заявляя вдруг (именно вдруг; совершеннейшая неожиданность и для меня тоже), что роман со мною может приписать себе только одна из сестер, ну, скажем, та, которая сидит напротив моей левой руки (поближе к сердцу), а вторая всю жизнь довольствовалась лишь тем, что нашептывало на ухо ее изнеженное воображение... Я вижу; я вижу, как вспученный глаз новоиспеченной мечтательницы (она сидит боком: волны тонкого профиля...) выдавливает кипящую слезу, и она с негодованием вспоминает какую-то загородную гостиницу, куда якобы с обезьяньим проворством затащил ее я, чтобы заставить содрогаться в ознобах и захлебываться в поцелуях с привкусом крови. Нашим ловким забавам, оказывается, аплодировали портье, коридорный и горничная, но я, не обращая ровно никакого внимания на них, отважно вскарабкивался на самые лучезарные пики и — одновременно — опускался в самые омерзительные бездны и в конце

концов, донельзя измученный, засыпал медленным сном, так похожим на наступающую смерть, а потом просыпался (уже утром, хотя часы остановились и обозначали ночь), губами и пальцами показывал, что хочу курить, и пока обгорала папироса, высовывая круглый пепельный язычок, моя спутница-наездница уходила принимать душ.

Оставаясь в одиночестве в номере, где солнечный свет мешался с табачным дымом, я слушал водяные всплески (угадывая, кажется, какая часть тела сейчас омывается) и вспоминал, что с этой наядой я неразлучен целую жизнь, наслаждаясь ее умением носить непозволительно чужие маски, которые превращали ее то в пугливую непорочницу, то в блудливую чужую жену, то в обнаженную статую, то в нарядную, с легким базедом принцессу, до сих пор, присев на корточки, гладившую приукрашенного художником гончего пса. Вот так, продолжая лежать, я уносился с нею в ее бесконечные путешествия, но шум из ванной (надпись внутри: не засоряйте унитаза бумажным мусором!) постепенно утрачивал свою душевую беспечность, и мне казалось уже, что на весь мир обрушивается низвержение плодных вод. Все внове; я присутствовал на собственных родах; в дверь, разнеся ее в щепы, врвалась белоснежная накрахмаленная акушерка, которая, видно боясь опоздать, на лету любовалась растворенной луковицей тяжелых мужских часов, будто бы мое появление на свет подчинялось какому-то, наподобие железнодорожного, расписанию. Разъяренная, она набрасывалась на меня и, нисколько не смущаясь моей наготы, алчно скользила по мне своими резиновыми — от перчаток — руками, и я не мог перекричать, передумать ее, когда она, беснуясь, орала: «Вот я тебе пуповину-то отстригу, прямо под корень, под корень!» Конечно же, я не мог совладать с нею, так как был мягок и слаб, но, как и прежде, чувствовал лучение собственных ясных, чистых мыслей, которые, разносимые кровью, придавали моему беспомощному новорожденному тельцу какой-то высший, угрожающий смысл, и поэтому безучастно и высокомерно глядел я на то, как акушерка выволакивала из ванной Даму Моего Сердца, валила ее на пол, где еще вчера вечером, скатившись с кровати, весело барахтались мы, расстригала ей лоно и со злым торжеством предъявила младенца, который, несомненно, был тоже мною. С меня смывали кровавую слизь и приближали к коричневому литому соску, воспользоваться которым мне мешала горькая, уже давно потухшая папироса.

...я предчувствовал, я предвкушал любовь, но, не справляясь с нею, беспрестанно обманывал своих утешительниц, которые, единожды содрогнувшись в соитии, уже навечно обрекали себя на раскаяние, боль, обманы и гранитную поступь безжалостных палачей...

И, продолжая какой-то начатый разговор, Madame говорила матери, что нечто похожее доводилось слышать и прежде, и та, пунцовея, словно ее уличили в постыдном, перекрещивала рот пальцем и, оглядываясь на сына, предлагала побыстрее заесть столь неприятную тему чем-нибудь сладким. Андрей уходил, а женщины в четыре руки раскрывали коробку с шоколадными конфетами и, боясь прогадать с начинкой, долго водили по ним глазами, чтобы потом, опьянев от капельки рома, начать безудержно смеяться, всячески показывая, что ко всем ужасам деторождения они не имеют никакого касательства.

— Теперь я буду жить по шоколадному календарю, — говорила Madame, и когда пришел черед последней конфеты, она твердо вознамерилась уезжать, что заметно приободрило Вадима Иосифовича, который, насколько ему позволяло его бесплотное невидимое существование, яростно радовался и, всячески помогая в сборах, мешал гостье забыть даже самую ничтожную мелочь, чтобы избавить ее от позывов когда-нибудь вернуться назад или напомнить о себе одним из известных почтовых способов. Вот он вырвал и деликатненько уничтожил страничку из ее записной книжки, вот он самолично упаковал два птичьих крыла, и Madame, озадаченная такой его стремительной старательностью, похлопала по тугому боку чемодана, привалившегося к ее ноге, и сказала: «Досадно как, теперь они на самом дне, а так хотелось хоть несколько минуточек пофорсить в них перед отъездом. Я даже уже зеркало присмотрела».

Потом был, конечно, вокзал, и был серый перрон в плевках и окурках, по которому, будто проверяя его прочность, Madame строго постукала своей самшитовой тростью и тут же, опережая, наверное, близкие слезы, поклевала носом и мать и Андрея и быстро взобралась по ступенькам вагона, напоследок появившись уже за стеклом купе, откуда подарила каждому еще по одному, теперь безопасному, воздушному, поцелую. Повинуясь какой-то неосознанной врожденной привычке (которой, впрочем, страдали и остальные присутствующие на вокзале), мать и Андрей помахали медленно отплывающим вагонам, зная наверное, что Madame их уже не видит, и быстрым шагом, напрасно грозящим превратиться в бег, недолго сопровождали состав, на последней подножке которого кондуктор с флажками ответил всем остающимся вежливым реверансом.

Жужжание поредевшей толпы вокруг сделало очень заметным их собственное молчание, в которое Андрей впился зубами, как в бок жесткого кислого яблока, и мать, некоторое время порассуждавшая, не полакомиться ли плодом и ей, вдруг сказала: «Странная она, несчастная женщина. Вообразила себе каких-то дочерей. Очень жалко ее — страдает врожденным бесплодием и какой-то редкой, особо коварной формой идиосинкразии ко всякой мужской персоне, но не унывает, отнюдь: и мужа себе придумала, и такую старушечку славную. Интересно только, где она такими фотографиями достоверными разжилась. Поверись ли, порой я и сама начинала думать, что у нее большая семья».

Поднялся ветер. Начавшие лысеть по-осеннему деревья вытряхнули из своих рыжих крон сосредоточенных птиц. Молчание. Аплодисменты птичьих крыльев. Молчание снова...

Бернард Смит. Согласно скупым, явно процеженным сквозь зубы недоброжелателей сведениям, родился в ночь на 1800 год. Много позднее некоторые из докучливых историков (например, Эзра Сьюолл, или Огастес Кьюниц, регулярно публиковавший в «Скрибнерс мансли» «достоверные» — он сам закавычивал это слово — истории о проделках французских царедворцев) пытались отыскать какие-нибудь из его родословных документов, но, увы, попытки остались лишь попытками, чем, вероятно, и объясняется живучесть легенды, что метрическое свидетельство было выкрадено неким французским лазутчиком, тайно перевезено в Европу и якобы до сих пор хранится в одном из банковских сейфов Лозанны. Единственное, чем может располагать современный искаатель, это мемуары Жана Друоля (одного из ближайших приспешников министра Гизо), который, на целый вечер втершись в доверие к Луи Филиппу, выведал у него какие-то распылчатые сведения о младенце мужского пола с крохотной, похожей на коричневую слезку родинкой неподалеку от левого нижнего века. Сохранилась еще и парочка дагерротипов, где Бернард Смит, застигнутый в возрасте десяти и двенадцати лет, предусмотрительно повернут к камере правой щекой; сохранился портретик — так, весьма посредственная, заплаканная акварель, — передающий тяжелый взгляд строгого взрослого подростка, что сидит прямо анфас и, как бы задумавшись, подпирает левую половину лица растопыренной ладонью, мизинец которой уже успел обзавестись глазастым — от двух выпуклых карих камней — кольцом.

Да, конечно же, плодотворную любовницу Луи Филиппа звали не Мэри Смит. Руководимая какой-то самосохранительной инерцией, она постепенно не только привыкла к своему псевдониму, но и поделилась им с сыном (когда много позже, уже в школе, учитель с истеричной звонкостью вызывал его, то с разных мест в классе поднимались разом с полдюжины Смитов, которые, мрачно переглядываясь, недоуменно ревновали друг друга к своей общей фамилии). Словом, по адресной книге его разыскать было бы почти невозможно, что несколько успокаивало «миссис Смит», которая, не очень-то разбираясь во всех этих интригах европейских домов, все-таки понимала, что там, в далеком Париже, уже беспокоятся знатные люди (тратившие, по ее мнению, досуг на позиравание для карточных колод), вовсе не желающие в один прекрасный день столкнуться нос к носу еще с одним престолонаследником. Бульварные исторические романы — которые она почитывала, покупая невдалеке от дома с доща-

тых лотков за гроши, — рекомендовали в подобных случаях одинаково опасаться и тихих смертельных ядов, и громких кровожадных убийц, и поэтому с таким трудом давались ей ночные часы, когда она зорко охраняла раскинувшегося во сне малютку, выглядывшего мраморно и величественно — их окна выходили на лунную сторону — в ночи без облаков. Кажется, она не напрасно боялась: например, однажды его, окровавленного, принесли из ближайшего, совершенно безопасного еще накануне леска, где охотник, пожелавший остаться неизвестным, навывлет пробил ему пулею ляжку; или как-то на улице незнакомец в черном плаще угостил его сверкающим апельсином, после которого мальчик долго и странно болел; или в его кровати, тщательно перетряхиваемой перед сном, вдруг обнаружилась жадно дышащая гидрофобная крыса, что уже выставляла для укуса свой желтенький изогнутый клычок.

Кое-какие из ее знакомых мужчин, конечно, заходили порой к ней переночевать, но она, вкушившая плоти настоящего короля, находила, что они во всем проигрывают ему — и не так славно кололись их усы, и не так гладко покачивалось нависавшее тело, и слова, и пригубление черного вина... — нет, все было по-другому, все было хуже — и от этого портился безнадежно ее характер: она — ощущая себя матерью принца — понемногу превращалась в чопорную надменную даму, обременяя и смеша окружающих совершенно невыносимыми требованиями и претензиями. Не в силах более сдерживать себя, она стискивала свою голову самодельной короной, шила безобразные платья, лифы которых были щедро украшены птичьими перьями, бубнила, заучивая, какие-то французские фразы, проверяя их на матросах, прибывших откуда-нибудь из Булони или Лориана, и в конце концов пренебрегла важнейшим предостережением Луи Филиппа, открыв Бернарду тайну его отца. Ему было тогда уже не менее четырнадцати лет, и, вопреки ее ожиданиям, известие он принял спокойно и даже как-то брезгливо, потребовав четких вразумительных доказательств, которых у нее не нашлось, и она не смогла придумать ничего лучшего как расплакаться, взять веер, надеть корону, перстни и вонявшее гуано платье, которое от ее глубокого реверанса предательски разошлось по швам.

Года через четыре после этого неудачного откровения она, подхватив где-то скоротечную чухотку, позволила своему сомневающемуся телу просто-напросто умереть, неведомым образом забравшись в ночь смерти на высокий резной шкаф (который казался, наверное, ей похожим на смертный орд подлинных королей), и, отвердев к утру, смотрелась под потолком нелепо, помпезно и даже — смешно.

Поковыряться в ее вещах после похорон, среди бессмысленного хлама Бернард вдруг обнаружил мужской агатовый браслет, сытой змейкой дремавший в шкатулке из мягкого серебра. Он понюхал пухлые внутренности шкатулки, уловив незнакомый, европейский — как он потом называл — запах, и понял вдруг, что браслет не куплен у ювелира-китайца в лавке на площади, а занесен в их дом некоей приятной, хотя и чуть подгнивающей тайной.

Несколько дней спустя явившись в салун (тот тип питейного заведения, который почему-то особенно охотно до сих пор воспроизводят голливудские кинодельцы), он предъявил приятелям-субутыльникам украшение на запястье и позволил им — согласно дворцовому этикету — поочередно приложиться к своей руке, что вначале, сочтенное за шутку, весьма позабавило их, но затем, при его высокомерной настойчивости, разозлило, и тогда они сосредоточенно набросились на него с кулаками, с помощью которых тут обычно уточнялась любая неясность.

Лежа у них под ногами (которым, уловив в ударах музыкальную ритмичность, со своего места уже подыгрывал тапер), он внимал побоям с гордой нежностью и любовью, воображая, что дело происходит в каком-нибудь палаццо, что это взбунтовались слуги и что сам он... Нет, еще недоставало мужества, чтобы назвать себя принцем, собственные мысли пока еще уворачивались от этого чудесного титула, но безусловная сановность уже сделала его нечувствительным к боли, хотя — скорее в силу старых привычек, от которых, правда, пора было отказываться, — он кое-как защищался, успевая хладнокровно по-

размышлять о том, кому из тайной канцелярии поручить расследование заговора, когда назначить казнь заговорщиков и откуда пригласить опытного, умелого палача.

Уже на следующее утро (хочется придерживаться исторической последовательности) он, скрючившись в серой постели, громогласно провозгласил себя принцем, но остался в прискорбном недоумении от той безликой тишины, что царила вокруг: не сновали лакеи, не шуршали шелками фрейлины, не стучались с докладом полковники. Пугая зеркала распухшей, голубинового цвета физиономией, он долго шатался по комнатам своего небольшого домика, но тишина не убавлялась, и тогда осенило его, что переворот все-таки состоялся... с минуты на минуту сюда пожалуют беспощадные тюремщики, которые закуют его в кандалы и выведут на дворцовую площадь, куда уже выкатилось кроважидное солнце, пустившее длинные мандариновые лучи на глумливую зубоскалящую чернь. Сначала он представил гордость свою и насмешливую снисходительность, которые позволят ему достойно противостоять толпе, затем с щемящей нежностью к себе подумал, что таково удел короля — быть растерзанным современниками и воспеваемым потомками, но давешние мучители что-то не торопились (видно, опьяненные изменой и оргией, легли только под утро), и тогда он решил, что не поздно еще попытаться спастись. У них не хватит ума искать меня здесь — лукаво думал он, забираясь под кровать, но потом решил, что убежище не слишком надежно, и, восхищаясь собственной изворотливостью, примерил себя и к резному шкафу (на котором почила его мамаша), и к тесному, пыльному чердачку, где совершенно некстати повстречался ломберный столик, и к глубокой яме под окнами, прямоугольной формой своей пародирующей настоящую могилу, и к сетчатым теням от колючих кустов, умудряясь всюду оставлять легкое, почти неслышное и незаметное напоминание о себе — влажненький вздох, мигание сердечных ударов, пыль слюны (чихнул), печальный короткий вой пустого желудка, — что должно было окончательно запутать его будущих преследователей. Вернувшись в дом, он, кажется, остался доволен результатами работы, подумав о себе как о драгоценной скульптуре, которую, переживая опасность, нарочно разбили на куски, разложив их по хитроумным тайникам, чтобы когда-нибудь потом снова восстановить единство ее гладких высокочтимых форм. Спрятав таким образом самого же себя, он уже не боялся погони, не боялся посетителей, которые — о, эта грубоватая доброжелательность! — еще вчера усердно колотили его, а нынче приходили справиться о здоровье, но с испуганным недоумением замирали в дверях, видя голого избитого человека, фальшивым, с чудовищным акцентом голосом говорившего им, что как такового Бернарда Смита больше не существует и скорее всего не существовало никогда, мол, господа, это все проделки ваших фантазий. Безумно радуясь своей коварной находчивости, он распалялся все больше, важно сообщая приятелям какого-то Смита (наверное, такого же простака и невежды, как и они сами), что скоро сюда прибудет гонец с корабля, и все, au revoir, мои дорогие, я вынужден буду с вами раскланяться, но познакомиться было приятно, что-то все-таки есть в ваших лицах, а покамест не мешайте, надо успеть просмотреть еще кое-какие бумаги, это только так кажется, что быть принцем легко и приятно, на деле же...

Он ждал каких-нибудь изменений, но все было по-прежнему, по-одинаковому: каждое утро с одной и той же стороны вздымался, разбухая, пузырь вспаленного солнца, а каждую ночь на улицах затвердевала темнота. От такого однообразия впору было отчаяться, но он терпеливо ждал, и наконец в одну из полночей с каким-то приятным мерцанием стукнула входная дверь. Пришли. Он вышел навстречу гостям, вовсе не видя их, но чувствуя близкое дышащее тепло и слыша приглушенные голоса, которые явственно повторяли: «Ваше высочество... Высочество ваше...» — и приглашали тотчас же следовать за ними.

Они привели его в порт и показали корабль, за крюйс-стенгу которого зацепилась низкая луна. Старший на лодке, отплывающей к кораблю, оказался болваном, который, не обращая внимания на жужжащие почтительные голоса,

согласился взять пассажира только за взятку. Еще одну взятку пришлось дать капитану, чья пиратская рожа только осклабилась, когда Бернард назвал его ему и сказал, что все остальное объяснит его свита.

И снова, как это уже бывало с кем-то, тянулось многонедельное плавание: от грубой качки и от волн теда сгибались, пели снасти... Потом вдруг ветер утихал. И путь кончался. Снова суша...

Франция встретила его со всей возможной неприветливостью — люди, косясь на его провинциальное, донельзя замызганное платье, переговаривались между собою на совершенно непонятном языке, улицы пронизывал ледяной ветер, мокрая снежная вата залепляла глаза. И никаких знаков почести, никакого умиления перед тем, что вот так запросто полуголодный и оборванный принц разгуливает среди толпы в поисках очередного ночлега. Он приободрился только однажды, когда, выйдя на набережную (смотреть на море было теперь его единственной услугой), вдруг услышал, как совсем невдалеке от ушей вспыхнула оглушительная музыка, в ответ на которую он снисходительно заулыбался (наконец-то!) и приветственно поднял руку, предупреждая рабелепный экстаз у придворных, но по-прежнему скользкий ветер, разогнавшись на воде, горькой сыростью обжигал лицо, и снега было ничуть не меньше: ничто не изменилось, только уланский полк готовился к очередному параду.

Постепенно прояснялось; люди вокруг стали как будто бы меньше картавить, слова понемногу переставали быть той непроницаемой ширмой, прятавшей самую предметность понятий; небо все чаще пробовало быть голубым, и все чаще подле оказывалась безымянная глухонемая женщина, которая приносила в узелке жирную невкусную пищу и, словно собаку, кормила Бернарда с руки, жадно глядя его, когда он обессиленно засыпал.

К лету, когда все вокруг по-настоящему разогрелось, он окреп и освоился настолько, что сообразил, чего же именно хочет от него кормилица, и ответил согласием на поклончики ее выразительных пальцев (видя в собственной покорности какую-то особо хитрую, подлинно королевскую увертливость). В церкви (одетый в поношенный костюм жениха) во время венчания он почувствовал себя венценосцем с той необычайной, слепящей ясностью, которую принято называть озарением, и отважился обратиться к немногочисленным зрителям с речью, в которой лишь редкие французские слова набегали на слитные английские фразы. Никто ничего не понял.

Ночью после нехитрой пирушки он исполнил супружеский долг, что, судя по одобрителному мычанию его глухонемой супруги, пришлось весьма ей по вкусу, и уже знакомым мельтешением пальцев она принудила его к повтору, в котором было меньше старательности, но зато появлялась возможность поимпровизировать, помечтать о том сладостном дне, когда вдруг прозреют все эти несчастные люди, прозреют и придут на поклон... вот-вот уже, близко... скоро уже... будет такой же влажный, горячий день, как сейчас... придут... заикается сердце... блаженство...

Потом были брачные дни, и от солнца, вливавшегося в комнату через пару-тройку окон, ее глухонемота становилась более заметной, более, что ли, подробной, хотя она знаками показывала, что в голове у нее бушует настоящий хор, настоящий оркестр — все весело, шумно, бравурно. Нет, слишком громко — она зло затыкала пальцами уши и скрючивалась, но потом распрямлялась, добрела и просила Бернарда, чтобы он приложил ухо к ее лбу — там теперь затевалась беседа, — просила, чтобы он поддержал разговор.

И брачные ночи были тоже, но скороходы из дворца все не шли, и поэтому лишь с отвращением опускался он на что-то по-болотному сырое и мягкое и судорожными толчками торопился на сушу, которая холодно принимала его — обмякшую жертву — на свой жесткий деревянный край. Затем через столько-то минут, через столько-то стаканчиков вина тело его жены вновь становилось жидким, и он снова увязал в трясине, отчего-то боясь, что кто-нибудь застигнет его за этим занятием.

Спустя девять месяцев после венчания она порадовала его мертвым плодом еще через полгода — скользким безногим выкидышем, но третья попытка

оказалась удачной: из колыбели навстречу Бернарду смотрел чудесный младенец, к которому он то и дело заглядывал в уши и в рот, опасаясь, что жена поделилась с ребенком своим ужасным недугом.

Какой-то лекарь, выдававший себя за шарлатана, и какой-то шарлатан, выдававший себя за лекаря, не сговариваясь успокоили его, сказав, что пока можно не беспокоиться: у младенца толстый язык и глубокие уши, — но учтите, господин чужестранец, глухонемота — болезнь заразная, можно заболеть и от обычной щекотки, и от игривого поцелуйчика.

Страх. Ему и самому начинало казаться, что, побыв рядом с супругой, он начинает хуже слышать, хуже говорить, тем более когда все вокруг так истошно орали — на улицах, среди рыночных рядов, в лавке толстого бакалейщика-марокканца, — и в этом не прекращающемся вопле он, плохо различая слова, улавливал какие-то скрытые угрозы, намеки, развеять которые не было никакой возможности. Чтобы не отличаться от прочих, он тоже завел привычку громко кричать, но французские фразы, некогда прирученные, будто бы вновь одичали, и его крика никто не понимал.

Страх под номером два: все чаще возле их дома слонялись подозрительного вида господа, которые, якобы незнакомые друг с другом, все же не уставали обмениваться между собой тайными знаками — роняли носовые платки, запахи-вали камзолы, отворачивались от ветра, поигрывали эфесами шпага. Внимательно приглядевшись, он узнал всех их, своих прежних мучителей, от которых в свое время удалось так ловко улизнуть. Не оставалось никаких сомнений — кто-то выдал его. Память услужливо предоставила список всех возможных предателей, в который, поколебавшись, он включил и жену.

И снова страх; жена знаками показывали, что ей совершенно безразлично, как будет называться ребенок, мол, какое мне дело до имени, которое я не могу ни услышать, ни произнести. Все было теперь очень странным в ней, она стала как бы молчаливей и глуше, но вместе с тем всякий жест ее наполнился особой, кровожадной и дерзкой многозначительностью, которой с понятливым одобрением внимали господа под окнами. Однажды (кстати: было сухо и твердо; дома, люди, деревья — все было необыкновенно устойчивым) она вдруг упала на улице и с мокрой улыбочкой дала одному из негодяев поднять себя, тем самым подтвердив свою принадлежность к заговору.

Теперь надо было быть настороже, теперь приходилось круглый день охранять себя. Обычные меры предосторожности; например, глупо было бы доверять свою жизнь старому дверному замку, донельзя заласканному чужими руками, и он приобрел замок новый — такой свирепый, такой неподкупный с виду, — под тяжестью которого дверь как бы посурела и серьезно сообщала каждому проходившему, что и с хозяином шутки плохи. Ночная бессонница давалась ему легко, и, любуясь заоблачными переливами луны, он не боялся проворонить внезапный удар. Труднее приходилось в душные полдни, когда заговорщики — одетые в основном лавочниками и бродягами — сотнями высыпали на улицу и, уже не стесняясь жертвы, мерзкими гримасами выдавали свое нетерпение и порой затевали даже отвратительные по своей откровенности потасовки, репетируя, видно, грядущую казнь.

Чувства самые противоположные овладевали им — было одновременно тревожно и весело, было и сыто и голодно, с одинаковой силой хотелось бодрствовать и заснуть, и подобная раздвоенность — он явственно ощущал это — сбивала с толку, запутывала его преследователей, которые никак не могли отважиться на штурм, а по-прежнему тратили время на свою наглуую, бессмысленную и утомительную осаду.

Наконец свершилось: мятежники, изображая собой ночных грабителей, ворвались в дом, вовсе не стесняясь хозяина, по обыкновению не спавшего и поэтому видевшего самые что ни на есть вульгарные ухватки непрошенных гостей, которые с неопытной деловитостью сновали по комнатам, то увесистым плечом, то носатой головой затмевая луну, и так до тех пор, пока жена хозяина, приподнявшись со своего пухлявого ложа, явственно не произнесла: «Решительней, решительней, господа, пока он дрыхнет, он слеп, глух и нем».

Тут же последовали новые, столь же неприятные и неожиданные чудеса: вот жена, прежде не замечавшая громыханья и самой неистовой грозы, вдруг хитренько подняла пальчик — внимание! — и кивнула в сторону неподвижно сидящего мужа: «Вы только полюбуйтесь, послушайте, как частит, как частит его сердце»; вот из колыбели на своих булочных ножках поднялся младенец, отчего-то с усами, будто маленький генерал, и строго огляделся по сторонам; вот луна, только что круглая, медно-литая, вдруг начала плавиться и тихо стекать по отвесной стене неба; вот сам он, сказав себе, что подобное может происходить только во сне, проснулся, сердито прошел от двери к окну и обратно (хождением подтверждая бодрствование), но ничего не изменилось, напротив, усы ребенка как бы загустели и стали пушистей, жена — должно быть, в подражанье какой-то певице — пронзительно голосила и закатывала под брови глаза, а визитеры, словно забыв о цели своего посещения, шумно попросили чего-нибудь перекусить и, заедая вино сыром, грубо потешались над принцем: «Вот это новость! Наш голубчик, оказывается, умеет гулять во сне, наш голубчик, оказывается, лунатик!»

— Я совершенно не сплю, — сухо возразил он, но было почему-то неловко, словно его застигли за чем-нибудь постыдным.

— Ха-ха-ха, — веселились гости, пьянея, — он еще и разговаривает во сне. Это довольно нарядно, но ужасно глупо — разговаривать во сне. Ну-ка пощекочите у него в носу, пускай он чихнет, чихать во сне еще нарядней и глупее, ну-ка...

Еще один кусочек вина, еще один глоток сыра... — у них путались языки, что безумно веселило их, так же как и луна, жидко вытекающая из самой себя, как и младенец, серьезно ершащий свои усы серебряной щеточкой, как и эта полуголая хозяйка, спазмами живота выдавливающая какую-то бессловесную песню, но самое главное заключалось в том, что наконец-то ловушка захлопнула жертву, и ничего не стоило, дождавшись окончания трапезы, ткнуть ей кинжалом под сердце, но сперва дайте, дайте нам что-нибудь попить, у нас жуткая жажда, все сухо, а мы любим, чтобы было мокро, — кричали они, и пили сыр, и ели вино, то есть наоборот, — гости изнемогали от хохота, — мы молодые, хмельны и исполнительны, только Бога ради, еще стаканчик... ух, до чего же крепкий у вас сыр, раскаляет кровь, разжижает мозг — мы дряхлы, ленивы и апатичны, хотя нам ничего не стоит воткнуть жертву под сердце кинжала... то есть снова наоборот: мы спим, а наш лунатик не спит, у нашего лунатика неизлечимая, запущенная бессонница, и он ловко убегает от нас по карнизам, балюстрадам и портикам, схватив в охапку сипящего от страха и холода малыша, который... нет... нет сил договорить и додумать, потому что мы в стельку, мы мертвецки пьяны, а утром голова будет... будет голова... сон.

Наверное, не стоит останавливаться на деталях его бегства, не стоит лишний раз упоминать все эти придорожные харчевни и трактиры, где ему доводилось ночевать, отмахиваясь от назойливых шлюх, которые, растроганные видом грудного, беззубого еще ребенка, наперебой предлагали беглецу самые разнообразные услуги.

Все тот же Эзра Сьюолл утверждает, что дорога до Парижа заняла у Бернарда не менее четырнадцати дней, три из которых он проплутал в лабиринтах какого-то вросшего в землю — как зуб в десну — городка, по неизвестным причинам приняв его за столицу.

Потом все-таки был Париж, и в Париже был дождь. В окна той дрянной гостиницы (где он остановился на последние деньги) заглядывала мокрая мраморная голова какого-то вельможи, и по ее выпуклым незрячим глазам он понял, что его здесь уже заждались и нужно поскорее отправляться в Версаль. Но Версаль был к западу от Парижа, а вечерами дождь припускался с особой свирепостью, и поэтому никто не мог знать наверняка сторону, где опускается солнце.

Хозяин гостиницы, скряга и грубиян, уже переставший отпускать завтраки в долг, однажды ночью зловредно что-то подмешал в воздух, который вдруг зачерствел и, не давая глотать себя, медленным жаром разъедал лоб. Утром же, едва шевелясь, чувствуя, как замерзли, как заледенели суставы, он кое-

как выбрался на улицу (и снова дождь) и увидел, что люди, все последние месяцы обуянные неприятным горячечным возбуждением, вдруг успокоились и притихли, словно ходили по стеклу, которое влюбос мгновение могло расколоться, обнажив под собою сверкающую мертвую бесконечность.

Он умер, так и не дождавшись погодливых дней — как частенько случается в плохих жизнях и хороших романах, — умер прямо на улице, со всеми симптомами крупозного воспаления легких, в предсмертном блаженстве угадав в склоненных над ним кармелитках светлые лики придворных фрейлин, которым и отдал кулечек с копошащимся ребенком.

Ребенка, оказавшегося мальчиком, определили в скромный предместный монастырь, откуда несколько лет спустя он был похищен одним из путешествующих (инкогнито) представителей знаменитого русского рода Ростопчиных, который прельстился совершенно необыкновенной, ангельской внешностью малыша — солнечного цвета кудряшками, плавно-пухлыми ручками, кротким, чуть обиженным ясноглазым лицом. Купидончик был благополучно доставлен до России и даже пару раз мелькнул при дворе, успев посидеть на горячих коленях бесплодных лейб-дам (которые, пожевывая, гладили его по головке и с ложечки кормили мороженым), но затем наскучил сразу всем и был отправлен в имение Ростопчиных под Смоленском и воспитан и обучен на кое-какие средства, регулярно присылаемые из Петербурга.

Он стал русским; он стал Смоленский Григорий Ермилович, приват-доцент инженерного факультета, — так впоследствии представлялся он новым знакомым, приглаживая суконные полы своего добротного редингота.

XV

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... Дан Джемсон:..... «королева пчел гладит одежду мужчины, а затем убивает его..... твои ножки прекрасны, но они пахнут рыбой..... ты еще слишком мал, чтобы есть серьезную пищу».....
.....
.....

Иногда случались ночи, иногда случались непрошенные лунные гости, и повадками своими, и какой-то особой туманностью очень схожие с самим Вадимом Иосифовичем, который, радушно впуская их, кичливо затевал хлопоты у пустого стола, делая вид, что сейчас попотчует призраков чаем, в ожидании которого они разбредались по комнатам, будто нехотя заглядывая под одеяло и Андрею, и неподвижной, словно покойница, матери.

Затем следовало совершенно мнимое, совершенно пантомимическое чаепитие (стол оставался пустым), доставлявшее, однако, настоящее удовольствие всем этим бесплотным лицедеям, которые с насмешливой снисходительностью предлагали зрителю поверить в то, что губам их жарко, что по-морозному хрустит сахар, что серебряной ложке, торчащей из наполовину уже опустошенного стакана, так и положено состоять из двух разъединенных частей.

Затем, когда ночь сползала с высоких, заостренных кверху домов, комната опустевала, и все вроде бы становилось на свои места. Как и обычно, по утрам голуби, отливающие сиреневым перламутром, гадили на голову заплаканной статуе (значит, ночью пробежал дождь); господин с ржавыми жесткими усами выгуливал на поводке рослую крысу, убеждая недовольных сограждан, что она — добродушная такса; какая-то дама с палевым, под цвет платья, лицом строго выговаривала своему спутнику, который, как и вчера, как и позавчера, как и сто тысяч недель назад, провожал ее до угла, а после поворачивал назад, доходил до скамьи, садился, разворачивал газету и тотчас же слеп, на ощупь доставая портсигар, на ощупь прикуривая, и блаженно выпускал первый клуб жемчужного дыма прямо на газетную полосу.

Шоколадные наплывы грусти... Мать, подкрадывающаяся сзади к его плечу, отказывалась признавать все странности окружающих пространств, не верила, что ночью в их квартире снова хозяйничали неприятные воздушные сгустки с очертаниями человеческих фигур, не чувствовала, что Madame, несмотря на всю тщательность сборов, все же забыла здесь запах своих липковатых духов, который не могли одолеть ни сквозняки, ни крепкий кофе, что, забытый на газовом огне, отплевывался пахучей густой жижей.

Шоколадные наплывы грусти... размягченное сердце скатывалось со своего места и медленно летело куда-то вниз, оставляя грудь беззащитной и совершенно стеклянной; начинало казаться, что даже от самого простого вдоха все может разбиться, разбиться... Падал стакан; мать наклонялась, подбирала осколки и якобы случайно резала себе палец, затем, словно выполняя какой-то особый таинственный ритуал, тщательно высасывала кровь из алой крохотной ранки. Выпрямлялась с улыбкой, запахивала халат, спешила к кофейному плевку. «Представляешь, опять проворонила!» — как ни в чем не бывало кричала из кухни она.

Снова утро. Человек на скамейке прозревал и прятал газету; статуя успокаивалась, и лицо ее просыхало; крыса-такса падала в обморок при виде кулечка с мясными потрошками, который выносил ей из лавки хозяин. Следом выходил старый знакомый, мясник, одетый с нарочитой небрежностью добродушного палача — окровавленный передник на голое тело, галоши, широкие удобные брючки. Не выпуская из рук топора, он прислонялся к дверному косяку и умильно любовался обмершей от радости крысой, желал прохожим доброго утра, говорил им не прощайте, а до свидания, дескать, может, и свидимся когда-нибудь еще.

Снова утро. Снова пахло духами. Запах, словно огонь на ветру, то разгорался, то мертвенно утихал. Сердце, безрукое и безногое, как инвалид, скользило, снова подкатываясь к изнанке левого соска.

Оказывается, утро. Оказывается, бабье лето. Оказывается, все последние часы в городе выступала балетная труппа — солировали две примы, две балеринки на тонких беленьких ножках; мы сестры-близняшки — объясняли они свое существование мускусным театральным прилипалам.

Нет, мать не слышала объяснений двух балетных сестричек, нет, мать не слышала запаха духов; ее ранка на пальце изгибалась в бессмысленной розовой улыбке. Хотелось сказать ей, что все странно и взаимосвязано, все взаимосвязанно-странно, но она, пристрастившаяся к утреннему курению после тяжелого кофе и легкого ранения, все равно ничего не слышала — табачный дым залеплял ей уши, — ничего не слышала и не знала, ничего не слышала, не знала и не помнила; что? ты говоришь о какой-то мадам, как-то не припоминается — удивлялась она.

Похожие на шагомера, изо всех сил старались часы. С первыми же каплями нового дождя гранитный монумент, противореча воле неизвестного скульптора, отрекался от улыбки и снова начинал беззвучно рыдать. Аптекарь Ризенкранц щедро прописывал всем страждущим болеутоляющие поцелуи. «Представляешь, аптекарь Ризенкранц щедро прописывает всем страждущим болеутоляющие поцелуи, — говорила Андрею мать, — вот бы неплохо попробовать. Говорят, помогает».

Она отказывалась от реальности в пользу каких-то пошлых и глупых иллюзий, она ни в какую не желала соглашаться с тем, что доктор Львович придумал средство для выведения горбов, что все слепые на улицах научились подглядывать, а глухие — подслушивать, но напрасно, моя дорогая, ты хочешь разубедить меня в постоянном присутствии Кублицкого, который, доказывая свою осязательность, недавней ночью яростно дрался в облике многокрылого серафима.

Вот оно — спасение! Вот если бы найти Madame, вот если бы поехать за ней и привезти ее сюда, но мать томно выдыхала: «Ах, ты снова о том же, я никак не могу взять в толк, о ком ты все время толкуешь!» (притворство!) — и опять отворачивалась от запаха липковатых духов, на флаконе которых — воспоминание — была изображена ночь и пышная, похожая на генеральскую, звезда.

Снова вспоминалась Madame. У нее было несколько дочерей и один муж, у нее было несколько мужей и одна дочь, или — пусть даже так — у нее не было никого, но ведь из этого не следует, что не было и ее..

...мамочка, мама, я очень прошу тебя не пренебрегать воспоминаниями: помнишь, выставив перед собой ладони (как выставляет их в детском театре актер, играющий роль зайчика), вы разглядывали открытую коробку с конфетами из шоколада, и ты говорила, что никогда в жизни тебе не везло с начинками, но в тот раз повезло, повезло — внутри каждой конфеты таился клубничный джем, ведь помнишь? ты всегда обожала клубничные джем, ты даже варила его на даче и потом хранила в отдельном шкафчике дома, и обычно щедрая и беззаботная — становилась жадной и скупердяйкой, когда на исходе зимы считала, сколько банок осталось еще: пять, шесть, семь...

Если продолжить счет: восемь, девять, десять, одиннадцать... Сколько мне еще осталось лет, недель или дней до того, как, избавившись от шпиков, нанятых чрезвычайно вдруг изворотливым Кублицким, прокрасться на тот единственный вокзал, откуда по расписанию моего пульса (излишне торопливого в последнее время) отходят поезда в тот единственный город, где поживает Madame, уже твердо предупредившая привратника, чтобы он не смел кланчтить чаевых, когда к ней в гости придет милый молодой человек, который из-за незнания языка будет осторожен и молчалив?

Речь идет обо мне; я буду по-старому мил, я буду по-новому глазасть, ибо именно глазам я препоручу следить за всем окружающим (сколь много новых вдруг объявится жестов, сколь привлекательной будет дотоле неизвестная артикуляция!), всецело отказавшись от ушей, почти бесполозных в этом сплошном иноязычии. Желая понравиться прохожим, я постараюсь не раздражать их своей немотой и, обкатывая языком — как леденец — единственное известное мне слово, буду бесконечно извиняться перед ними, не заметив однажды, что извиняюсь уже перед собственным безногим и безголовым отражением на рояльном боку притормозившего лимузина.

Потом я найду нужный мне дом — он именно такой, каким я его представлял: стены из плюща, маленькие ажурные балкончики, доверчиво соединенные наружной лесенкой, несколько медных табличек на входной двери, — здесь, оказывается, живут и еще несколько русских: русский шахматист, русский писатель, просто русский (тут же фамилия Madame; неожиданные ff на конце).

Еще тепло (хотя марокканец-привратник объяснит мне пальцами, что тепло здесь почти всегда), но над трубой дома будет раскачиваться затейливый, похожий на факсимиле — нотабене: кириллица! — везель дыма; оказывается, нужная мне жилища любит, не считаясь с расходами, побаловать себя камельком. Легко представить: посаженное за решетку пламя, медная кочерга, медные каминные щипцы...

Мне есть о чем рассказать ей, например, о том, с какой легкостью тронулся поезд (адрес вокзала известен всего нам двоим) и сдвинул вбок весь большой город, оказавшийся только декорацией к некоей вечной игре, где все — мать, Кублицкий, нанятые им шпики и прочие, прочие, уже упоминавшиеся мною, —

были лишь игроками... (Потом поезд набрал ход, и в безнадежно отставшем городе погасили свет — город потускнел, притих и исчез; грустно, конечно, но так бывает всегда после окончания любого правдоподобного представления).

Но она не узнает меня; мы — скажет она — лишь воображали друг друга, и разве моя вина, что я представляла вас (нет, Вас) совсем другим.

— Но я-то, я, подумайте обо мне, — скажу я, — ведь я видел вас именно такой. Я все знаю о вас, о ваших ночных крыльях, о ваших пахучих глазах. Я знаком с вашими дочерьми, их зачастую бывает двое, а потом — ох уж эти оптические причуды — оказывается, что дочь всего лишь одна. Впрочем, не будем слишком строго судить зеркала. Кроме того, я видел фотографические портреты вашего мужа из папье-маше (замечательная выдумка изобретательного пляжного фотографа) и гуттаперчевой бабушки — помните, какой энергичной волной отвечало ее тело на любое прикосновение!

— Ах, и вы о том же, — со вздохом ответит Madame. — Много ходит тут вас, чудаков. Увы, все в прошлом. Девственных моих дочерей совратил какой-то зазеркальный мерзавец, крылья полиняли и больше не лоснятся — как встарь — от свежего лунного морозца, муж позволил себе пририсовать усы и, усатый, стал невыносимо вульгарным (я не люблю его больше), бабушка сгорела от случайной табачной искры. Так что (нет, молчите, не надо никаких соболезнований!) наша встреча совершенно напрасна, и давайте-ка лучше раскладываться.

Она вскочит со своей оттоманки (я вовремя не упомянул о мебелировке ее комнаты; вот, пожалуйста, исправляю оплошность: там будет стоять оттоманка) и с болезненно-резвой танцевальностью примется отвешивать поклоны: «Прощайте, сударь, прощайте!..»

Соседи — русский писатель (очки, морщинка над носом, красивая долгогая жена, ювенильная дочь), русский шахматист (снова очки и морщинка; в светлой гостиной беспорядок, в углу, прямо на полу, лежит, распластавшись, борсалино), просто русский (никаких отличительных примет) — вдруг разом заголосят: «В шею, в шею гоните его, он покушается на нашу идиллию!»

И я уйду. И я останусь один. Мне не привыкать оставаться одному. Когда-нибудь потом доктор Львович скажет мне, чтобы я избавлялся от скверных привычек. Когда-нибудь потом я отвыкну оставаться один, и доктор Львович похвалит меня, одиночество — скажет он — не болезнь, но лишь дурная привычка. Я — постаревший уже — мягко не соглашусь с ним, ибо, выгнанный некогда из домика со стенами из плюща, чувствовал себя именно больным и, помнится, даже ворвался в аптеку, где выпукло-гладкий, как склянка, аптекарь знаками показал мне, что от всех болезней — пивяки. Моя болезнь разыгралась еще больше, когда аптекарь, пугая меня своей разможенной улыбкой, запустил руку в огромную банку, где извивались целые сотни пиявок, с каждой из которых, кажется, он был знаком накоротке и у каждой из которых было настоящее человеческое имя. Аптекарь поодиночке выуживал пиявок и любовно представлял мне их: «А может быть, вам понравится Аннелиза? Или Моника? А может, вот эта вам по душе, ее зовут фрекен Эльза».

Потом я убежал от него, а он мчался следом, сжимая пальцами фрекен Эльзу, которую, как медаль, хотел повесить на лацкан моего пиджака.

Потом я вновь остался один, и сердце мое — тоже только одно — едва не лопалось от страха и боли. Я чувствовал себя настолько больным, что даже забыл, как чувствует себя человек здоровый, но никто не мог помочь мне, так как никто меня здесь не знал. Я даже подумал, не вернуться ли мне в аптеку, где фрекен Эльза кроваво поцелует меня, но нет, не вернулся, конечно, — безгильвость была сильнее, чем боль.

Я, нечаянный путешественник, был в глубинах счастливого города, которым так долго мой настольный путеводитель дразнил меня. Мой настольный путеводитель... оказывается, довольно многое он приукрасил, а кое в чем даже приврал, по крайней мере бульвары, аллеи и площади совсем не торопились расцветать теми красочно-реминисцирующими образами, к которым так тщательно подготовилось мое воображение. Я подходил к статуям, которые — как казалось — успели полюбить меня во время наших прежних умозрительных

встреч, но они даже не смотрели в мою сторону, оставаясь надменными, близорукими и холодными.

Одиночество и разочарование. Я не знал даже, как мне позвать милую бездомную собачину, что, пробегая, задрала голову и внимательно поглядела в мои глаза. Я не знал, какие слова здесь принято говорить бездомным собакам, на каком языке обращаться к ним, и поэтому лишь виновато чмокнул губами; собака обиженно отвернулась и, пожимая плечами, побежала прочь. И как использовать какого-то лощеного ротозея (которому, кажется, было невтерпез перекинуться с кем-нибудь парой словечек), я тоже не знал и, подойдя к нему, не нашел ничего лучшего как просто постучать указательным пальцем правой руки по запястью левой. Он подумал, наверное, что глухонемой справляется у него о времени, и показал мне — движение, каким подставляют для поцелуя руку, — свои часы, а после для пушей убедительности прогулочной тростью (фирма «Скримхендерс») перенес на песок изображение циферблата.

Рисунок времени на песке. Ребенок на велосипеде двумя плавно-вихляющими линиями перечеркнул его. Кто-то из нас улыбнулся кому-то: может быть, он, мой бессловесный собеседник, восхищенный непрочностью символов? может быть, я, предположивший в нем соотечественника по его молчанию и особой, эзотерической жестикуляции?

Желая продолжить знакомство, я смущенно и дружелюбно откашлялся, что вдруг рассердило его — давно уже убедивший себя, что настоящий глухонемой не способен ни к каким звукам вообще, он чувствовал теперь себя одураченным. (Нередкое заблуждение: некоторые полагают, что и слепые не умеют плакать.)

Хорошая, сентиментальная тема для рассуждений, но мы по-прежнему молча стояли друг против друга, и, безусловно, в наших неподвижных позах была своя живописная прелесть, увы, недолговечная весьма; мой партнер по молчанию, заподозрив, должно быть, в ближайшей туче дождевые намерения, вдруг суетливо развернулся и оставил мне любоваться своей удаляющейся спиной.

Стрелки на песке вытянулись в шпагате — было без четверти три. Самое обеденное, самое дождевое время. Я был голоден, и совсем неподалеку располагался «Флаббом», ресторан с заслуженной репутацией, но никто не порекомендовал мне отправиться туда, к вышколенным официантам и накрахмаленным скатертям, никто не сказал мне (слово в слово повторив рекламный плакат): чтобы полностью насладиться вашим пребыванием у нас, за обедом и завтраком выпивайте рюмку бенедиктина!

Я валился с ног от усталости, но никто не говорил мне, что лучшее место для отдыха — гостиница «Фронтенак» (улица Пьера Шаррона, 54): только там, оставаясь в безопасности, можно слушать, как трещит самый неистовый дождь, только оттуда можно вдосталь налюбоваться, с какой значительностью загустевает теплая уличная темнота, только там в счет за номер включаются гарантированные безмятежные сновидения.

Я мог сетовать на судьбу, но я мог бы и испытать ее, например, на ипподроме Мэзон-Лаффит или на любом из прочих семи ипподромов — Отей, Лоншан, Анген и так далее, откуда валом валили разбогатевшие счастливицы.

Но нет, никто не заговаривал со мною, лишь несколько подозрительных взглядов я поймал на себе. Быть может, дело было в моем скверном костюме, но никто не хотел отвести меня за руку к Марселю Ладуссу (улица Сент-Оноре, 352), специалисту по перчаткам и зонтам. Затем от этого милого человека, от его милых приказчиков и приказниц, в новых перчатках и с новым зонтом можно было бы доехать на метро до станции «Пелетье» или «Нотр-Дам де Лорет», где налево или направо — в зависимости от того, с какой стороны идти, — за тихим быстро находится магазин «А. К. О.» — прямой импорт лучших английских шерстяных тканей, цены очень дешевые. Привередничая, я купил бы себе тяжелый отрез и пешком (ведь дождь так и не начался) дошел бы до авеню Георга V, дом 3, где в ателье мод «Givenchy» поинтересуюсь знаменитым портным Евсеем Сацем. «Нет, к сожалению, такого у нас нет и не было никогда, — дружелюбно ответят мне, — но и мы умеем не хуже: фрак, карнавальная на-

ряд, костюм для деловых встреч, спортивно-прогулочный комплект: брюки со штрипками, короткий приталенный пиджачок, только скажите».

Я скажу. Я скажу своему воображаемому провожатому, что мы едва не забыли про магазин «Ла Дивин», в котором продается обувь всех марок — дамская, мужская и детская, — и все по фабричным ценам.

Я буду одет и обут. Я буду сыт и свеж. На случай вечерней прохлады у меня будут перчатки, а на случай дождя — черный шелковый зонт. Я буду, скажем, напротив «Опера комик», где только что закончилось представление: публика медленно вытекала из театра.

Публика медленно вытекала из театра. Из карманов доставались носовые платки, сигареты, ключи от автомобилей. Последними шли — вот так сюрприз, никогда бы не подумал, что встречу их здесь! — Зоя и Юрий Георгиевич.

— Дурацкий спектакль, — говорил раздраженно Юрий Георгиевич, — все пошло и бесталанно. Вульгарная попытка воспроизвести дачную жизнь в русском духе, дурная пародия на искреннюю, самоотверженную любовь. Более того, какая убогая у драматурга фантазия, ведь все, что он там напридумывал, чудовищно неправдоподобно, ты только представь себе: пожилой муж, которого его молодая легкомысленная жена выдает своему подростку-любовнику за отчима, какие-то бесстыдные объятия в самых невероятных местах. Взять хотя бы сцену, когда муж сидел в кресле-качалке, а пара этих эротоманов расположилась прямо за его спиной, ведь он мог бы и обернуться. Нет, прямо возмутительно, какая у него была деревянная шея, он никогда не успевал повернуть головой в нужный момент. Но я все понимаю, будь у него побольше проворности, пьесы не получилось бы вообще.

— Ну ведь были и замечательные моменты, — упрямылась Зоя, поправляя шубку, съехавшую с ее желтого плеча, — помнишь, к примеру, диалог в вагоне экспресса: он и она, ласки, музыкальные раскаты сердец. Я вдруг поймала себя на мысли, что каждая женщина хотела бы оказаться на месте той пассажирки.

— А ты не думаешь, что мне как мужу, усердно выполняющему все свои природные обязанности, крайне обидно слушать подобное? Нет, я всегда был противником вольных сочинений, все-таки нездоровые страсти пробуждают они. И мне омерзительно слушать, как ты смакуешь всю эту похабщину.

Да, теперь не оставалось сомнений: он был дураком, этот Юрий Георгиевич, и тем более дураком в своем модном котелке, в своей тройке из дорогого шевита, в остроносых штиблетах с выбитым сложным рисунком. Вот рука его медленно оторвалась от квадратного пиджачного кармана и, блеснув золотым браслетом на запястье (ювелирный магазин по бульвару Сен-Мартэн, дом 31-бис; «Наша специальность — торговля драгоценностями, все продается с полной гарантией»), пошевелила задумчиво пальцами, не зная, чем занять себя; занятие нашлось — Юрий Георгиевич поправил котелок. Это ничтожное движение вдруг вывело Зою из себя, лицо ее искривилось: «Я же просила тебя не носить так шляпу, ты становишься похожим на штафирку, штафирку!»

Юрий Георгиевич был, наверное, в чем-то виноват перед Зоей — придет пора узнать и об этом, подождите, уже немного осталось, — и поэтому возражать не стал, а, съездившись, угодливо облизнулся. «Я ее лучше вообще сниму, а то мозгу моему тесно», — сказал он.

Спрятавшись за такси, что стояло с опущенным флажком (шофера видно не было, но он был — через равные промежутки времени сигарный дымок выпыхивал из щелки над приспущенным стеклом), я наблюдал за этой неприятной четой — штафиркой Юрием Георгиевичем и почему-то косолапящей Зоей. Да, ноги ее подурнели, и руки тоже, и грудь, и лицо, и теперь не хотелось, конечно же, красться черными коридорами и белыми дачными улочками, чтобы внезапно возникнуть перед уже разостланной постелью и толстым, таким чужим от волнения языком нежно пробубнить: «Неужто ты можешь спать, Зоя, это я, Зоя», а затем расплавляющимися от жара пальцами нащупать ее бесконечное голое тело и долго водить по нему руками, губами и языком, долго проникать внутрь и бродить, пьянея, по горячим неведомым лабиринтам, вдруг останавливаясь и умирая после восхитительных судорожных всплесков.

— Зоя, это я, Зоя, здравствуйте и вы, Юрий Георгиевич, — позвал я их и уже заранее знал, что в ответ они тут же с охотой нагородят мне кучу всякой чепухи про окаменелых знаменитостей и местные достопримечательные уголки, про то, что городскими властями предписано жареную телятину, свинину и курицу запивать не слишком крепким красным вином, а паштет из гусиной печени — сотерном. Они похвалятся мне, что не так давно купили уютный просторный дом в ближайшем предместье и буковую аллею, что ведет от шоссе прямо к кирпичному крыльцу, купили тоже. На крыльце, слышав шум их приближающейся машины, всегда стоит мулатка-служанка, с отполированными волосами, в белом кружевном переднике, и держит в одной руке яркий фонарь, а в другой зонтик, чтобы — случись дождю — хозяева не промокли, пока будут переходить из автомобиля в дом. Они расскажут про своих немногочисленных, но подобранных с тщательным буржуазным вкусом друзей, которые собираются здесь раз или два в месяц, — мулатка выносит на лужайку перед домом шезлонги, большие зонты от солнца, легкие плетеные столики, кое-какую снедь, клюшки для гольфа, нераспечатанную колоду карт, а чуть позже — кофе, фрукты, мороженое и бутылку шампанского «Лоран-Перрье». «Ах, чуть не забыли, — воскликнут они, — еще у нас есть мальчик, наш сын, он ходит в дорогую частную школу, он учится там в дортуаре всяческим гадам, но когда на выходные приезжает домой, глаза его по-прежнему чисты и невинны».

Но лишь перемигнулись густые кольца на Зоиных пальцах, но лишь Юрий Георгиевич подпалил свой славянский ус, раскуривая коричнево-золотую сигару. И все; они молча прошли сквозь меня словно сквозь пар, и штафирка Юрий Георгиевич и подурневшая Зоя, а потом долго усаживались в свой строгих и стройных форм автомобиль, куда на заднее сиденье пробрался и я. Потом, пофыркивая, автомобиль тронулся, но совершенно напрасно было ждать, что Зоя обернется и, как встарь, с хитрой многозначительностью кивнет мне. Мне кажется, они притворялись; притворялись, что не замечают, как кто-то сзади падает на два их холодных затылка, на четыре их бесчувственных плеча; мне кажется... Когда я окончательно потерял терпение и буквально был готов растерзать своих близоруких мучителей, Зоя наконец поправила бусы на шее и шубку на плече, а Юрий Георгиевич сказал, что снова побаливает, пошаливает голова.

Мы ехали левым берегом Сены, миновали мост Турнелль, а у моста Согласия свернули на улицу Руаяль, где Юрий Георгиевич голосом капризного слабоумного ребенка принялся вымалывать разрешение остановиться у какого-нибудь винного погребка и жадно, с причмокиваниями лез Зое под шубку, под платье, пробуя расстегнуть застежку чулка.

— Не будет тебе никаких погребков, — зло огрызалась Зоя, — ты снова будешь без меры пить и воображать себя знаменитым экзистенциалистом или обычным педерастом.

— Умоляю-у, — гнусаво тянул он.

На каком-то перекрестке мы долго стояли, дожидаясь, когда переключится красный сигнал светофора, пока к нам не подошел туго перетянутый ремнями ажан, который сказал, что светофор неисправен и надо быть ослом, чтобы самому не додуматься до этого, а кроме того, пора менять декорации — бесконечные кресты дорог и круги площадей утомительны для непривычного глаза, куда лучше милый сельский пейзажик.

Разгоряченный Зоинной ногой в порванном чулке («Скотина, мне скоро будет не в чем ходить», — сквозь зубы процедила она), Юрий Георгиевич не стал спорить с ажаном, и поэтому медленно проехал на красный свет, и поэтому ехал уже не по центру города, а резво мчался по гладенькому пригородному шоссе: редкие дома провозжали нас зажженными окнами, вдоль обочины скакал приземистый лесок, сухие жуки разбивались о ветровое стекло.

Потом машина свернула на длинную прямую буковую аллею, дальний конец которой согревался светом яркого фонаря, что держала над головой знакомая по прежним представлениям смуглая служанка. Она поспешила навстречу остановившейся машине, щелкая на ходу спорттивным зонтом, хотя дождя еще

как будто бы не было. И меня как будто бы не было тоже, хотя именно я, выйдя из автомобиля, громко хлопнул дверцей, с горьким злорадством отчетливо произнес: «А это все-таки я!» — и попытался вырвать зонт из рук служанки. (Зоя строго заметила: «Изабэлли, держите зонтик покрепче, поднимается сильный ветер».) Из дома, сопроводив свое появление радостным стонущим лаем, выскочил большой и мягкий лабрадор, но и он усердно притворялся, что не видит меня. И Зоя не видела, как за ее спиной Юрий Георгиевич с привычно-торопливой небрежностью тискает Изабэлли, которая, изгибаясь, мелко вибрировала в ответ. Не было ни ветра, ни дождя, но все говорили: «Ветер! Дождь!» — и под зонтом Изабэлли спешно шли к дому, в котором, оказывается, всех нас уже ждали — в зеркалах, пестревших на высоких стенах, было тесно от набившихся в комнаты людей, поддельных под полководцев, знатных вельмож, палачей, дворцовых интриганов, шутов, заговорщиков, кокоток, величавых монахов, еретиков, инквизиторов, скульпторов, архитекторов, художников, музыкантов, штабных, припудренных порохом офицеров, известных писательниц, башмачников, кабатчиков, крестоносцев, экзистенциалистов, педерастов, мнимых героев, рассчитывающих прославиться своими вымышленными злодеяниями, любителей изящных пространств и путешествующих по одиночеству.

Там же, в зеркалах, среди фальшивых, поддельных людей, среди плоских стеклянных лиц я вдруг увидел себя. К моему отражению подошел Юрий Георгиевич и, хмурая лоб, огорченно сказал: «Я узнал вас. Когда-то вы нежно дружили с моей женой. Кажется, вы даже подавали надежды. И кто бы мог подумать, что вы опуститесь до этого дешевого маскарада, до этих балаганных шутов. Ведь у вас очень хорошая мама. Но все равно, утром, когда зеркала наши заголубеют, я заново познакомлю вас с моей женой. Боюсь, она успела слегка подзабыть вас». Затем он привычно — видно, подобное доводилось делать и раньше — перевернул все зеркала, оставив нетронутым только одно, самое маленькое, где кое-как сумел уместиться я. Комната опустела. Спокойной ночи.

Доброе утро. Он был прав, мое застекленное лицо на голубом фоне всегда выглядело удивительно хорошо, и когда хозяйева, дожевывая завтрак, подошли к моему зеркалу, я увидел, как нравлюсь Зое, как рада она мне. (Я не мог ошибаться, ведь остальные, вывернутые наизнанку зеркала были совершенно слепы.)

Юрий Георгиевич ушел по мягким коврам, и мы с Зоей остались вдвоем. Давай повторим вместе: доброе утро. Тихо. Лишь на цыпочках крадутся часы. Закурив папиросу, Зоя, внимательно вглядываясь в меня, костяным гребнем расчесывала трескучие волосы, втирала крем в свои пожухшие щеки, красила ногти под цвет губам, тонкой зубочисткой выковыривала из глубины рта кушочки нынешнего бекона.

Никак не могла она в воспоминаниях добраться до меня, мысленно повторяя то, что не успела сказать мне вчера у театра, например, о своих ежемесячных (менструальных, как шутила она) гостях, которые приезжают в строго установленные дни, выходят на лужайку, подстриженную под бобрик, смакуют бенедиктин, грызут сухое печенье, стряхивая крошки с коленей, лениво перебрасываются фразами ни о чем, почитывают — между строк — газетки, мечтают когда-нибудь научиться играть в гольф, как знаменитый чемпион Харри Вардон или как Роберт Тайер Джонс, показывают друг дружке глупенькие карточные фокусы, громко и требовательно кричат Изабэлли, что уже стемнело и посвежело, — она выносит пледы и с детской старательностью чиркает спичками, зажигая свечи.

Юрий Георгиевич подслушивал и подглядывал за нами (о чем Зое по внутреннему телефону сообщила вышколенная Изабэлли).

— Он подслушивает и подглядывает за нами, — сказала Зоя, — мне сейчас об этом шепнула на ушко Изабэлли. Но тогда я тем более расскажу тебе, какой он негодяй. Совсе не так давно он насильно отправил меня в цирк Медрано с этой говорящей машиной, какой-то его многоюродной сестрой, которая вообразила вдруг, что мы с ней дружны настолько, что ей позволительно называть меня лапочкой или душкой. Словно дипломированный конвоир она сжимала мой холодеющий локоть, а в перерывах между номерами строго поглядывала на меня, и поэтому мне ничего не оставалось делать кроме как улыбаться во

весь рот и всячески показывать, что все здесь мне ужасно по нраву — и клоун-дегенерат, и тупые, неповоротливые звери, и похожие на новорожденных уса-тые лилипуты, и гимнасты с выбухающими чреслами, и шпрехштальмейстер, разворотными глазами скакавший по голым ногам партера, и неприятно одинаковые, будто близнецы, униформисты, и... Потом пришел черед жирненькой акробатки, которая, выкаблучиваясь на трапеции под самым куполом, вдруг сорвалась и, вспыхнув блестками в коротком полете, сочно шмякнулась на арену, но не разбилась насмерть — это, оказывается, был какой-то хитрый трюк, — а как ни в чем не бывало резво вскочила на свои пухлые ножки и с похотливым изяществом отвесила низкий поклон замершей от ужаса и блюющей от отвращения публике, а тут еще на арену пожаловали мишки — мишка-папа, мишка-мама и мишка-карлик, — которые сквозь намордники пытались выплюнуть собственные языки, и обманщица обнимала их, заглядывала к ним в штанишки и, поворачиваясь к зрителям, одобрительно поднимала большой палец. Я едва не закричала: «Ненавижу, такую вопиющую ложь ненавижу!» — и ты, мой мальчик, должен понять меня: пусть бы уж лучше акробатка не падала или падала по-настоящему, с поломанными костями, с нарядными брызгами крови, с предсмертными хрипами, а она, будто назло мне, на бис повторила свой номер — снова делала фуэте на трапеции, снова летела вниз, но уже значительно медленнее, внимательнее, с пошлым достоинством и глупой улыбкой на бледном сосредоточенном лице...

Зоя замолчала, но я знал, что было потом. Потом она подумала: «Если бы я умела стрелять, я бы убила ее», потом она отвлекла свою надзирательницу громадной порцией мороженого и, дождавшись темноты в зале (номер с дрессированными змеями; все — в псевдоиндийском стиле), стала потихонечку выбираться наружу, а хват какой-то из obsługi, застигнув ее в самых дверях, назойливо спрашивал, почему она уходит с середины представления, может быть, что-нибудь не понравилось, может быть, позвать директора, и директор явился — тучный, коротенький, с умными, все понимающими глазами — и сразу сказал, что ему тоже не нравится номер акробатки, но ничего не поделаешь, публика валом валит, жаждет настоящей трагедии, и чтоб не обманывать ее ожиданий, придется когда-нибудь... «И вы способны на это?» — изумилась Зоя, а директор сокрушенно развел руками, мол, чего не сделаешь ради сборов и славы, ведь теперь никого не удивишь кастрированными хищниками, послушными пони и дураками клоунами. «Ах, и вы такой же, как все, — разочарованно протянула Зоя, — а ведь у вас такие умные глаза, такие умные руки, такие умные седоватые усы... Но все равно, вы такой же, как все».

Я не перестаю знать, что было потом. Потом она ехала на такси домой, а дома Юрий Георгиевич, ошибочно полагавший, что Зоя досидит до конца представления, больным голосом позвал Изабэ́ль и нежно попросил сначала аспирина, затем — чаю с лимоном, а после пожаловался, что это невозможно грустно — кушать в одиночестве аспирин и запивать его чаем, и служанка покорно присела на краешек кожаного дивана. Не зная, с чего начать, он сказал что-то об осени, о том, что не на шутку расшумелись деревья и неспроста попритихли травы, и, видя, как согласно кивает головкой Изабэ́ль, алчно представил пушистые впадины ее подмышек, ее резиновый рублиновый язычок и ту ароматную влагу страстей, которую так хотелось выдавить всеми десятью пальцами из каждой поры ее маленького эбенового тела. Затем она вдруг перестала соглашаться с ним и на все лепетала «нет» — нет, не осень, нет, не деревья, нет, не травы, нет, ни за что, ведь хозяйка так добра к ней, — но тут ветер, шелкая незакрепленными ставнями и дверями, ворвался к ним, и Юрию Георгиевичу показалось, что именно ветер сорвал с Изабэ́ль все одежды, и, боясь, как бы не сдуло и ее, эту нагую бедняжку, навалился на нее, придавил сверху, чувствуя, как приятно-холодно собственной голой спине. Продолжали шелкать ставни и двери, прямо под щекой попискивала Изабэ́ль, пахнувшая яблоком, что, единожды надкусанное, хромая выкатилось из ее пустого платья, а затем, когда стало все блаженным и тихим, в дверном проеме вдруг появилась Зоя, которой Юрий Георгиевич не поверил, подумав, что это — мираж, галлюцинация, следствие отравления ядовитыми испарениями близости, и поэтому с пьяной

ухмылочкой поманил пришелицу пальцем, сообщив по секрету, что настоящая Зоя вернется еще не скоро, так что, сударыня, располагайтесь поудобнее и, коли охота, присоединяйтесь к нашей компании.

И лишь Изабэ́ль отрезвила его: она сжалась в комочек, заплакала, сказала, что отец ее, Джафар Сулейман, никогда не простит ей такого позора, и принялась из кучи сваленных на полу вещей выуживать свое платье, переплетенное брюками Юрия Георгиевича, белый передничек, забавные панталончики, темные чулки.

— Не плачь, Изабэ́ль, — сказала Зоя, — я знаю, ты не виновата, это все он, скот. — И грубыми пинжками выгнала ее, а сама проворно разделась и, не обращая внимания на Юрия Георгиевича, высунулась в окошко и тихо позвала кого-то.

Ведь я продолжаю знать. Я продолжаю знать, что в саду под окнами никогда не было, но минуту спустя Зоя открыла дверь, будто впуская кого-то, сказала: «Утешитель, утешитель вернулся!» — и, называя вслух мое имя, пошла к кровати, где опрокинулась на спину, расплескав по подушкам жидкое зеркало своих длинных волос.

Разве не было подобного и со мной, когда я, измученный спазмами своей сомнамбулической любви, тоже обнимал и гладил лишь пустоту, которая рано или поздно кончалась, заполняясь грубыми и пахучими человеческими телами, от которых всю жизнь я отчаянно убегал, оставляя на растерзание им лишь провинцию моих чувств, тогда как их средоточие — совершенно неприступная крепость — зорко охранялось нанятыми моим воображением солдатами в железных касках и со взведенными ружьями. Они любили меня, своего властелина, они делились со мною сочными фруктами, украденными из крестьянских садов, угощали крупно порезанным табаком и подбродившим яблочным вином, учили обращаться с фузеей и угадывать по полету каждую птицу; кроме того, по моей милости забрюхатела дочь коменданта и, сказывали, в положенный срок она выпустила кудрявого пузатого мальчугана, впоследствии записанного в какой-то там гвардейский императорский полк; еще вереница прозрачно-мягких утр плыла безостановочно перед моими глазами, и я, взбираясь на мшистую крепостную стену, со слезою провожал их, махая вдогонку белым платочком.

Я уходил и приходил сюда, но однажды что-то случилось здесь за время моего отсутствия — насупленные солдаты в пыльных мундирах отказывались понимать мою речь, их утрюмые лица со впалыми щеками пугали меня, какой-то низкорослый капрал, видя мою настойчивость (я молил: «Впустите меня, это вопрос жизни и смерти!»), зло замалхнулся сыромятной плетью, а его подчиненные из караула принялись грубо толкать меня прикладами в грудь, и тщетно взывал я к милосердию и любви.

Довольно трудно представить все это: взрослая, с чуть подвядшими краями женщина, узнав об измене мужа (случайной свидетельницей которой оказалась она сама), в отместку ему воображает себе любовника, который — как и положено призраку — невидим, бесплотен и неосязаем. Не желая утруждать свою фантазию, она дает призраку имя, в котором некогда уже увязали ее целующие губы. Почти ежевечерне в обнимочку с ним она проходит мимо изумленного обиженного мужа в свою спальню, на множество ключей запирает дверь и начинает визгливо хохотать, скрипеть пружинами постели и громко требовать изобретения новых ласк, а утром, впуская служанку с подносом (горячее какао, поджаренные тартинки), любуясь темным лаком ее неподвижных щек, женщина говорит ей что-нибудь ободряющее («Ну-ну, Изабэ́ль, я и в самом деле не сержусь на вас, я чувствую, мы подружимся, только не пьяйтесь слишком уж откровенно на моего спящего друга»), а затем, откидываясь на подушки, с ясной и доброй улыбкой, с глазами, на которых еще не подсохла влага прошлоночной любви, произносит блаженно: «Как хорошо мне нынче спалось, сколь приятны были все наши объятия». Потом она просит служанку раздёрнуть шторы (и комната тонет в солнечных блестках), потом она с хрустом поедает тартинки и снова, как и вчера, проливает на пододеяльник бежевое какао,

потом жалуется на мужа, который опять подслушивает за дверью, потом приказывает Изабэ́ль крепко зажмурить глаза, чтобы дать своему любовнику возможность проснуться, одеться и исчезнуть.

Он это умеет — бесследно исчезнуть, а муж женщины, снедаемый неукротимой ревностью, с лихорадочной тоскою рыщет по дому и саду, чтобы хоть где-нибудь наткнуться на след ночного визитера, и даже, выдумывая самые несусветные поводы, навевается в гости к соседям, где, ворвавшись в ванные комнаты, подозрительно пересчитывает зубные щетки, полотенца и бритвенные приборы. Его жена видит эту безумную ревность и наслаждается ею. Изредка она подзывает мужа и, пристально любуясь его постаревшим лицом, как бы невзначай сообщает ему, что в газете написали про одного боксера, который, увлекшись боем с тенью, сошел с ума и стал легкой добычей врачей-психиатров; или на глазах у всех она извлекает из почтового ящика беленькое письмо, которое, шевеля губами, читает, нежно целует и тщательно рвет; или начинает она вслух вспоминать о своей многожды замужней подруге, чьим единственным, хотя и мрачным достоинством было умение скоропалительно и бесследно вдоветь. Иногда, чтобы еще больше позлить мужа, она даже в его присутствии говорит о нем в третьем лице, говорит, что у него ужасно пахнет изо рта, что в последнее время как-то неприятно искривилась его походка, что у него совершенно извращенные понятия о женской анатомии, что в его волосах полным-полно перхоти, и когда он плаксиво пробует возражать ей, она с потешным испугом прикрывает ладошкой рот: «Ах, прости, пожалуйста, я и не знала, что ты тут».

Она теперь ласково дружит с Изабэ́ль, которой дарит свои платья и духи. Новые подружки то и дело уединяются в плетеной беседке в глубине сада, где, обнявшись, поверяют друг другу сердечные тайны, а когда муж под различными предлогами пробует присоединиться к ним, натравливают на него лабрадора. А ведь как хорошо было когда-то!.. Когда-то он гладил собаку, нежа пальцы в мягкой и упругой мармеладной шерсти, а теперь она ненавидит его, злобно хрипит невдалеке от лица и страдальчески воеет, когда хозяйка ненадолго отлучается по делам.

XVI

Итак, муж, заслуживший — последовательно — ненависть своей служанки, жены и собаки. Он вовсе не глуп и поэтому в конце концов понимает, что домогательствами, капризами, слезкой за женой и жалобами — если дело идет к дождю — на боли в суставах вернуть все благополучие своей старой жизни ему не удастся. Теперь, невзирая на бессонницу, перемежающуюся с мрачными, отвратительными сновидениями, каждое утро он бодр, подтянут и причесан; каждый полдень — ласков и снисходителен; каждый вечер — щедр, неназойлив и остроумен. Жена начинает недоумевать, отчего прежние колкости и унижительные реплики в адрес мужа теперь не оставляют на его лице ровно никаких следов — слез и мучительных перекосов, — какие ей, оскорбленной, всегда были столь приятны, но все равно, прощать его она не собирается, подозревая в этих разительных переменах какую-то особую хитрость, что, не распознанная вовремя, может причинить ей непоправимый вред. В свою очередь муж, замечающий ее недоумение и растерянность, не останавливается на достигнутом, а продолжает усиленно развивать свои добродетели, принимая участие в благотворительных аукционах, посещая все воскресные службы и становясь расточительно щедрым ко всяком нищему. Увлечшись игрой в благодетство, он, и сам не заметив того, откликается на одно газетное объявление, приглашавшее положительного мужчину средних лет для работы поводырем по субботам к одинокому слепому человеку.

— Теперь по субботам я буду работать поводырем, — не сдержавшись, хвастается он жене.

Я думаю, что примерно это выглядело так: чем ближе подходила суббота, тем сильнее он волновался и даже раскаивался в своей чрезмерной сердечно-

сти, но отказаться мешали суеверные страхи и шепетильность, да к тому же и жена уже сообщила кому-то по телефону, что муж странно изменился и подобрел и через два дня почти бескорыстно уходит помогать совершенно незнакомому и неизвестному слепому.

Опыта, конечно, не было никакого, и круг собственных субботних обязанностей поэтому представлялся весьма смутно — наверное, сперва подставив для знакомства лицо (которое слепой нежно ищупает и изгладит), потом — и до бесконечности, то есть до шести пополудни, когда должна объявиться смена, — надо будет развлекать подопечного пустой болтовней, читать ему вслух из щедро иллюстрированного ежегодника, пересказывать содержание омерзительнейших газетных карикатур (припасенных здесь в опасном избытке), подносить к его папиросе пылающую спичку, борясь с соблазном как бы ненароком задеть пламенем чуткий ноздрявый нос, и, словно кукушка, отмечать медленное вращение стрелок часов. Затем под диктовку придется написать парочку требовательных, почти дерзких по тону писем, а другую парочку, только что доставленную зловредным почтальоном, с выражением зачитать — слепой, оказывается, состоит в давней переписке с обществом имени Брайля, которое, видно подозревая какой-то подвох, упрямо не соглашалось принять беднягу в свои члены, что сразу лишало его многих приятных льгот

Когда настанет время обеда, оба они под ручку, словно прилежные школяры, дойдут до круглого стола, где их уже будет поджидать железная небьющаяся посуда, прежде бывшая, судя по клеймам, в распоряжении городской тюрьмы. Стараясь не заглядывать в черные дыры его зловещих очков, придется кормить слепого с ложки, которую он, прежде чем взять себе в рот, станет долго и подозрительно обнюхивать («Знаете, есть такие шутники, — объяснит он, — пользуясь моим беспомощным положением, всякую гадость норовят подсунуть»). Несмотря на всяческую обоюдную аккуратность, суп то и дело будет проливаться на скатерть и на брюки слепого, который, ощутив свои раздвинутые ляжки, привычно посетует: «Вот и опять здесь мокро. И здесь». Зато коричневый, с перламутровым лучком и зеленой фасолью бифштекс они преодолеют без особых приключений, а потом, когда дело дойдет до десерта — свежий ломкий кекс, липкое тянущееся повидло, — слепой заметно оживится и, потирая ладошки, воскликнет азартно: «Нет уж, дудки, вот с этим я как-нибудь сам!» Быстрая еда на ощупь... получится скверно и очень неряшливо — рыжие крошки на подвижных восприимчивых губах, оранжевый, с прожилками мазок на щеке, — и придется молчать себе голову, как придать его сытому, довольно-му лицу опрятный вид. Молчание. Как-то неловко, как-то не по себе.

— Ну и что вы молчите? — бодро поинтересуется слепой. — Я же чувствую, что вы хотите мне что-то сказать.

И надо будет что-то ответить, дескать, не могу не поздравить вас с отменным аппетитом, но вот в чем загвоздка, любезный (любезный — это пока, уже через два дня слепой обретет свое имя, каким, преодолевая брезгливость, придется все-таки пользоваться), дело в том, что у вас на губах и щеке...

— Понял-понял-понял, — обрадуется догадливый слепой, — но в этом, видите ли, одно из главных неудобств моего положения, чрезвычайно сложно следить самому. Отсюда и казусы, к примеру — не так давно, кстати, — приходит ко мне одна дама... Нет, об этом лучше в другой раз. А сейчас знаете что, сделаем лучше вот так, — и слепой вытянет вперед, как для поцелуя, свои губы, — ну, не робейте, проведите по ним пальцами, я очень прошу! — А потом уже чистым ртом произведет сосущий вопросительный звук. — Так, моя задача без помощи рук отгадать, какая щека испачкана. Правильный ответ — десьть очков.

Опьяненный едой, вообразив, должно быть, что вокруг него не меньше дюжины поводырей, слепой властно попросит, чтобы все они проводили его до постели, где вытянется во всю длину своего слепого роста и, не снимая очков, с каким-то неприятным бульканьем утонет во сне, успев шепнуть напоследок: «О, мой дрессированный Гипнос...»

Наконец он останется без присмотра слепого и даже, набравшись смелости, украдкой погрозит ему кулаком. От пережитых волнений сильно захочет-

ся в туалет, но он вовремя вспомнит, насколько чутки слепые, и, представив, как чужие непосвященные уши будут впитывать все капельки его переливчатого облегчающего ноктюрна, пожадничает и решит дотерпеть до дома.

Разувшись, он босиком походит по комнате, полюбуется, как близко к окну подступили деревья, потом наугад откроет одну из дверей и по короткому светлому коридору перейдет в комнату другую. Здесь будет стоять большой письменный стол, и он не захочет рассматривать предметы, лежащие на нем, но любопытство пересилит. Он все внимательно проглядит и перетрогает руками — приз за меткую стрельбу, полученный, судя по дате, в ту зрячую бодрую пору слепого, когда его прищуренный неподвижный глаз умел действовать заодно с указательным пальцем (а в тире людно, и все с восхищением любят этим полусогнутым ловкачом, от каждого выстрела которого опрокидывается заяц с барабаном, начинает кружиться карусель, трясет раненой лапой медведь с балалайкой), набор прекрасных автоматических ручек с золотыми хищноватыми перьями, бронзовое с бледной паутинкой пресс-папье, часы с растворенным брюшком, кажущиеся нагими от обнаженных колесиков, одно из которых уже извлечено тонким пинцетом. На изучение фотографий в рамках времени не останется — из-за стены донесется обиженный рев: «Ну куда вы запропастились?» — и, значит, нужно снова торопиться к слепому, который когда-то мог вот так, как это запечатлел объектив: в акробатическом прыжке теннисной ракеткой тянуться к похожему на снежок мячу, навечно застывшему в полуметре над землей.

Потом будет полдник, такой же неопрятный и мучительный для обоих, как и обед; потом, видно скучая, слепой предложит во что-нибудь поиграть. Ну, например, в шахматы, ах, простите, я и подумать не мог, что вы в ладах с Каиссой, а я, признаться, ласкаю иногда ее, плутовку, ласкаю.

— Может быть, тогда в карты, по маленькой? — чуть позже скажет слепой, но тотчас же погрузнеет: — Вот и снова забыл, карточные игры теперь не для меня.

Господи, как неловко! Чтобы не молчать только, он нарочно опрокинет вазу с цветком и, на четвереньках собирая осколки, будет пыхтеть, жаловаться, на собственную безрукость и требовать, чтобы с него до копейки взыскали ущерб.

— Да, — не обращая внимания на его сетования, продолжит грустить слепой, — если бы не мой недуг, мы могли бы сыграть с вами в ларго — очень азартная, очень старинная игра. Но и в ней глаз да глаз нужен, в этом, можно сказать, ее главный интерес.

Чтобы приободрить слепого, он скажет, что они в любом случае не смогли бы сыграть в эту игру, что он никогда не слышал про такую, что он совсем не знает ее законов и правил.

— В этой игре правил нет, — ответит слепой, — эта игра без правил.

Потом они все-таки найдут общую забаву и станут играть в жмурки, и когда придет черед прятаться, слепой, залиvisto хохоча и отчего-то называя партнера обидчиком, будет безошибочно находить его и извлекать за уши из самых каверзных уголков.

Наигравшись вдоволь, всклокоченный, потный и радостный, слепой с разбега плюхнется в кресло, похвалится: «А выиграл-то я!» — попросит стакан холоднющей воды и скажет: «Пойдемте на улицу. Что-то приспичило».

И будет прогулка. Большой, наполненный какими-то ухающими звуками сад; категорически никаких посторонних, чтобы избежать случайных встреч с зеваками, сострадательными старухами и несносными детьми, норовящими поставить слепому подножку и смеющимися во все горло своей зрячей жестокости. Прогулка; давайте-ка я обопрюсь на вашу руку, и вы расскажете мне обо всем, что видите сами.

Вот этого он не хотел больше всего — чтобы его пытали о цвете неба, о перемигивании капель, оставшихся после недавнего скоротечного дождя, о блеске мелких зеркальных лужиц. Слепой покажет себя придирчивым экзаменатором:

— Только не говорите мне, что небо голубое, а листья зеленые, это я знаю и без вас. Оттенки, меня интересуют оттенки, вы должны достоверно передать мне всю цветовую гамму, ну, смелее.

— Но, видите ли, небо действительно голубое, хотя вот здесь, над этим кленом — вы еще не забыли, как выглядит клен? его листья словно расставленная пятерня — голубизна как бы сгущается, становится более плотной, что ли.

— Да, вы никудышный рассказчик, главное — никакого воображения. Хорошо, давайте тогда вопрос попроще: облака, есть ли на небе облака, и если есть, какие и сколько? Перистые, кучевые, слоистые? Их цвет?

И на небе будут облака, именно такие, какие всегда особенно нравились мне, — тонкая, полупрозрачная пелена, медленно обволакивающая ту небесную заводь, где мечется одинокая обеспокоенная птица; или клубящееся подвижное лицо в профиль, которому времени отведено лишь на то, чтобы поздороваться с присутствующими сонным кивком и тут же развалиться на бесформенные кусты; или... нет, я не буду продолжать, слишком жарко становится сердцу. Но на небе обязательно будут облака, и я, страстно любя их, разрешу поводырю прикинуть расстояние между ними и жадно выпученными глазами слепца (который, подозревая что-то, снимет очки) и малодушно солгать: «Только представьте себе, небо совершенно, ну совершенно чистое, ни одной, даже самой маленькой загогулины».

И это будет единственная нечестность, которую — с моего ведома — он позволит себе, во всем остальном являясь примером для всех проходящих поводырей, и лишь в шесть вечера, когда его сменит насупленная профессиональная сиделка (слепой, распознав ее, сразу же оставит свою нахальную говорливость), он решительно скажет, что больше сюда никогда не придет.

Я думаю, что примерно это выглядело так: в назначенную субботу с утра, снова удивив жену своим приветливым лицом (правда, чуть перекошенным от большого, еще не проглоченного куска камамбера) и галантными дружелюбными манерами, он, попыхивая папироской и подбрасывая на руке ключи, направился к автомобилю, но в последний момент ехать таким способом передумал, не без оснований решив, что это признак дурного тона — подкатывать к дому слепого на новенькой, вполне зрячей машине. Тогда он выбрал велосипед и, оправдывая перед женой (удивленно отодвинувшей оконную занавеску) свою комичную неумелую посадку, опасно виляющее переднее колесо и правую штанину, прихваченную бельевой прищепкой, весело крикнул ей, что не знает лучшего способа для поддержания мускульного тонуса.

Выехав на шоссе, он резво скатился с первой же горки, жалея, что жена не может полюбоваться его согнутой, цепкой, словно у настоящего гонщика, фигурой, но потом, на пологом подъеме, вдруг заметил, как разгорелось солнце и загустил воздух, какими неповоротливыми стали педали, и, в конце концов спешившись, остановил маленький грузовичок, на котором и проделал остаток пути.

Сон

Жилище слепого выглядело так: толстые заплесневелые стены, замурованные за ненадобностью окна, отсутствие опасного и ненужного здесь электричества, какая-то сложная система звонков и колокольчиков, благодаря которым жилец меньше рисковал расшибить себе голову об острый угол или свалиться в подвал, жирная собака-поводырь — овчарка с песочными глазами, бесшумно и нагло сжирающая из тарелки хозяина его монохромный обед, оскорбительные реплики в адрес слепого, написанные крошащимся углем прямо на обоях кем-то из жестокой прислуги.

Явь

Как приятно все-таки ошибаться когда-то, как полезно не прислушиваться к пророчествам снов! Домом слепого оказался приветливый особнячок из светлого кирпича — два этажа с настежь распахнутыми окнами и танцующими на ветру белыми занавесками. Не доверяя первому, столь неожиданному впечатлению, он, остановившись поодаль, чтобы слепой не увидел его из окна... тьфу, о чем это я!.. еще раз сверился с адресом на бумажке и внимательно поглядел на дом — нет, все то же: чистый нарядный кирпич, безглавые веселые танцов-

щицы в оконных проемах, геральдическая эмблема над входом, высокая ореховая дверь с начищенной медной ручкой, уже занявшей огнем по случаю ясного солнечного дня, флюгер на черепичной ухоженной крыше, который, подчиняясь шестесту крон, вдруг сделал несколько приглашающих оборотов.

Он стоял в тени большого каштана, на котором зеленели круглые, похожие на морские мины плоды. Он посмотрел на запястье, и часы показали ему, что его уже ждут. Он подумал, что газетное объявление могло оказаться и ошибкой или что слепой к сегодняшнему дню мог скоропостижно прозреть; он подумал, не вернуться ли ему восвояси, но предвидя злорадство жены — ты смелый только на словах! — перетрусил и твердо направился к дому. Он уже погасил огонь в медной ручке, положив на нее мягкую вспотевшую ладонь, и собрался деликатно покрутить ручку звонка, чтобы потом долго ждать, пока слепой на ощупь будет выбираться из своих беспросветных лабиринтов, но вдруг увидел приколотый к двери конверт, где чья-то рука не поленилась каллиграфически вывести его имя, за которым, через запятую, было добавлено: «Секретно!»

И тут он вдруг все понял, он понял, что его разыгрывают, понимаете, друзья мои, меня разыгрывают, ну и подлецы, ну и сукины дети, ах, до чего же ловко придумали! а я-то клюнул, поверил, развесил уши! но вдруг спохватился: «Кому поверил? Разве мне кто-нибудь что-нибудь говорил?»

В конверте оказалась записка: «Вот наконец-то и вы. Добро пожаловать, дорогой».

Звонить не пришлось, дверь была не заперта.

— Да не топчитесь вы там, проходите, проходите, сквозняк же! — грубовато, но вполне дружелюбно крикнули ему.

Не было темной и тесной прихожей, не было вешалки с нахохлившимися пальто, которые остались с весны, не было старого зеркала, где любое отражение кажется выцветшим и подозрительно плоским. Ногам было мягко — на полу лежала медвежья шкура.

— Оглянитесь, вам должно понравиться! — крикнул тот же голос.

Пахло сладким кофе и табаком.

Он огляделся, и ему понравилось. Понравился простор и голубоватый свет, щедро вливающийся внутрь сквозь большие окна; понравилось сочетание запахов и сочетание красок на квадратной модернистской картине; наконец, понравилась и самая комната, длинная, широкая и высокая, с потолком, обшитым желтым деревом, с опрятной кожаной семьей — кресла-родители и вытянувшийся за лето сын-диван, — с полками, густо заставленными книгами, с низким журнальным столиком, с навощенным паркетным полом, в котором, кроме перечисленного, отражалась и напольная фарфоровая ваза, полная свежих мокроватых цветов, чьи белые пышные бутоны — мазки британской пены — хотелось почувствовать взволнованным лицом. В одном из кресел, поставив кофейную чашку на острое, торчавшее вверх колено, низко и удобно сидел лучезарно улыбающийся человек. Человек не понравился.

— Обойдемся без ритуальных рукопожатий, — вдруг сказал человек. — И вообще долой ритуалы.

Судя по его расслабленной и даже нахальноватой позе, по его громкому горловому голосу, которым он вовсе не боялся кого-нибудь разбудить или потревожить, человек был с этим прекрасным жилищем явно в родственных отношениях; какой-нибудь кузен слепого или, скажем, брат его бывшей жены. До неприятного благополучный субъект, этакий баловень судьбы, таких, как он, дантист Михельсон за руку выводил к прочим своим пациентам: «Я хочу познакомить вас, господа, с образцовым, не требующим никакого вмешательства ртом».

— Садитесь напротив, — внятно, с какой-то едва различимой издевкой предложил человек, — будем пить кофе и понемногу изучать друг друга. Ведь вы — тот самый почти бескорыстный благодетель, на появление которого мы, обращаясь в газету, честно говоря, особо и не надеялись. И все же я ждал вас, готовился к вашему приходу, видите, нынче я даже при бороде.

Он не солгал; у него действительно была борода, борода той породы, что, подвешенная ко всякому почти лицу, невольно заставляла бы подумать о бла-

годетельном прогрессивном помещике, которого, невзирая на все его милости, все же недолюбливают крестьяне, считающие его доброту, простой отеческий тон, разглаголашательства о свободе и эксперименты с новыми сельскохозяйственными машинами лишь опасным чудачеством, следствием завихрений в воспаленном мозгу.

— Признаюсь, я успел навести справки, и мои осведомители — надо отдать им должное — вполне достоверно сумели мне вас описать. О вашем присутствии можно догадаться и с закрытыми глазами — это глуховатое потаптывание на одном месте, эта милая, домашняя привычка покашливать, когда во внутренних размышлениях возникают паузы — наверное, довольно приятные, поскольку неизвестно, из какого именно уголка приветливый фонарик поманит к себе запнувшуюся мысль. Ну а что же вы не приступаете к кофе? Мне не терпится послушать, как вы побулькаетесь с ним.

Поводырь, как было приказано, сел напротив и протянул руку за блестящим кофейником.

— Смотрите на кофейник; способ, очень удобный для вас, чтобы разглядеть меня повнимательнее, ведь вы же воспитанный церемонный человек и не можете позволить себе пристальное изучение незнакомца, волею случая оказавшегося с вами за одним столом. Только скажите, как мне сесть, куда повернуть голову, чтобы отражение вышло полноценным, ни в чем не умаляющим меня, мое лицо, мои голубые глаза. Ведь — обратите внимание! — у меня голубые глаза, та редкая кобальтовая свежесть, какую нынче редко уж встретишь. Впрочем, к чему такие сложности, уж слишком я набросился на вас. Сделаем лучше так: я зажмурюсь и буду громко считать до ста, а вы изучайте меня сколько влезет. Только не огорчайте отказом, не разочаровывайте меня, не портите нашу чудесную утреннюю встречу. А то я знаю вашего брата, сейчас помолчите, а потом как ляпнете: мол, я пришел сюда отнюдь не развлекаться, я пришел помочь страждущему и совсем не хочу откладывать дело в долгий ящик. Прошу, не говорите так — всему свое время, — просто разглядите хорошенько меня: брови мои, ресницы, поры моей кожи, носо-губные складки, глаза — это все только для вас.

— Если позволите, я не принимаю вашего игривого тона, я вовсе не расположен шутить, тем более такими рискованными способами. Надеюсь, вы не донесете моему подопечному — я ужасно раскаиваюсь, что сегодня вот объявился здесь. Все случилось так внезапно и опрометчиво. Мне кажется даже, что согласиться на эту странную работу меня подтолкнула чья-то чужая всемогущая воля, мне кажется даже, что я — всего лишь игрушка в чьих-то неведомых руках.

— Ах, до чего же вы точно сказали! — подхватил его собеседник. — Что называется, не в бровь, а в глаз. Нечто подобное последнее время вторится и со мной. Кто-то диктует мне слова, какие — умом понимаю я это — говорить было бы вовсе не след, но нет, будто пружина какая-то разгибается в языке. Так стыдно бывает, но невозможно остановиться. Или вот, скажем, мой внутренний мир. Я создавал его годами, я никого не пускал туда и сам, решая прогуляться по нему, разувался и оставался босиком. Как хорошо мне бывало там! Бывало... а теперь я чувствую постоянное присутствие неприятного невидимки, который способен на любую внезапную гадость, ну, например, поставить мне подножку или пухнуть чернилами из детского водяного пистолетика.

Поводырь молчал, потом потрогал губами кофе и, почувствовав, насколько он горек, резко встал, чтобы взять шляпу и поскорее уйти, но вовремя вспомнил, что теперь не осень и шляпы при себе у него нет. Пришлось сесть.

— Судя по всему, вы не очень-то и торопитесь познакомить меня со своим слепым, — через силу сказал он. — Кто вы ему — кузен, шурин? Мне кажется, с вашей энергией вы можете со всем справиться и самостоятельно, тем более что лично меня жизнь со слепыми никогда не сводила. Разве когда на улице чья-то требовательная рука с грохочущей тростью настаивала, чтобы я ее перевел, вернее, перенес через дорогу. Да, такие случаи бывали, и я отлично справлялся — не было истощающего воя тормозов, и кровь не пузырилась на асфальте, — но никакого удовольствия моя старательность мне не доставляла. Так что мое пребывание здесь, мое согласие — это случай, случай. Прошу вас, пойдите к слепому — он сейчас один, трогает пальцами себе лицо, считает пульс,

слушает по радио сводку погоды для водителей — и скажите, что поводырь не пришел, заболел или умер. Ведь еще не поздно, ведь есть такая возможность?

— Нет, такой возможности нет, — с удовольствием ответил человек, — потому что слепой — это я.

Я думаю, что примерно это выглядело так: опешивший от такого открытия, поводырь беспомощно огляделся. Половину неба за окном занимала зеленая шевелящаяся масса — так выглядела густая крона невысокого дерева с толстым бугристым стволом; в другом окне целиком поместился оставленный велосипед, который он предусмотрительно приковал цепочкой к фонарному столбу. Из одного окна в другое на велосипеде такой же марки проехал усатый почтальон, и через минуту после его исчезновения под дверь с шуршащим вползла вчетверо сложенная газета. Напротив сидел слепой и растопыренной ладонью водил по столу, пытаясь найти спичечный коробок, лежавший на широком подлокотнике его кресла; случайно задетый во время поисков кофейник вздрогнул и отфыркнулся коричневой жижой.

— Прошу прощения, — сказал поводырь.

— Нет, это я должен извиниться перед вами: каюсь, перегнул палку, слишком долго валял дурака. На меня иногда такое находит, своего рода защитная реакция, ведь так нелегко мириться со своею ущербностью. Всякий раз умоляю себя не разыгрывать никаких комедий, но дурной характер берет свое. Зато потом такое раскаяние, стыдно ужасно! Поверьте, бессонная ночь мне сегодня обеспечена, буду опять до рассвета ненавидеть себя. Скажу откровенно, я не в слишком уж приятельских отношениях с собой.

— Вот ваши спички, — сказал поводырь и протянул ему свои, которые неслышно достал из кармана, — ах, простите, вот, кладу их прямо на вашу ладонь.

— Знаете что, не обижайтесь на меня. Давайте забудем размолвку и начнем все сначала. Вы вошли с улицы и сразу же поняли, что я — именно тот, ради которого вы жертвуете целой субботой. Сейчас мы должны представиться друг другу.

— Юрий Георгиевич, или Георгий Юрьевич, все равно, — сказал с благодарностью поводырь.

— Так, теперь моя очередь. Ну что ж... Назову себя Гантенбайн. Или Бруно Кречмар? А может быть, лучше Гомер? И снова простите, кажется, у того, которого я так не люблю в себе, снова прорезывается так знакомый мне омерзительный голосок. Нет, на деле все проще — никакой тебе пышности или многозначительного совпадения, даже жалко, что все обычно так. Вадим Иосифович, только и всего. Кублицкий. Вадим Иосифович Кублицкий, прошу любить и жаловать.

— Я восхищен, — сказал вдруг успокоившийся Юрий Георгиевич. — Я восхищен вашим даром и мужеством. Жалко, однако, что ваша блестящая игра и искренние мои заблуждения уже позади. Как хотелось бы пережить, перечувствовать все заново! Мне кажется, мы подружимся, по крайней мере я буду стараться изо всех сил.

Одним глотком он допил свой остывший кофе, подогрел на спиртовке кофейник, вообразил вдруг, что Кублицкий может внезапно прозреть, и поэтому, извинившись, на секунду отлучился к зеркалу, а потом, с причесанным аккуратным лицом, немного томный от приятных предчувствий, вернулся к столу и снова наполнил обе чашки, свою и Кублицкого.

Я не знаю, откуда мне известно все это. Я не знаю, как попал я в этот бескрайний город, но если сильно сдавить руками виски, то можно смутно представить (или припомнить) собственную усталость, сердечную боль, промозглый вечер, мучнистые лица обычного вокзального люда — пассажиров, провожающих, носильщиков, нищих, карманных воров... Можно представить, что меня никто не провожал. Можно представить, что, обманутый часами, я явился сюда задолго до отправления поезда и, не зная, чем занять себя, понуро слонялся по большому, кишашему сквозняками вокзалу, заходя то в буфет, где прохладная приказчица раз за разом тыкала мне под нос кружку с превос-

ходным пивом, которое я вынужден был выпивать, терпя потом хохот других посетителей, что едва не умирали от смеха при виде моих заснеженных губ), то в билетные кассы, настоораживающие совершенно серьезным объявлением: «Детям и карликам билет стоит половину цены», то в просторный зал ожидания, где каждое тело, усаженное на полированную скамью, норвило соскользнуть на пол, прямо под мои ноги. Или выбирался я на перрон, по которому очумело носился ветер, или просто закрывал глаза, вспоминая все то, что случилось совсем не со мною, представляя, что завтра, завтра уже будет бескрайний, обморочный — если так можно сказать — город, от многочисленных статуй кажущийся более многолюдным, чем есть он на самом деле.

Я не знаю, сколько уже прошло времени...

Я не знаю, сколько с тех пор прошло времени, но, оказавшись поблизости от любого правдивого зеркала, я смогу увидеть напротив себя резвого пятидесятилетнего человека, который и без повода готов лишний раз улыбнуться, чтобы щегольнуть своими замечательными фальшивыми зубами (браво, исцелитель Михельсон!), но потом, когда за спиной исчезают чужие фигуры, он сунется и раздраженно царапает пальцами лоб, будто бы вспоминая что-то, и особенно тогда становится заметно, что не настолько он и резв, как могло показаться сперва, что, наверное, страдает он разливами желчи, закупоркой какого-нибудь отдаленного сосудика, припадками сладковатых головокружений и болью, глубинной несильной болью, которую лишь когда-нибудь потом старательный патологоанатом разворошит руками. Но стоит снова кому-нибудь возникнуть за спиной, как опять он бодр и улыбчив, мол, полюбуйтесь, вот это — я, да-да, это про меня говорят: сыт, пьян и нос в табаке.

Я не знаю...

Я не знаю, сколько меня. Иногда — много, иногда, когда потише ветер и пониже облака, — всего лишь двое, которые дружат между собой, хотя вначале у них, как и у Юрия Георгиевича с Кублицким, возникали кое-какие недоразумения, но со временем уладилось, уладилось все. Они вдвоем могут выйти на прогулку — переулок, улица, бульвар, площадь, аллея, — они могут повстречаться с ослепшим Кублицким, который опять обыграл в жмурки своего поводыря и закадычного друга Юрия Георгиевича, и тот в отместку завез слепца в незнакомое место, например в Сен-Клу, и безжалостно там оставил, дескать, в жмурки каждый умеет, а ты вот попробуй выбраться отсюда сам, без меня, кого так бессовестно обыграл, объегорил. Но они помогут Кублицкому, подманят свеженькой ассигнацией такси, шепнут шоферу правильный адресок и снова останутся вдвоем.

Я не знаю, не знаю, какое выбрать для себя местоимение; скажи, ты помнишь те места: имение, курчавый лес над зеркалом пруда, полупрозрачная вода-слюда как будто бы лизала небо, читали вслух про Зевса и про Феба... Ну да, так, значит, водоем; две лодки, три гребца на нем, четыре птицы, брызги у лица, на берегу — скульптура мертвеца, к которому всяк пьяненький прохожий тянулся с поцелуем. Что, похоже, все сам себе напомнил я? Какое выбрать для себя местоимение? Скажи, ты помнишь те места: имение, дворецкий, бонна, грум, лакей, четверка сытых лошадей, все в блесках хрусталя обеда, в табачных завитках беседы, ну, словом, все как у людей. Только порой с сердечным ревом вдруг отворялась настежь дверь, и призрак за дверным проемом... О, милый призрак, ты не верь, что я один, меня здесь много! И тихо вновь. С холма отрога сползали сумерки, топя в себе цветы. Все это должен помнить ты. Какое выбрать для себя местоимение? Скажи, ты помнишь те места: имение, немного нищих у крыльца, ловящих черными ноздрями дымок из кухни. Тень отца (едва заметная за прочими тенями) могла бы им легко составить компанию в какой-то умозрительной еде... Ах, бонночка моя! старалась ты картить, когда, сметая дверь, врывался я к тебе, но после, сдавшись, молча и умело наряды королевской красоты снимала с маргаринового тела, которое мог рассмотреть лишь он, лишь я, лишь ты...

СТЕРЕОСКОП

*

ЕЛЕНА ГИЛЯРОВА

ТАМ ИНАЧЕ БЕЛЕЕТ ЯНВАРЬ

* *
*

Колокольня над сельской церквушкой,
уцелевшей каким-то чудом.
А кто звонарь? Тетка, замотанная платком,
ей что в церкви звонить, что морковку дергать
коричневой задубелой рукой —
такая ж работа.

Над картофельной засохшей ботвою,
над последними всплесками лета,
над оврагом в кустах недотроги,
над мелеющей речкой,
над шоссейкой с кучами булыжника,
над бывшим кладбищем, застроенным дачами
(но сосны такие угрюмые)
над пыхтящим в гору автобусом
из другого времени,

из другого мира —
звон.

* *
*

На выцветших стеклянных пластинках
Царапины, обиты края
В стереоскоп вставляешь картинку
И смотришь, дух затая

Там бережный разгул наводнения,
Тяжелый храм Христа вдалеке,
И Кремль стоит в воде по колени,
А фонари — по горло в реке.

На улицах — десяток прохожих
В солидных шляпах, в черных пальто,
И, обогнав понурую лошадь,
Там одиноко едет авто

Там шляпы грезят о мелодраме.
Там иначе белеет январь.
Там на стене красуется в раме
Примелькавшийся царь

Там мальчик пристальным взглядом
Сквозь толщу века смотрит на нас.
К каким потом примкнет он отрядам
И где его найдет смертный час?

Там человек сидит на скамейке
Над тихой и широкой рекой.
Ряды скамеек, било на рейке.
Бывает ли полнее покой?

Почти и не гремят еще войны,
Почти и не заплакано слез,
И господа пьют чай преспокойно,
Не ведая, что с ними стряслось!

Ну что бы им быть зорче, умнее!
Ну что бы нам раскрыть им секрет!
Да сами мы живем как умеем
Не зная будущих бед.

ЮЛИЯ ПОКРОВСКАЯ

НЕ НАДО ЗАБЕГАТЬ ВПЕРЕД

* *
*

Не надо забегать вперед.
Пусть все идет как есть:
за ночью — день, за годом — год,
за ожиданием — весть.

Пусть все случится в свой черед,
но чтоб жилось легко,
не надо забегать вперед
и видеть далеко.

Не надо трогать переплет,
как бабушкин ларец,
не надо забегать вперед —
заглядывать в конец.

* *
*

В самый холод зацвел декабрист,
освещая собой подоконник,
угол комнаты, загнутый лист
зимних сказок, бесценнейших хроник.

Сколько ж надобно воли и сил,
сколько веры безумной в победу...
Но как быстро их снег заносил
на Сенатской
в прошедшую среду.

АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

БЕЗ ВЕСНЫ

Хвойная сила

Сложу крестом живые руки,
 Прижму к еще живой груди,
 Ловя в простом сердечном стуке
 Тепло и холод впереди.

Еще отнущено любовью
 В мороз друг друга согреть,
 Но волевое краснословье
 Не в силах даже спичкой стать.

Какою песней колыбельной
 Порывы бодрые встречать,
 Когда плакаты над котельной
 Перелицованы опять?

И где приложит силы разум,
 Свободный разум молодой,
 Когда его заделы разом
 Зальют студеною водой?

И что сулит прогресс научный
 Посевом техногенных благ,
 Когда на страже ворон тучный,
 Одетый в обновленный флаг?

Под одеялами в постели
 Я вижу только снежный сон,
 Где в чернокрылые метели
 Еловый мощный лес вонзен...

* *
 *

Если с Вами хоть что-то случится,
 То на свете не станет весны...
 Целый день прилетевшая птица
 На вершине высокой сосны
 Ищет ветку хоть с почкой одною,
 Чтобы с ней породниться гнездом,
 Чтобы летом над той же сосною
 Закружиться с подросшим птенцом.
 Ни травы, ни деревьев с листвою
 Нет нигде — ни кругом, ни вокруг,
 И осколками волчьего воя
 Расцветает безжизненный луг...
 Но качаться сосна начинает,
 Не давая надежд никому, —
 И, отчаявшись, птица взлетает
 В высь немую к Творцу самому.
 И останется вечная хвоя,
 Эта зелень колючих ветвей...
 ... То, что было когда-то с листвою,
 Словно прах разнесет суховой...

РОМАН СОЛНЦЕВ

НА ОГНЕННОМ ВЕТРУ СВОБОДЫ

* *
*

От города тянуло смрадом,
тем ядом химии, теплом,
когда нет места ни дрядам,
ни феям в свете голубом.
Когда тебе приносят на дом
повестку, в дверь стуча багром:
жить рядом людям, птицам, гадам
от силы год еще... Потом
останутся одни заводы
на огненном ветру свободы,
как шарфы распустив дымы...
А мы опять уйдем в пещеру
лепить безрукую Венеру —
насиловать привыкли мы!

Суд

— Ваше последнее слово!.. —
скажет устало судья.
— Господи, мы не готовы!..
Это какая статья?!
Можно, я губы подкрашу,
волосы чуть причешу?
Выйду на улицу нашу,
ветром с лугов подышу?..
— Можно, я водочки выпью,
хлебом горячим заем?
Пулей окошечко выблю,
где я любил, а затем...

Но про тебя мне известно!
Скажешь: — Пустите к нему!
Я обниму, как невеста...
просто его обниму!
В звездном сияющем жите,
если в грехах он погряз,
все на меня запишите!..
Это мне будет как раз.
Только бы он, несурово
вспомнивши наше житье,
вместо последнего слова
выкрикнул имя мое...

* *
*

И заметил человек;
пребывавший век в тревоге,
что просвечивает снег
на изломе у дороги.
В предвечерний теплый час
тает, тает белый наст...

И не ясно, почему
на краю живого наста
вдруг привиделись ему
рухнувшие государства.
Царства инков, древний Рим,
Русь под стягом голубым.

Оседают этажи
звездных стенок, переборок,
гаснут крыши, рубежи,
исчезает белый город...
Человек стоял, смотрел,
как снежок сиял, старел.

Уж окликнули его:
— Что заметил? Что с тобою? —
Он ответил: — Ничего!.. —
Вновь бежал своей стезею.
Но меж солнца и могил
снег шуршал и говорил.

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

*

ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА

Повесть

12

Андрея разбудил обычный утренний шум — бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнившей коридор, отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработало радио. Заиграла музыка — ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли.

«Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света — этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас».

Андрей свесил ноги на пол и нащупал ботинки. На соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич — судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу нипочем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла, и новый день для Андрея бесповоротно начался.

Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с мыльницей и зубной щеткой и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял горец по имени Авель — на его большом круглом лице отчего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом.

— Я за тобой, — сказал Андрей, — а пока покурить схожу, ладно?

— Не переживай, — мрачно сказал Авель.

Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко вцарапанной надписью «"Локомотив" — чемпион» и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояли несколько человек. Андрей стрельнул штуку «Дорожных» у одного из зрителей и встал рядом.

Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну, и пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель — ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое, в одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи; они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника новенькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча и не поднимая глаз.

Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало — день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника, клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб, и его манипуляции над листом картона начинали казаться священнодействием какой-то забытой религии.

— Эй, — сказал один из ассистентов, поднимая голову, — ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый.

Андрей не ответил. «Можно письмо в газету написать, — подумал он, — мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли».

— Глухой? — окончательно выпрямляясь, повторил ассистент.

Андрей опять промолчал. Ассистент был неправ по всем понятиям — территория здесь была чужая.

— Кручу, верчу, много выиграть хочу, — вдруг проскрипел наперсточник.

Видимо, это был условный знак — ассистент все понял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурок им под ноги.

Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожиданий, они управились очень быстро.

Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет пять оно не то что повзрослело или постарело, а скорее потеряло актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальная медитация и группа «Fleetwood Mac». Последнее время в ходу были совсем другие лица, в духе предвоенных тридцатых, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, быстро умылся и пошел к себе.

Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у стола, почесываясь и перелистывая старый номер «Пути», который Андрей выменял вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал читать.

— С добрым утром, Андрей, — сказал Петр Сергеевич и ткнул пальцем в газету. — Вот пишут: существование снежного человека можно считать документально доказанным.

— С добрым утром, Петр Сергеевич, — сказал Андрей. — Ерунда это. Вы сегодня опять всю ночь храпели.

— Врешь. Правда, что ли?

— Правда.

— А ты свистел?

— Свистел, свистел, — ответил Андрей. — Еще как. Только без толку. Вы когда на спину переворачиваетесь, сразу начинаете храпеть, и потом уже все бесполезно. Лучше б вы себя привязывали, чтобы на боку лежать все время. Помните, как вы в прошлом году делали?

— Помню, — сказал Петр Сергеевич. — Я тогда моложе был. Сейчас мне так не уснуть. Ой, беда какая. Это все нервы у меня. Я ведь раньше, Андрюша, до реформ этих е..., никогда не храпел. Ну ничего, придумаем что-нибудь.

— Чего еще пишут? — кивая на газету, спросил Андрей: пока Петр Сергеевич не начал вспоминать о том, что было до реформ, его мыслям надо было дать какое-нибудь направление.

Вода пальцем по зеленоватому листу и однообразно матерясь, Петр Сергеевич принялся пересказывать передовую статью, а Андрей, кивая и переспрашивая, стал обдумывать свои планы на день. Сперва предстояло идти завтракать, а потом надо было зайти к Хану — к нему имелось какое-то смутное дело.

11

В ресторане, длинном и узком помещении с десятком неудобных столиков, было еще пусто, но уже пахло горелым, причем казалось, что сгорело что-то тухлое. Андрей сел на свое обычное место у окна, спиной к кассе, и, шурясь от солнца, поглядел в меню. Там были только пшенка, чай и коньяк азербайджанский. Андрей поймал взгляд официанта и утвердительно кивнул. Официант показал пальцами что-то маленькое, грамм на сто, и вопросительно улыбнулся. Андрей отрицательно помотал головой.

Горячий солнечный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей это настоящая трагедия — начать свой путь на поверхности солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить многокилометровое небо — и все только для того, чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего супа. А ведь вполне могло быть, что эти косо падающие из окна желтые стрелы обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды — то есть, как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты.

«Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу. И вот я падаю, падаю, уже черт знает сколько лет падаю на стол перед тарелкой, а кто-то глядит в меню и ждет завтрака...»

Андрей поднял глаза на телевизор в углу и увидел какое-то примелькавшееся лицо, беззвучно открывающее рот перед тремя коричневыми микрофонами. Потом камера повернулась и показала двух человек, которые яростно толкались у другого микрофона, с бесстыдным русским фрейдизмом хватая друг друга за одинаковые рыжие галстуки.

Подошел официант и поставил на стол завтрак. Андрей посмотрел в алюминиевую миску. Там была пшенка и растаявший кусок масла, похожий на маленькое солнце. Есть совершенно не хотелось, но Андрей напомнил себе, что в следующий раз попадет сюда в лучшем случае вечером, и стал стойчески глотать теплую кашу.

Появились первые посетители, и ресторан стал постепенно заполняться их голосами — у Андрея было такое ощущение, что на самом деле тишина оставалась ненарушенной, просто помимо нее появилось несколько притягивающих внимание раздражителей. Тишина была похожа на пшенку в его миске — она была такой же густой и вязкой; она деформировала голоса, которые звучали на ее фоне отрывисто и истерично. За соседним столом громко говорили о снежном человеке, которого будто бы видела вчера какая-то сумасшедшая старуха. Андрей сначала прислушивался к разговору, а потом перестал.

Напротив него уселся румяный седой мужчина в строгом черном кителе с небольшими серебряными крестиками на лацканах.

— Приятного аппетита, — сказал он, улыбувшись.

— Да бросьте вы, — сказал Андрей.

— Что это вы такой мрачный? — удивленно спросил сосед.

— А вы чего такой веселый?

— Я не весел, — ответил сосед, — я радостен.

— Ну и я тоже, — сказал Андрей, — не мрачен, а задумчив. Сижу и размышляю.

Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит, и стал крутить ложечкой быстрее.

— Думать, а иногда и размышлять, — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало.

— А что, — спросил Андрей, — есть разные места?

— Вы сейчас иронизируете, а они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже тысячи лет назад. А он просто об этом не знает. Или не понимает, что это именно его проблема.

Андрей допил чай.

— А может, — сказал он, — это действительно не его проблема.

— У всех нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешают только гордость и глупость. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает. В том, что он изо дня в день видит вокруг.

Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым, у самого горизонта, поднимались в небо три огромных, коричневых от ржавчины трубы какой-то электростанции или завода — они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся.

— Чего это вы? — спросил сосед.

— Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой, до неба ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню, уже долго-долго. А гармошка вся засаленная и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии.

Сосед чуть поморщился.

— Все это, знаете, не ново, — сказал он. — Иерархия демиургов, несовершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель. Гностицизм, одним словом. Но ведь счастливым он вас никогда не сделает, понимаете?

— Еще бы, — сказал Андрей, — слова-то какие страшные. А что меня делает счастливым?

— К счастью путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске, — найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь.

Андрей хотел было спросить, чьему замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал.

— Может, вы и правы, — сказал он, вставая из-за стола, — спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек.

— Так у меня работа такая, — сказал сосед. — Спасибо вам. А вот это возьмите на память.

Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетала сияющая — видимо, с отблеском высшей гармонии — металлическая нота с двумя крылышками, примерно двенадцатого калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу.

Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как и всегда в это время дня, по узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Отчего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах — вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках навывпуск; у многих в руках было пиво.

Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя — голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекачиваться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала все заполняли несущиеся из невидимых динамиков inferнальные частушки, потом пришлось думать о какой-то Надежде, к которой придут после отбоя, потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься в проплывающие мимо окна, за которыми должен был усилиться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника — больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей наконец остановился у двери из желтого пластика с цифрой «XV» и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу.

Хан был один — он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью «Angels of California», который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиро Мифунэ, входящего в очередной образ, — похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми.

— Привет, — сказал Андрей.

— Привет. Закрой дверь.

— А если соседи вернутся?

— Не вернутся, — сказал Хан.

Андрей закрыл дверь, и никелированный замок громко щелкнул. У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие — щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным.

— Садись, — сказал Хан, кивая на место напротив.

Андрей сел.

— Что нового? — спросил Хан.

— Так, — сказал Андрей. — Ничего. Ты когда-нибудь думал, куда делись последние пять лет?

— Почему именно пять?

— Цифра не имеет значения, — сказал Андрей. — Я говорю «пять», потому что лично я помню себя пять лет назад точно таким же, как сейчас. Так же шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще пять лет пройдет, и то же самое будет, понимаешь?.. Чего ты на меня так смотришь странно?

— Эй, — сказал Хан, — приди в себя.

— Да я вроде в себе.

Хан покачал головой.

— Скажи-ка мне быстро, — проговорил он, — что такое желтая стрела?

Андрей удивленно поднял глаза.

— Вот странно, — сказал он. — Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так. О жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, и на нее свет падал. Я подумал...

— Ну-ка встань.

— Зачем?

— Встань, встань, — повторил Хан и вылез из-за стола.

Андрей поднялся на ноги, и Хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул.

— Вспомни, — сказал он, — почему ты сюда пришел?

— Убери руки, — сказал Андрей, — что ты, одурел? Я просто так зашел.

— Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?

Андрей отдрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь, стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания.

— Что такое желтая стрела? — повторил Хан. — Где мы?

Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено проносящиеся мимо стекла слева направо.

— Ну?

— Подожди, — сказал Андрей, — подожди.

Он схватился руками за голову и сел на диван.

— Я вспомнил, — сказал он. — «Желтая стрела» — это поезд, который идет к разрушенному мосту. Поезд, в котором мы едем.

— Ты сейчас помнишь, что с тобой было? — спросил Хан.

— Уже плохо, — сказал Андрей. — Только в общих чертах. Вроде ничего особенного и не произошло. Как меня зовут, я знал, из какого я купе — тоже. Но это как будто был совсем не я. Я себя очень странно чувствовал — словно

есть разница, в каком вагоне ехать. Словно у всего происходящего появилось бы больше смысла, если бы скатерть в ресторане была чистой. Или если бы по телевизору показывали другие хари, понимаешь?

— Можешь не объяснять, — сказал Хан. — Ты просто стал на время пассажиром.

Андрей отвернулся от окна и поглядел на стену тамбура, где была панель с двумя пыльными циферблатами и надписью «Проверять каждые...» (далее был пропуск).

— Я и сейчас пассажир, — сказал он. — И ты тоже.

— Нормальный пассажир, — сказал Хан, — никогда не рассматривает себя в качестве пассажира. Поэтому если ты это знаешь, ты уже не пассажир. Им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти. Для них ничего, кроме поезда, просто нет.

— Для нас тоже нет ничего, кроме поезда, — мрачно сказал Андрей. — Если, конечно, не обманывать самих себя.

Хан усмехнулся.

— Не обманывать самих себя, — медленно повторил он. — Если мы не будем обманывать самих себя, нас немедленно обманут другие. И вообще, сумеешь обмануть то, что ты называешь самим собой, — очень большое достижение, потому что обычно бывает наоборот — это оно нас обманывает. А есть ли что-нибудь другое, кроме нашего поезда, или нет, совершенно не важно. Важно то, что можно жить так, как будто это другое есть. Как будто с поезда действительно можно сойти. В этом вся разница. Но если ты попытаешься объяснить эту разницу кому-нибудь из пассажиров, тебя вряд ли поймут.

— Ты что, пробовал? — спросил Андрей.

— Пробовал. Они не понимают даже того, что едут в поезде.

— Какой-то бред получается, — сказал Андрей. — Пассажиры не понимают того, что едут в поезде. Услышал бы тебя кто-нибудь.

— Но ведь они и правда этого не понимают. Как они могут понять то, что и так отлично знают? Они даже стук колес перестали слышать.

— Да, — сказал Андрей, — это точно. Это я на себе почувствовал. Я, когда в ресторан зашел, еще подумал — как тихо, когда нет никого.

— Вот именно. Тихо-тихо. Даже слышно, как ложечка в стакане звенит. Запомни: когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром.

— Нас никто не спрашивает, — сказал Андрей, — согласны мы или нет. Мы даже не помним, как мы сюда попали. Мы просто едем и все. Ничего не остается.

— Остается самое сложное в жизни. Ехать в поезде и не быть его пассажиром, — сказал Хан.

Дверь в тамбур распахнулась и вошел проводник. Андрей узнал своего соседа по столику в ресторане — только теперь он был в фуражке, а его китель с петлицами, на которых серебрились какие-то скрещенные молотки или разводные ключи, был расстегнут на выпуклом животе, и виднелась вязаная малиновая жилетка, надетая поверх форменной черной рубахи. Он рассеянно крутил вокруг ладони веревку с символом своей должности — ключом, маленьким никелированным цилиндром с крестообразной ручкой, который использовался в качестве кастета при общении с пьяными пассажирами или для открывания бутылок. Проводник тоже узнал Андрея, широко улыбнулся и приложил три сложенных щепотью пальца к козырьку.

— Чего это он скалится? — спросил Хан, когда проводник скрылся в вагоне.

— Так. За столом разговорились. А что делать, если это опять случится?

— Что? — спросил Хан. — Ты про проводника?

— Нет. Если я опять стану пассажиром.

— Надо просто перестать им быть, и все. Это со всеми нами иногда бывает.

— Что значит — со всеми нами? Нас что, здесь много?

— Я думаю, да, — сказал Хан. — Должно быть много, только мы друг друга не знаем. Раньше точно было много.

— Скажи, а от кого ты про все это первый раз узнал?

— Не знаю, — сказал Хан, — я их не видел.

— Как это? Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты не видел?

— А вот так, — сказал Хан, и Андрей понял, что тот не собирается дальше развивать эту тему.

— Ну а где они сейчас? — спросил он.

— Я думаю, что они там, — сказал Хан и кивнул за окно, где плыло бесконечное поле, заросшее травой, по которой, как по воде, шли волны от ветра.

— Они умерли?

— Они сошли. Однажды ночью, когда поезд остановился, они открыли дверь и сошли.

— По-моему, ты что-то путаешь, — сказал Андрей. — «Желтая стрела» не останавливается никогда. Это все знают.

— Послушай, — сказал Хан, — опомнись. Пассажиры не знают, как называется поезд, в котором они едут. Они даже не знают, что они пассажиры. Что они вообще могут знать?

9

Как только Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то произошло. У входа в одно купе стояли несколько человек в темных костюмах; плакала пожилая женщина в черной шали. Радио не работало, зато из купе, где жил Абель, неслась тягостная музыка — играл маленький магнитофон. Андрей вошел к себе.

— Что случилось? — спросил он Петра Сергеевича.

— Соскин умер, — сказал Петр Сергеевич, откладывая книгу. — Сейчас похороны.

— Когда это?

— Вчера ночью. К Авелю теперь очередника подселяют.

— Вот он чего такой мрачный был, — сказал Андрей и посмотрел на книгу, которую читал Петр Сергеевич. Это был Пастернак, «На ранних поездах».

— Да, — сказал Петр Сергеевич, — верно. Не получилось у него. Он сюда брата хотел переселить. Ты же понимаешь, один черножопый зацепится где-нибудь, а потом всех своих тащит. А бригадир документы посмотрел и говорит — он и так в купейном едет, а у нас в общих и плацкарте очередников полно. Хотя что-то я не очень верю, что он сюда кого-нибудь из плацкарты вселит. Просто Абель сунул мало, или не тому — вот ему прикурить и дали.

Андрей вспомнил, что так и не купил сигарет.

— Про что книжка? — спросил он.

— Так, — ответил Петр Сергеевич. — Про жизнь.

Он опять погрузился в чтение.

Андрей вышел в коридор. Из купе уже выносили тело, и он остановился у окна — протискиваться мимо скорбящих было не принято. Впрочем, процедура обычно не затягивалась.

Из открытой двери показался бледный профиль уснувшего над краем оргалитового листа, который держали два проводника. Оргалитовый лист, специально использовавшийся для этих случаев, был с обеих сторон покрашен красной краской, обведен по краю черной каймой и больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали подстаканником.

Покойник был по горло прикрыт старым малиновым одеялом. Откуда-то взявшийся Абель засуетился у окна, открывая его, — оно не поддавалось, и пара мужиков пришла ему на помощь. Вместе они оттянули раму вниз, и образовался просвет сантиметров в сорок. Женщина в темной шали сразу же стала громко кричать, и ее под руки увели в купе. Проводники осторожно подняли подстаканник, выдвинули его край за окно и стали выталкивать покойника наружу — делали они это медленно, чтобы не оскорбить присутствующих суетливостью. Был момент, когда Соскин чуть было не застрял — зацепилось одеяло на груди.

Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мертвая голова с бешено развевающимися на ветру волосами — она неслась в трех метрах над насыпью, и ее наполовину закрытые глаза были обращены к небу, которое постепенно затягивали высокие синие тучи. Отодвигаясь от желтой стены вагона, голова несколько раз дернулась и стала медленно клониться вниз. Потом за стеклом мелькнул малиновый край одеяла, и внизу глухо стукнуло. Еще через секунду мимо окна пролетели подушка и полотенце — по традиции, их выбросили вслед за покойником.

Можно было идти за сигаретами, но Андрей все стоял и глядел в окно. Прошло несколько секунд. Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес о стыки рельсов стали звонче, и мимо окна понеслись ржавые балки моста, за которыми была видна широкая голубая полоса неизвестной реки.

8

В ресторане играла музыка, та самая вечная кассета, где в конце был записан обрывающийся на середине «Bridge over troubled waters». За одним из столиков Андрей заметил своего старого приятеля Гришу Струпина в модном твидовом пиджаке, к лацкану которого была прицеплена крылатая эмблема МПС — стояла она бешеных денег, но у Гриши они были. Еще при коммунистах он приторговывал по тамбурам сигаретами и пивом, а сейчас развернулся совсем широко. Напротив Гриши сидел какой-то коротко стриженный иностранец и ел из алюминиевой миски гречневую кашу с икрой. Заметив Андрея, Гриша призывно замахал руками, и через минуту Андрей втиснулся на свободное место рядом с ними. Гриша за последнее время стал еще более пухлым, веселым и кудрявым — или, может быть, так казалось, потому что он был уже немного пьян.

— Здорово, — сказал он. — Знакомьтесь. Андрей, друг зловещего детства. Иван, товарищ зрелых лет и партнер по бизнесу.

Это, значит, парень из эмигрантов, понял Андрей. Они молча пожали руки. Андрей огляделся по сторонам в поисках знакомых лиц. Их не оказалось, зато вокруг, как всегда по вечерам, было много пьяных финнов и арабов.

— Выпьем? — спросил Гриша.

Андрей кивнул, и Гриша налил из графина три больших рюмки «железнодорожной особой».

— За наш бизнес, — поднимая рюмку, сказал Иван.

— Точно, — сказал Гриша и подмигнул Андрею. — Что это такое — бизнес, догадываешься?

— Догадываюсь примерно, — сказал Андрей, чокаясь. — По звучанию. «Бить», «п...» и «без нас». А вообще я последнее время много всяких слов слышу. «Бизнес», «гностицизм», «ваучер», «копрофагия».

— Кончай интеллектком давить, — сказал Гриша, — пей лучше.

— Да, Григорий, — сказал Иван, выпив и выдохнув, — совсем забыл. Слушай. Предлагают большую партию туалетной бумаги с Саддамом Хусейном. Она после войны осталась, а спрос упал. Очень дешево. Сколько она у вас может стоить?

— Стоить-то она может много, — сказал Гриша. — Но я тебе, Иван, могу сразу сказать, что заниматься этим нет мазы. Реальный рынок для туалетной бумаги очень маленький — только СВ. Из-за этого даже братья не стоит.

— А общие и плацкарта? — спросил Иван.

— В сидячих она вообще никогда не шла, а сейчас из-за инфляции плацкарта тоже на газеты переходит.

— Ну хорошо, — сказал Иван, — с плацкартой понятно. А купе? Ведь там тоже...

— Пока да, — ответил Гриша. — Но нам это без разницы. Никто новый, я тебе отвечаю, туда не втиснется.

— Почему? — спросил Иван. — А если ты дешевле продавать будешь?

— Да как же я смогу, Ваня? Ты бы «Файненшл таймс» пореже читал. Если я хоть один рулон дешевле продам, меня в окно живьем выбросят. Я говорю, мазы нет.

— Но нельзя же всю жизнь сигаретами и пивом заниматься, — закуривая, сказал Иван. — Надо на что-то крупнее переходить. Ты насчет алюминия выяснил?

— Да, — ответил Гриша. — Это, кажется, реально.

— Какая схема? — спросил Иван.

— Валюта — рубли — валюта — валюта — валюта, — сказал Гриша.

Иван на секунду сощурил веки, словно смотрел на что-то далекое и ослепительное.

— Ага, — сказал он, вынул из кармана маленький калькулятор и погрузился в вычисления.

— Это как? — тихо спросил Гришу Андрей. — Что за схема?

— Как, как. Платишь старшему проводнику, а он чайные ложки списывает. Это человек серьезный — берет только валютой. Условие такое — ложки надо переломать, потому что целые за погрантамбур не пропустят. И вообще, с ними проблемы могут быть. Стало быть, нужны ломщики. Берут они рублями, примерно десять процентов от того, что возьмет старший проводник. Эта часть называется валюта — рубли. И еще три раза надо валюту платить — в штабном вагоне, на погрантамбуре и ржетеу.

— А как он считает? — прошептал Андрей, кивая на Ивана. — Откуда он знает, сколько кому надо платить?

— Так курс же печатают каждый день, — сказал Гриша. — Покупки и продажи. Ты вообще где живешь, а? У меня такое чувство, что ты из реального мира давно куда-то выпал. Тусуешься все с этим Ханом — это, кстати, кличка у него или имя?

— Имя, — сказал Андрей. — А кличка у него, если тебе интересно, Стоп-кран.

— Что это такое?

— Это такая штука на титане, — сказал Андрей, — чтобы пар выходил. Он раньше на титане работал, воду кипятил.

— Господи, — сказал Гриша, — на титане. Ты бы еще с официантом подружился.

Иван поднял голову.

— Нормально, — сказал он. — Будем делать. А как по латуни?

— Тяжелее, — ответил Гриша. — В принципе схема та же, но только все подстаканники на номерном учете. На каждый нужен отдельный акт по списанию. Это надо заместителю бригадира платить, а у меня на него прямого выхода нет. Я с одним его секретарем говорил, но он осторожный очень. Как про подстаканники услышал, сразу с базара съехал.

— По понятиям его провел? — спросил Иван.

— Нет пока. Он, похоже, ботаник.

— Ну хорошо, — сказал Иван. — С ложками начинай прямо завтра, а насчет латуни потом решим.

Он встал, вежливо попрощался и пошел к выходу. Гриша проводил его взглядом и повернулся к Андрею.

— Я у него в гостях был недавно, — сказал он. — Представляешь, в вагоне только три купе и в каждом отдельная ванна. Уровень жизни, конечно...

— А что это такое, — спросил Андрей, — уровень жизни?

— Брось, Андрей, — поморщившись, сказал Гриша. — Чего я не люблю, так это когда ты дураком прикидываешься. Давай лучше накатим.

— Давай. Слушай, скажи мне, только честно — тебе подстаканниками не страшно заниматься?

Гриша открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг задумался и даже полуприкрыл глаза. Его лицо на несколько секунд стало неподвижным и мертвым — только кудрявые волосы шевелились в струе влетающего в открытое окно воздуха.

— Нет, не страшно, — сказал он наконец. — А чернуху, Андриюша, я от себя гоню

7

— Хан, — сказал Андрей, — все-таки объясни мне. Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел?

— Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо.

— Ты что, получил такое письмо?

Хан кивнул.

— Ты можешь мне его показать? — спросил Андрей.

— Могу, — сказал он. — Но это надо долго идти.

С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны — как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшие навстречу, как-то опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины — в застиранных бледных сарафанах; сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару — и, кажется, одну и ту же песню, гребенщиковский «Поезд в огне», но разные части: одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев, только как-то неправильно — пели «этот поезд в огне, и нам некуда больше жить» вместо «некуда больше бежать».

— Кстати, насчет писем, — сказал Хан, подныривая под очередную веревку с бельем. — Ты и сам много раз их получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день. И все остальные тоже.

— Не понимаю, о чем ты, — сказал Андрей. — Лично я никаких писем не получал.

— Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется «Желтая стрела»?

— Нет, — ответил Андрей. — Я тебе, знаешь ли, поверил на слово.

— Подумай.

Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись — стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки-полутaboры в невероятно переполненных общих вагонах, кишачих грязными цыганскими детьми, а потом пошли пустые вагоны — говорили, что раньше и в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырами от пуль и следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором — старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся.

— Почти пришли, — сказал он, — следующий тамбур. Так почему наш поезд так называется?

— Не знаю, — сказал Андрей. — Наверно, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд.

— Он похож на стрелу не только со стороны.

Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет десять, с самого начала Перецепки.

— В углу, — сказал Хан, — на стене. Зажги спичку.

Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это было

несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи:

**ТОТ, КТО ОТБРОСИЛ МИР, СРАВНИЛ ЕГО С ЖЕЛТОЙ ПЫЛЬЮ.
ТВОЕ ТЕЛО ПОДОБНО РАНЕ, А САМ ТЫ ПОДОБЕН СУМАСШЕДШЕМУ.
ВСЬ ЭТОТ МИР — ПОПАВШАЯ В ТЕБЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА.
ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА, ПОЕЗД, НА КОТОРОМ ТЫ ЕДЕШЬ К РАЗРУШЕННОМУ
МОСТУ.**

— Кто это написал? — спросил Андрей.

— Откуда я знаю, — сказал Хан.

— Но ты хотя бы догадываешься?

— Нет, — сказал Хан. — Да это и не важно. Я же говорю, писем вокруг полно — было бы кому прочесть. Например, слово «Земля». Это письмо с таким же смыслом.

— Почему?

— Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы — ну, короче, как интеллигенты говорят, культура.

— Культура, — поправил Андрей.

— Да. А большая часть этой культуры состоит из покойников вперемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев, и трава сверху. Это тоже называется «земля». То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители Земли. Существа из загробного мира, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Андрей. — Как не понять. Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда идет этот поезд?

— Нет, — сказал Хан. — Мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси. Они тебе объяснят, откуда он идет.

— Да, — задумчиво сказал Андрей, — они объяснят, это точно.

— Идем назад?

— Я здесь постоянно немного. Догоню тебя минут через пять.

Когда Хан вышел, Андрей повернулся к окну. В этих местах он был первый раз. Странно, но из-за того, что вокруг не было людей, ему в голову приходили необычные мысли, которые никогда не посещали его где-нибудь в ресторане, хотя все необходимое для их появления было и там.

То, что он видел в окне, когда смотрел назад — участок насыпи, украшенный каким-нибудь уносящимся в прошлое кустом или деревом, — было точкой, где он находился секунду назад, и если бы вагон, в котором он ехал, был последним, то там остались бы только пустота и покачивающиеся ветки по бокам рельсов.

«Если бы все то, что существовало миг назад, не исчезало, — думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами. Мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошлая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую. И будет ли вообще. И не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат. Ведь никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле и кто такие мы сами?»

Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое, и так без конца.

«Я хочу сойти с этого поезда живым. Я знаю, что это невозможно, но я этого хочу, потому что хотеть чего-нибудь другого просто сумасшествие. И я

знаю, что эта фраза — «я хочу сойти с поезда живым» — имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Я даже не знаю, кто такой я сам. Кто тогда будет выбираться отсюда? И куда? Куда я могу выбраться, если я даже не знаю, где нахожусь — там, где я начал это думать, или там, где кончил? А если я скажу себе, что я нахожусь вот здесь, то где будет это здесь?»

Он снова поглядел в окно. Уже почти стемнело. По краям пути иногда возникали белые километровые столбики, отчетливо видные в сумраке и похожие на маленьких каменных часовых.

6

Андрей развернул свежий «Путь» на центральном развороте, где была рубрика «Рельсы и шпалы», в которой обычно печатали самые интересные статьи. Через всю верхнюю часть листа шла жирная надпись:

ТОТАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Устроившись поудобнее, он перегнул газету вдвое и погрузился в чтение:

«Стук колес, сопровождающий каждого из нас с момента рождения до смерти — это, конечно, самый привычный для нас звук. Ученые подсчитали, что в языках различных народов имеется примерно двадцать тысяч его имитаций, из которых около восемнадцати тысяч относится к мертвым языкам; большинство из этих забытых звукосочетаний даже невозможно воспроизвести по сохранившимся скудным, а часто и не расшифрованным записям. Это, как сказал бы Поль Саймон, *songs, that voices never share*. Но и существующие ныне подражания, имеющиеся в каждом языке, конечно, достаточно разнообразны и интересны — некоторые антропологи даже рассматривают их на уровне мета-языка, как своего рода культурные пароли, по которым люди узнают своих соседей по вагону. Самым длинным оказалось выражение, используемое пигмеями с плато Каннабис в Центральной Африке, оно звучит так:

«У-ку-лэ-лэ-у-ку-ла-ла-о-бэ-о-бэ-о-ба-о-ба».

Самым коротким звукоподражанием является взрывное «п», которым пользуются жители верховьев Амазонки. А вот как стучат колеса в разных странах мира.

В Америке — «джинджерэл-джинджерэл».

В странах Прибалтики — «па-дуба-дам».

В Польше — «пан-пан».

В Бенгалии — «чуг-чунг».

В Тибете — «дзог-чен».

Во Франции — «клик-клик».

В тюркоязычных республиках Средней Азии — «бир-сум», «бир-сом» и «бир-манат».

В Иране — «авдаль-халлаж».

В Ираке — «джалал-идди».

В Монголии — «улан-далай». (Интересно, что во Внутренней Монголии колеса стучат совсем иначе — «ун-гер-хан-хан».)

В Афганистане — «накшбанди-накшбанди».

В Персии — «карнак-зебуб».

На Украине — «тріх-тарарух».

В Германии — «врийль-шрапп».

В Японии — «додеска-дзен».

У аборигенов Австралии — «тулуп».

У горских народов Кавказа и, что характерно, у басков — «дарлан-бичесын».

В Северной Корее — «улду-чу-че».

В Южной Корее — «дулду-кван-ум».

В Мексике (особенно у индейцев уичотль) — «тональ-нагваль».

В Якутии — «тыдын-тыгыдын».

В Северном Китае — «цао-цао-тан-тиен».

В Южном Китае — «дэ-и-чань-чань».

В Индии — «бхай-гхош».

В Грузии — «коба-цап».

В Израиле — «таки-бац-бубер-бум».

В Англии — «клик-о-клик» (в Шотландии — «глюк-о-клок»).

В Ирландии — «бла-бла-бла».

В Аргентине...»

Андрей перевел взгляд в самый низ страницы, где длинные столбцы перечислений заканчивались коротким заключительным абзацем:

«Но, конечно, красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России — «там-там». Так и кажется, что их стук указывает в какую-то светлую зоревую даль — там она, там, ненаглядная...»

В дверь постучали, и Андрей рефлекторно схватился за рукоять замка, чуть не свалившись с унитаза.

— Скоро ты там? — спросил голос в коридоре.

— Сейчас, — сказал Андрей и смял газету в неровный ком.

Там-там — стучали колеса под мокрым заплыванным полом, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там...

В соседнем вагоне была пробка — там шли похороны. Мимо пропускали, но толпа двигалась очень медленно, подолгу застывая на месте.

— Бадасов умер, — сказал рядом чей-то голос.

Перед Андреем стояла беспокойная девочка с огромными грязными бантами в волосах. Стуча кулаком в стекло, она глядела в окно, иногда поворачиваясь к стоящей рядом матери, одетой в турецкий спортивный костюм.

— Мама, — спросила вдруг она, — а что там?

— Где там? — спросила мама.

— Там, — сказала девочка и ткнула кулаком в окно.

— Там там, — с ясной улыбкой сказала мама.

— А кто там живет?

— Там животные, — сказала мама.

— А еще кто там?

— Еще там боги и духи, — сказала мама, — но их там никто не видел.

— А люди там не живут? — спросила девочка.

— Нет, — ответила мама, — люди там не живут. Люди там едут в поезде.

— А где лучше, — спросила девочка, — в поезде или там?

— Не знаю, — сказала мама, — там я не была.

— Я хочу туда, — сказала девочка и постучала пальцем по стеклу окна.

— Подожди, — горько вздохнула мать, — еще попадешь.

Пьяные проводники наконец управились с подстаканником, труп шмякнулся о землю, подпрыгнул и покатился вниз по откосу. Вслед полетели подушка, полотенце, два красных венка и мраморное пресс-папье — покойный, судя по всему, был человек заметный.

— Я хочу туда-а, — пропела девочка на несуществующий мотив, — там-там, где боги и духи, там-там, живут на свободе...

Мать дернула ее за руку, приложила палец к губам и, сделав страшные глаза, кивнула на толпу скорбящих. Заметив, что Андрей смотрит на девочку, она подняла на него глаза и чуть выгнула брови, как бы приглашая на вершину годов, прожитых неким абстрактным Вахтангом Кикабидзе, чтобы снисходительно улыбнуться оттуда трогательной детской наивности.

— Чего это вы на меня так смотрите, — сказал женщине Андрей, — я, может, тоже туда хочу.

— Это что, — спросила женщина, — в снежные люди, что ли?

Андрей вспомнил цепочку следов на снегу за окном, которую год назад видел из окна ресторана — это явно были отпечатки ботинок, несколько десятков метров тянувшиеся вдоль пути, а затем совершенно неожиданно прервавшиеся, словно тот, кто их оставил, растворился в воздухе.

5

Над столом горела лампа, и Петр Сергеевич пил свой вечерний чай. Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко чмокал губами. Чай он всегда пил с легким отвращением, словно целовался с женщиной, которую уже давно не любит, но не хочет обидеть невниманием.

— Судить их надо, — вдруг сказал он. — Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу.

— Кого? — спросил Андрей. Он лежал на своем месте, заложив руки за голову, и глядел в потолок, по которому ползла какая-то живая черная точка.

— Всех, — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на шепот. — Весь штабной вагон, начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли. Ладно. А теперь подстаканники. Где подстаканники, а? Скажи мне, где подстаканники?

— Украли, надо думать, — сказал Андрей.

— А воры кто? — вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых. — Да и не просто воры уже. Это раньше воровали. А теперь — знаешь как это называется? Родной торгуют, вот что.

— Да бросьте вы, — сказал Андрей. — Вы же не в подстаканнике родились. И не в ложке.

— Не в ложке. Да ты что думаешь, мне ложек твоих жалко? Мне девочек жалко, чистых наших девочек, ласточек этих синеглазых, которые в плацкарте себя всякой мрази продают, понял?

Андрей промолчал.

— Воруют нагло, — сказал Петр Сергеевич, успокаиваясь. — Ничего не боятся. Власть потому что ихняя,

— Такого, чтоб не воровали, тут никогда не было, — сказал Андрей. — Нынешние хоть в окна живыми никого не кидают.

В запертую дверь купе сильно постучали.

— Кто там? — спросил Андрей.

— Андрей, это я! — крикнул голос из-за двери. — Открой быстрее!

Голос был Гришин. Андрей вскочил на ноги, открыл дверь, и Гриша, скользнув внутрь, сразу же запер ее за собой. Его лицо было в крови, а пиджак испачкан в нескольких местах. Андрей заметил, что на его лацкане уже нет крылатой эмблемы МПС, а на ее месте зияет рваная дыра.

— Что случилось? — спросил он, усаживая Гришу на диван.

— Напали, — сказал Гриша. — Иду я, значит, из ресторана, один. Уже почти до дома дошел, и тут — представляешь? В переходе между вагонами. Четверо их было. Двое спереди и двое сзади. А у одного, сука, ложка заточенная.

— Много отняли-то?

— Много, — сказал он, — не спрашивай. Сегодня с Иваном расчет был — все забрали. Козлы. Ботаники.

Андрей намочил из графина вафельное полотенце и протянул его Грише.

— Что, — спросил он, — не заплатил вовремя?

— Да при чем тут это, — сказал тот, прикладывая полотенце к скуле. — Это урла какая-то залетная. Не знают, на кого наехали. Ну да я завтра всех тут на уши поставлю.

— Может быть, навел кто-нибудь?

— Ты что, — сказал Гриша. — Кроме Ивана, никто про это и не знал. А ему это незачем. Я же тебе говорю, просто урла.

Петр Сергеевич, до этого деликатно прятанный лицо за газетой, высунул-ся и сказал:

— Вот так, Андрей. Вот так. Говоришь, нынешние из окон не кидают? А надо кидать. Вот именно как раньше делали — руки-ноги вязать и головой

вниз на шпалы. Публично. Тогда и чай будет сладкий, и вежливость в коридоре. И друга твоего никто тронуть не посмеет.

— А вы не боитесь, что вас самого выкинут? — спросил Андрей.

— Меня-то за что? Я всю жизнь честно работал. Ты пройди по купейным вагонам — половина дверей вот этими руками поставлена. Я при всякой власти нужен.

— Двери? — оживился Гриша. — Простите, вас как звать? Петр Сергеевич, очень приятно. А я Григорий Струпин, директор совместного предприятия «Голубой вагон».

Петр Сергеевич пожал протянутую ему руку, улыбнулся и поправил воротник.

— Извините за мой внешний вид, — сказал Гриша, широко улыбаясь разбитым ртом и косясь на свой изуродованный лацкан, — так обстоятельства сложились. Мне как раз нужна небольшая консультация насчет дверей. Понятно, не бесплатная — потом по договору проведем.

— Ну, если смогу, — проговорил Петр Сергеевич.

— Скажите, а замки на дверях действительно из никеля?

— Нет, — сказал Петр Сергеевич, — понимаете ли, никелевое только покрытие. А сами замки...

— Слышь, Гриша, — сказал Андрей, — вы тут поговорите пока, а я по коридору пройду. Посмотрю на всякий случай, ждет тебя кто-нибудь или нет.

Он закрыл за собой дверь.

Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур — там никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивое хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд постояв у порога, он пошел по вагону дальше, остановился у плексигласового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше, а называлась брошюра «Путеводитель по железным дорогам Индии». В ней не хватало примерно половины страниц, сорванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим:

«...советовал мне преподобный Шри Бававсенаху, я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу — сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропускающая идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что когда долго глядишь на мир и забываешь о себе, остается только то, что видишь: невысокий склон в густых зарослях конопли (которую, стоит поезду замедлить ход, срывают специальными палками из соседних окон), оплетенная лианами цепь пальм, отделяющая железную дорогу от остального мира, изредка река или мост в колониальном стиле или защищенная стальной рукой шлагбаума пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлагбаумы в то время, когда на них никто не смотрит?

Да какая мне разница. Важно ведь совсем другое. Ближе всего к счастью — хоть я и не берусь определить, что это такое — я бываю тогда, когда отворачиваюсь от окна и краем сознания — потому что иначе это невозможно — замечаю, что только что меня опять не было, а был просто мир за окном, и что-то прекрасное и непостижимое, да и абсолютно не нуждающееся ни в каком «постижении», несколько секунд существовало вместо обычного роя мыслей, одна из которых, подобно локомотиву, тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом «я». Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно белого — счастлив ли...»

— Эй!

Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша.

— Ну чего? Кого-нибудь видел?

— Нет, — ответил Андрей. — Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай.

— Нет, — сказал Гриша, — пойду. Сосед у тебя полезный мужик оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Ну пока.

— Пока.

Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе.

Минут через пять, когда уже был выключен свет и он изо всех сил старался успеть заснуть до того момента, когда Петр Сергеевич начнет храпеть, тот вдруг прокашлялся и сказал:

— Слышь, Андрей. А чего это Григорий тебя мистиком называет? Шутит?

— Да, — сказал Андрей. — Конечно шутит. Круче его тут мистиков нет.

4

Как всегда, Андрея разбудило радио — бескрайний баритон читал стихи:

Петроградское небо мутилось дождем,
в никуда уходил эшелон.
Без конца взвод за взводом и вождь за вождем
наполяя за вагоном вагон...

Петр Сергеевич еще храпел. Андрей поглядел в окно. Небо было низким и серым и действительно всюду мутилось дождем, крошечные капли которого расшибались о стекло.

В дверь постучали.

— Да-да.

Вошел проводник с чаем. Поставив стаканы на стол, он прибрал сторублевку и закрыл за собой щелкнувшую никелированным замком дверь.

От этого щелчка проснулся Петр Сергеевич. Странно, но вместо того, чтобы по обыкновению отвернуться к стене и заснуть еще часа на два, он, как на пружине, приподнялся на локте и посмотрел на Андрея совершенно безумным взглядом.

— Вы сегодня опять храпели, — сказал Андрей.

— Да? А ты свистел?

— Свистел, — ответил Андрей.

— А сколько времени? — спросил Петр Сергеевич.

— Половина десятого.

Петр Сергеевич выматерился, вскочил на ноги и принялся торопливо причесываться — оказалось, что он спал в костюме, и даже с галстуком на шее.

— Вы куда так спешите? — спросил Андрей.

— Дела, — сказал Петр Сергеевич, зажал под мышкой потертую кожаную папку, с которой Андрей не видел его уже года три, и выскочил в коридор. Андрей повернулся к стене и закрыл глаза. Стихи по радио кончились, и начались объявления. Андрей повернул ручку громкости против часовой стрелки до упора, но голоса все равно были явственно слышны.

«Каждому, каждому в лучшее верится, — пропел детский хор, — катится, катится голубой вагон...» «Фирма «Голубой вагон», — сказала взволнованное контрольно. — Наш поезд действительно скорый».

Это была Гришкина реклама. В динамике что-то пискнуло, и жизнерадостный мужской голос продекламировал: «Сигареты марки «Бой». Покурил, и хрен с тобой». Потом была долгая пауза, и, наконец, объявили «Утренний кинозал».

«Сегодня мы поговорим о фильме японского кинорежиссера Акиры Куросавы «Додескаден», — гнусаво заговорил ведущий, — снятом в тысяча девятьсот семидесятом году по новелле писателя Акутагавы Рюноске «Под стук невиди-

мых колес». Собственно говоря, само название фильма и является японской имитацией звука стучащих о рельсы колес. Итак, закройте глаза и представьте себе раннее утро в послевоенном японском вагоне купейного типа. Хлопают двери, в коридор выходят спешащие со своим делом люди. Сквозь закопченные недавними боями стекла уже светит знаменитое японское солнце. И вдруг в толпе появляется первый из героев, которого в вагоне называют трамвайным сумасшедшим. Дело в том, что этот молодой человек воображает себя водителем невидимого маленького поезда, по-японски — трамвая, который ездит взад-вперед по реальному вагону. Согласитесь, концепция непростая и требующая осмысления...»

Андрей встал и начал быстро одеваться. Надев куртку, он плотно застегнул ее на все пуговицы, взял с верхней полки темные очки и кепку с козырьком, потом сунул в карман перчатки и маленький деревянный клин, который вынул из-под матраса. Пока он одевался, радио почти не было слышно, но когда он на секунду замер у дверей, думая, все ли он взял, опять стал слышен вкрадчивый и гнусавый голос:

«Надо сказать, что герои фильма занимаются делами, которые с полным правом можно назвать важными и серьезными — это мелкооптовая торговля, медленное умирание с голоду, воровство, деторождение и так далее. И вот проводя параллель между жизнью этих людей и действиями «трамвайного сумасшедшего», который взад-вперед бегаёт по коридору вагона и кричит «додеска-дэн! додеска-дэн!», имитируя стук существующих только в его сознании колес отдельного маленького поезда, Куросава как бы стремится показать, что каждый из социально адекватных героев тоже, в сущности, едет по реальному вагону в своем собственном маленьком иллюзорном «трамвае». Но, однако, Куросава не намечает никаких путей выхода из показанного им бесприютного мира. Чего там, напугать людей просто, а вот...»

В коридоре радио не работало.

Андрею повезло довольно быстро — через два тамбура на восток он оказался в совершенно пустом вагоне. Судя по запаху, там морили тараканов, и пассажиры прятались от запаха дихлофоса за плотно закрытыми дверьми. Быстро пройдя по пыльной ковровой дорожке, Андрей замер возле двери служебного купе, где напевающий проводник, склонясь над огромной металлической раковиной, мыл пустые банки из-под пива (в соседнем вагоне их раскрашивали в национальном духе и продавали на Запад). Выждав момент, когда проводник отвернулся, Андрей проскользнул мимо двери и вошел в туалет. Закрывшись, он втиснул клин между дверью и рычагом замка и несколько раз ударил по нему ладонью — теперь проводник не смог бы отпереть дверь с той стороны даже своим ключом.

Окно открылось сразу. Андрей выглянул в образовавшийся просвет — все соседние окна были заперты. Он надел перчатки, кепку и очки, повернулся к окну спиной и заведенными назад руками уцепился за верхний край рамы. Потом он уперся ногой в дюралевую ручку на стене, изогнулся и стал медленно и осторожно высовываться наружу.

Он уже давно мог повторить все необходимые движения с закрытыми глазами, но все равно каждый раз ему на несколько секунд становилось не по себе. В оккультных книгах, которые продавали в тамбуре у ресторана, эта процедура была описана очень запутанно и таинственно, со множеством иносказаний — о ней явно писали люди, не понимавшие, про что они на самом деле рассказывают. Самым простым эвфемизмом происходящего было выражение «ритуальная смерть». В каком-то смысле так оно и было — то же самое происходило с умершим, которого выдвигали из окна, чтобы сбросить на насыпь. Но, конечно, это было единственным сходством, хотя процедура действительно была довольно рискованной. А что касалось темного подсознательного страха, то от него спасали только трезвость и чувство юмора — Андрей напоминал себе, что попросту лезет на крышу вагона.

Над окном был вогнутый карниз для стока воды. Андрей ухватился за его край и подтянулся вверх — теперь он сидел на краю окна, свесив ноги внутрь. Далеко впереди по ходу поезда показалась зеленая полоска кустов, и он полез

быстрее, чтобы его не исхлестали ветки. Через несколько секунд он уже был наверху, на ребристой и непривычно широкой крыше вагона, покрытой облупившейся желтой краской и усеянной ржавыми грибами вентиляционных башенок. Встав на ноги, он осмотрелся.

Далеко на западе на крыше стояли люди, но отсюда никого нельзя было разглядеть. Перепрыгнув через несколько вагонных стыков, Андрей нашел вмятину, по которой узнавал место, под которым было купе Хана, и постучал по ней ногой.

Хан появился минут через пять — на нем была брезентовая куртка с капшоном и такие же очки, как у Андрея. Они молча пошли на запад, с разбега перепрыгивая пустоты над резиновыми сочленениями переходов.

Вскоре позади осталась скользкая крыша ресторана, вагон с погрантамбуром, и те, кто стоял впереди, стали приветственно махать руками. Андрей узнал нескольких человек и помахал в ответ. В обычном смысле знаком он ни с кем не был — все общение с людьми, которых они с Ханом встречали наверху, сводилось к обмену приветственными жестами. Они миновали неподвижного старика в грязном ватнике и старой военной ушанке — как обычно, он сидел по-турецки в центре крыши и курил длинную трубку с крошечным металлическим чубуком (было непонятно, как он ухитряется зажечь ее на таком ветру). Дальше сидела компания в длинных темно-серых рясах — лица этих людей были скрыты капшонами, так что нельзя было ничего сказать ни об их поле, ни о возрасте. Расположившись кружком, они изучали непонятную геометрическую фигуру, начерченную углем на крыше вагона. Фигура была та же, что и раньше, — круг с какими-то симметричными линиями, похожими на разомкнутую звезду. Андрей вспомнил, что и прошлым, и даже позапрошлым летом они были заняты тем же самым — было совершенно не ясно, с какой целью они так долго смотрят на этот простой рисунок.

Вообще Андрей сомневался, что люди, которых он встречает на крыше, лезут на нее с какой-нибудь определенной целью. У него самого такой цели никогда не было, и он ничего от этих прогулок не ждал. Правда, с Ханом он познакомился именно здесь. В тот раз они не перемолвились ни словом — здесь никто никогда ни с кем не говорил — но узнали друг друга через день или два, столкнувшись в коридоре. Позже Хан сказал, что подниматься на крышу не только бесполезно, но скорее даже вредно, потому что там человек оказывается только дальше от возможности по-настоящему покинуть поезд — но все равно они продолжали сюда лазить, просто для того, чтобы хоть на время покинуть осточертевшее пространство всеобщей жизни и смерти.

Ни начала, ни конца поезда видно не было — линия вагонов, несколько раз изгибаясь в поле зрения, доходила в обе стороны до горизонта, но все же локомотив где-то существовал, и у этого, помимо множества внутривагонно-метафизических обоснований, были два прямых доказательства — толстый медный провод в полуметре над головой и иногда доносящийся неведомо откуда тихий протяжный гул.

Андрей почувствовал, как Хан дергает его за рукав, и посмотрел туда, куда тот указывал. На соседней крыше стояла довольно странная компания — четверо человек, одетых, словно музыканты, в какие-то преувеличенно-латиноамериканские наряды. В следующую секунду Андрей увидел в их руках инструменты и понял, что это действительно музыканты. Из-за грохота колес музыки совсем не было слышно, но ясно было, что маленький оркестр выкладывается изо всех сил — тот, что играл на флейте Пана, от напряжения даже чуть приседал на месте, а у гитаристов были такие иступленные лица, словно в руках у них были не гитары, а винтовки, и они шли на штурм бронекупе самого Пабло Эскобара. Андрей перевел взгляд дальше и увидел странного человека с широкой соломенной шляпой за плечами — он стоял опасно близко к краю вагона, пританцовывал на месте и размахивал руками, как будто пытался согреться. Ни этого человека, ни музыкантов Андрей раньше никогда тут не встречал.

Поезд мчался к реке, или, может быть, узкому ответвлению озера, над которым был перекинут странный мост — у него были очень низкие ограждения,

еле доходившие до крыши поезда. Андрей подумал, что их, наверно, можно бы-то бы перепрыгнуть, и в тот самый момент, когда ему в голову пришла эта мысль, человек с соломенной шляпой на шнурке сильно оттолкнулся от крыши, оторвался от вагона и перелетел над ограждением моста.

Несколько секунд Андрей не мог поверить, что это действительно произошло. Потом он упал на живот, подполз к краю крыши и свесился с нее, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вода под мостом была практически неподвижной; по ее поверхности расходились круги, в центре которых покачивалась похожая на огромную кувшинку соломенная шляпа. Прошло несколько долгих секунд, и над водой показался черный мячик головы. Человек поплыл к берегу, а потом все скрыла заросшая травой насыпь.

Андрей поднялся на ноги и поглядел на Хана. Тот восхищенно качал головой и, судя по движениям губ, что-то говорил. Все вокруг смотрели в сторону скрывшейся реки — даже непонятные люди в рясах, обычно не обращавшие никакого внимания на остальных, сейчас стояли на ногах и растерянно глядели на восток, где навсегда остался неизвестный. Только старик в ушанке все так же неподвижно сидел на своем обычном месте и пускал вдаль едва заметные на ветру струйки дыма — было непонятно, то ли он просто ничего не заметил, то ли видел и не такое. Музыканты куда-то исчезли. Андрей поискал их взглядом и увидел несколько маленьких фигурок, прыгающих с вагона на вагон — они успели отойти уже довольно далеко на запад.

3

— Нравится? — спросил Антон. — Только честно.

— Что?

— Новая серия, — сказал Антон и кивнул на стол.

— Почему серия? — удивился Андрей. — Они же все одинаковые.

— В этом и концепт, — сказал Антон. — Они номерные, как литографии.

Андрей сидел на краю лавки, глядя на пивную банку в руках Антона. Тот тихо что-то мычал и водил по ней маленькой кисточкой, неестественно изогнув шею, чтобы не измазать в краске бороду, — тем не менее на ней уже было несколько белых пятен, которые казались ранней сединой. Несколько готовых расписных банок стояло на столике — на всех был одинаковый рисунок: коридор вагона, по которому с чайными стаканами в руках идут румяные девушки в кокошниках и желтоволосые ребята в красных рубахах, все на одно лицо, похожее на вымя, — было это, как Андрей понял, сознательной и даже подчеркнутой цитатой из Гумилева, потому что из лиц торчали длинные коровьи соски, прыскающие струйками молока, а под рисунком славянской вязью было выведено:

Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

— Так что? — повторил Антон.

— По-моему, хорошо, — сказал Андрей. — Только уж очень социально. Все-таки «Будвейзер Господа моего» у тебя куда сильнее был.

— Не понимаю, — сказал Антон, — почему, что бы я ни нарисовал, все с «Будвейзером» сравнивают?

— Просто вспомнилось, — сказал Андрей. — Действительно гениальная вещь была.

Напротив Антона сидела его жена Ольга, которая мелкой шкуркой зачищала поверхность банок. Ее ноги были закрыты одеялом, потому что дверь в купе была снята с петель, и по полу сильно дуло. На месте двери висело еще одно одеяло — оно не доставало до пола, и были видны ботинки и шлепанцы проходящих по коридору. Андрей поднял глаза на погнутые петли и покачал головой.

— Я понять не могу, как же вы им разрешили дверь снять? — спросил он. — Ведь никто права не имел, если вы не согласны.

— А нас никто не спрашивал, согласны мы или нет, — сказал Антон. — Пришли и сказали, что конверсия. Из купейных в плацкартные. Подписать что-то дали, и все. Ну хватит об этом. Ты кого-нибудь из наших видел?

— Гришу часто вижу, — сказал Андрей. — Он сейчас, как они выражаются, поднялся, то есть денег много. Еще Серегу видел недавно. Очень сильно изменился. Не пьет, не курит. Утризм принял.

— Это еще что?

— Это религия такая, очень красивая. Они верят, что нас тянет вперед паровоз типа «У-3» — они его еще «тройкой» называют, а едем мы все в светлое утро. Те, кто верит в «У-3», проедут над последним мостом, а остальные — нет.

— Да? — сказал Антон. — Надо же. Не слышал никогда. А ты сам его часом не принял?

— Нет, не принял, — сказал Андрей. — У меня все по-прежнему. Вот книжку хорошо читаю. Называется «Путеводитель по железным дорогам Индии». Совершенно случайно ее нашел. Потом, если хочешь, дам.

— А о чем там? — спросил Антон, поднимая банку над головой и внимательно ее разглядывая.

— Даже трудно так сказать. Просто человек едет в поезде по Индии и пишет о том, что с ним происходит. Причем так и не ясно — то ли он действительно по Индии едет, то ли просто так себе представляет. Тебе понравится.

— Она у тебя с собой? — спросил Антон.

— Да, — сказал Андрей.

— Прочти кусочек, а? А то у меня руки в краске.

— Какой кусочек? — спросил Андрей.

— Любой.

— Тогда, — сказал Андрей, — я с того места начну, где сам читаю. Я тебе в двух словах скажу, что там раньше было, — сначала он пишет о том, что видит в окне, а потом начинает описывать тех, кто ему мешает возле этого окна стоять. Очень длинная и желчная классификация.

Андрей достал из кармана книжку, открыл ее на заложенной странице и начал читать вслух:

«Куда они все идут? Зачем? Разве они никогда не слышат стука колес или не видят голых равнин за окнами? Им все известно про эту жизнь, но они идут дальше по коридору, из сортира в купе и из тамбура в ресторан, понемногу превращая сегодня в очередное вчера, и думают, что есть такой Бог, который их за это вознаградит или накажет. Но если они не сходят с ума, значит, все они знают какой-то секрет. Или это я знаю секрет, которого лучше не знать никому. Нечто такое, из-за чего я уже никогда в жизни не смогу вот так невинно и бессмысленно, белея глазами белками, идти себе по чуть покачивающемуся коридору и даже не отдавать себе отчета в том, что *по коридору иду я*. Но я ведь не знаю никакого секрета. Я просто вижу жизнь такой, какая она есть, трезво и точно, и никогда не смогу принять этот грохочущий на стыках рельсов желтый катафалк за что-то другое. Мне нравится Индия, и поэтому сейчас я еду по Индии. А они просто сумасшедшие пассажиры сумасшедшего поезда, и во всем, что они говорят, я слышу только стук колес. И оттого, что их много, а я почти один, не меняется ничего...»

Андрей услышал какое-то шуршание, поднял глаза и увидел, что жена Антона надевает сапоги. Антон вытирал руки измазанной в краске тряпкой.

— Извини, старик, — сказал он, — мы в театр идем. Ты прочти самую последнюю строчку. Чем там все кончается.

Андрей поколебался, открыл последнюю страницу и прочел:

«Милость беспредельна, и я точно знаю, что когда поезд остановится, за его желтой дверью меня будет ждать белый слон, на котором я продолжу свое вечное возвращение к Неминуемому.»

— Понятно, — сказал Антон. — Интересно, конечно. Только читать этого я не буду, спасибо.

— Тебе не понравилось?

— Я бы не сказал, что мне это понравилось или не понравилось, — ответил Антон. — Просто это не имеет отношения ко мне лично.

— Почему? А то, что ты рисуешь, — сказал Андрей и кивнул на расписанные банки, — это разве не то же самое на другом языке? Остановите вагон и так далее? Или ты это не всерьез? Неискренне?

— Что значит «не всерьез, неискренне»? — сказал Антон. — Детские какие-то у тебя понятия. Есть жизнь и есть там искусство, творчество. Соц-арт там, концептуализм там. Модерн там, постмодерн там. Я их уже давно с жизнью не путаю. У меня жена, ребенок скоро будет — вот это, Андрюша, всерьез. А рисовать там можно что угодно — есть всякие там культурные игры и так далее там. Так что вагоны я только на пивных банках останавливаю, опять-таки потому, что о ребенке думаю, который вот в этом настоящем вагоне будет там дальше ехать. Понимаешь?

Он слегка топнул в пол и показал рукой на стену.

— Антон, — сказал Андрей, — ты ничего сейчас не слышишь?

Антон замер и прислушался.

— Нет, — сказал он, — ничего. А что я должен слышать?

— Так. Показалось.

— Пора идти, — сказала Ольга, отдергивая висящее в дверном проеме одеяло, — опоздаем.

— А на что вы идете? — спросил Андрей.

— «Бронепоезд 116-511», — ответила Ольга. — Не пугайся, там авангардное прочтение.

— Чье прочтение? — спросил Андрей.

— «Театр на верхней полке», — сказала Ольга. — У них там все коллективно и анонимно, так что чье там прочтение, никто там не знает. По секрету могу сказать, что декорации там рисовал Антон. Хочешь с нами? Там пройти можно.

— Нет, — сказал Андрей, — я еще к Хану зайду. Давно у него не был.

— Как он там, кстати, поживает? — спросил Антон. — Нашел себя?

— Да, — сказал Андрей, — и еще много другого. Ну пока.

— Пока. Привет там всем передавай.

2

На двери в купе Хана висел непонятно откуда взявшийся календарь с котятками, который закрывал знакомую царапину. Несколько секунд Андрей не мог понять, в чем дело, потом огляделся по сторонам, убедился, что не ошибся дверью, и постучал. Никто не ответил.

Андрей открыл дверь. В купе был неправдоподобный беспорядок — такой, какой возникает при похоронах, родах и переездах. На диване Хана сидела пожилая полная женщина со следами бывшего безобразия на отечном лице — возраст уже благополучно эвакуировал ее из зоны действия эстетических характеристик. На полу перед ней стояло несколько чемоданов и накрытая платком корзина, источавшая густой запах колбасы. С верхней полки торчала крошечная детская ножка, обтянутая белым носком, которая чуть качалась в такт вагону.

— Здравствуйте, — сказал Андрей.

— День добрый, — ответила женщина, поднимая ничего не выражающие глаза.

— А где Хан?

— Таких тут не живет.

— Он что, переехал?

— Не знаю, — сказала она, — может, переехал, а может, умер. Мы не знаем. Мы очерсдники. Нас на площадь вселили. Вы у проводника спросите, он знает.

— А вещи? — спросил Андрей. — Вещи остались?

— Никаких вещей тут не было, — оживляясь, сказала женщина, — что это вы придумываете? Какие такие вещи?

— Да нет, — сказал Андрей, — вы не подумайте, что я с претензиями. Я спрашиваю просто.

— Пустой диван, — сказала женщина, — полка тоже пустая. Я чужого в жизни не возьму.

— Понятно, — сказал Андрей, повернулся и толкнул дверь вбок.

— А вы не Андрей? — спросила вдруг женщина.

— Андрей. А что?

— Тут письмо какое-то лежало. Написано — Андрею, а какому, непонятно. И от кого, непонятно. Может, это вам?

— Мне, — сказал Андрей, — давайте.

— Где-то оно здесь было, — забормотала женщина, шаря среди вываленного на стол белья. — Разбирать теперь все это полгода. Жизнь страшная стала. В коридоре давка, а сил нет. Ага, нашла. Вот оно. А точно вам? У вас билет ваш есть с собой?

— А я безбилетник, — развязно пошутил Андрей.

Женщина хмыкнула и протянула Андрею конверт.

— Девкам будешь голову морочить, — сказала она с некоторой игривостью. — Все. Больше никаких вещей нету.

— Спасибо, — сказал Андрей, убирая письмо в карман. — Большое спасибо.

— До свидания, — сказала женщина.

Выйдя из купе, Андрей чуть не столкнулся с идущим по вагону проводником, но ни о чем не стал его спрашивать.

Петр Сергеевич был пьян и весел. На столе перед ним стояла не обычная бутылка «железнодорожной», а граненый флакон дорогого коньяка «Лазо» с пылающей паровозной топкой на этикетке. Рядом были развернуты какие-то чертежи и синьки — Андрей заметил на одной из них сильно увеличенную ручку дверного замка. Еще было несколько официального вида бумаг с печатями, в них, судя по масляным пятнам, был завернут сервелат, которым Петр Сергеевич успел хищно закусить — казалось, что разбросанные по столу ошметки клевал орел.

— Как дела?

— Нормально, — ответил Андрей. — А у вас?

Петр Сергеевич показал большой волосатый палец.

— Завтра меня весь день не будет, — сказал он, — с самого утра. И ночью тоже не приду. Ты за меня бельишко получишь?

— Хорошо, — сказал Андрей. — Вы только проводника предупредите. А что, уже тридцатое?

— Да, — сказал Петр Сергеевич, — тридцатое. Как время-то летит. Так и пожить не успеешь. Тебе налить?

Андрей помотал головой. Сняв ботинки, он улегся на свое место, повернулся лицом к стене и достал из кармана «Путеводитель по железным дорогам Индии», в который было вложено письмо. Поколебавшись секунду, он спрятал конверт назад в карман. «Завтра прочту», — подумал он и наугад раскрыл книгу.

«...в сущности, никакого счастья нет, есть только сознание счастья. Или, другими словами, есть только сознание. Нет никакой Индии, никакого поезда, никакого окна. Есть только сознание, а все остальное, в том числе и мы сами, существует только постольку, поскольку попадает в его сферу. Так почему же, думаю я снова и снова, почему же нам не пойти прямо к бесконечному и невыразимому счастью, бросив все остальное? Правда, придется бросить и себя. Но кто бросит? Кто тогда будет счастлив? И кто несчастлив сейчас?»

Андрею хотелось спать, и он плохо понимал написанное — слова налезали друг на друга и образовывали перед глазами сложные геометрические конструкции. Он закрыл книгу.

— Андрюх, — подал голос Петр Сергеевич, — ну чего ты мурыжишься? Махни стакан.

— Правда не хочу, — сказал Андрей, — спасибо.

— Как знаешь.

Андрей повернулся на спину и некоторое время изучал тусклый желтый плафон на потолке.

— Петр Сергеевич, — сказал он, — а вы когда-нибудь думали, куда мы едем?

— У тебя что, — спросил Петр Сергеевич сквозь пищу, — неприятности, да? Наплюй. Подумаешь там, одну бросил, другую нашел. В плацкарту сходи, там быстро развеешься. Знаешь, сколько там сучек этих? Там их вагон. Были бы деньги.

— Ну все-таки. Куда?

— Ты чего, сам не знаешь?

— Вам что, сказать трудно?

— Да нет, нетрудно.

— Ну так скажите. Куда мы, по-вашему, едем?

— Куда-куда. Тебе что, услышать хочется лишний раз? Ясное дело, куда. К разрушенному мосту. Что ты себе смолоду такой херней голову забиваешь, Андрюха?

1

Утро было облачным — вместо неба вверху висела ровная серая поверхность, похожая на потолок в коридоре, только без вентиляционных дырочек. Петр Сергеевич уже ушел. На столе лежала записка для проводника и стояло два стакана с успевшим остыть чаем. Андрей оделся, вынул из кармана письмо и тут же сунул его назад. Потом он запер дверь и сел на стол. Петр Сергеевич терпеть этого не мог, а уж ног на своем диване не простил бы ни за что и никому, но сегодня его можно было не брать в расчет.

Андрей никогда не упускал возможности в одиночестве провести пару часов у окна купе. Это было совсем не то же самое, что стоять возле окна в коридоре, где постоянно приходилось пропускать идущий мимо народ и вообще множеством трудноуловимых способов взаимодействовать с окружающими. Андрей не особо верил автору индийского «Путеводителя», писавшему о том, что безмятежному созерцанию ландшафта можно предаваться и перед дверью набитого орудиями людьми тамбура.

Сегодня день был не очень удачный — в нескольких метрах за окном неслась бесконечная стена деревьев. Обычно такие насаждения закрывали обзор на несколько часов, а иногда и дней, и оставалось только смотреть на полосу травы между поездом и деревьями, разглядывая предметы, выброшенные из когда-то пролетевших здесь вагонов «Желтой стрелы».

Сначала все внизу сливалось в однородное серо-зеленое месиво, но через несколько минут глаза привыкали, и становилось достаточно короткой доли секунды, чтобы идентифицировать искусственные вкрапления в пейзаж. Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении, и он успевал не столько разглядеть проносящееся мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь мельчайшими намеками, которые давал окружающий мир. Но насчет большинства объектов, лежащих на склонах насыпи, ошибиться было трудно.

Больше всего было, конечно, пустых бутылок. Зимой они яркими зелеными пятнами выделялись на снегу, а сейчас их можно было отличить от травы только по блеску. Более легкие пивные банки сносило потоком воздуха, и они обычно не отлетали от вагонов так далеко. Изредка попадались довольно странные предметы — например, в одном месте из небольшого болотца торчала свеживоткнувшаяся в грязь картина в огромной золотой раме (Андрею показалось, что это стандартная репродукция «Будущих железнодорожников» Дейнеки). В другом месте, примерно через километр после картины, мелькнул развалившийся при падении никелированный самовар. А недалеко от него ле-

жал великолепный кожаный чемодан, на котором сидела большая жирная ворона. Повсюду белели яркие пятна использованных презервативов — впрочем, иногда презерватив можно было перепутать с небольшой костью вроде ключицы, а костей в траве валялось почти столько же, сколько бутылок. Особенно много было черепов — потому, наверно, что они оказывались слишком тяжелыми для мелких грызунов, а звери покрупнее боялись подходить близко к грохочущей желтой стене. Некоторые черепа, совсем старые, были до меловой белизны отполированы дождями и ветром, а на тех, что посвежее, еще оставались волосы и куски плоти. Особенно Андрея рассмешил один череп с блестящей дужкой очков, в которых, как показалось, даже сохранились стекла.

На кустах и деревьях было множество следов недавних похорон — разноцветные полотенца, одеяла и наволочки. Они развевались по ветру, как флаги, приветствуя новую жизнь, несущуюся вперед и мимо — так, вспомнил Андрей, сказал, кажется, какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна вагона-ресторана. Подушек тоже было много — и совсем еще новых, и уже сгнивших под частыми в это лето дождями. Их хозяева обычно лежали неподалеку в самых разных позах и стадиях разложения; многие, правда, и на насыпи сохраняли строгий вид — ноги полусогнуты, одна рука подвернута под голову, а другая вытянута вдоль туловища. Объяснялось это просто — иногда проводники по просьбе родных особым образом перевязывали бечевкой конечности усопших, чтобы те выглядели после смерти пристойно; кроме того, это имело какое-то отношение к религии.

Андрей заметил, что в траве у насыпи стали все чаще попадаться засохшие белые цветы, которые он сперва принимал за презервативы. Он подумал, что они просто отцвели, но увидел, что многие из них завернуты в прозрачную пленку и лежат стеблями вверх. Потом стали появляться букеты, а потом венки, все из увядших белых роз. Андрей понял, в чем дело, — недели две назад по телевизору показывали похороны американской поп-звезды Изида Шопенгауэр (на самом деле, вспомнил Андрей, ее звали Ася Акопян). В газетах писали, что во время церемонии из окон выбросили две тонны отборных белых роз, которые покойная обожала больше всего на свете, — видно, это они и были. Андрей прижался к стеклу. Прошло две или три минуты — все это время белые пятна на траве густели, — и он увидел лежащую в траве мраморную плиту со стальными сфинксами по краям, к которой золотыми цепями была приделана бедная Изида, уже порядком распухшая на жаре. На краях плиты была реклама — «Rolex», «Pepsi-cola» и еще какая-то более мелкая: кажется, товарный знак фирмы, производящей овощные шницели чисто американского вкуса. У плиты суетились две небольшие собаки — одна повернула морду к поезду и беззвучно залаяла, другая крутила хвостом; из пасти у нее свисало что-то синевато-красное и длинное.

«Мировая культура, — подумал Андрей, — доходит до нас с большим опозданием».

Стена деревьев за окном прервалась вечером, когда уже начало темнеть. Сначала они стали расти реже, между ними появились просветы, а потом вдруг открылось поле с пересекающей его дорогой. Возле дороги стояло несколько кирпичных домов с черными дырами окон — их ставни были широко распахнуты. Вдали медленно проплыла удивительно красивая, похожая на поднятую к небу руку, белая церковь с косым крестом — был виден только ее верх, а нижнюю часть закрывал лес.

Потом появилась длинная пустая платформа — в одном месте на ней Андрей успел заметить старую вставную челюсть, одиноко лежащую на голой бетонной плоскости. Рядом с челюстью торчал шест с пустым стальным прямоугольником, в котором когда-то была табличка с названием станции. Мелькнуло несколько плит бетонного забора, за которыми громоздились какие-то решетчатые конструкции из ржавого железа, и все скрылось за вновь появившейся стеной плотно растущих деревьев — те, кто верил в снежных людей, считали, что эти деревья посажены ими, чтобы взгляды и мысли пассажиров не проникали слишком далеко в их мир.

В дверь постучали, и Андрей спрыгнул со стола.

— Кто это? — спросил он.

— Это Авэль, — проговорил бас за дверью. — Ты там? Выходи, там бэлье дают.

Когда Андрей решил наконец распечатать письмо, было уже темно, а за стеклом плыла все та же стена деревьев. Он отвернулся от окна, вынул из кармана конверт и оборвал его край. Внутри оказался клетчатый листок с аккуратным обрывом, на котором чернели ровные чернильные строки:

«В прошлое время люди часто спорили, существует ли локомотив, который тянет нас за собой в будущее. Бывало, что они делили прошлое на свое и чужое. Но все осталось за спиной — жизнь едет вперед, и они, как видишь, исчезли. А что в высоте? Слепое здание за окном теряется в зыби лет. Нужен ключ, а он у тебя в руках — как ты его найдешь и кому предъявишь? Едем под стук колес, выходим пост скриптум двери».

Подписи не было. Андрей перечитал письмо, повертел его в пальцах, сложил и сунул назад в конверт. Потом он лег на свой диван, погасил лампочку над подушкой и повернулся к стене.

0

За окном творилось что-то странное — такого Андрей не видел еще никогда. Поезд шел через ночной город по низкой эстакаде, отделенной от улиц железной решеткой. За окном вагона горели бесчисленные огни — фонари на улицах, окна домов, фары автомобилей. Но самым странным было то, что внизу были люди, очень много людей. Они стояли у решетки эстакады; когда окно, за которым сидел Андрей, проплывало мимо, они начинали махать руками и что-то весело кричать. В городе, похоже, был праздник — все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно. Наконец Андрею стало тяжело чувствовать на себе такое количество взглядов. Он встал и вышел в коридор. С другой стороны вагона за окнами тянулась обычная темная цепь деревьев, и Андрей почувствовал себя легче. Коридор выглядел как-то странно — пол был покрыт густым слоем пыли, двери всех купе были распахнуты, и в них виднелись голые железные каркасы диванов. Андрей сначала удивился и даже испугался, но вспомнил, что в поезде, кроме него, нет ни одного человека, и успокоился. Ему захотелось перечитать письмо, и он вытащил сложенный вдвое конверт из кармана. Текст, естественно, остался прежним:

ПРОШЛОЕ — ЭТО ЛОКОМОТИВ, КОТОРЫЙ ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ БУДУЩЕЕ. БЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ПРОШЛОЕ ВДОБАВОК ЧУЖОЕ.

ТЫ ЕДЕШЬ СПИНОЙ ВПЕРЕД И ВИДИШЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УЖЕ ИСЧЕЗЛО.

А ЧТОБЫ СОЙТИ С ПОЕЗДА, НУЖЕН БИЛЕТ.

ТЫ ДЕРЖИШЬ ЕГО В РУКАХ, НО КОМУ ТЫ ЕГО ПРЕДЪЯВИШЬ?

Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери в свое купе, положил ладонь на ручку замка и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум, короткую приписку мелким почерком, которой он раньше не заметил — наверно, потому, что она располагалась за линией сгиба.

И в эту же секунду он понял, что не стоит в пустом коридоре поезда, а лежит на диване в своем купе и видит сон. Он стал просыпаться, но за тот неуловимый миг, который заняло пробуждение, успел прочесть и запомнить пост-

скриптум, точнее, запомнить слова, которые ему снились, — во сне они имели какой-то совсем другой смысл, который никак нельзя было протащить в обычный мир, но который он успел понять.

PS. ВСЕ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЫ ПОСТОЯННО ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЗА СЕКУНДУ ДО ТОГО, КАК МЫ УСПЕЛИ ВЫЕХАТЬ.

Андрей включил лампочку над подушкой, достал письмо и перечитал его — никакого постскриптума там не было. На том месте, где он увидел его во сне, было только несколько малозаметных царапин, словно кто-то водил по листу засохшей ручкой, пытаясь ее расписать.

Что-то было не так. Что-то случилось, пока он спал. Андрей поднялся с дивана, помотал головой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. Колеса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна наружу. Поезд стоял.

Когда Андрей вышел в коридор, там все было, как обычно, — горел свет, пахло табаком. Но пол под ногами был совершенно неподвижен, и Андрей заметил, что чуть покачивается, шагая по нему. Дверь в служебное купе была открыта. Андрей заглянул туда и встретился взглядом с проводником, который неподвижно стоял у стола со стаканом чая в руке. Андрей открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что проводник его не видит. Андрей подумал, что тот спит или впал в какое-то оцепенение, но тут его взгляд упал на стакан в руке проводника — в нем неподвижно висел кусок рафинада, над которым поднималась цепь таких же неподвижных пузырьков.

Он уже знал, что надо делать дальше. Шагнув к проводнику, он осторожно сунул руку в боковой карман его кителя и вынул оттуда ключ.

Выйдя в тамбур, он подошел к двери, сунул ключ в круглую скважину — он вошел неглубоко, потому что скважина была забита многолетним мусором, — и повернул его. Дверь со скрипом открылась, и на пол посыпались набитые в ее щели окаменелые окурки. Андрей подумал было, что надо вернуться в купе за вещами, но понял, что ни одна из тех вещей, которые остались в его лежащем под диваном чемодане, теперь ему не понадобится. Он встал на край рубчатой железной ступени и поглядел в темноту. Она была бесконечной и тихой; из нее прилетал теплый ветер, полный множества незнакомых запахов.

Андрей прыгнул на насыпь.

Как только его ноги ударились о гравий, которым были присыпаны шпалы, сзади раздалось шипение сжатого воздуха, а еще через секунду лязгнули растянувшиеся сочленения между вагонами. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Андрей отошел на несколько метров в сторону и посмотрел на «Желтую стрелу».

Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем неизвестно куда. Андрей посмотрел в ту точку, откуда появлялись вагоны, а потом в ту, где они исчезали, — с обеих сторон не было видно ничего, кроме темной пустоты.

Он повернулся и пошел прочь. Он не особо думал о том, куда идет, но вскоре под его ногами оказалась асфальтовая дорога, пересекающая широкое поле, а в небе у горизонта появилась светлая полоса. Громыканье колес за спиной постепенно стихало, и он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше, — сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов.

СЕРГЕЙ ГРИБОВ

*

ЗВЕЗДЫ, КАМНИ, РЫБЫ

* *
*

Город невероятен —
Бурый Будда бензинов,
Буйство солнечных пятен,
Запах лип и резины.

И за городом — ясно,
И над речкою — сыро.
Мы — текучая плазма
До рождения мира.

Стая птиц пролетела,
Отражаясь в затоне.
Как плывет твое тело
На оранжевом фоне.

Как размыты блистаньем
Эти бедра и плечи
На пределе сознанья
В бездне нечеловечьей.

Мы доверились травам,
Катакомбам, обрываю
До грядущего трала —
Звезды, камни и рыбы.

* *
*

Поняття, правила, уставы...
Скрипят рассудка костыли.
Из-под земли курлычут травы,
Щебечет облако в пыли.

В изломах радужного блеска,
Смыкаясь, прячет косогор
Перебеганье перелеска,
Гусиный перелет озер.

И в камня тишине горбатой,
Лежащего на мостовой,
Пылают хвойные закаты,
Прокатывается волчий вой.

Как семя, праздничные числа
Растут в утробе черных числ.
А мы упорно ищем смысла,
Не зная, что такое смысл.

Мы пленники мира, но все же
 Как вечен порыв из оков —
 Реликтовый отсвет на коже
 От сосен и от облаков!

И если граница — воочью,
 Как сладко нас манят за ней

В пыли, на рваной борозде,
 В пластах и недрах недорода
 Свивается лицо уroda
 В розовощекой нагоге.

В его руках порхает сеть,
 Он добрый, он сулит спасенье,
 Но чтоб изведать воскресенье,
 Нам тоже надо умереть.

Кольца ночи тугие
 Разомкнулись, звеня,
 И стоим мы, нагие,
 В свете Судного дня.

Небо четкое в раме
 Оплетают кресты,
 И дрожат зеркалами
 За домами мосты.

И печаль распростерла
 По излуцинам рек
 Словно с алого горла
 Оползающий снег.

Белый утренний час,
 Час омертвевших слов.
 Серебряный сок, струясь,
 Звенит в тишине стволов.

* *
 *

Осенние сумерки почвы
 С ночным обмираньем корней!

И тут не поправить речами
 Слепые уклоны дорог.

Слова — только вздохи молчанья,
 И только молчание — Бог.

* *
 *

В блаженство переплавить злость,
 Чтобы вокруг росло и длилось,
 Мычало, бляяло, доилось,
 Что прежде родиной звалось.

И там, куда глаза глядят,
 К живой тоске утроб не глухи,
 На запах крови и сивухи
 К нам с неба ангелы слетят.

* *
 *

Мы с тобою смеялись,
 Мы грустили — с тобой.
 Или птицы метались
 Под широкой луной?

Нам знакомы уклоны,
 Всех высот этажи.
 Только ветер студеной
 Дует в щели души.

Кольца ночи тугие
 Разомкнулись, звеня,
 И стоим мы, нагие,
 В свете Судного дня.

* *
 *

Трепетом тайных сил
 Играет огонь в золе...
 Я тоже когда-то жил
 На милой глухой земле.

Харьков.

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

КВАЗИ

ПОЧТИ РЕЛИГИЯ

ТРОПИНКА связана с детством. Тропинка тревожит нашу чувственность и, не тускнея от времени, остается одним из простых и непреходящих образов многообразного использования. (Но, разумеется, поезд необязательно везет нас домой, к детству. Поезд может мчаться куда угодно. А мы смотрим из окон с приятной дорожной ленцой...) Путешественник из вагонного окна прежде всего видит шоссе, он сравнивает скорости: то поезд обгоняет машины, почему-то замедлившие ход (ага! мы впереди!), то машины, ощутив свободу пространства, победоносно устремились вперед. Устав соревноваться, взгляд путешественника скользнет на землю, на траву, и только тут станет видно тропинку — обычную тропку вдоль железной дороги. По ней никто не идет. Тропка тянется, чуть изгибаясь. (И ты понимаешь, что по тропке все же ходят от деревни к соседней деревне.) Выглянул ли ты в вагонное окно вечером или, потягиваясь и зевая, вышел из купе поутру, ты видишь на траве все тот же бегущий за тобой и не меняющийся ее рисунок, скромный ее очерк: тропинка тянется. На ней вновь ни души. (Ходят мало. Но ведь ходят.)

О КОНЦЕ ИСТОРИИ стали писать и у нас. Пришло это чуткое и особенное ощущение жизни. (Пришло ему время.) Есть мнение, что как раз через экономику универсальность западного бытия как-то очень быстро и заметно потеснила уникальность российского менталитета. Не без того. Но с другой стороны, нет сомнения и в том, что случившееся — внутренний процесс, *наш* процесс прежде всего. Достаточно посмотреть любой телесериал или глянуть на развалы книг в одном из больших наших городов, чтобы понять, сколь малое в сфере духа волнует. Бытие (а с ним и Время) словно бы утратило глубину. Не мыслитель и не писатель (традиционная российская фигура, палочка-выручалочка чуть ли не во всех областях духа), не ученый и не практик-строитель, а скорый журналист, телекомментатор, оседлавший информационный процесс и толкующий его, *как ему кажется*, — вот чем мы живем. События и факты (зачастую не бог весть какие) прокатываются по нас, как волны, то в одну, то в другую сторону, что и составляет жизнь. Мы с волнением прислушиваемся, а что сегодня, а *как сегодня ему кажется*, мы не отрываемся от его (или от ее, если это она) жестов, от улыбки или иронического прищура глаз: мы теперь до конца наших дней сели в кружок и сосредоточились на экране, то бишь на уровне бегло осмысленной информативности, мы живем (и живем не тяготясь, а уже с привычкой) на этой глянцево-меняющейся поверхности фактов, мы двумерны, и иначе нам не уследить и не понять, таково измерение времени — плоскость.

«Социализм с человеческим лицом» или «капитализм с дочеловеческим лицом» — сочетания слов еще нет-нет и всплывают, но за ними уже нет реальности. Слова уплощены, необъемны идеи. Все характеристики жизни (зато!) теперь наверху — они зримы, как кожная гладкость или, напротив, кожная болезнь. Жилье, Еда, Одежда и единица их измерения Деньги — вот что нас волнует, тесня одну за другой как былые, так и новые наши идеи и исчерпывая нас как *нас*. Русские обрели наконец быстро движущуюся поверхность жизни. Русские обрели наконец безобъемную меру. А с ней и известную горечь. (Ах, где она, наша глубина!..)

В СВОЕМ ОГОРЧЕНИИ МЫ НЕ ОДИНОКИ; более того: мы только теперь и приобщены к большому числу уже огорченных. Вот уже несколько десятилетий Запад (в особенности Европа) волнуется та же проблема уплощившейся жизни. Интеллигенция только и говорит (и пишет, много пишет) о том, что человек перестал быть гомо сапиенс и что глубина духовной жизни невосвратно утрачена, а по следам утраты — шаг в шаг — подкралась известная беда: смещены нравственные оценки. (По общепринятым меркам добро и зло вовсе не отличимы — вот о чем они пишут. Адольф, любивший свой народ, любивший детей, животных, — не сходящий со страниц иллюстративный пример). Тоталитарные режимы XX века если не доказали, то, во всяком случае, показали, что человек (Человек...), предоставленный самому себе, своим планам и идеям, страшен. И в страшности этой нет случайности. Скорее закономерность. То, что высмотрено внутри каждого из нас Достоевским и его школой, нищестанство, фрейдизмом — ведь это *мы*. Но и это (как многие теперь догадываются) еще далеко-далеко не все. Оттого-то человеку и нельзя доверить никакую, хотя бы и самую замечательную, серьезную идею. (И — вообще говоря — никакую серьезную мысль.) Человек не есть гомо сапиенс. Возможно, никогда им и не был, если без самообмана. А мысль его только тогда и была мыслью, когда она была производственно-технологической. То есть мыслью о труде и мыслью о природе, но не мыслью о человеке. Так что человек может жить только шаг за шагом, потихоньку, не дергаясь и не пытаясь самого себя опередить. Человек может (и должен) двигаться только так, как *она само* движется: перемещаясь во времени в некую назначенную ему эволюционную нишу, как вид растений или отряд животных. То есть так, как его и ведет его биология: процесс естественных изменений.

Потому и говорят и пишут не об очередном историческом тупике (тупики бывали и раньше), а о *конце* истории, ибо какая же история может быть у биологического вида, даже если он очень развит, имеет компьютеры и ракеты, однако же по всей своей сути живет *видом*, а не *индивидом*? Можно говорить об эволюции, о накоплении изменений, об отдельных гипертрофированных органах (скажем, об интенсивной мозговой деятельности), о мутантах и даже о внутренних законах развития вида в целом, но никак не об истории — истории скажите бай-бай!..

И только на этом спокойном внеисторическом пути человеку воздастся (и уже воздается) самым высоким за все времена уровнем жизни. Человек будет жить пульсирующей биологической общей массой. Это лучшее, что у него есть. И это не только острастка. Если человек (индивидуум в поисках некоей сверхидеи) и захочет вырваться из нынешнего общего контекста (из биопроцесса) — он не сможет. Во-первых, ему не дадут. (Это как раз острастка: люди, кажется, больше уже не позволят кому бы то ни было, хотя бы и с самой гениальной идеей, вмешиваться в ход времени.) Во-вторых (и в главных), ему не суметь. Ищущему индивидууму (хотя бы и гению) уже не суметь связать реалии нынешнего дня с предыдущей историей, притом что проблемой несвязывания как раз и стала сама реальность. «Ему не суметь» — это ведь приговор. Реальность, к которой ты (он, я, кто угодно...) обращаешься для исследования, как бы исчезает. Ход твоей мысли весь из шажков, из предыдущих шагов общечеловеческого процесса, в которых уже загодя закодирован наш перманентный страх. Ты погружаешься не в факты, а в книги прошлого. Ты не можешь повлиять, ты весь из цитат. А реальность меж тем продолжает идти своим путем. Все это и называется теперь в европейской мысли — *концом истории*.

Определившаяся в этих двух словах озабоченность является сегодня приоритетом для умов Запада. Высокий уровень жизни, чистые улицы, уютные кафе, улыбающиеся люди. Все существует. Все движется. Жизнь, вне всякого сомнения, идет, и в то же время словно бы не мы живем, а некая общая биологическая жизнь *живет* нас, проживает нас. (Мы ничего не хотим сверх. Мы не хотим никакой мысли о нас самих. Мы будем держаться общечеловеческих ценностей, а в остальном пусть идет как идет.)

«КОНЕЦ ИСТОРИИ?» — так называется уже знаменитая ныне работа Фукуямы. Автор в финальном абзаце признается в ностальгии: *«...конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чистой абстрактной идеи, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала...»*

Многие русские могут сегодня сказать: «Мы — тоже». (Мы тоже ощущаем эту ностальгию. Ощущаем, впрочем, пока сдержанно.) Мы — часть Европы, и вместе с ней мы тоже придвинулись к концу истории. Да, с отставанием. Да, с заметным. Но сама разница (отставание, отстояние) на три-четыре десятилетия для хода истории, в сущности, так мала — миг! неполная секунда!.. Вероятно, поэтому, когда на Западе, итожа век, не просто говорят — кричат о крушении гомо сапиенс, о переходе к *общей биологической пульсации* взамен всем известных и когда-то сделавших Европу Европой великих прорывов индивидуального мышления нынешние русские без труда понимают, о чем речь. (Блага и высокий уровень жизни еще как далеки от России!.. Но главные симптомы самоощущения у нас уже налицо: мы тоже боимся идей, хватит с нас, хватит!.. Мы тоже настороже ко всякой глубокой мысли о самих себе. Не может быть у нас теперь *мысли о человеке*, нет ее. Нет и ее альтернативы — *веры*.)

Фукуяма пишет и о России, о нас: *«...из публикаций и личных встреч я делаю однозначный вывод, что... русская интеллигенция пришла к пониманию идеи конца истории за удивительно короткий срок»* — имеется в виду краткость и стремительность горбачевского времени. Слово «интеллигенция» вполне корректирует авторский прицел. Фукуяма увидел — да и как было не увидеть. Жизнь России (как и Запада) определяет в наши дни не борьба «правых» и «левых» и не борьба вообще, а биологическая пульсация самого жизненного процесса — биопульсация самой людской массы (и уже в соотношении с ней — страны, государства. Потому, кстати сказать, не так уж и важны сейчас для России границы, что живет и пульсирует не государство, а сама биомасса людей. С границами и не спешат, понимая или просто чувствуя это).

Конечно, у нас слишком медленно обновляются как витрины магазинов, так и технологии. Конечно, мы, как всегда, слишком долго раскачиваемся (русские медленно запрягают, но быстро едут) — но уж когда наберем наконец нужную скорость, мы, может быть, еще более решительно, чем Западная Европа, отставим в сторону идеи и сам институт идеи, запрятав навсегда в бабушкин сундук свой внутренний мир заодно и с загадкой русской души. Зачем загадки и зачем вообще смятения души, если у нас будет прекрасная сытая улыбка, открывающая здоровые красивые зубы?.. (Не ирония. Это и вправду вопрос: зачем?.. Наши молодые парни и девчонки так и говорят — *а зачем идеи и зачем за них умирать, если у нас будет здоровье, и деньги, и путешествия?*..)

И как не поверить пишущим о конце истории (философам, писателям, журналистам, всему спектру интеллектуалов Запада — да и нашим, пусть отставшим)? Как не поверить и как не совпасть с ними чувством, если уже сотни вполне объективных исследований безусловно подтверждают некий рубеж, обозначившийся в конце нашего века? (И в конце *нашего* тысячелетия.) Устали от утопий. Устали от связанных с ними расплат и страданий. Душевная мягкость российского интеллигента и в прошлые-то времена охотно подпадала под эсхатологическое настроение (и совпадала, смыкаясь с ним). Что уж говорить о всех нас о нынешних — о наших днях, когда мы вписались наконец в жизнь Европы и в европейскую проблематику (хотя бы по главным самоощущениям).

Время дышит в затылок. Как и все, я тоже с несомненностью чувствую конец нашего века как *конец истории*, о котором так много пишут. Да, конец. Да, понимаю и принимаю, готов я сказать (да вот ведь уже и говорю, вполне соглашаясь). Но одна беспокойная мысль мне все же мешает. Неприятная, пугающая меня мысль.

НО СНАЧАЛА ОБ УСРЕДНЕНИИ — об основном, на мой взгляд, внешнем процессе XX века, с особой заметностью прошедшем в Европе. Век справедливо упрекают (хотя как можно упрекать процесс) за то, что он растратил наследие. Подтягивая самые разные крайности человека и саму его суть к некоей безликой середине, или — как я это называю — *усредняя* общество, XX век слишком много потерял из наследия предыдущих веков. И сам тоталитаризм (своеобразный триумф срединности) был, похоже, лишь эпизодом процесса.

Усреднение общества как явление и шире и гораздо мощнее, а тоталитарные режимы — лишь его частные случаи (выпирающие и грубые примеры). Итальянский, немецкий, русский (по алфавиту) тоталитарные режимы были слишком грубыми поделками срединности, которые именно в силу «грубости» своей не были жизнеспособны, не смогли устоять на ногах и попадали, разрушенные кто извне, кто изнутри. В то время как повсеместное шествие срединности продолжается в XX веке и по сей день.

К самому концу века массовое (срединное) общество возникло наконец в своем естественном виде. Возникло как в Америке, так и в Европе. (Захватив под занавес и самый крупный восточноевропейский кусок. Нас.) Можно считать, что по ходу процесса повсеместного усреднения (ища и себя совершенствуя) массовое общество избавилось от тоталитарных поделок — и двинулось наконец дальше, наполняя сбалансированной срединностью все и вся.

В эти последние годы столетия уже ясно, что XX век и без тоталитаризма похоронил бы XIX, порушив или переведав в плоскость его вызывающе красивые структуры. И только в отдельных нетипичных случаях: засидевшая во времени Россия, едва успевшая создать государственность Германия... — в этих и некоторых других странах общеевропейскому процессу усреднения пришлось пойти «нестандартным путем». То есть режимы и возникли как монстры. Их (режимы) пришлось как бы наскоро сочинить по ходу дела. В остальном же общеевропейский процесс понятен и просматриваем. А в сочетании феномена тоталитаризма и слов «сочинить», «сочинительство» как раз и возникает беспокаящая меня мысль.

МЫСЛЬ как бы и проста: а что, если эти свершения срединного человека, эти ужасающие нас тоталитарные режимы XX века, были не тупиками, а попытками?.. (Разница, разумеется, существенна: различие в том, что, однажды побывав в тупике, больше туда не идут. В то время как в направлении, означенном попыткой, непременно идут и идут вновь. Попытку *повторяют*.) Феномен тоталитаризма не выявлен еще и потому, что человеку не хочется и как бы стыдно оглядываться в ту сторону. Суть страшных попыток XX века заключалась отчасти в претензии на новую религию, смена веры — вот ведь что лежало под спудом и подталкивало, вот что вело. (Не хочется это видеть. Увы, не избежать.) Ныне здравствующие великие религии не справились с огромными людскими массами в критический момент их бытия — это следует признать. Во всяком случае, их, ныне здравствующих и великих, оказалось недостаточно, если уж массам захотелось *самим* взамен что-то сделать и «сочинить» (вот оно, это слово). Марксизм или там Нибелунги — это уж массы взяли себе в подмогу, для пущей уверенности. Они могли оседлать что угодно. Не идея овладела массами, а масса использовала ту или иную идею, чтобы более или менее прилично закамуфлировать свой стихийный, смутный порыв. (Так сочинитель использует подвернувшийся сюжет.) И уже не поддающимся опровержению видится сейчас то, что людские массы захотели *сами* найти что-то и в это «что-то» уверовать.

Разумеется, не ново, уже бывало в человеческой истории. Новым оказался сам факт, что массы *нашли* — они сумели найти себе что-то подходящее, уверовали и стали за это «что-то» стоять чуть ли не насмерть, а в иных случаях и насмерть. Именно как художник за свое творение, пусть даже пошлое и грубое, но свое. Возможно, массы и не могли придумать не пошлого и не грубого (и не жестокого).

ХАРАКТЕРНЫМ СВОЙСТВОМ МЫШЛЕНИЯ наших далеких предков была, как известно, его цельность: нравственное, эстетическое и познаватель

ное, или, иначе говоря, Добро, Красота и Истина (ищущий Интеллект), — все это в религиозно-мифологическом движении духа состояло в едином сплаве. (По этой тропинке мы шли. Мы шли долго.)

Человек XX века вправе задать вопрос: прогресс прогрессом, а что же первоначальное движение духа, создавшее сонмы героев, богов и великие религии, — что оно? и где оно?.. Увяло ли сразу при разветвлении и распаде единого духовного пространства? Или же постепенно оно истерлось в пыль под триумфально горделивыми шагами наук и искусств, перейдя навсегда в прикладное качество? Вопрос чуть иначе: было ли оно, оттесненное прогрессом, вообще живо (так сказать, *в чистом виде*) все эти века и, если да, что оно подеживало в течение долгих столетий?..

Ответ не прост. Пожалуй, да. Пожалуй, все эти столетия изначально целостное движение духа было живо (ничто *до конца* не пропадает) — однако скорее всего существовало оно в неброском и малозаметном виде. Выглянув из окна поезда, вы обязательно увидите бредущего по тропе. Но саму тропинку увидите, как бы ни мчался ваш поезд. И даже со спутника можно отличить (при нынешней разрешающей способности оптической техники) — отличить и вполне разглядеть тропинку в лесу (необязательно ведущую к военной базе, просто тропинку), а если повезет, и человека, идущего себе по тропе потихоньку, или даже группу в пять-шесть человек, например, с рюкзаками. В таком вот скромном виде и пребывает наша первоначальная созидательная сила. Мы (в этом и ответ) продолжаем ходить по тропинке.

Что имеется в виду?.. имеется в виду, к примеру, живший когда-то и знаменитый в своем селе, в своей округе какой-нибудь монах Амвросий (или силач-кузнец), о котором все местные говорили непременно с восторгом. Только и слышно было: *Амвросий сказал! Амвросий меня научил!.. Амвросий!.. Амвросий!*.. — что-то вроде живой легенды или героической фигуры, хотя и скромной своими масштабами.

Амвросий скорее всего и правда был человек необыкновенный, но молва умеет преувеличить его ум и глубину его прозрений (доброту и необыкновенную силу или умение выпить несметно водки — в случае кузнеца). Создание (сочинение) подобной фигуры, лепка героического образа в пространстве общественного мнения (хотя бы и небольшого) и есть работа той изначальной созидательной силы: одна из форм ее проявления. Конечно, помрет Амвросий, о нем сколько-то посочалеют, поохают, поохают, а там и забудут. А все же лепка образа была. Образ создан. Притом что творческое усилие молвы, пусть небольшое, не относимо ни к сфере Науки, ни к Культуре, ни к столь разветвленному нынче институту Нравственности (содержа, однако, в сплаве все три изначальных элемента, как и в былые времена). Невеликий и все же несомненно творческий акт.

Эту способность к творческому усилию неорганизованной массы людей (необязательно организованной) я называю ММ, нацеливаясь как бы обнаружить заново примитивно-цельное *мифологическое мышление*.

Ореол мученика, терновый венец, звонкая слава гения или дурная молва — все это в общем сводится к созданию *имени* (как сказали бы сейчас). Живущему человеку (или только-только умершему) придается тем самым что-то помимо его талантов и умений: прибавляется нечто свыше его самого. *Имя* (слава имени) делает его человеком иного качества. Притчей во языцех. Героём. А в давние времена даже богом, в смерть которого люди отказываются поверить. Речь, разумеется, идет не о письменном или устном создании легенд о человеке (легенды могут участвовать, пожалуйста). Речь идет о непосредственном создании из человека — *имени, знака, иероглифа*. (Знака прежде всего для своего внутреннего пользования. Знака — для самих себя. Притом что *знак* этот с руками, с ногами, с голосом.) ММ как облако нависает над людьми, выбирая себе того или этого... и вдруг решает: *вот он!*.. — и день за днем после этого лепит образ. Какой-нибудь ушедший от мира пещерный монах, и вот уже его недруги со всех сторон кричат: «Да что, собственно, Амвросий... Такой же, как все мы!» — но людская масса знай повторяет: *Амвросий! Амвросий!*.. — и словно бы впрямь сияние возникает вокруг его старческой головы, нимб.

ВЫБРАННЫЙ МАССОЙ ЧЕЛОВЕК как правило одарен (и в чем-то уязвим). Толпа его выбирает, не доверяя авторитетам. Больше того: от недоверия ко всякого рода экспертам она и лепит образ *сама*. Музыканты по сей день любят поморщиться, слыша гитарные аккорды Высоцкого. Поэты куда как хорошо видят его уязвимо неровные строки. А свободолюбивые люди, делая из него борца с эпохой, стараются забыть патриотизм его песен о войне: истинный, простенький его патриотизм, без усложненностей. (И уж тем более не помнить всуе его стопроцентно *совейский*, по его же собственному выражению, патриотизм тех песен, когда он, к примеру, радел за наших полуголодных и обиравших хоккеистов, противопоставляя (и прославляя) именно полуголодность их в пику заокеанским профи.) Все это так. Но при всем при том он стал бесконечно выше талантливых (это важно) музыкантов-песенников. Он стал выше многих сотен по-настоящему хороших (важно!) поэтов и выше многих и многих борцов за права. Он — *Высоцкий*. ММ поработало, и вот он с нами, он есть. Он — *сотворен*. (Любители общих фраз могут говорить, что талант и что-де он сам себя сотворил. Но на то они и общие фразы.)

Не доверяющая авторитетам людская масса словно бы пытается разобраться в жизни сама, она сама *пробует людьми* жизнь в различных направлениях. Она немножко слепа — и потому ставит себе вехи и вешки. Процесс познания в самом древнем смысле слова. (Образ Зевса — познание хаоса.) Именно таким образом в некоем не определившемся направлении нашей жизни был создан *Высоцкий*. И отныне для людской массы это уже знание. Это уже нечто, это уже ориентир, мир уже сколько-то познан. В хаосе и тьме (а ведь в целом людская масса предпочитает считать, что она пребывает во тьме) — в окружающей тьме людская масса поставила себе долго светящуюся гениальную звездочку: *Высоцкий*. Она ее попомнит. (Будет длить свое знание.)

Был, скажем, *Пикуль* в современной нашей литературе (хватали его книги, читали!) — но толпа вскоре разочаровалась. Ну что ж. Ну, видно, слепили задаром. А потом разрушили. (Бывает.) Творчество людских масс, как и всякое творчество, знает неудачу — труд как труд.

Отметим здесь же, что способность создавать образ — это только способность, но никак не оценка. Оценка или, скажем, переоценка будет потом. Сначала сама работа по созданию. Само творчество.

НЕ СТАНЕМ ГОВОРИТЬ О ЕЛЬЦИНЕ настоящем или о Ельцине будущем (которого мы не знаем) — и даже не о Ельцине прошлом. Напомним лишь о самом возникновении: о тех нескольких днях или даже минутах, когда Ельцин стал Ельциным, — о той, всем еще памятной поре, когда ему был устроен разнос на очередном партийном форуме-сборище. Ему тогда нечего было сказать в патовой для него ситуации. А людская масса, прильнувшая к телевизорам, знала, что провинившийся коммунист-функционер должен быть либо уничтожен (как в прошлом), либо изгнан из рядов и сурово наказан (как в недавнем прошлом). Затаив дыхание, люди смотрели, как недавний выдвиженец был ругаем и поносим прилюдно (массе впервые *дали увидеть*, вот он — ошибавшийся, падший). Он стоял и мыкал. Это невозможно сыграть даже великому актеру — всю ту его беспомощность, какую явил он людям на телевизионном экране. И люди полюбили его. В ту минуту (в одну решительную минуту) ММ сделало на полотне первое мощное движение кистью, цветное пятно — начало было положено. Он продолжал стоять на виду у всех, беспомощный, с поползшим в сторону, искаженным лицом, и говорил отдельные слова, если это можно назвать словами: «М-м... М-м...» — и более ничего. Легкая ирония позволяет заметить, что он как бы взывал именно к ММ, он умолял ММ — сделай меня, слепи меня, *сотвори*, молил он, и был услышан. По счастью, он позднее оказался ведом идеей демократии и реформ.

СУЩНОСТЬ ММ (произносится «эм-эм») определится и глубже и рельефнее, если избрать описательный путь.

Конечно, ММ можно определить как способность людей, людской массы создавать героев и богов. Мифы и великие религии в этом смысле уже свершив-

шиеся творческие акты, уже как бы написанные повести и романы, в то время как ММ — это только талант их написать. Но возникают трудности сопряжения наших дней и нереально далекого прошлого (с одной стороны Высоцкий, с другой — Геракл или там Орфей). И потому точного термина лучше сразу не вводить — пусть ММ постепенно возникнет само. (По ходу дела описательность будет сама собой окружать дефиницию словами до той неуловимой поры, пока слова не обегут круг и не сомкнутся.) Так что лишь для удобства я сразу же называю ММ, что напоминает о *мифологическом мышлении*, с ним все же не совпадая и являясь как бы подчастью более общего *мышления масс* (те же первые буквы) — особенной его подчастью. Буква «М» играет скрепляющую роль, охотно себя подставляя. *Мифотворчество масс*. Или, скажем, творчество *масс-медиа* (mass media) — то есть не талант индивидуальности, а талант взятого в массе срединного человека, которого по обыкновению талантливым не называют.

Особенно важно, очерчивая ММ как творческое усилие, отделить его не только от творчества индивидуального, но, вообще говоря, и от коллективного.

Коллективное творчество масс огромно и разнообразно и всегда в той или иной мере персонифицировано. Заводы. Полигоны. Лаборатории. Школы. Колхозы. Фермы. В каждом конкретном случае (даже в самом коллективном) человек работает все-таки *сам*, а не единой толпой. И потому к скромной сфере ММ весь этот гигантский, огромный труд народа отнести нельзя.

Даже на самом большом заводе, доискавшись, почти всегда можно назвать того, кто сделал гайку. И можно перечислить всех тех, кто сделал ракету. (А если она не полетела, найдут и автора плохо нарезанной гайки — и назовут.) Но как, каким образом назвать поименно тех, кто сделал когда-то имя забытому *Амеросию*, или тех, кто создал имя *Высоцкий*, кто слепил, сделал *Ельцина*, — никто не сделал, и сделали все; именно так.

ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ, предшествующее XX веку, явило скромность и отчасти жалкость ММ-продукции. Чего стоили Орлеанская дева или Стенька (при всей непреходящести их образов) или даже святой Бенедикт (ММ работало и внутри религий) рядом с потрясающей в своей огромности работой людей — заводы и флот, дома и дворцы, железные дороги, мосты, электротехника, радиотехника, навигация, агрокультура (перечисление заняло бы не одну тысячестраничную книгу), а ведь сюда же следует добавить еще и индивидуальные создания гениев, Рафаэль и Микеланджело, Достоевский и Гёте, Моцарт¹ (без «и», никого рядом), Ньютон и Коперник... вновь достаточно долгое перечисление, притом только самого первого ряда гениев.

Но зато ММ-работа (пусть она уменьшилась по значению и даже бесконечно умалилась сравнительно с остальной работой духа) не изменилась качественно, оставшись «верной» своей изначальной сути. Вполне мифологичен, к примеру, Калиостро. Конечно, работа небольшая, скромная, но внимания стоит. Думаю, что и превращение казака Разина в *Стеньку* было несомненным творческим актом. Оттого и остался он не только в истории, но и в текущей жизни, удерживаемый нами в памяти как миф и как миф помогающий нечто осмыслить. Можно констатировать, что в экстремальных условиях ММ работало активнее. В пороховом дыму имена полководцев были у солдат в сердцах и на слуху — имена сверкали, а судьбы обрастали легендами, не уступающими героям мифов; некоторые (скажем, Наполеон) претендовали уже на большее: на божество. (Что впрямую напоминало о былых возможностях ММ.) И если миллионы *Амеросиев*, будучи созданы, все же канули в вечность, то сколько-то имен и посейчас не забыты, они *есть*, они живут, что и говорит о не умершей

¹ О Моцарте. Помимо самих нот, помимо созданных им гениальных произведений и различных их исполнений, было создано еще и само имя Моцарт — как образ, как миф-легенда. ММ работало в музыке, как и повсюду. Но только труд ММ никем и никак не оценивался и не отделялся от трудов, созданных самим гением. А между тем следует согласиться, что Моцарт и в этом случае ММ работали в параллель.

способности создавать, *созидать*. Притом созидать не умом и не руками, не пером и не кистью, а — скажем впрямую это грубое слово — созидать *толпой*.

«Ну что тебе стоит...» — молил он ММ, как бы продолжая творить заклинание, обращенное к древнему мифологическому мышлению масс (только оно и могло его в те минуты слепить, создать, вознести). Он мыкал и мыкал, не мог связать двух слов, и все вокруг повторяли, как об Амвросии, но только в куда большем масштабе: *Ельцин!..Ельцин!..Ельцин!..* — народ словно обомлел. И с этого дня ни телекомментаторы, ни газетчики, ни даже вся пресса, стеной стоявшая за Горби, — никто не мог ничего поделать. ММ созидать умеет.

ЕСЛИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ФИГУРАХ, так был слеплен Ленин. (Вот так же — рукой и кистью толпы.) И Сталин, разумеется, тоже. И Мао. И Фидель. И де Голль. И Кеннеди. Речь (опять же) не об оценке «творений толпы». А о самой способности творить, так неслышанно выросшей в XX веке.

Всеобщий процесс усреднения как раз и вывел массы на реальную поверхность жизни: они в XX веке *пришли*. Теперь скромная их работа стала на виду — жизнь уплотнилась. (Пока ММ, пребывая в глубинке вместе с массами, лепило там своих Амвросиев, все это мало кого трогало. Но с выходом масс наверху оказалось и их ММ.) Обилие кумиров — вот главная примета прихода масс в XX веке. Постоянное созидание *имен* (по мифологическим выкройкам) — вот, соответственно, и характерное отличие нашего века от предшествующих веков. ММ проснулось.

Ортега-и-Гасет говорил о приходе масс в жизнь (уже тогда явном) как об основном процессе XX века — о восстании масс. Восстания, вообще говоря, не было — был естественный выход на поверхность все более усреднявшейся людской массы. (А восстания, если цепляться к слову, были как раз там, где процесс усреднения почему-либо задерживался или придерживался сверху. Восстания были коррекцией к замедлившейся эволюции.)

МЭРИЛИН МОНРО — часть самосознания всей Америки. То же для Запада Джон Леннон и его «битлы». В сочетании с наукой понадобилось лишь небольшое усилие ММ, и вместо великого физика А. Эйнштейна возник — просто *Эйнштейн*. (С высунутым языком. С парадоксами. И с теорией относительности, переделанной в сказки для взрослых.) А в сочетании с политикой возник «вождизм», бич божий.

Вдруг — и все кричат:

— Керенский! —

или:

— Фидель! Фидель!.. —

и образ создан, слеплен, и хоть бы вы сто раз знали некую истину, отличную от знания толпы, вы ничего не докажете. Вы просто умолкнете в бессилии.

А людская масса знай продолжает жить и творить своей подспудной *мифологической мощью* (опять ММ...). Оценочность, как всегда, не главное. Толпе подчас надо ошибиться. И она выбирает кумира, за которого сама же расплатится кровью и позором. Или — напротив — выбор обернется успехом, славой, обожествлением его надолго.

Уже в самом начале XX века лепка героев и кумиров (за триумфом — триумф) стала для ММ делом обычным, повседневным. И, разумеется, достигнув успеха в героях, ММ не могло не попытаться лепить и богов: не могло не попробовать создать религии. (Можно считать, что тем самым ММ оказалось на путях к высшим творческим достижениям.) *Божественное* — вот что пыталось теперь создать ММ. И точно так же как человека, ММ выискивало теперь и находило аналог веры или единственно верное учение, короче — некую идею: *вот она!*..

Суть скорого поиска в том, что и в случае ошибки людской массе была необходима эта вежа, в частности, вежа-ошибка. Ей был (как она, вероятно, считает) необходим опыт познания собственными силами. Именно так пришел и победил советский социализм в России. Победил и саморазрушился спустя не-

сколько десятилетий. Толпа сотворила религию, жила ею и... отбросила ее затем за истощанностью (зачем она массе, ежели она неудачна).

РАЗУМЕЕТСЯ, УРОК... (И какой урок! — вскрикнем мы.) Впрочем, превеличивать не следует. Мы, люди, малы. События нас потрясают, сокрушают, в то время как людская масса (при всех ее бесчисленных страданиях и жертвах) всего лишь учится, ходит в первый класс. Она всего лишь пробует упорядочить жизненный хаос собственными силами. Человек своего времени так или иначе переживает крушение идеи. (Клянет ее. Или упорствует в ней.) Человек... но не людская масса.

Масса сильна, вульгарна. Отбросив одну идею (и хрен с ней!), она завтра может подыскать себе другую. Что ей неудача длиной в семьдесят лет и что-ей крушение образа Ленина? (тем более Сталина, матроса Железняк и самой «Авроры» с ее знаменитым залпом?) — что ей, если впереди XXI век и она сможет, придя в себя, выдать еще один аналог веры, и опять же *на пробу*... (Кто оспорит? — разве Советы и сам социализм по-русски не были попыткой организации жизни и жизненного хаоса?..)

И Гитлер для немцев был, разумеется, не только Гитлер, но и попытка создать (созидать...) *новый порядок* в Германии. (Так перекликающийся с нашей попыткой создать *нового, советского человека, построить новый мир*...) Ну да. Грубо получилось. Жестоко. (И кровящи сколько. *Грубая работа*.) Но... но ведь первые блины комом, пояснит с не прячущейся вульгарной усмешкой людская масса. *Мы же только начали*. Ну верно, верно — ошиблись, наломали дров. Но вспомните, мол, первый автомобиль...

Здесь кстати заметить. Пересадка сердца и успехи компьютерной техники, создание пулемета или, не к ночи будь сказано, «СС-20» — все это шло в XX веке своим ходом. А ММ работало в параллель. Так сказать, на примитивном мифологическом уровне. (Религиозно-мифологическом, теперь важен именно этот оттенок.)

КВАЗИРЕЛИГИЯ, или проще, *квази*, — правильное слово. Пока разрозненная людская масса пребывала в глубинках (и не представляла собой усредненную массу), люди как-то обходились. Но вот с некоторых пор серединым людям становится тесно — они теперь слишком трутся друг о друга судьбами и бедами, чтобы не увидеть своей общей, хронической беды: незанятости души. (Недостаточности для их души существующих и уже как бы состарившихся религий.) Что и подталкивает к поиску.

И сделанный (переданный) из российско-имперского материала «новый, советский человек», и «новый порядок» в Германии, и итальянская затея — все эти попытки были похожи на некие задачи для ММ. Задачи по поиску аналога веры. Задачи, решаемые ничтоже сумняшеся, зато с размахом. Чтобы человек, начиная с такого-то дня (скажем, с 1 января или с 25 октября) стал функционировать на базе новых ценностей (забота всякой религии) — ведь это задача задач! Это на дороге не валяется и говорит о колоссальной мощи того, кто такое задумал. Конечно, на поверку все это оказалось *квази*. Оказалось — грубо. Оказалась — хамски. Но это и есть *их*, людских масс, творчество. Иначе, вероятно, и не могло быть. И тем очевиднее, что грубость, топорность явленной всему миру ММ-работы сопровождалась как вызовом *старому миру*, так и несомненными усилиями, потугами строить нечто новое. (А также жертвенностью, захватившей народную массу. Жертвенностью почти религиозного качества — вплоть до готовности за *святое* революционное дело принять смерть.)

Достаточно взглянуть на хронику похорон вождя, на тысячи лиц, которые и сейчас потрясают своей скорбью, чтобы понять, какой размах *творчества* был явлен людской массой в те дни. Придумали Ленина отнюдь не большевики. Квазирелигию создала (созидала...) сама людская масса, сам народ, его подспудное ММ. Масса сочиняла как умела. И, скажем, ленинский мавзолей был вполне в духе нового «сочинения»: святое место. И посещение его — несомненное паломничество к гробу...

Квазирелигиозное качество этих явлений (как и многих других) было очевидно. А как же всем известное безбожие, а что же большевики?!.. По сути — ничто. Атеисты (в их числе и Крупская) были, разумеется, активно против мавзолейного захоронения, имеющего слишком много общего с богом-фараоном, — но что они могли? Правильнее сказать, что они смели, если их задачей теперь только и было удержать власть, усидеть на ускользающем гребне власти. (Здесь, конечно, не о Надежде Константиновне.) И понадобилось совсем немного времени, чтобы, почувствовав квазирелигиозную нацеленность пробудившейся разъяренной массы, они (большевики) стали ей (массе) подпевать, гася под ногами народившейся квазирелигии всю свою пылкую революционность. Поняли — и стали поддакивать. Строить мавзолей вождю. Ставить памятники. Подделывать биографии погибших под жития.

ММ ДАВНО НЕ ТРУДИЛОСЬ НА ТАКОЙ БОЛЬШОЙ НИВЕ. Отвыкло. И потому многое на полотне рисовалось известными мазками, движениями кисти, взятыми из арсенала далекого прошлого. Но ведь своего прошлого — не чужого. (Возможно, дело обстояло проще: возможно, религиозно-мифологические пути вечны и при возникновении повторяемы сами собой.)

Но сначала — чистое полотно. Сначала расчищалось место (чтоб по возможности было оно без истории, без национальностей, без веры), и затем, на уже очищенном пространстве, создавались (рисовались) фигуры, и среди них мессия. Понятно, что сама революция приравнивалась к мессиянскому действу.

Понятна и динамика предопределения: все предшествующее историческое развитие вело как раз к тому, чтобы случилось то, что случилось. Восстания (время от времени) темного народа — затем декабристы — Герцен — рабочий класс — и наконец Ленин стали теми предрелигиозными актами и действующими лицами, которые определили приход новейшей религии. И (уже в обязательной связи с ней) — дальнейший ход развития человечества в целом.

Избранность народа — факт истории, так что неслыханная задвленность и терпение российского человека не могли не породить неслыханную же мечту о счастье всего человечества. Так и случилось. (Вызов — и ответ.)

До появления мессии (до Ленина) из времени сами собой поднялись фигуры пророков, необязательно начиная с Моисея-Маркса, но непременно предполагая его. Маркс как бы воззвал к ним. Чередой выходили они из времени, как из моря — рослые, один к одному. В пророках и их пророчествах важны и слова и сам ряд. Кампанелла и Томас Мор, Фейербах и Фурье, анархист Кропоткин и неанархист Плеханов, и — меняя свое место в ряду — там и тут возникал гениальный диалектик Гегель. Образовали свой ряд по лучшим образцам и апостолы — то есть современные мессии: ученики, пропагандисты его слова и дела. Свердлов, Сталин, Калинин, Дзержинский, Фрунзе, Бухарин... Каждый наш человек может продолжить (или предложить) список сам, выявив заодно вполне исторические несовпадения у разных поколений советских людей. Так или иначе нужная дюжина наберется без труда. (Но ведь не две дюжины, двух нет. Зато есть один особенный среди апостолов, поначалу любимый народом и мессией, но предавший — иуда Троцкий.) И совсем отдельно, в глубине, в своем скромном, благородно-окровавленном ряду замерли мученики, от Сергея Лазо до Сергея Тюленина...

Возникали проблемы. Скажем, жена Ленина, каким быть ее образу?.. На канонизированных фотографиях Надежды Константиновны прежде всего бросается в глаза оттенок высшей честности, святости. В глазах простого человека ее образ несомненно тяготеет к образу божьей матери: заступница, ходатай за репрессированных и обиженных. Справедливость и точно требует отметить ее противостояние гневу Сталина, а также участие во многих других добрых (богоугодных, если по-старому) делах и начинаниях. Но как совместить функциональность божьей матери со словами, сказанными однажды Крупской о В. И. Ульянове? «Революция нас сблизила. Но главное — у нас была любовь. У нас была страсть».

И понятно, что ММ хорошо потрудились, сумев создать именно такое (отнюдь не простое) двуединство: она *мать* бога и она же — *жена*. Вполне вероят-

но, что образ созидался с невольной прикидкой на куда более сложное таинство — на ту подчасть христианского триединства, где мессия был и *сыном бога* и одновременно *богом*.

Была ли вся эта работа ММ в послеоктябрьский период приблизительным (хотя и старательным) слепком со своих же собственных давних-давних работ? Или же (вне ученичества) была явлена грубая, но новая и отчасти независимая попытка созидания в вечном направлении — *в направлении религии?*.. Трудный вопрос. Скажем только, что это была *первая* работа ММ после длительно-го, многовекового простоя.

Многие потешаются сейчас над Павликом Морозовым, возвышаясь тем самым в собственных глазах над целыми поколениями гомо советикус. А между тем и в Павлике Морозове новизны не было: более того, в каждой большой религии непременно есть своя Варвара Великомученица, которая выступила против родного отца. И которой отец, ненавидя новую веру, отсек голову. (В случае Павлика Морозова с ним расправились *за отца* дед и бабка.) Над Варварой Великомученицей тоже посмеивались. А уж бедный Павлик вызывает просто хохот. Однако же историк (и необязательно христианин) найдет Варваре Великомученице свое обязательное и существенное для религиозного момента место. И Павлику, кстати сказать, тоже. (Рисовали как умели. И в общем, считались с образцами.)

КВАЗИРЕЛИГИИ СОТРСЯЛИ МИР в XX столетии, интеллект уал растерялся. Готовый как-то смириться с издержками прогресса и даже с истощением недр, гомо сапиенс не ожидал от хода времени проявления столь взбесившихся масс, их первобытного ММ... И что же теперь? они будут и дальше *созидать* всей своей людской массой? толпой?.. — задается гомо сапиенс вопросом в ужасе от творчества толпы, от ее стремительного выбора того или иного подобия религии (той или иной квази). Возникает предчувствие. А нынешнее как бы затишье уже не обманет чуткий ум. Не стоит забывать, с какой скоростью большевики овладели Россией. И стоит попомнить, кстати, что скорость распространения и простота формулировок — свойство всех религий, а в силу этого и квазирелигий тоже.

Скромную, малозаметную тропинку, по которой долгие века шагало ММ, уже не узнать: тропа необыкновенно расширилась. А ММ знай наращивает свой шаг. Относительные неудачи XX века (первого века капитальной ММ-продукции), то бишь крушение квазирелигий, вряд ли охладят людскую массу, взятую в целом, так как дефицит веры и усреднение общества — главные составляющие квазирелигий — продолжают работать на ММ.

Конечно, рядом с разбухшей ММ-тропой продолжают мчать по шоссе прекрасные автомобили самых совершенных марок. Но если людская масса запрудила площадь и если люди, как водится, идут плечо к плечу, намного ли машина быстрее человека? Машина может вовсе стать, не в силах продвинуться и на шаг. Владелец ее в итоге из машины выйдет и вмиг сольется с толпой, проглоченный ею. (Что значили, скажем, гениальность Циолковского и интеллектуальная и организаторская мощь Королева, если ракеты стали принадлежать советской квазирелигии с той же легкостью и обязательностью, как стул или таз.)

КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ билась в нашем веке с проснувшейся людской массой!.. Меряя массу своей собственной (личностной) мерой, они словно бы фехтовали с воздухом, нанося уколы незримым (и вполне неуязвимым) струям воздушного потока. С поразительной чуткостью услышал шаги тысячных толп Ортега-и-Гасет в «Восстании масс», где он и высказался на этот счет без обиняков. Разумеется, бой за свободу личности от всякой толпы, в том числе и усредненной, не может не впечатлять. Отвага Ортеги — отвага противостояния культуры пришедшему на площадь многоликому рабу, то бишь людской массе (о «грядущем хаме» писали и наши апокалиптики, но не так умно), — бескомпромиссна и благородна. Однако Ортега едва-едва перевалил половину века. Не дожид. Не его вина. С точки зрения конца века, он

(такой умный) видел *восстание масс* там, где была слепая, полурелигиозная *работа масс*: первые поделки проснувшегося мифо-религиозного сознания.

И Камю всерьез полагал, что в XX веке речь идет о *бунтующем человеке*. (Романтика бунта, романтика борьбы без правил ослепляла. Как и положено ослеплять нас, наследовавших романтическим векам.)

Сизиф, непокорность смертных, абсурд бесстрашия — сколько красивых образов и высоких слов, так далеких теперь от нас, продолжающих жить в последние годы XX века. Нам уже слишком заметно, что Камю (мощная индивидуальность), чтобы людскую массу понять и по-своему простить, ставил себя (Альбера Камю) на место срединного человека. И своей собственной личностью объяснял суть: объяснял, как бы он, Камю, будучи рабом, мог бунтовать и какой бы в этом был непреходящий (хотя и трагический) смысл.

Абсурден творческий (и одновременно смертный) индивидуум, но нет абсурда в толпе на площади, в яростном и все сносящем беге толпы (как, скажем, и в беге лошади), никогда не знавшей и не знающей посейчас о том, что она смертна. Срединный человек полагает, что он как раз и отдаляет смерть, принимаясь за свою примитивную мифо-религиозно-творческую работу: за безжалостную расчистку площадей (под квази) в общественном сознании для капищ и памятников новым идолам.

ЖИВОЙ ГОЛОС ТОЛПЫ воспроизводим. Бодрийяр ввел термин — исчезающая реальность. ММ отвечает: «Верно, мэтр. Для вас, пишущих и думающих, реальности уже как бы нет. Но зато я (ММ) леплю ее, как глину, *беспременно...*» (Людская масса творит напрямую — из живых, и теплых, и движущихся имяреков делая Мэрилин Монро или Мао.)

И не *исчезающая* реальность, а, быть может, *ускользающая*, иронизирует над пишущим человеком толпа (мол, может, перевод с французского утратил слегка в оттенках). Мол, жизнь живая так и будет уходить, *ускользать* от писателей, философов, интеллектуалов все более и более, поскольку в XX веке ее перехватило ММ, религиозно-творческое рвение толпы... (Квазирелигиозное, скажем мы.)

Но если всерьез-то — разве хоть один из вас (*продолжает толпа*) способен состязаться с ММ, у которого как-никак в ряду достижений прошлого есть такие ослепительные мифологии и великие религии?.. неужели кто-то из вас может бросить вызов — вы только *вдумайтесь!* ведь это не книгу написать и не эссе предложить — *религия*, вот ведь как!..

Так неужели кто-то из вас в здравом уме и твердой памяти может решиться на что-то подобное? кто?.. Назовите имя. Пожалуйста, имя. Нет-нет, разговоры побоку — *имя!*.. Чего стоил в своих попытках и в своем стариковском вызове хоть Лев Толстой? много ли преуспел?.. Или вот Ницше. Уж на что отчаянен. И сколько проповеднического жара в его Заратустре! И ведь как похоже на истинное пророчество, как поражает новизна мысли и каменность текста. А что в итоге?.. — а в итоге великий философ, место на полке философов, *не более того*. (Место на полке философов после смерти и место в психиатрической клинике при жизни. Оставь надежду всяк *не туда* входящий...)

Толпа (людская масса) продолжает с некоторым даже снисхождением в голосе: «Н-да-а-а... Ваше время на исходе, господа сочинители и господа мыслители, — сумерки, ночь. А вот мы, массы, только начинаем. (Если надо, мы прихватим и ваши идеи.) И весь XX век — это *наше* утро...»

СТРОИТЕЛЬСТВО БАШЕН, которые не достигли высоты неба, а потому и были разрушены или разрушились сами, — вот что напомнили квазирелигии XX века.

Но ведь и в XXI веке великие религии прошлого вряд ли, увы, усилят свое влияние. Недостаточность (незадействованность) веры будет подталкивать вновь гордыню срединного человека к действию. Незанятость неба будет да-

вить. И чтобы заполнить пустоту над головами, усредненная людская масса будет снова и снова возводить башни. Отважные чертежники наметят ничтоже сумняшеся этаж за этажом. А чтобы занять трудом весь люд (до последнего человека), чертежников в свой час сменят обожаемые массой надсмотрщики-герои и надсмотрщики-полубоги. Они, конечно, появятся не промедлив. (ММ их создаст, и какой же простор для творчества!) Орлиным взором полубог будет наблюдать сверху, ударом ноги сталкивая с башни вниз, на землю, на груды стройматериалов, неугодного (или уставшего) чертежника. О простых работах и говорить нечего: их будут класть взамен кирпичей. Миллионы и миллионы жертв в угоду башне, а затем неожиданная ее самоисчерпанность. И остановка строительства. И — саморазрушение... (Все это мы знаем.)

Можно, разумеется, и на саморазрушающееся строительство в грядущие века смотреть с оптимизмом. И думать (и верить), что однажды пробы увенчаются и некая новейшая великая религия воссияет. И ведь как-никак массы обрели голос, нашли себя. И никакого вам *конца истории* — скорее уж и впрямь ее своеобразное начало. Отчего бы и не увидеть в творческом порыве масс, так явно означившемся в XX веке, очередной виток вечно продолжающейся жизни (и заодно — пинок под зад всей эсхатологии, вместе взятой). Можно думать над этим и этим жить. И, предчувствуя приход, «всем сердцем, всей душой слушать музыку» грядущих квазирелигий.

Но можно смотреть с пессимизмом. И даже ощущать признательность природе за то, что жизнь коротка и что мы дальнейших творческих усилий толпы не увидим. Новые квазирелигии — это новые в угоду им (для их фундамента) бесконечные человеческие жертвы. Разумом еще как-то можно понять, охватить, посчитать, назвать со всей гласностью 10 или 25 миллионов репрессированных и казненных. Ума на это хватит. Но не хватит сопереживания. (Не вместить.) Сердце человека попросту устает понимать и оправдывать: мол, все это *мы* и все это *наше*. Тихая радость, что мы как-никак смертны и что, слава богу, увидим не всю новизну очередного века, — вот что венчает чувства человека, заканчивающего жизнь на естественном изломе тысячелетия. Мы пожили. Мы свое пережили.

Как оказывается, выбор меж оптимистическим взглядом и пессимизмом — не столько дело вкуса или менталитета, сколько довольно простое дело души. Выбор по склонности. Когда в гигантском концертном зале, в *лужниковской* *ше* молодая и свежая толпа, раскачиваясь в такт, вздымая руки и ревя, срастается с ритмом поющей и прыгающей гениальной рок-звезды, можно не сомневаться в том, что все они уже сейчас, в эту минуту, живут в предрелигиозном состоянии. Кто способен часто творить кумиров, тот хочет и готов верить. Кто лепит героев, непременно станет лепить богов. ММ трудится ежедневно, ежедневно. Массы творят... Будут ли тоталитарны или охлотарны новые квази, мы не знаем, но сам факт их прихода можно предчувствовать. Даже в нынешнем временном (и временном) промежутке и как бы затишье.

А ЖИЗНЬ МЕЖДУ ТЕМ ИДЕТ...

А жизнь между тем идет личная. Семья, если в ней нет детей, на сленге демографов называется *прокольной* (от слова *прокол*). Определенный процент таких семей предусмотрен и точно посчитан, так что для глобальной жизни людских масс жизнь некоей человеческой пары и в этом смысле вполне незначуща. И когда у мужа и жены Шумиловых умер ребенок (ничтожно маленький, почти сразу после родов) — это исключительно их событие. Они долго не заводили детей, они только-только решились. Жена теперь болела, была слабой и жалкой.

Их отношения, как это случается после утрат, стали проще и лучше. (Как он сам иногда говорил — интимнее.) Им было под сорок, он немного старше. В обход горечи они оба почувствовали теперь особую толику счастья. Многого, прежде осложнявшие им жизнь, вдруг отступило. «Ты засыпаешь?» — тихо спрашивал он, и она с улыбкой, с ощущением счастья говорила: «Да...» —

муж лежал рядом и долго держал в своей руке ее тонкую руку. Она спала. Он вставал (среди ночи) и шел на кухню, где выкуривал сигарету, дыша в открытую форточку. Ему казалось, что так он обдумывает что-то важное. Покуриив, он тоже засыпал. У них оказалась одна группа крови, и когда врачи сказали, что переливание крови ей поможет, он тут же подставил свои руки — берите. Провели три полных курса. Она оставалась слабой, хотя лицо ее посвежело.

Но она уже пошла на работу, и тогда-то были замечены в ее муже перемены. Она хорошо и вкусно готовила, а он как-то странно воспринимал то, что все их приятели и друзья от ее стряпни в полном восторге. Он, конечно, пробовал. Он медленно разжевывал пробный кусочек. (И пожимал плечами.) Стояла брежневская пора — то время, когда, как говорят теперь экономисты, мы продали свою страну. Удивить в те дни хлебосольным столом, закусками, отменной выпивкой на фоне изнуряюще долгого и приятно расслабляющего душу застолья (иногда с пением песен, а под занавес с танцами, с умеренным, но веселым развратом), — удивить всем этим было трудно. Гуляли много: съедены были горы и выпиты моря. Но, стало быть, даже в то время приготовления и закуски его жены были замечены и похваливались особо. К ним в гости даже напрашивались, метя на еду, во всяком случае именно с этим к ним приходил С. (также и мой приятель), отменно певший песни бардов.

А муж, когда происходила смена блюд, прежде чем есть, вновь брал небольшой кусочек и медленно-медленно жевал, словно бы уже заранее ожидая пересола.

— Да? — спрашивал он. — Понравилось?..

Иногда он бросал гостей и (в галстук, хорошо одетый) входил на кухню: стоял там и смотрел, как она режет лук, крошит сельдерей и сухую (запасенную на зиму) петрушку, как ссыпает тонко порезанную картошку в кипящую воду. «Хочешь помочь?» — спрашивала жена. Он усмехался, поглядывая на ее снующие маленькие ловкие руки: «Могу помолоть кофе». «Чудесно!.. Помогите, помогите мне. Не успеваю...» Он включал кофемолку, все еще пребывая в несколько необычной задумчивости. Но в конце концов вечер кончался — гости уходили.

Ночью она стала засыпать после него, вот что его тоже удивляло. «Прежде я словно проваливалась в яму. А теперь какие-то мысли, мысли...» — оправдывалась она. Он улыбался: «Расскажи...» «В том-то и дело, что мысли такие мелкие! Даже рассказать нечего...» «Я думаю, ты просто стала здо, вее» — и тут он брал ее руку в свою, как делал во время ее болезни. Он долго держал то в одной, то в другой ладони. И мягко настаивал: «Ты все-таки засни сегодня первая, ладно?»... Тишина. Дыхание ее стало ровнее. Он пошел покурить, но вернулся. Он стоял в темноте посередине комнаты:

— Наташа, я же чувствую, что ты не спишь.

Она негромко откликнулась, призналась: «Да... Мне беспокойно», — а он сел к ней и опять держал ее руку в своей, словно бы дав себе слово не уснуть сегодня раньше нее (и вернуть себе то счастливое в прошлом состояние, когда она уже спит, а он пять или иногда десять минут как бы сторожит ее сон). Ей было томительно, жарко. Она вдруг разнервничалась. Он принес ей воды, после чего она наконец уснула, а он пошел на кухню и выкурил долгожданную сигарету, один в ночи.

Тогда (он как раз докурил) ему и показалось, что в квартире, кроме них двоих, есть кто-то еще. Кто-то стоял в темноте коридора. Он негромко окликнул темноту: «Кто там?» Он мужественно прошел по всему коридору, ощупью трогая стены, чтобы задеть рукой, если гость телесен, как все мы. Он лег спать (волевым усилием он не дал себе вернуться и еще раз покурить на кухне). Он даже уснул на время. Но темный гость все стоял в коридоре и исчез только к утру, к рассветному часу. А утром он сошел с ума и убил свою жену (она собиралась на работу), толкнув ее так, что она ударилась головой, или же ударив тяжелым — это осталось невыясненным.

Тут появляется (в рассказе и в их квартире) тот самый С., что любил покупать и неплохо пел песни, числясь в их семье отдаленным приятелем (С. был и моим приятелем, у него вообще было много приятелей).

— Он был мой сослуживец. Я и зашел к нему, забежал просто как к сослуживцу — вот и все! все!.. — рассказывал мне С., весь в гнев после первоначальной растерянности.

Так получилось, что сошедший с ума сослуживец, открыв дверь, провел С. в комнату. А потом то ли сказал спокойно, то ли попросил, мельком указывая на полосатый диванчик в глубине другой комнаты — дверь была приоткрыта, диванчик просматривался: «Жена спит. Постереги, пожалуйста, ее сон. Пусть поспит. Я скоро вернусь...» — и тут же ушел, так что С. не успел ни расспросить, ни даже удивиться. С. остался в чужой квартире, запертый на ключ. Остался один, без возможности самостоятельно выйти. Убийца-сослуживец ушел в город и, как после выяснилось, делал разные покупки и терпеливо стоял в очередях. Жена еще с вечера ему сказала, что нельзя же переезжать на снятую ими дачу (лето надвигалось, переезд был намечен на субботу) — нельзя же уезжать за город без запаса еды.

Через какое-то время С. увидел, что женщина на диванчике в той комнате лежит, слишком уж раскинув руки; он подошел ближе, увидел, что она убита (пролом в голове был невелик, пятно крови). С. попытался выйти из квартиры, подергал дверь. Сколько-то пометавшись, покричав в замочную скважину, он все же собрался с духом и позвонил в милицию. Позвонить оказалось тоже не просто, телефон был испорчен. Неясно зачем, сослуживец (вероятно, утром) изуродовал телефонную розетку, поддев и грубо выворотив ее из стены, скорее всего одним-двумя резкими движениями отвертки.

Когда С. рассказывал мне (как и всем прочим многочисленным своим приятелям) эту страшную быль, он все время повторял:

— Я и думать не думал, когда звонил ему в дверь, что там такое произошло!

— Понимаю...

— Пришел к ним просто так. Пришел на пять минут — как я мог знать?!

Его потряс сам момент перехода из одного состояния в другое. Когда он пришел к ним и стоял у двери, он еще ничего не знал: он просто стоял перед дверью, протягивая руку к кнопке звонка. Один С. был до той минуты, как вошел, — другой С. был после.

Дверь никак не вмещалась в его сознание. В двери был настоящий дверной замок с настоящим металлическим ключом и без всяких там изящных щелчков (напротив, с хорошим ясным звуком поворота, если уж так случилось, что тебя запирают). Так и случилось. Английский замок тоже был, С. без труда его открыл, а вот нижний замок, ключевой, открыть, конечно, не мог. Этаж высокий, балкона нет. И он вынужден был оставаться наедине с мертвой знакомой ему женщиной. А ведь пять каких-то минут, всего пять минут назад С. был снаружи. И он мог вовсе не входить в дверь. У него ведь не было никакого особенного к сослуживцу дела. Мало ли как! Он ведь мог раздумать, расхотеть в последнюю минуту. Повернулся у двери и шагнул назад к лифту — и все! ушел! (Хотел, мол, по-приятельски зайти, но раздумал...)

Следователю случай показался не очевидным. Расспрашивая мужа-убийцу, потратили уйму времени и, конечно, потерзали его полной мерой. Бедняга в свои редкие светлые минуты никак не мог поверить, что он убил. Ему показывали жену то мертвую (фото), то живую (фото). Приглашенный эксперт допытывался особенно: у него составилось мнение, что она собиравалась идти на работу, муж ударил ее в висок щипцами для колки орехов, убил, а после счел нужным симулировать сумасшествие. Эксперт настаивал, что убивший жену испугался и решил симулировать: стал настраивать себя на безумие... и сошел с ума. Эксперт несколько раз его спрашивал:

— Перед сном вы держали ее руку в своей руке. Вспомните, о чем вы думали, — ведь ее лица в темноте вы не видели, вы просто держали руку, так?..

Но если муж-убийца, отнюдь не прощенный, но отчасти оправданный сумасшествием, вполне узнаваем, то С. так и остался тенью без лица, статистом без роли (возможно, неосознанно это его и нервировало). С. очень общителен — но разве за это наказывают? он просто многовато имел приятелей, разве это криминал?.. С. никак не мог осознать, что же, собственно, с ним про-

изошло. Он даже отдаленно не видел себя в каких бы то ни было отношениях с убийством. Чуткий и по нынешним временам вполне интеллигентный человек, С., когда его дергали и без конца вызывали и одну за другой показывали ему фотографии убитой, находился в состоянии тихой непрекращающейся истерики и повторял одно: «Я думать не думал об этом, когда звонил ему в дверь...»

Известно, с какой силой человек не хочет знать ничего для себя неприятного, тем более ужасающего, если это неприятное или ужасающее не пришло к нему в причинно-следственной последовательности, проще говоря, если он сам в какой-то степени все это не заслужил. Если он заслужил, он тоже не хочет. Однако если заслужил, он хотя бы не возмущается так рьяно. Не кричит в потрясении: «Дверь! дверь!.. Зачем я только вошел в ту дверь!» — далась же ему дверь, право. Таково бытие: человек считает, что все приятное, красивое и доброе может (и как бы должно) приходиться к нему безо всякой причины и заслуг. За просто так. К красивому и доброму *за просто так* мы готовы, мы — пожалуйста.

Я помню в своем детстве чудесную дверь (хотя, вероятно, она была самой обычной дверью) — помню то замечательное зимнее утро, когда я стою и жду отца, который, перед тем как пойти на работу, поведет меня в детский сад. Не поведет, а *повезет* (санки, снег под полозьями). Я еще мал, младшая группа, так что никак и ничем я не заслужил то утро, то тихое счастливое ожидание и ту памятную мне дверь дома. (Дом двухэтажный, со множеством соседей, конечно. Я уже спустился вниз. Вышел на снег. Стою.) Чувство в том возрасте еще не могло усвоиться вполне, но уже и тогда я не сомневался, что детство *для меня*, что для меня и со мной эта слегка заснеженная большая дверь и что, по сути, она — *моя*...

...Я стал успокаивать С. (он все больше нервничал) — я говорил: вспомни, мол, из детства, вспомни, говорил я с некоторым даже пафосом, вспомни первую свою дверь, вспомни первую минуту жизни, и она безусловно окажется приятной, теплой сердцу (я так и говорил, *приятной, теплой* — весь набор слов), — наша первая дверь непременно тепла, она нас греет, она нас *впускает*, разве нет?..

С. даже взбесился на миг:

— Да что ты мне городишь?! — заорал он в сердцах. (А ведь милый, интеллигентный человек. Правда, у него много приятелей, но разве это такой уж грех?) — Да что ты городишь! Что мне до детства и что мне до прошлого, если мне сейчас погано?!

Он взмахивал рукой, губы прыгали.

— Мне сейчас скверно — понимаешь ли, сейчас! Отдай мне мое *сейчас!*

В конце концов С. успокоился сам. (Оказалось, мои реплики только подливали масла в огонь. И как только я смолк, С. притих тоже.) Но прежде чем успокоиться, он еще раз взорвался, кричал про *сейчас*, про *дверь*, губы шлепали, и в конце концов его даже вырвало. С. успел зажать рот — метнулся и вскочил (именно вскочил, как вскакивают в вагон тронувшегося поезда) в сортир.

Мы помолчали. Можно было считать, что его стошнило от моих слов. И что своим многочисленным приятелям еще год или два он будет по инерции рассказывать всю эту историю и заодно — каким образом и от чьих утешающих слов его *даже рвало*. (Но он не будет рассказывать. Он из смущающихся.)

С. уже был спокоен.

— Извини. Я не прав. Я что-то расшумелся, — повинился он.

Мы еще помолчали.

В этой не слишком сложной психологической ситуации мы теперь как бы поменялись ролями. Оттого что слов не нашел я, С. нашел их сам. И теперь все эти правильные слова он говорил мне (а я слушал и кивал, словно это я был донельзя взвинчен и расстроен).

— ...Ты подумай о бедняге, которого упекли в психушку. (То есть о сошедшем с ума, об убийце.) Вот о ком подумай. Я просидел за запертой дверью час? или сколько?.. — очень разумно рассуждал, растолковывал С.

— Ты говорил — полтора.

— Ну, полтора. Ну, два часа... А ведь он останется за запертыми дверьми психушки всю жизнь. И заметь, никто его оттуда ждать не будет: у него теперь нет жены.

Я кивал:

— Да... Да...

Следователю о своем пребывании в той квартире С. рассказывал совсем коротко. Он изложил *версию* (и, вероятно, поступил правильно). Зато уж на нас, на своих приятелей, он подробности сыпал горой, и к подробностям каждый раз была еще пестрота пояснений, сумбурных и противоречивых (которые, вероятно, в его сознании сменялись каждый час, набегая волна за волной), — но эти-то сбивчивые пересказы и облегчали ему душу. Бедный С.! Знакомая женщина лежала на том полосатом диване, откинув левую руку, и в голове ее темнел небольшой пролом, пятно. Похоже было, что в волосах у виска заколот цветок, он так сначала и подумал, *спящая с цветком*. Когда С. пытался позвонить в милицию, руки его сильно тряслись. Так и этак покрутив телефонный аппарат, он отправился на кухню, где и отыскал в хозяйственном ящике отвертку, нож. Присев возле телефонного ввода, он вывернул шурупы и из небольшой ниши в стене вынул покореженную розетку. У С. обычные руки интеллигента, не очень-то умеющие починить или что-то сделать, но нужда заставит и песенки петь — в гнезде розетки он высвободил провода, подвел ближе и терпеливо их оголил. Соединил напрямую с телефонной вилкой.

Минуту, когда С. оголяет провода, когда он мягко скоблит их ножом, счищая и помалу обдергивая обмотку («Я пробовал ее стянуть зубами, веришь?»), — эту тихую минуту, когда человек молча сидит на полу (розетка в стене расположена довольно низко), сидит и скоблит ножом проводок, потом второй проводок, потом опять первый до тусклого блеска, можно без труда представить и пережить.

Взяв наконец трубку в руки и ощутив, что телефон дышит (душа ощутила сразу, еще до гудков), С. набрал номер и заговорил, стараясь оставаться спокойным:

— Алло. Милиция?.. Бытовое убийство. По улице Третьей Строительной, дом номер...

Усилием воли он не дал прорваться волнению: сообщив, он тут же повесил трубку. Иначе он непременно стал бы сбивчиво (и торопясь, торопясь!...) объяснять дежурному милиционеру, каким, собственно, образом он про убийство узнал и каким случаем он сам, запертый, по этому адресу оказался.

С. сказал, что только после звонка в милицию к нему стал вполне возвращаться рассудок: Он обдумал свое положение. Он даже приблизился к ней (с рассудком вернулось и хладнокровие) — прошагал в ту комнату и подошел близко к убитой, нет, нет, он держался от нее на расстоянии нескольких шагов, чтобы не оставить слишком близко следов своих ног; он смотрел на нее издали, на бледное лицо, на пролом в голове, похожий на розу. Сдержанно стоял он в отдалении, навек вбирая, как она лежит, и в особенности эту ее откинутую за голову левую руку. Он признался мне, что боялся тронуть дверную ручку или стену, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Он не посмел опереться о дверной косяк, хотя его едва держали ноги. Такие вот долгие минуты. Он стоял около, она лежала на диване с белым лицом и с розой в волосах, а муж (без треугольника не обойтись, хотя бы и внешнего) пребывал в это время в долгих очередях, набирая там и тут нехитрых наших продуктов для переезда в субботу за город. Он двигался вместе с очередью, медленно переступая шаг за шагом. Он купил несколько банок консервов, купил хлеба, удалось купить свежего печенья, так что руки его были уже сильно оттянуты сумкой.

Он тогда открыл дверь и сказал С., который только-только к ним вошел: «Ты видишь, она там лежит?.. Это она спит. Давай-ка мы ее перенесем. Ты мне поможешь. Вон на тот диван...» Сослуживец был несомненно сошедший с ума, с лицом тихим и безумным.

С., оцепенев, а затем двигаясь как в вате, помог ему перенести ее (он обстоятельно рассказывал, как это было) с постели на диван. Кровь уже запек-

лась в проломе ее виска, но при движении сколько-то капнуло на одеяло, на котором они несли. «Постереги ее. Я сейчас. Надо успеть чего-нибудь купить. Нечего взять за город. Но стуженка есть... Эти переезды когда-нибудь сведут меня с ума!» — легко рассмеялся сослуживец, полагая, что для человека сумасшествия — это что-то, вообще говоря, далекое и странное, над чем можно смеяться.

И ушел. Дверь хлопнула. И онемевший С. стоял посреди комнаты один, не понимая, что ему следует теперь делать. Он еще не знал, что розетка телефона испорчена. Он не знал, что заперт на ключ.

ТРИЗНА

Рано польсевший, эгоистичный, слабый характером, всегда как-то торопливо пивший водку и (главное) нервный, непереносимый в общении — вот весь Кирюша Киндиуров, тридцати пяти лет. Но ведь тоже жизнь. В последнее время он все куда-то уезжал-приезжал (и многие в их подмосковном поселке об этом говорили — любопытствовало). Жил Киндиуров со старухой матерью. Он давал ей сколько-то денег, отсыпался, молчал — и опять уезжал. Но, видно, денег он давал совсем мало, они ссорились, и, как рассказывали соседи; мать кляла его последними словами. Соседями их была молодая и известная в поселке семья: красивая продавщица (всегда в магазине, на виду!), ее муж-сварщик по имени Николай, а также двое их симпатичных детей, ходивших в первые классы школы. Эта семья делила с Киндиуровыми обыкновенный, разгороженный надвое подмосковный бревенчатый дом и участок.

На забитой вагонами узловой станции где-то на юге у Киндиурова вдруг заболела душа (это случилось во время разгрузки вагона — мучительное нытье в груди не прекращалось, не заглушалось водкой). Ему казалось, что его жизнь может вдруг оборваться просто так, ни с того ни с сего. «Уеду», — решил он, но ему сказали, что сначала надо весь товар выгрузить, три вагона, как и сговаривались. Он скрипел зубами, выгружал. Едва закончив, он поехал домой, он торопился. В поезде он большую часть пути стоял в тамбуре, где курил одну за другой. Он курил и постанывал. Прибыв домой, он долго пил чай с оладушками (старуха мать хлопотала вокруг него, пекла на двух сковородках), а потом не из-за чего, просто посреди случайного разговора ударил ножом соседа-сварщика, убив его разом. Киндиурова забрали, судили и дали максимальный срок, хотя понять ничего не смогли — впрочем, что ж тут было и понимать.

На разделенном их участке следователь старался не топтать тот пятачок земли, место убийства. (И ведь без драки. И сразу смерть, такой силы и случайной точности был удар.) Он, конечно, спрашивал, что же такое сказал, на свое несчастье, сварщик Николай, чем спровоцировал. Однако сказал Николай всего ничего — мол, давай, сосед, знакомиться поближе, вот здесь давай поставим низенький столик (и указал на частью отсутствующие или уже подгнившие доски в разделяющем их хлипком заборе) и будем по-соседски иногда играть с тобой в картишки, чаек пить, годится? Николай спросил вполне дружелюбно. И оба приближались к этому месту их забора. В ответ был выхвачен острый убийный нож. Мрачный Киндиуров еще и переспросил: «Здесь будем чаек пить?» «Ну да, — охотно пояснял сварщик Николай, продолжая показывать рукой и не видя ножа. — Место, я думаю, самый раз...» — и тут он упал мертвый, на этом же месте.

Киндиуров уже мотал срок, а мать-старуха все ходила к соседке замаливать вину, много и жалостливо говорила про свою жизнь и все что-то приносила детям... Как-то принесла мелкой, но вкусной антоновки, которая необыкновенно плодилась на их половине участка и которую старуха обычно продавала ведрами на станции. Старуха совала свое нехитрое добро, совала навязчиво, уже назойливо, так что молодая вдовица возьми да и в сердцах оттолкнул приставучую бабку. Та упала с крыльца, сломала шейку бедра и через неделю отошла к Богу, никому, впрочем, на молодую вдову не пожаловавшись и как бы искупая этим молчанием вину сына.

Вдова вскоре захватила вторую половину участка и весь дом (он был невелик). Она кричала, вопила, даже поцарапала кого-то из поссовета, приходившего посмотреть (для себя, конечно) участок. Она в голос плакала, взывая к погибшему ни за что ни про что мужу и к своей (с двумя детьми) вдовой доле. В конце концов поселковый Совет ей уступил. Участки слились в один. И снесли за ненадобностью тот хлипкий забор, когда-то разделявший соседей. И как раз на месте того пятка земли, то есть в самой середине вновь образовавшегося большого участка, поставлен был столб с мощным, ярким фонарем вверху, чтобы ночью освещать весь участок полностью. Уже с вечера там в огромном количестве начинали кружить крылатые насекомые, особенно белесые бабочки. Они словно с ума сходили и словно бы беспрерывно подпитывались, насыщались этим ярким светом, справляя свои буйные поминки на месте гибели человека. Казалось, их что-то связывает с ним.

КАК И МНОГИЕ...

Как и многие, я иногда льщу себе тем, что мне удалось сохранить индивидуальность, отстояв свое «я». К сожалению, я еще и говорю это вслух. Обычно к вечеру, если находит настроение. (Молчал бы уж, право.)

Но настроение распирает. И доводы находятся сами собой. Да, устоял. Как та шизоидная лягушка в кувшине сливок. Да, да, та самая лягушка, что была обречена, но все-таки барахталась и колотилась без всякой надежды. (И вот сливки сбились, и с плавающего куска масла она оттолкнулась и выпрыгнула.)

Конечно, лягушка билась инстинктивно: она знай дергала и дергала лапками. Но ведь и инстинкт — это *ее* инстинкт, и способность столь долго доверять инстинкту — это тоже *ее* личная способность. И стало быть — заслуга.

Приятно и лестно о всяком таком поговорить, однако следует помнить, что на деле никто и никакого масла не сбил. Масла вообще не оказалось. Молоко попросту скисло. Оно скисло само, *от времени*. (Советская идеология — ее можно назвать *верой* советских людей, а я называю ее советской *квазирелигией*, а еще проще *квази*, выдохлась сама собой. Квазирелигия смертна, и в этом ее отличие (внешнее, конечно) от религии. Ее жизнь коротка и однажды приходит ее час. Ее молоко скисает.) И вот уже можно жить. И можно вполне удержаться на поверхности. Консистенция кислого молока намного тверже, и все мы, полупогруженные (все-таки не твердь, не масло), продолжаем барахтаться уже без боязни утонуть. Нам даже нет нужды выпрыгивать. Нам хорошо.

Но как только кто-то (или ты сам мысленно) заводит речь о том, что удалось-таки, несмотря ни на что, сохранить свое «я», все вокруг невольно начинают морщиться и что-то всем нам *кисло*.

НАШЕ УТРО

Семьи, правда, без детей. Лимитá. Люди из дальних краев, они получили временную московскую прописку. А проработав три года подряд (в некоторых договорах — пять лет), получают постоянную, что и означает уже *москвичи*. Однако три эти года — работа под землей. Они рыют котлованы для метро: подсобные рабочие широкого профиля. Некоторые из них каменщики, плотники, электрики.

Все они дали в отдел кадров поименную подписку, что условия знают и три года продержатся: детей не будет. (Иначе по закону им надо дать жилье, а жилья нет.) Но женщины иногда, конечно, подзалетают. И если они как-то зазеваются, не сделав вовремя аборт, рождается ребенок. И, как правило, комендант этого каменного барака-общежития, хромой, кривоногий монстр по фамилии Стрекалов, относит ребенка по-тихому в один из тех домов, где растут дети без матерей. Разумеется, это не порядок, это не разрешается. Но у Стрекалова уже давние, установившиеся связи. (Хотя и ничем не обеспеченные. Он просто ходит и ходит целый день. Он кланчит в одном месте, в другом, в треть-

ем — бранится, уламывает, уговаривая с характерным простецким нажимом: «Ну, бери! бери!.. Чо жмесси!» — и в конце концов ребенка пристраивает.) Отплатить за принятую малыша или малышку ему нечем. Доводов тоже никаких. Но ведь настырен и напирает — бери!.. «Да уж не твои ли это дети?» — смеются над ним в детских домах. Там и без него полно детей, взятых у пьющих матерей или у матерей, севших в тюрьму. (Или у одиноких и вдруг погибших при родах.) «Да уж мои», — мрачно отвечает Стрекалов.

Устроив ребенка и записав, где он теперь и как, Стрекалов возвращается. Кривоногий, хромой, он медленно шкандыбает по улице, приближаясь к одноэтажной каменной общаге. Он отдает матери голубенький с пометкой листок. «Не потеряй!» — говорит он сурово. И та благодарит, сыплет слова: мол, ясно, не потеряю. И конечно же, через время куда-то закладывает листок, часто в книгу. Потом перекладывает его в другое место, забывает где и какое-то время ищет. А потом уже и не ищет.

В воскресенье, едва светает, Стрекалов уже на ногах: он идет выгонять мужчин на работу по уборке вокруг общежития. Смести грязь с дорожки, убрать мусор, а если зима — сгрести снег. Он настырен и тут: он торопит, гонит их, сонных мужиков.

— Эй вы!.. Вставай, вставай! — орет он (и по матери их, по матери!).

Если кто-то из женщин скажет: чего ты язык, мол, поганый не придержишь, — он кричит:

— А чо?.. Детишков здесь нету, могу и матюкнуться! Не запретишь!

И само напоминание о детях заставляет женщину скоренько притихнуть, прикусив язык. Кто знает, как обернется. Не придется ли завтра просить этого пьяндыгу и стукача.

Стрекалов опасен: чуть что, он пользуется невесомостью их жизни. Достаточно жалобы, и мужа с женой выкинут за пределы Москвы — куда? а куда хотите! — и проработанные лимитчиком под землей полтора или два года псу под хвост. «Губин подрался. Ночью пьяный устроил пожар, — пишет Стрекалов корявыми крупными буквами письму в отделение милиции. — У Губина нож. Ходил, размахивал», — пишет он следом, и через время Губина выкидывают из общежития вместе с женой, обоих — в параллель — тут же увольняют. (Куда хочешь! Твоя забота. Отдай ключ и заплати за в двух местах прожженный матрац...) Поздним вечером Стрекалов громко шкандыбает по коридору туда-сюда, не дерутся ли, не пьют ли много. Он ворчит; если он видит спешащую в туалет женщину в неплотно запахнутом халате, орет: «Чо голая прешься? — и замахивается кулаком: — У-уу!..» Он надзирает в свое время в лагере. В женском лагере. Он их зна-а-ает. Он видит их насквозь и нет-нет на правах видящего и знающего дает тычка. (Тычок чувствительный, а синяка не будет.) Некоторых, особенно новеньких, слишком боящихся потерять место, он принуждает по лагерной привычке с ним спать. «Пшел вон, гнида хромая!» — вопит на него женщина, а он ей сипит: «Да не узнает мужик-то. Да ты чо?!»

Утреет. Стрекалов, раньше других проснувшийся, орет:

— Ну, выходи! Выходи!.. Убирать надо — в срамоте какой живете! Свины! — И снова: — А ну выходи! Выходи убирать мусор..

Женщины продолжают спать (воскресенье!) — мужчины вяло встают, прочихиваются, прокашливаются.

— Выходи!.. Дом-то уже мохом порос! — кричит Стрекалов. Старый одноэтажный казенный барак действительно порос мхом, реликт.

Когда Стрекалов выгоняет их мести или скрести снег, в его душе происходит сладостная разрядка надзирателей всех времен: он сумел! он заставил их трудиться!.. В душе возникает известное волнение, и тут он должен как следует выпить. Одна-две бутылки жуткого портвейна. (Куплены к воскресному дню загодя.) В приятном опьянении, расслабленный, он нет-нет и выглядывает из своего барачного окна — скребут ли они снег? Да, скребут. Его лицо делается суровым и одновременно счастливым. Вот так-то. Труд идет, труд продолжается — и, значит, жизнь правильна в своей сути. Он начинает петь, негромко и не слишком фальшиво:

Летят утки.
Лет-я-ят у-у-утки...

Стрекалов — не аллегория, живой человек. (Он наша суть, он сидит за столом и — стакан за стаканом — пьет свою бормотуху.) Он врезался мне в память именно пьяным. Зима. Сугробы. Где два сварных гаража образовали угол, там стоял по зиме самый пышный сугроб, взметывавшийся чуть ли не к небу. Там обычно я видел его пьяного: он честно ворочался в снегу, он никогда не сдавался и не замерзал, как многие другие пьяндыги. Он бился до конца: орал, матерился, переплывая сугроб поперек. «Эй, сука! — звал он. — Помо-ги-и!» И прохожий, чертыхаясь, вытаскивал его на дорогу — мол, дальше добирайся сам.

Колченогий, одетый в лагерного вида фуфайку, он ковылял, кляня погоду.

Каменный барак особенно угрюм зимней ночью. Он — как длинный ночной вагон старого типа, с единственным огоньком в купе проводника. (Это горит лампа в сортире.) Но, конечно, каменный барак (в отличие от вагона) никуда не движется, он стоит на кирпичном фундаменте, еще крепком по всему периметру: закреплен в пространстве.

Зато он движется во времени. Подступает серый рассвет. Утро.

— Вставай, вставай, рязанские морды! — кричит Стрекалов, только что выпивший вновь один и другой стакан портвейна. (Полно, по края налитый граненый стакан: вкус лагерной власти.) — Вставай! Вставай снег убирать! — кричит он с подхрипом.

И зевающие, сонные мужчины выходят один за другим из комнат. Они потягиваются в коридоре, Стрекалов их торопит:

— Там, там потянешься! На воздухе!..

Мужчины вывалились на улицу, берут лопаты, они покуривают; они еще вялые; кто-то из них шагает к забору, чтобы отлить. Но вот слышится наконец шарканье метлы, заскрежетали лопаты: работают... Довольный, Стрекалов уходит в барак. Он входит в комнату к одной из новеньких: «Тс-с. Тс-с!» — сипит он ей, привалившись сначала сбоку к ее телу. «Дверь-то закройте!» — недовольно и испуганно ворчит она. «Ну-ну. Не робей...» Стрекалов знает: отказать она боится, но и грешить смелости нет. Какое-то время он дышит теплом нагретой женской постели, затем, откинув одеяло, добирается до голого ее тела; он их наизусть знает. «Ну то-то. А то, вишь, не хотела!» — укоряет он ее несколькими минутами позже, застегиваясь и выходя из комнаты. Тут же (через пять шагов) он входит в другую комнату (ага, толстушка!). «Но-но. А то напишу про твоего — обоих вас вмиг отсюда выставят!» — повторяет он ходовую свою угрозу. Толстая баба не новичок, могла бы его вытолкать. Однако воскресная сонливость и опять же боязнь (как бы и правда не наступал, скот!) заставляют ее молчать, раздвинуть ноги и сопеть с ним в такт, поторапливая: «Давай же скорее! Ну!»... Стрекалов встает недовольный, не любит он, когда его дергают. И в следующей общежитской комнате тот факт, что его торопили (а может быть, и усталость), дает себя знать. Он никак не справляется; только мусолит. Из лагерного опыта он, конечно, знает, как именно пустить (для зачина) в ход руки, но женщина глупа и злится: «Ах, гадина! Пшел вон, если не можешь!» «Молчи, молчи, блядь», — сипит он. Тут он получает сильный удар в ухо. (Баба и лежа умеет ударить. Ну да ему привычно.) На четвертую, как бы после отдыха, сил у него вполне хватает. Бабенка отбивается, но он уже на ней. Вот и замолчала. (То-то...) Он тяжело дышит, ему трудно, но уж больно хороша, жирна. Чтобы продлить, он даже встает на миг, набрасывая крючок на дверь. И снова к ней. Когда хорошо, тогда хорошо... «Простынь сапогами замарал», — выговаривает она, когда Стрекалов наконец встал и подтягивает штаны. «А ты в другой раз простынь подогни, — учит он ворчливо. — Угол-то простыни возьми да откинь! Думать надо. Калган-то на что?..» Стрекалов скидывает дверной крючок и выходит. Хватит на нынешнее воскресенье. Дыхание тяжелое, но сейчас успокоится...

Прошагав по коридору, он выходит на крыльцо — зимнее солнце уже встает, набирает силу. Ветерок. Мужчины сгребают снег, скребут землю. Сонливость сошла на нет, они пошучивают, посмеиваются. Молодые! Вот один из них бросает комком снега (летом это обычно мелкие камешки) в задумавшего-

ся коменданта. Стрекалов вздрагивает, оглядывается. Но бросивший делает, конечно, вид, что это не он (мол, угадай кто). Бац! — еще один снежок попадает в него. Снежки небольшие, но иной раз досадно. (Им нравится подшучивать над старым крокодиллом.) Бац! — теперь они уже открыто смеются. Им весело.

— Эй! Сколько будет семью восемь? Ну?.. — тоже одна из любимых их шуток.

Со всех сторон раздается:

— Ха-ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха!

Смешно им. Но он старается не обращать внимания. Если они работают, значит, все правильно, значит, земля вертится. (Иногда, правда, он огрызается. «Ну-у, падлы!» — кричит.) Половину территории уже очистили. (А цены на портвейн как подскочили. К вечеру надо бы прикупить.) Нынче будет солнечно... Бац! — снежок опять попал ему в плечо. И опять смеются:

— Ха-ха-ха-ха!..

А луч уже до тепла прогревает спину: утро...

КВАЗИ...

Квази — это попытка создать религию.

Квазирелигия однажды умрет. (Как и человек.) Именно это качество делает судьбу всякой квазирелигии столь похожей на судьбу отдельного человека.

Квази смертны, они могут умереть от какой-нибудь детской болезни в младенчестве или быть задушены в колыбели, как Венгерская республика 1919 года. Они могут умереть в зрелой поре, в расцвете сил, как гитлеровский фашизм с его мускулами, с его великолепной военной машиной.

Они могут умереть и своей смертью, состарившись. Как мы.

Именно мы (советский социализм) показали и выявили для всех суть квази. Нас не разбили, нас не убили, нам не укоротили жизнь ничём. Мы явили миру достаточно долгую жизнь и естественную смерть.

Семьдесят лет — обычный возраст человека. Пожил — и хватит.

ВАНЬ, А ВАНЬ...

Еще Альбер Камю писал:

«Несмотря на броскую внешность, немецкая революция (*то бишь предгитлеровские дела и сам Гитлер...*) была лишена будущего. Она была лишь первобытным порывом...»

Камю (антикоммунист) признавал:

«А русский коммунизм взвалил на себя бремя метафизических устремлений... Русский коммунизм заслужил название революции, на которое не может претендовать немецкая авантюра, и хотя в настоящее время он (русский коммунизм) вроде бы недостоин этой чести, он стремится завоевать ее снова и снова...»

И многие другие (помимо Камю) тоже отметили, насколько русская квазирелигия была более глубока и принципиально нова сравнительно с немецкой, итальянской и другими.

Мы-то, оказывается, были лучше всех.

Вот что пишут современники (и тоже, вне всяких сомнений, люди прогрессивные, антикоммунисты) в сегодняшних журналах, в наших и европейских. Не называя имен, цитирую по памяти:

«Многое произошло в нашем веке... Была и пересадка сердца, и атомная бомба. Были великие ученые и гениальные писатели. Был на наших глазах полет на Луну и фантастический взлет компьютерной техники.

Были политики и были яркие личности... Но все это происходило на фоне одного события — на фоне меняющейся России...»

Еще мнение:

«В XX веке навсегда было вписано в историю человечества имя Р о с с и я...»

И еще:

«С точки зрения далеких будущих времен «XX век» и «Россия» навсегда соединенные понятия... XX век вполне вписывается во временные рамки советского эксперимента, несмотря на календарную разницу в целых три десятилетия...» (Семнадцать лет отнимается с одной стороны и десять или тринадцать с другой.)

И потому-то так досадно и больно, когда другая часть души (да в том-то и дело, что не другая, а та же, *мать ее*, та же часть души) нам нашептывает, что чудовишно мы ошиблись, что наломали дров и что *из грязи — да в квази...*

На банкете за столом много незнакомых лиц, и директор завода объясняет своей жене, кто есть кто.

«Это жена главного инженера, а это его любовница. Только ты уж тс-сс...» «А это кто?» «Подружка нашего парторга...» — шепчет он. Так постепенно жена узнает любовницу парторга, и любовницу первого зама, и даже любовницу представителя министра, и в итоге — вот женщина! — она шепчет: «А твоя?.. Ну признайся же. Уж ладно: говори!..» Подвыпивший директор, поколебавшись, опрокидывает еще рюмку и с покаянным вздохом наконец тихонько указывает: *вот та*. А вокруг гул застолья, горы снеди на белой скатерти. Жена долго молча сидит, долго и вяло ковыряет она вилкой в огромном салате (незабвенная картинка брежневских лет), — затем говорит мужу:

— Вань, а Вань... Наша-то лучше всех!..

Ну не может, никак не может, не в состоянии вместить душа, что мы и Гитлер, что Россия и Гитлер на одной доске, все равно не кричи, я не глухой. Я же говорю, это не мы кричим. Нет и нет! — кричит душа. — В нас что-то было, в нас *все-таки что-то было*. Наша заявка в семнадцатом году и точно была самой яркой и самой капитальной (Камю прав, прав!). И в будущей истории найдется, *должно найтись* нам оправдание. Не ликуйте же, суки. Анекдот о банкете лишь оттенит, но не отменит энтузиазма русской революции. А несомненная жертвенность! А неслышанный порыв народной массы к мечте о всеобщем счастье. (Не нашем ведь счастье — всеобщем!..) Ведь было желание *сделать не для себя, не для себя же, для всех, боже ж' ты мой господи, для всех старались*, мы ведь и впрямь были лучше этих уродов и нечего, мать их, нас путать с прочей поганью, мы не сумели, но мы *хотели...*

Вань, а Вань...

СОБЛАЗН

Мы
оставляем
от старого мира
Только папиросы «Ира».

Их, как известно, давным-давно никто не курит. Кто-то уже высказал желание (ироническое, разумеется) узнать и точно датировать, дожил ли В. В. до того дня, когда папиросы этой марки совсем исчезли... Или папиросы «Ира» еще покуривали в тот день, когда В. В. выстрелил себе в голову?

Те, кто сейчас смотрит свысока на первую половину жизни Маяковского (у него только и была первая половина) и жизни Пастернака (с «Лейтенантом

Шмидтом» и речью на Первом съезде как раз организованного Союза писателей), не представляют себе, сколь огромен, сколь велик был соблазн новой религии (квазирелигии). Переустройство мира казалось глобальным. Оно манило, звало. Оно нависало над ними обоими столь же мощно, как... трудно подобрать сравнение (в наше время их просто нет, таких сравнений!).

Во всяком случае, больше, чем, скажем, над всеми нами нависает огромный и неведомый нам XXI век...

Оба великих поэта были влюблены в эту молоденькую женщину, с несколько вычурным и вполне новаторским (в духе времени) именем *Квази*. В те годы была эта молодая леди (идея переустройства мира) совсем юна, свежа и привлекательна.

Любовь Маяковского — любовь человека, не преодолевшего собственной юности, так и оставшегося романтиком. Он не стерпел и первых ее морщин (1930 год!), не вынес, когда в молодой женщине стали явственно проглядывать черты зрелой матроны. Романтик не решает проблем: он уходит (бежит) от них.

Пастернак, перешагнув свой романтический возраст, прожил и вторую половину жизни. Он сумел проститься с революционностью. *Квази* матерела, стала стареть. Но он ее немного опережал. Именно лирический дар дал почувствовать Пастернаку флюиды крушения системы, еще едва-едва витавшие в воздухе.

Пастернак успел понять, что *квази* тоже смертна. Она пережила его (как и вообще старая женщина часто переживает старого мужчину). Но он уже знал, что и она умрет.

Она пережила его, но он уже смотрел на нее с пониманием. Он смотрел на нее, как старик на старуху. Он ее уже не любил.



АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

*

ПОРТРЕТЫ

Портрет у меня — изображение реального человека словами этого человека, записанными по горячим следам или взятыми из его собственных текстов, без изменения тональности и расстановки акцентов. Моя свобода — в выборе, ретуши и расположении материала, то есть не превышает свободы гиперреалиста, работающего с фотографией.

НУМИЗМАТ

Разговоры 1969—1979

Я был дома один день! И в этот день утром приходят трое. Я подумал, товарищи с периферии. Показывают удостоверение: МУР! Майор и два капитана.
— За что мне такая честь?

Майор и капитан к шкафчику, другой капитан смотрит письменный стол:

— Советские награды вы тоже собираете?

У меня наград порядком. Боевых! Я говорю:

— Посмотрите поглубже, там удостоверения.

— А откуда у вас столько денег?

Это сберкнижки. Двадцать шесть с половиною тысяч тугриков в монгольской валюте.

— Посмотрите, там рядом квитанции.

Я пятнадцать лет сдавал Косте Голенко в музей все, что не идет, — средневековые денари, брактеаты, медали. Квитанций на двадцать пять тысяч.

Майор смотрит коллекцию, видит, что это не Рио-де-Жанейро, спрашивает:

— Что это у вас столько медяков?

Ему, наверное, рассказали, что у меня сплошь царские десятки. Я объяснил. Он вроде неплохой дядька, звонит в МУР. Я слышу:

— Да нет. Совсем не то. Никакой валюты... Что значит страшный человек? Ничего подобного... Привезти не могу, он постельный больной. Вчера выписался из одной больницы, завтра ложится в другую. Направление есть...

Страшный человек — это я. А он понял, что не тот Юрий Милославский. Но что от него зависит? Вот посмотрите, копия протокола: изъято монет желтого металла, белого металла. Если бы не направление, меня самого бы изъяли. Шкафчик опломбировали. Когда ушли, я пломбу снял, вынул все самое ценное, что не взяли — потемневшее серебро они не заметили, боспорские электро приняли за бронзу, — и на всякий случай переложил в книжный шкаф. Пломбу поставил на место.

В больнице МПС мне удалили правое легкое. Не запущенная пневмония, а канцер. Осталось одно левое, маленькое. Курить категорически запрещено. Я вам передать не могу, как это трудно. После контузии я совсем не сплю — так, два-три часа; сутками могу не есть — забываю. А курить все время хочу. Психиатр говорит: если я совсем брошу, мне станет резко хуже.

Ко мне сейчас никто не ходит, кроме вас и Виктора. Боятся. И Виктор боится. Вы знаете — он вообще трусливый товарищ. Поэтому я особо ценю, что он ходит.

Вот ваш покорный слуга — кустарь-одиночка без мотора. Это не эмоции. Вы подумайте: другие в театр ходят, любовниц имеют, а я всю жизнь после работы дома медяшку чищу. Стыдно людям в глаза посмотреть: я «Доктора Живаго» не читал.

Я вам не рассказывал? Я после техникума на первое пособие по безработице купил ольвийский асс. Великоле-епнейший экземпляр. Стоил пятнадцать рублей. Мой учитель Михаил Александрович Зильберман говорил, что у нумизмата не может быть такого положения, чтобы не нашлось на монеты.

Первую контузию я получил в оцеплении. Ночью в степи остановили поезд, кого-то искали. Я ничего не помню. Мне потом объяснили, меня в темноте ударили рукояткой револьвера по голове.

В Донском политехникуме я был партсекретарь факультета. Послали на коллективизацию на Кубань: белогвардейцы поднимают голову, вмешательство Англии — Франции и так далее. Огромное село. В нем стоит воинская часть. Власть — это красноармейский командир, уполномоченный ОГПУ и ваш покорный слуга. Ну, стреляли в нас, в окно. Но — никаких белогвардейцев, никакой Англии — Франции. Люди с голоду умирают. Уполномоченный — он жил в одной хате со мной — говорит мне: — Исаак, мы люди в форме. Из нас троих ты один — свободный. Езжай в Ростов, доложи секретарю крайкома обстановку как есть, что не контрреволюция, а голод. — Я не знал, как к этому отнестись: вдруг провокация? Но он был хороший дядька, уговорил. Знаете, Андрэй Яковлевич, сколько тогда на Дону — Кубани от голода погибло? Один миллион. И на Украине пять.

В Ростове я пришел к секретарю крайкома, доложил. Он как закричит на меня. Я ничего не помню. Контузия сказала. Меня отвезли в психиатрическую больницу. Это меня и спасло. Я был бы уничтожен как контрреволюционер.

После Донского политехникума меня направили в систему Волголага. Там было двести тысяч заключенных. По тем масштабам это считался небольшой лагерь. Мой отец — он бывший красный партизан — в тридцать седьмом году работал в аптекоуправлении НКПС. НКВД у них заимообразно брало йод. Цистерны! Он по этим цистернам подсчитал, что в лагерях постоянно содержалось четырнадцать миллионов.

Начальником у нас был Яков Давыдович Раппопорт. Великоле-епнейший математик! Глазомер — я вам не могу передать. Солженицын зря на него так. Он и начальник был сравнительно мягкий. Под праздник принимал от нас списки ударников — для облегчения участи — человек по десять — двенадцать. Только не политических. Политические — это лагерь в лагере, за колючей проволокой. Там был мой любимый профессор Белявский из Донского политехникума. Я ничем не мог ему помочь. Редко передавал через уголовников какую-нибудь еду — и не дай бог, чтоб он узнал, от кого!

Вы себе не можете представить, какая была обстановка! Среди ночи звонит жена Шапиро — он тоже энергетик, мой товарищ, — чтобы я немедленно пришел. Я бегу — тьма, ничего не видно, еле нашел их барак. В комнате он лежит ничком, рядом она, вся голая, уже ни на что не реагирует, только показывает глазами на подушку. Я понял, осторожно вынул из-под подушки браунинг. Он — в абсолютной прострации, это шок — вы меня слушаете? Назавтра партсобрание, вопрос о его исключении. Из Москвы возвращается Яков Давыдович Раппопорт. Объявляет, что у него важное сообщение. Разоблачена вредительская деятельность начальника особого отдела Морозова. У него тут же отбирают оружие. И снимается обвинение с тех, кого он оклеветал.

Меня самого чуть не оклеветал начальник третьего отдела немец Лей. Я от скуки обратил внимание на советские монеты — это же множество штемпелей, разновидностей. Стал собирать мелочь. Лей обвинил меня в том, что я скупаю

советские монеты на металл и передаю в Рыбинск для поддержки кустарей. Я говорю, подсчитайте, во сколько обходится килограмм такого металла. Он — ноль внимания. Это не довод. Меня уже сторониться стали, на улице обходили. А какие там улицы, знаете? Мостки, а вокруг — грязь невозможная.

Это не первый раз, когда я мог пострадать за нумизматику. В Новочеркасске я получил из Швейцарии два аукционных каталога. Меня обвинили в переписке с границей. И в записной книжке у меня нашли запись, что у такой-то в брошке — маленькая монетка Александра Македонского, аурум. Из-за этого аурума кто-то решил, что я — внук известного капиталиста. А дед мой был такой бьедный, что не запирает на ночь дверь. Один раз проснулся, слышит — в доме вор. Дед ему говорит: — Не ищи, добрый человек, у меня ничего нет. — Повернулся на другой бок и заснул. Вот бабка — это другое дело. Она из рода Баал Шем Това. Ее родители так и не приняли деда, считали, что мезальянс.

В тридцать восьмом году по партийному набору на строительство большого флота направили сто специалистов. В балтийский флотский экипаж. Нас так встретили — мы три месяца гальюны чистили. Товарищи меня, самого задиристого, послали в Смольный, к Жданову. Он молодой был — как вы, нет, моложе. Весь какой-то зеленый, мне не понравился. Выслушал, говорит: — Не волнуйтесь, товарищ, все будет сделано. — В отместку начальство экипажа погнало нас в Кронштадт пешком — мороз сильнейший, мы шагаем в бескозырках и легких бушлатах, а мимо ходят электрички.

В Кронштадте меня назначили флагманским электриком Балтфлота. Подземные кабели там дореволюционные, все разные — разные иностранные фирмы прокладывали. Неразбериха. Я приказал испытать их на перегрузку. Мне говорят: — Что вы, мы и без перегрузки боимся, что полетят. — Я говорю: — А как же в случае войны?

У меня по должности кабинет огромный, а звание — рядовой краснофлотец. Заходит капитан Беляев — одет с иголки, белые перчатки — командир линкора «Октябрьская революция». Мы этот линкор звали «Октябриной». Видит — за столом рядовой: — Встать! — Я ему говорю, что если он не по делу, то я его не задерживаю. Адмирал Трибуц — неплохой был дядька — разобрался, объяснил ему. Говорит мне: — А у вас есть претензии? — Линкор «Октябрьская революция» в южном фарватере повредил подводные кабели — и это в мирное время. Что будет в северном фарватере в случае войны?

Всю финскую кампанию Балтийский флот не мог уничтожить — у финнов было всего два крейсера, «Вейнемейнен» и «Ильмаринен», постройки восьмидесятых годов. Я отпросился на фронт — огромный морской десант на два острова. На них какие-то жалкие три рыбака жили. В газетах расписали: героическая высадка. Представили к наградам. Сталин перечеркнул список. А ваш покорный слуга перестал быть романтиком.

Двадцать третьего июня сорок первого года я побежал сдавать коллекцию. В Историческом музее барон Сиверс — от него много нумизматов пострадало, — так он мне сразу: — Уходите, мы со своими не знаем, что делать. — Я раздал по частям родственникам, знакомым. Сохранилось штук двадцать самых незначительных медяков у случайного человека. А у родных, близких — ноль-ноль, и спрашивать неудобно: война, эвакуация. И всё, как сквозь землю: ни одной моей монеты мне не встречалось ни разу.

У меня была броня, но я пошел на фронт: как это я в такое время в тылу? И знаете, кем я был всю войну? Начальник электробатальона. Это когда людей где-нибудь на фланге не хватает, по земле растягивают проволочную сетку и пускают из укрытия ток высокого напряжения. Сетку уничтожить огнем невозможно, все время бомбят движок, то есть вашего покорного слугу. Если атакующий натъкается на такую сетку — человек мгновенно превращается в уголь. По закону ведения войны это категорически запрещено. Но и мы и немцы пользовались этим и не предавали огласке. Так что перед вами — военный преступник.

Воевал я на Кавказе. В сорок втором году нас отвели на переформирование в Тбилиси. Мы шли по главной улице оборванные, запыленные, а над нами издевались сытые, шикарно одетые грузины.

В сорок четвертом, когда мы уже упустили всю немецкую армию на Северном Кавказе, объявили — опять переформирование. А мне сказали, что нашу часть отправляют выселять кабардинобалкарцев. У меня было несколько ранений — я всегда уклонялся от госпиталя, — а тут пошел в медсанбат к знакомому врачу и сам лег в госпиталь.

По-настоящему меня контузило в сорок четвертом году, в Карпатах — подняло взрывной волной на шесть метров и шлепнуло о камень. В Москве, наверно, нет психиатрической больницы, где бы я не побывал. Сначала весь трясся — руки, ноги, голова. Мне делали продувание, чтобы разорвать спайки в мозгу. Я вам не могу передать, что это такое — как будто в голове атомный взрыв. Варварский метод.

Я был как порох. Невыдержанный товарищ. Одессит плюс контузия. В пятьдесят первом году я себе сказал: Исаак, посмотри на других, ты здоровее, ты можешь взять себя в руки. Главврач говорит: — Если вы сами дошли до мысли, что можете взять себя в руки, я вас могу со спокойной совестью выписать. — Я себе каждый день по каждому поводу повторял: а что ты будешь думать об этом через пять лет? Забудешь. Или посмеешься. И вот вы скажите — есть у меня выдержка?

Вы Абрама Львовича у меня видели? Россию по штемпелям знает как мало кто. И вообще — он неплохой. А коллекционеры его терпеть не могут. И все из-за характера. Сплошные эмоции, экспансивность. Счет ведет исключительно на миллионы, грубый, крикливый. Я сам его переношу с трудом. Это у него национальное — и знаете, он всю войну провел в плену. Тры раза бегал и тры раза попадался у самой линии фронта. Прошел всю Украину. Везде его прятали и кормили. Скажите при нем, что украинцы — антисемиты, — он вас убьет. Один раз он попал к каким-то сектантам. Они узнали, что он художник, и сами взяли его в плен — чтобы он им иконы писал. И в Бухенвальде его не выдавали. Под самый конец кто-то донес. Его вызывают на медосмотр. Это гарантированная газовая камера. Тут американский налет. Медосмотр переносится на другой день. Он всю ночь тянул себя за член, так что наутро нельзя было понять, что у него там.

Вы меня простите, что я с вами так, но выдержки и вам, сэр, не хватает. Мне Исангурин рассказывал, что вы хорошую Екатерину за денарий отдали. Варварский, говорите? Мьяу! Тогда это меняет дело. В этом я не копенгаген. Вы еще будете меня благодарить, что я вас нацелил на варваров. И все равно, нельзя показывать заинтересованность — это же гол в собственные ворота! Без ажиотажа, спокойно... Я ведь выдержал спокойно все следствие. Пусть они там говорили, что я страшный человек. Прямо слышу голос Яковлевой: — Он — страшный человек. — Я ее зову Гюрза Александровна. Не знаю, что она против меня имеет. Никогда никаких столкновений. Ну, это традиция того музея.

Мне все равно, что они говорят, доказать они ничего не могут. Я писал в Министерство культуры, что коллекция завещана Пушкинскому музею, в прокуратуру, в МВД, в ЦК. Наконец дело нумизматов кончилось. Я могу получить все назад. Монеты в том музее, Яковлева любезная, улыбается. Сербкнижки — на Петровке-38. Я приехал туда, комната такая-то. Подхожу к окошку, девушка мне говорит: — Обождите. — Тем временем в комнату набивается народ, все на меня смотрят. Я спрашиваю девушку, что происходит. Она говорит: — Как же не посмотреть? Сколько мы существуем, возвращаем первый раз...

Разложил я свою коллекцию и задумался. Вы мне советуете не отдавать в музей. Может быть, вы правы — там она целиком ляжет мертвым грузом, а если распадется после моей смерти — будет людей радовать. Вашу точку зрения можно понять. Приходит ко мне Костя Голенко — мы с ним запросто. Он любитель выпить — я его угощаю, спрашиваю: — А как наш уговор? — Я вам говорил, я хотел, чтобы музей издал полный каталог моей коллекции при моей

жизни — ну, чтобы в музее не растащили. Костя захмелел и говорит: — Исаак Осипович, неужели вы думаете, что музеем позволят пропагандировать еврейскую коллекцию? — У меня это, знаете, вызвало внутренний протест. Я ему ничего не сказал, но завешание я порвал, отменил.

После войны монеты я стал собирать в пятьдесят втором году. На Кузнецком Володька Соколов ко мне хорошо относился — он ко всем фронтовикам хорошо относился: — Фронтовик, есть антика. Берешь не глядя? — Я знал, что он не обманет. Античников, кроме меня, не было. Обманывать нумизмату невыгодно, тоже гол в собственные ворота. Когда я беру монету и оказывается, что это фальшак, я всегда списываю на издержки производства. Но если про мою монету скажут, что я дал фальшак, я без разговоров беру назад — репутация дороже всего.

Я обошел всех коллекционеров — старых почти никого не осталось, — стал писать наследникам в другие города. Писал по тысяча двести писем в год — как правильно, по тысяча двести или по тысяче двести? Если на пять процентов писем был отклик, считал, что затраты оправданы. Первым делом искал литературу. Вы мне раньше не верили, что монеты — дело наживное, а литература — это вещь. Узнал, что во Львове осталась часть коллекции Барчака. Это был директор банка, член художественного совета варшавского монетного двора, его уже не было в живых. С трудом нашел наследников. Ничего не знают. Только перед репатриацией в Польшу его слуга сообщил мне, что отдаст монеты Барчака за двадцать пять тысяч. Старыми. Я занял у кого мог, вылетел во Львов. Взял. До чего там хорошие были вещи — я вам передать не могу. И как мне дешево их пришлось отдавать! Долги платить надо. Но что осталось — основа основ. И вам, синьор, мой совет — ищите коллекции. Иначе никаких денег не хватит. Коллекция должна сама себя финансировать. И вообще, собирают не в обществе. В общество ходят поговорить. Собирать надо активно.

Сколько я бегал по Москве — не могу вам сказать. В городском адресном столе на Пушечной на меня уже стали косо смотреть. А мне интересен сам процесс поисков. Собирать надо у нас, а не на Западе. Там пришел в магазин и купил, а у нас — на такое можно выйти, чего ни в одной книге нет. Знаете, коллекционеры делятся на две категории: первая — это те, кому главное удовольствие доставать вещь, и вторая — это те, кто часами любит тему, что у него есть. Не знаю, как вы, я принадлежу к первой категории.

Одного деятеля я долго не мог найти. Знал, не то Макаров, не то Майоров, живет где-то у Рижского вокзала. Я там почти все старые дома обошел, и представьте себе — этот товарищ работает в одном министерстве со мной и сидит в такой же комнате этажом выше. Принес он перед началом рабочего дня, высыпал из мешочка — у меня даже в глазах потемнело: Керкинитиды, Феодосия, Горгиппия. Говорит: — Мне девяносто рублей за них предлагают. — Я не выдержал, понимаете, просто сорвалось: — Я вам дам двести! — Смотрю, он собирает монеты в мешочек: — Я подумаю. — Больше я этих монет не видал. Это элементарное правило: если человек назначил цену — торгуйтесь, не говорите, что это стоит дороже. Иначе человек подумает, что у него космос, и вы этих монет не получите. Это уже не этика, а человеческая психология. В нумизматике приходится дипломатничать. И суеверия. Вы замечали: вы ведете переговоры о монете, она уже почти ваша, стоит только в мыслях примерить, где она будет лежать в коллекции, — и монета от вас уйдет. Это все старые коллекционеры знают. И закон парности. Редкость, вы полжизни за ней гонялись, достали, и тут же приходит точно такая же. И еще нужно иметь паблисити. Вы, сэр, мало об этом заботитесь, поэтому и поступление у вас скудное. Надо, чтобы вас все знали. А вы дуете на холодное!

В четверг, в два часа дня¹ Варвара с внучками на даче, молодые в Прибалтике. Я сижу один, вдруг шаги в коридоре. Входят двое. Я:

— Вы как сюда попали!

¹ 21 июля 1977 года.

Старший, лет сорока:

— Сейчас поймешь. — Младшему: — Забери его! — И сам прямо с чемоданом к шкафчику.

Младший ведет меня в уборную и начинает привязывать к сиденью. Вьездет профессионально, ласточкой — освободиться невозможно. Тот, старший, видно — жестокий человек, а этот, лет под тридцать, скорее даже приятный. Говорит:

— Что у тебя, батя, руки не дрожат? На фронте был?

— Был.

— Ты, папаша, не огорчайся. Ты всю жизнь советскую власть грабил, а теперь — тебя. Ты думай о чем-нибудь хорошем. Было у тебя в жизни что-нибудь хорошее. Руки вместе!

— Не могу. Рука сломана. Я здесь погибну — жена приедет не раньше чем через неделю.

— Не волнуйся, батя, о тебе позаботятся. Открой рот!

И запикивает мне в рот полотенце. Я завожу язык вбок под протез, чтобы образовался рычаг. Слышу, как старший пересыпает монеты с планшеток прямо в чемодан. Кричит:

— Поторапливайся! Он ждать не будет!

Он — это поезд. Я понял. Старшего я узнал. Его ко мне приводил Саша Петренко из Киева. Он целый вечер сидел, молчал.

Ушли. Я начинаю отхаркивать изо рта кляп — горло в кровь сорвал. И вставной челюстью помогаю. Минут сорок я так проработал — наконец выплюнул. Вздохнул — а то уже начал задыхаться: легкое у меня одно. Теперь надо развязываться. Руки я не дал плотно связать — небольшой простор есть. Развязывался я часа три, не меньше. Вышел в комнату и — представьте себе — чувствую счастье: в окне свет и я жив. И все равно, что шкафчик открытый, пустой. Телефоны оба оборваны — вязали меня телефонным шнуром. Пошел звонить к соседям. Через полчаса у меня в квартире было человек пятьдесят милиции. Вдруг звонок в дверь. Я открываю: Миша Опенченко. У которого я камею купил. Я всегда считал, что он от КГБ. Думал: пускай смотрит. А тут я подумал: может, это обо мне позаботились? Знаете, всякое приходит в голову. Смотрю, он с милицией запанибрата. Мне говорит: — Можно, я к вам попозже зайду с товарищем? Он генерал КГБ. — Пришли часов в двенадцать ночи. Разговор был неофициальный. Может быть, им надо было узнать, что я думаю. Этот дядька — не знаю, генерал он или не генерал, — говорит: — Мы свяжемся с Интерполом. За пределы Советского Союза коллекция не выйдет, за это я ручаюсь. — Не знаю, как можно ручаться. Я узнавал — коллекцию можно провезти, по сути дела, в открытую — в реквизите любого театра. Ни один работник тамошни не заглянет.

Вот, Андрэй Яковлевич. Я учил вас, как собирать коллекцию, теперь я учу вас, как ее терять. Смотрите — я выхожу из себя? У меня дрожат руки? А я насколько не обольщаюсь. Шансы на возврат коллекции — пять процентов.

Новости? Ноль-ноль. Они не хотят искать. Трех следователей сменили. Сашу Петренко убрали из Киева — чтобы нельзя было допросить. У вас отпечатки пальцев снимали? И у моего соавтора не снимали. Я месяц добивался, чтобы сняли у меня. Сняли и говорят, что не получилось. Ни на планшетах, ни на телефонах отпечатков не обнаружено! Я же сам видел, что они работали без перчаток. И были прекрасно информированы, что я один. Великолепная наводка! Выполняли заказ. И ничего не боялись, пришли без масок. И я себе задаю вопрос: почему они меня не уничтожили? Я их видел, могу опознать. В МУРе мне показывали картотеку — все не то. Фоторобот — они меня измучили, пока я не сказал: — Что вы мне все время шесть-семь комбинаций показываете? — Я писал во все инстанции, ходил на прием. В МВД со мной разговаривали так любезно, что мне не понравилось. Товарищ из КГБ предупредил, чтобы я не выходил на улицу и чтобы дверь открывали только своим. Что меня могут уничтожить. Наверно, не надо было поднимать шум, это бесцельно — но это же не в моем характере. Я бы себя загрыз, что ничего не предпринял.

Я давно задумывался — еще до дела нумизматов, как говорил Остап Бендер, до исторического материализма, — совместимо ли коллекционирование с социализмом, и пришел к выводу, что нет. Пока вы собираете современные фишки или ярлычки — пожалуйста. Но как только ваша коллекция приобретает серьезный характер — она уже вызов. Я имею в виду вообще, не нас — у нас коллекционирование на чрезвычайно низком уровне. Вы знаете, что коллекционирование — показатель культуры? Вы не задумывались, что у нас все коллекционеры в РСФСР и на Украине? На все Закавказье — несколько нумизматов. В Средней Азии — тоже два-три. По статистике на земном шаре десять миллионов нумизматов. В США — пять миллионов. В Японии — два с половиной. У нас — от силы несколько сот. Это я беру вместе с собирателями. Надо различать: собиратель — это хобби, коллекционер — это исследование.

Барвара была права. Она давно говорила: у тебя проходной двор, ты все всем показываешь, убери хотя бы самое ценное. Мой учитель Михаил Александрович Зильберман тоже меня ругал. Он никогда не показывал — выносил одну-две монеты. Я, любимый ученик, никогда не видел его коллекции! Надо было мне, старому дураку, головку коллекции положить — ну хоть в письменный стол. Хотя бы Юдею.

Я Юдеей заинтересовался во время дела врачей. Из чувства внутреннего протеста — я же не националист, избави боже! Пика вы знаете — по Причерноморью? Беренд Пик. Я не предполагал, что он еврей. Перед уничтожением, в гитлеровском концлагере, он задумался над проблемами юдейской нумизматики — он никогда ей не занимался, а тут дал ответ на несколько важных вопросов. Записи сохранились.

Ваш покорный слуга — не Пик. Но кое-что мог бы сказать и я. Считается, что чеканка меди Второго восстания — Бар-Кохбы — имела хаотический, бессистемный характер. Перечеканивалось все, что попадалось под руку. Медной денежной единицы нет. А я предположил, что и не было. Что мельчайший медный номинал — две единицы. И знаете — все совпадает. Все веса меди.

Или еще вопрос: почему на монетах Бар-Кохбы так много виноградной символики? Юдея была для Рыма беспокойной провинцией. Римляне в каждом ничтожном селении держали гарнизон. Передвижение строжайше контролировалось. Когда могли юдеи организовать? Только в праздник кущей — это время созревания винограда, когда по религиозной традиции юдеям полагалось переселяться в поле — тогда они могли переходить с места на место. Значит, начало восстания — сентябрь 132 года.

Не могу читать газеты. Уже даже не стараются, чтобы выглядело правдоподобно. Меня это возмущает до глубины души. Знаете, что мы перегнали Америку по преступности? И ни в какой другой области больше! Только хвалим себя, а если задуматься: когда продавщица обвешивает вас, грубит — это норма. А как может быть иначе? В чьих руках реальная власть? Интеллигенцию истребили — вы знаете, какая была русская интеллигенция? Чтобы вырастить новую интеллигенцию, нужно двести лет — это минимум! Вы когда-нибудь слышали, что Ленин — жестокий человек? Очень жестокий. Любая власть, какая бы после революции ни установилась, — разве было бы столько жертв? Я, дурак, всю жизнь всему верил — был идеалистом, не в религиозном смысле, конечно. Теперь я по своим убеждениям еврокоммунист. Парфентьев Николай Платонович — кристальнейший человек, старый член партии — заходит, посидим мы с ним, потолкуем, говорит: — Что, Исаак, пора билеты на стол класть?

А вы, сэр, — не сердитесь, но вы не хотите додумывать до конца. Вот скажите, есть в Советском Союзе антисемитизм? Да? А я об этом даже слушать не хочу. Вы подумайте о крымских татарах!

Новости? Мои монеты в феврале продавались на аукционе Сотби, в июне — у Кристи. Более ста пятидесяти штук. Один каталог мне Анохин прислал, другой — фотокопия из того музея. Яковлева не хотела давать — только по требованию прокуратуры. Второй — без цен. В первом двадцать монет — не

лучших — прошли за полторы тысячи фунтов. Я думаю, можно экстраполировать — за три тысячи моих монет получается в долларах солидная сумма. Я написал в ЦК о значительной материальной ценности коллекции — зашевелились. Говорят: — Во время дела нумизматов надо было все изъять, тогда не было бы никаких ограблений. — Культура, история — это им непонятно. В Интерпол мы не входим. Связались с Сотби через посольство в Лондоне. Те требуют доказательств, что это моя собственность. Я послал им таблицы Боспора — что Исангурин снимал — с описаниями. Но это же безнадежно.

Что вы слышали о Турьинской Плащанице?

1980.

СОСЕД ПО ОЧЕРЕДИ

Лук я в Шанхае брал. Красивый лук, посмотрите, приятный. Шанхай — это ж та палаточка на кругу, сельпо. Как на селе, ничего нет. А мне на село и ехать. Хоть самогончики там попью: водка невкусная стала. Нам отпуск летом дают через два года на третий. Я на Петровке-38 работаю. Плохая работа. Раньше лучше работал. В охране. У Лаврентия Павловича. И у Лазаря Моисеевича и Вячеслав Михайловича. И Иосифа Виссарионовича. А когда Маленков расстрелял Лаврентия Павловича на Дзержинского-1, у нас оружие отобрали и — убирайтесь. Конечно, так не сказали, а на Огарева-6 на перекомиссию. Не годен. Был годен, теперь не годен. Я не спорю, три раза контужен — заметьте когда? В сорок седьмом. А война когда кончилась? А? И ранило-то меня аж дома. На Черниговщине. С бандерами воевали. Знаете, как в своих стрелять неприятно. А что делать? Приказ. Прямо рядом со мной мина жажнула. Вот и дошел до Петровки. Я не вру — вот смотрите. Удостоверение. И шесть лет продвижение мне задерживают.

И какая работа? Знаете будочку ГАИ у развилки Волоколамского шоссе? Ее еще на двадцать семь метров назад передвинули. Летом у жены Насера «Волгу» угнали. Правое переднее крыло помято, заднее сиденье залито красной краской. Задерживали при выезде все машины, смотрели номер мотора, номер шасси — не нашли. А на Ленинградском проспекте — 22 у болгарского посольства две «Волги» угнали. Эти сразу в Химках нашли в лесочке — колеса сняты. В курортный сезон колеса — ох дорогие! И главное — сняты дипломатические номера. С ними ж — проезд! Плохая работа.

И старший сын у меня пропал. Был в Венгрии — и полгода ни звука. В армию брали четыре раза. Как Симонян посмотрит, так говорит: оставить до следующего матча. Я хохол, я считаю, что человека надо ломать один раз, а не четыре. А взяли — и на три месяца под Тамбов на картошку. А он мастер спорта. Потом получаю письмо: папочка, я уже в Венгрии и ни в какой воинской части, играю в футбол. Карточки присылал — поглядите, везде в гражданском. А после в Тирасполе была товарищеская встреча с венграми. У их вратаря травма. Ну, моего и поставили. Пишет: папочка, стою я в воротах и играю против своих. А играть надо честно. Венгры и выиграли 2:1. Ребята на моего косо смотрят, а венгры ему за честность майку подарили и вымпел. А сейчас пропал. Может, в Чехословакии.

И младший мой сын пропал. Мы в том кирпичном доме живем. Так позавчера ребяташки от четвертого до шестого класса огонь на чердаке развели. Голуби у них там, хлеб крошен, пшено. А сотрудница забирает вчера моего на мосту. Он же в восьмом классе, а там были от четвертого до шестого. Ничего не докажешь. Она говорит:

— Как же это, вы работаете на Петровке-38, а сын у вас вон что делает?

Я ей сказал:

— Так это ж я работаю там, тут-то я отдыхаю!

1969.

ПРОЦЕДУРНАЯ СЕСТРА

Скорее высокая, почти представительная. Держится в стороне. Ко мне привыкла. Часто мы разговариваем.

— Если б я знала, что «Восхождение» про партизан, я бы обязательно пошла. Хорошая картина?

— Всем нравится. Там партизана показали Христосиком. Мне не понравилось.

— Конечно. Какой Христосик? Как звери, в лесу жили. Два года ни помыться, ни переодеться. Ляжешь спать и не знаешь, встанешь или нет. Пойдешь и не знаешь, придешь или нет...

Она останавливается. Я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы она продолжала. Как всегда, тихо:

— Сколько народу поубивали... Всё свои своих. Немцы-то нас долго не трогали. Мы их считайте что и не видели... В лесу знаете как? Незнакомый человек — значит, враг. А для каминцев каждый в лесу — партизан. И партизаны тоже: не дашь еду — убьем. А у того, может, последнее — и детишки мал мала меньше...

— Вроде гражданской войны.

— Да... Я знаете как к ним попала? Я в медучилище была, когда немцы пришли. Мне так нехорошо стало, что, понимаете, все наше было, было — и вдруг нет. Не знала, что делать. Подумала, что учительница литературы у нас была — она должна знать, и, наверно, у нее связь с лесом. Я к ней пришла, говорю: хочу в лес. Только сначала хочу посмотреть, какие там люди. Она меня знала, поверила. Сказала, куда прийти. Я им там на стол подам и посмотрю. Я вошла, а она говорит: это свой человек. А они в полшубках за столом...

— Кто были командиры? Подпольщиков оставляли?

— Что вы... Тогда так бежали...

— Из Москвы присылали?

— Может, под самый конец...

— Значит, местные?

— И местные. У меня командир был капитан, окруженец. Окруженцев много было. И бежавших из плена.

— Я слышал, в Белоруссии и в ваших краях евреев не выдавали, прятали.

— Как же! Был у нас доктор. Такой красивый, тихий. Он не мог эвакуироваться. Он был... в интимной связи... с женщиной. А она рожала. Моя приятельница его прятала. Я ему автомат передала. Кто-то донес. Пришли искать. Он во дворе в стог сена залез. Стали сено штыками протыкать — он испугался, что ли, дал по кругу из автомата. Его так издали и расстреляли. Каминцы.

— А самого Каминского вы видели?

— Как вас.

— Какой он был?

— Невысокого роста. Худощавый. Нос орлиный. Волосы светлые, гладко зачесаны.

— Вежливый или кричал?

— Культурный. Но прикрикнуть — мог.

— В немецкой форме?

— Нет, ни нашей, ни немецкой никогда не носил. Кожаное пальто.

— Откуда он?

— До войны был директор водочного завода в Локте. Локоть — городок такой под Брянском. Красивый-красивый, зеленый весь.

— Значит, партийный был?

— Член партии.

— А что с ним стало?

— Немцы убили. При отступлении. Сначала сделали бургомистром, потом бригадным генералом — так и называлось: бригада Каминского.

— Вы не помните, какие нарукавные повязки были у полицаев? Нужно было для киносъемок, а кино не знал.

— Каминцы в немецкой форме ходили. И нашивки: РОНА. А были еще РОА.

— Нет, деревенские полицаи, в гражданском.

— Не помню, не обращала внимания.

— Понимаете, должна быть повязка на пиджак. Пиджак мог быть какого угодно цвета. Значит, надо, чтобы она выделялась. Яркая.

— Желтоватая...

— И никто не знает, что на ней было нарисовано или написано?

— Не помню...

— А если написано, то по-русски или по-немецки? Простым шрифтом или готическим?

— Готическим! Вспомнила: ПОЛИЦАЙ. Что повязки — людей забыли. Я вот думаю: Зоя Космодемьянская. А моя подруга пошла на задание, и ее в про-рубь спустили. Чем она хуже Зои? А Тося Дубровская секретаршей у Каминского работала, только и слышала: немецкая овчарка. Немецкие овчарки тоже разные были. Мы через Тосю все наперед знали. Она и листовки печатала — я от нее корзинами носила. Вот так дверь Каминского, так ее стол. Мимо хдят все время, а она печатает. Это страшней, чем на фронте, там все свои, а тут все чужие. Так когда наши пришли — ей не поверили. Она с ума сошла. Ну скажите, разве она хуже Зои? А ее в заключение...

— Знаете, какая медаль самая редкая? «Партизан Отечественной войны». Сколько партизан было и сколько осталось?

— Да, это точно... Меня как медсестру — еще война шла — послали в Бурят-Монголию на сифилис, на эпидемию. Удостоверение у меня есть, а саму медаль я не получила.

— Как же! Получите! Напишите в военкомат — может, еще не поздно.

— Нет, никуда я писать не стану. И зачем мне она?

— Сыну вашему будет приятно.

— Сыну я ничего не рассказывала. Не посвящала.

— Все равно он узнает. Прочтет о партизанах, заговорит — вы ему и расскажете, как мне.

Качает головой.

— Прочитала я, что вы мне давали²... Скажите, ну как это пишут? Один человек все сделал! Да у нас только расстреляли сто человек, а сколько арестовали, а сколько не тронули — никто на них не показал... Под пытками знаете, как было, — даже осуждать нельзя, если кто скажет. Следователь был Прощук — от него кроме как замятку не выносили. Я всех следователей знала. Андриевского не было. Был Баранов — плотный, вроде вас, а голова — как у девушки. Молодой, черты тонкие, красивые. И манеры — так за неделю не научишься. Я к нему все присматривалась, дурака он вяляет или немцам прислушивается. Если это он — как он мог не знать, что в Локте такое подполье? Зачем ему вербовать пленных, когда рядом Тося? И мы, считайте, все в открытую делали. Я сейчас своей дурной головой и то понимаю, что никакой конспирации не соблюдали. А когда наши стали подходить, мы совсем голову потеряли. Вот и провал. А это уже немцы были. Сколько народу поубивали! У меня тетка была. Ее замуж выдали — знаете, прежде не выходили замуж и не женились, а родители выдавали и женили. Так ее выдали за сына земского врача. Этот земский врач был невысокий такой и борода — Карл Маркс! А добрый! Он в тридцать вторым от голода умер. И он и его жена. Дети у него высшее образование имели, а этот сын был немой. Мастер — на все руки! И надо же, немцы его повесили. Схватили, решили, что партизан. Допрашивали, а он ни слова сказать не может. Они думают, что нарочно молчит, и мучали! Нос ему отрезали, уши... Чуть не забыла предупредить — завтра утром меня не будет. Вызывают.

Конверт на машинке. Обратный адрес: Лубянка, 12-а. Повестка: в качестве свидетеля. Я:

— Мало приятного.

— Я уж привыкла... Опознание. Тогда, в войну, на месте стреляли — и ничего. А прошлый раз — я и не сразу узнала. Тридцать лет прошло. Он все пря-

² Сборник «Чекисты». Анонимный рассказ о том, что в Локте (у чекистов — в Локоте) была школа абвера и в нее проник герой разведчик.

тался. В Сибири. Наверно, не рад, что тогда не убили. Был нашим следователем, потом следователем у немцев. Что может быть гаже? А я смотрю: старый, отечный. Мне, поверите, его жалко стало...

1978—1982.

ВОРКУТЯНКА

Фу, пробежалась я за этим троллейбусом — как нормы сдавала. Зарядочка получилась. Утром-то я сама йогами, а сейчас после обеда — дело другое. Ну ничего, пусть организм поработает. Зато уж как села — до самой гостиницы, я там полтора месяца живу.

— Вы приезжие?

— Как же, гражданочка, я с Воркуты.

— Холодно там у вас.

— А то как же! Не так, как тут. Сейчас приеду, а там — тридцать градусов мороза.

— Это в апреле?

— А то как же!

— А летом жарко?

— Жарко. Как теперь у вас, градуса три.

— Я вот никогда из Москвы не выезжала.

— Ну и сиди в своей Москве. Чего я тут не видала? Толкотня одна.

— Да у меня сын. Лучше, чем в Москве, нигде образование не получит.

— Что оно, твое образование? Муж у меня всю жизнь землю копал. А сейчас ему сорок два года, а он тысячу рублей получает. Депутат. Везде ему почет. Вся Воркута на него не нарадуется. А то как же! Был бы человек, образование твое — тфу! Важно, кто как с людьми касается. Нам образованных с Ленинграда присылают, так они ни туда, ни сюда, на черной работе сидят. Я сама геолог, в Ленинграде кончила, а восемьсот получаю, меньше мужа, а все равно не то, что вы тут. У меня брат в Ленинграде. Приеду — так то ему секретер купи, то еще что. Я уж стала в гостиницах жить, ему не докладываюсь. А муж — как в гору пошел, заставили его в Воркуте техникум кончить: неудобно, начальник партии.

— Это что, на партийной работе?

— Ну нет. Он у меня чалдон, старовер.

— Старовер?

— Да не так старовер, а так — ничего нового не признает. У него тяжелый ревмокардит, а он с врачами — ни-ни. Говорит, лучше так помру. А вообще хороший человек — и образование ни при чем. Образование для чего нужно? Для работы. Ну и в смысле этики тоже дает. Только все дело в человеке. Пусть твой образованный сын человеком будет.

— Это точно.

— А то как же! У вас тут все образованные, а посмотреть — как одеты? Да у нас каждая воркутянка в собольей шапке ходит. Без хорошей шубы на улицу выйти стыдно. Я уж сюда золота не везла — еще забуду где, — а так у меня браслеты по пятьсот рублей. А вещи здесь я беру только в Доме моделей. Туфли по семьдесят рублей. У них кожа хорошая, шевро, а как шьют! Пять лет не износишь. Я свои одни четыре года ношу, не знаю, когда сносятся, надоели уже. Сейчас еще шесть пар забрала, на несколько лет хватит. Вернусь домой, приоденусь — так буду выглядеть! Я до пятидесяти лет молодая была, а вот уже три года как рак желудка. За лекарствами я в Молдавию ездила и на Кавказ. На Кавказе травы на пятьсот рублей купила — пять рублей грамм. Сейчас еду из герценовского института. Там рентгенолог хороший, Соломон Яковлевич, армянин, что ли...

— Может, грузин?

— Так я ему прямо говорю: ты мне скажи, надо операцию делать или не надо, а то после ваших операций люди больше полгода не живут.

— Это точно.

— А то как же! Так он мне говорит: не надо. Пей, что пила. Я и пью и еще йогами по утрам.

— Для дыхания?

— Какой для дыхания! Я с шестнадцати лет этим занимаюсь, только теперь узнала, что это йоги. Питаюсь медом и творогом с базара. Сейчас на Кирова в диетической столовой кушала, там все протертое. За три года ни грамма не потеряла. Как было сорок семь кило, так и есть сорок семь. Чего ты на меня вылупилась? Ну да, видно, если смотреть. Мне с лицом пластическую операцию сделали. На что же еще Москва? Конечно, и магазины. Дочке на тысяча пятьсот рублей одежды купила.

— Большая уже?

— Восемнадцать лет. Мы ее в три с половиной года взяли. Оказалась больная. Что вот этот столб, то и она. Мне женщины говорят: что ты ее наряжаешь, все без толку. У нее замашки, как у мужика, — сидит, ноги расставит. А мы всё стараемся, против врачей — может, в ней что человеческое появится. Я из-за нее с шести лет по милициям таскаюсь. Особо опасный случай. Что хочешь, может. Диагноз у нее — пять страниц! Поражение головного мозга во чреве матери. Она в заключении родилась. Ей пожизненно пенсия и инвалидный дом закрытого типа. Мне врачи говорят: если вы погибнете, мы ее от вашего мужа сразу отберем, должны.

1973.

ЭРЬЗЯ

Старый, оборванный Эрьзя со старой, облезлой собакой — немой сторож при складе своих скульптур. Я жил рядом, он привык ко мне и моим, и мы его разговорили.

— Степан Дмитриевич, это Христос?

— Нет, это я. Я в мордовской рубахе ходил — длинная, белая. Итальянские женщины набожные. Вечером пойдешь — кричат: — Иисус Христос! Иисус Христос! — и ручку целовали. В Италии. Я после пятого года сбежал. Чтобы не арестовали. К Трубецкому. Я по его классу в Живописи-ваяния числился. Он тогда Александра Третьего делал. Так что учился я у Волнухина. Хороший был человек. В гражданскую войну я его до Геленджика довез. На моих руках умер...

— Вы до революции не совсем уезжали? И вернулись?

— В четырнадцатом году. В четырнадцатом все возвращались. Приехал — и под надзор. Революционер... Революция меня и освободила. Я был главный организатор общества художников. А когда Ленин приехал, нас из Кремля прогнали... Я уже тогда очень известный был. В музеях много работ, очень много. Всё разбили.

— Кто разбил?

— Кубисты. Футуристы. В Баку остались «Нефтяники». Говорят, есть еще Ленин в Батуме. Я не видел.

— А в Москве что-нибудь ваше стояло?

— Больше в Екатеринбурге. Памятник Парижской коммуне. Памятник революции. Марксу. Уральским коммунистам... Разбили. Из одного потом бюсты делали. Из тела. Я до дерева в мраморе работал. Такого хорошего мрамора нигде не видал. Меня из-за него чуть не расстреляли. Пришла бумага: разведать мрамор. Им надо кусочки привезти, а я разработку затеял. Начальник мне говорит: — Ответишь!

Эти начальники — им только бы по ресторанам. А нам есть было нечего. Ну, мне повезло. Встретил мой в ресторане над озером начальника из Москвы. Говорит: — Есть у меня такой Пёрзя. Самовольничает. Из-за границы приехал, по-русски говорит плохо. Хочу его расстрелять. — А тот ему: — Какой Пёрзя? Может быть, Эрьзя? Если Эрьзя — это самый хороший человек.

Эрзей меня еще товарищи по университету прозвали. У них было имение против нашего села. Вот тут на картине. Я по памяти нарисовал. Да... Они мне и кричали: — Эрзя, принеси ногу! Эрзя, принеси руку! — Там ступенечки маленькие. Темно. Освещение — не электричество. А внизу трупов масса. Они и боялись. А мне что?..

Начальник за мной мальчишку послал, чтобы сию же минуту. Я спешу, ноги подсекаются. Думаю, крышка. Он в дворянском клубе. Зал такой большой. Он в самом конце. Встал из-за стола, сам идет мне навстречу.

Мне разрешение дали над Златоустом сделать из горы две тысячи метров — Маркса. Потом говорят: нельзя. Не может один человек две тысячи метров сделать. А сейчас такая техника — двадцать километров сделать можно.

В Рио-де-Жанейро та же история. Я им говорю: — Давайте я вам из горы льва сделаю. — Они обиделись. Говорят: — Лев — символ Англии, а Бразилия не английская колония. — Гору-то чуть-чуть подправить — и над городом лев лежит... Я и дерево не очень-то трогаю. Только лица. Во какая прическа получилась. Природа! Ни один парикмахер не придумает.

— А как вы все-таки там оказались?

— Мне Луначарский сказал. Я и уехал. Прислал в Музей Ленина голову Ленина. Метр диаметром. Не знаю, где сейчас. Из Парижа прислал «Расстрел коммунаров». В Музей революции. Его на двор выкинули, а там больница, ремонт. Всех коммунаров шикатуры на шикатурку перевели. Много из них шикатурки вышло!..

За границей я жил хорошо. Если бы плохо, разве столько бы наработал? Тут не самое лучшее. Еще бы! Покупатель придет, посмотрит — разве он будет брать самое худшее! Триста вещей там. Сто пятьдесят в Германии. Сто во Франции, Англии и в Аргентине. Даже в Японии есть... Денег у меня много было. Очень много. Пользоваться ими не умел. Другие пользовались. Находились желающие. Дом у меня подходящий был, друзья подыскали. Народу всегда... И ездил я много. Лица смотрел. Это у меня не портреты. Революционерки! Да.

Столько я в Аргентине прожил, столько прожил, что теперь скажу: я очень хороший русский и я очень хороший аргентинец. А они мне говорят: — Освобождай дом! — Ну на что это похоже? Куда мне со скульптурой деться? И вот с ним. Леон со мной лет пятнадцать путешествует. Он никакой, беспородный. В свое время газеты писали: — Нельзя понять Эрзи, не узнав его собаку. — Столько всего обо мне писали — о ком же писать? И пожалуйста: денег нет, и дома нет, и людей никого нет. Я говорю, что хочу вернуться. Гражданство-то у меня советское. Они мне тут же дают миллион за Моисея и три миллиона за все остальное. Долларов! Не хотели, чтобы я увез. А я уже ничего не продаю: все народу.

Недешево мой переезд обошелся, миллиончика полтора. Пароход — специальный. Туда ведь сообщения нет. Деньги заплатили, а привезли — свалили в монастыре. Полтора года на свежем воздухе. Одни святые смотреть ходили. Оттого так и потрескалось. Хорошо, дерево такое — тыщи лет под водой, под землей лежало. Я его сам открыл, сам выкапывал. Привез с собой два вагона — где-то валяются. На дрова. А что тут во дворе — все сделаю, и баста!

— А правда, что как вы — никто не работает?

— Конечно, никто. Как я, один Микеланджело работал! Я смотрю — увижу, что надо сделать, и сразу делаю. Начисто. Ничего не размечаю... Когда сюда ехал — боялся. Техника вперед шагнула, отстал я. Куда! Приехал — а они всё стучат молоточком: тук-тук! Я им свою фрезу показал — они удивились. А чего удивляться? Обыкновенная фреза. Как бормашина для слона. Молоточком такое дерево не возьмешь. У него волокна — как если пальцы переплести. Старайся, не старайся — всё не по направлению, всё не по древесине. Мою «Москвичку» молоточком полгода делать. А я часа за четыре, за пять...

Когда я сюда приехал, мне сразу дали десять тысяч. Фальшивых. Пиши, что пятнадцать, а получи десять. Пять тысяч фальшивых. И потом ни копейки. Сейчас ко мне ходить стали, разговоры пошли. Худфонд семсот пятьдесят в месяц обещает — я их еще не видел. Маленков мне двести пятьдесят метров дал; говорят: много. А мне повернуться где? Не то что работать, расставить не-

где. Хорошо, вас четыре. А в воскресенье четыреста было. Куда мне их всех девать? Ходят, спрашивают. Про меня первый раз услышали. У нас одни крайности — то кубизм, то фотография. Молодежь жалко.

— Кто вам нравится из теперешних?

— Не знаю. Про манизеров-вучетичей и говорить не хочу. Я умру — они сразу приедут, все скульптуры на свалку выкинут. Про советских я ничего не знаю. Они не сами работают. На выставке за городом, на сельскохозяйственной, — Мотовилов, мой ученик. Разве он сам? Мраморщики за него. А он, наверно, и не был, когда работали. Потом приехал и подписал. Ну как я могу сказать: Мотовилов — очень хороший скульптор или плохой?

— А Мухина?

— И Мухина не сама. Шадр — сам.

— Коненков?

— Коненков хороший, его весь мир знает. Коненков всегда большой был.

— Голубкина?

— Хорошая была. До Парижа. Из Парижа она машину привезла. Размечать стала.

— А Роден?

— Тоже не сам работал.

— Кто лучше всех?

— БурдЕль. Он всегда сам. Конечно, БурдЕль. БурдЕль!

1955—1981.

ЖЕМАЙЧЮ КАЛЬВАРИЯ

Автобус ахнул: русские сходят в Кальварии!

Палангская Люся привезла нас к родителям.

Мама встречала величественно, на холме. Папа в ограде заходил чертом:

— Гости дорогие! Я — Юозас, по-русски — Осип. Фамилия — Даугнорас, значит — много хочу. Я всегда много хочу. Ай, дверь низкая!

Дому лет полтора, ровные корабельные сосны. Мама выносит моей же не расшитое полотенце. Папа тянет с дороги на Вардуву.купаются здесь в кальсонах и отдельно от женщин. Папа ликует:

— Я по-русски лучше всех говорю! При царе — два года учился, Николаевская гимназия в Паланге. После войны шесть лет учился в России. Мне следователь руку сломал, до сих пор мешает. Вон та маслобойка была моя, и поле за речкой мое. Мне не жалко. Я все равно живу лучше всех!

К обеду неожиданно, как мы, явился из Салантая сын Витас, продавец рыбного магазина: подвез попутный начальник милиции, который сел вместе с шофером за стол.

Сервизных тарелок-ложек хватило на всех. Первое — холодный борщ с ведром горячей картошки. Второе — мясо и рыба, кто что захочет.

В анекдоте жемайтис выставил на стол все что было и пошел в поле работать. Аукштайтиец налил чаю без сахара и занимал разговорами. Занямунец ничего не дал и ничего не сказал.

В Паланге мне говорили, что в здешнем костеле роскошное собрание облачений и утвари, а настоятель приторговывает смуткялисами, резными фигурками святых. Я спросил, как пройти. Папа хмуро показал:

— Сам не пойду. Я с ним давно поругался.

Настоятель был в отъезде. Домоправительница отвела к алтаристу.

Маленький сгорбленный старичок нас благословил.

(Когда мы вернулись, папа радостно об алтаристе:

— Пукис — хороший человек. Пукис значит Пухов.

— Не хороший, а святой, — поправила Люся.)

Алтарист объяснил:

— Вам надо найти закрастийонаса. — И на бумажке с печатью епархии дрожащей рукой вывел ради нашего безъязычия: «Кур чя гивяна понас закрастийонас? — Где здесь живет господин церковный староста?»

Молодой парнишечка развернулся у дома на мотоцикле, извлек из-за пазухи и шикарным жестом вручил цветастой девке пачку небольших грампластинок.

— Я закрастийнас. Только не понас. Я по-русски могу — только из армии.

Он тут же отвел нас в храм и показал облачения и утварь. Я достал бумажку, он потемнел лицом.

— Деве Марии, — поправился я.

Он показал глазами копилку.

Он не сказал, я не спросил: тут хранится кусочек Того Креста.

Маленькие высокие холмы крутой зеленью заслоняют небо. На них дома, в оградах — деревянные кресты метра в три-четыре. Говорят, такие кресты под дождями выдерживают лет пятьдесят—шестьдесят. Каплицы Крестного Пути с большими, в рост человека, костельными изваяниями. Алтарист рассказывал:

— Там, где Христос под крестной ношей, крестьяне решили, что от зубов помогает. За год сгрызают весь крест. На Пасху меняем.

У выхода в поле на столбе в прозрачном пушкинском фанаре — дивный Рупинтоелис, Христос Скорбящий. На поле бабы в цветастых платях наступают на яркий оранжевый хлеб. И везде — у домов, под холмами, вдоль улиц, на самом шоссе — низенькие каплички с битыми стеклами и в них — смуткялисы, не допущенная в костелы божественная деревянная готика девятнадцатого века. Чем старше, тем лучше, легкие, растрескавшиеся, редкостной выразительности.

Везде на нас откровенно глазают.

За ужином папа без конца ставит на стол «Дарбо по вена», «Трижды девять», кипрский мускат. Он обегает гостей и глядит в рюмки:

— По обычаю петербургскому, по обычаю святорусскому...

И вообще разговор шел на русском. Сын Витас пил и мрачнел, может быть, из-за нас. Одного брата его убили лесные, другого — стребукасы³.

Застрявший начальник милиции наваливался на меня (говорят, если литовец сволочь, то сволочь):

— Зачем Хрущев китайцам атомную бомбу не дает? Зачем с китайцами поругался? Если бы не Сталин, где бы мы теперь были?

В девять, по бою часов, папа — как тот жемайтис из анекдота — поднялся:

— Кушайте, гости дорогие, пейте — не забывайте, а мне в стадо пора. Коровок доить.

В окно я видел, как он, шатаясь, уехал на стареньком велосипеде.

Литовцы запели.

В одиннадцать шофер объявил, что пора. Машина начальника оказалась грузовиком. В кузове уже стояло десятка три молодых цветастых. Начальник и Витас под руки подвели шофера к кабине. Витас потянулся к дверце, и шофер рухнул. Его с трудом упихнули за баранку.

— Здесь шофер всегда пьяный, никто еще на разбился! — крикнула из кузова Люся.

Грузовик рванулся во мрак. За ним долго тянулось:

Венс, ду,
Гра́же Летува...

Мы оставались к утренней мессе.

— Гости дорогие, я с вами уже прощаюсь, — вступил папа. — Завтра ни свет ни заря в Плунге картошку везу — председатель машину дал.

Ватикан,
Папе Иоанну Павлу Второму

Ваше Святейшество,
именно Вам, может быть, пригодится мое свидетельство.

³ Комсомольцы-добровольцы, истребители лесных.

Летом 1963 года в Жемайтйской Кальварии я видел необыкновенного священнослужителя.

Отец Повилас Пукис долгое время был настоятелем здешнего знаменитого храма. После войны он десять лет отбыл на Воркуте — донесли, что отпевал лесных. По его словам, ту же всего пришлось в Бурятии, где не было ни соотечественников, ни Писания.

В Кальварии он слишком многих крестил и венчал. Люди собрали ему на собственный домик и перевезли из дома для престарелых в Бурятии. Он прямо сказал, что приехал домой умирать, и уже положил на кладбище плиту. Теперь он был алтаристом на вольных хлебах и в случае надобности служил за настоятеля.

И в Кальварии и в Паланге, где он был во время войны, его считают святым. По тому потрясению, которое я испытал от самого его присутствия, я тоже уверен, что он — святой.

Я застал его в глубокой старости, он уже был не от мира сего. Не знал часов и шел в храм на звон колокола, в любое время навещал больного и всякого, кто в нем нуждался. На литургии он отодвигал от себя рассеянным жестом Писание и обращался вверх тихим голосом, в тишине. Может быть, он нарушал правила богослужения, но его торжество было так огромно и абсолютно, что я проплакал всю службу.

Рассказывают, что на его похоронах настоятель пытался вырвать из рук усопшего серебряный крест, но был уличен и отведен в Тельшай.

На могиле вместо простой черной плиты с именем и датами теперь большое полированное надгробие складнем. Надпись:

ПРЕЛАТ ПОВИЛАС ПУКИС, ТРЕХ ХРАМОВ СТРОИТЕЛЬ.

Хочу надеяться, что Ватикану небезразлично суждение Жемайтйской Кальварии и мое.

С любовью и уважением,

Андрей Сергеев.

1977—1980.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПОВЕСТЬ В. БОГОМОЛОВА

«В КРИГЕРЕ»

ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

ЗОЛОТИСТАЯ ТВЕРДЬ, КРАСНАЯ РЯБИНА

Памяти Юры Карабчиевского

Опять утрата и урон,
Опять прощанье,
И снова время похорон
И обнищанья.

От боли острой и тупой
Беззвучно вою
И говорю не то с собой,
Не то с тобою.

Я говорю тебе: «Постой.
Постой, не надо.
Быть может, выход есть простой,
Без дозы яда.

Ты мертвый узел разрубил
Единым махом,
В земле, которую любил,
Оставшись прахом».

* *
*

Миру всякая смерть,
Что слону дробина...
Золотистая твердь,
Красная рябина.

Кто почил, кто воскрес —
Миру что за дело?
Лишь бы вспыхивал лес
Да листва летела.

Бьешься рыбой в сети —
Бейся, ради Бога.
Тянет вовсе уйти —
Скатертью дорога.

Мир тихонько себе
Что-то там бормочет,
А о смертной судьбе
Даже знать не хочет.

* *
*

●
Елене Колат.

Он стоит лицом к стене —
Этот солнечный пейзажик.
Он у мира не в цене,
Мир его не знает даже.

Он сияет и горит,
И пульсирует и дышит,
Что-то сердцу говорит,
Но никто его не слышит.

Знает все его тона,
И оттенки, и находки
Только старая стена
Со следами от проводки.

* *
*

Эти поиски ключей
В кошельке, в кармане, в сумке,
В искрометности речей
И на дне искристой рюмки,
В жаркий полдень у реки,
И на пенной кромке моря,
И в пожатии руки,
И в сердечном разговоре,
И когда не спишь ночей,
Вдохновенно лист марая...
Эти поиски ключей
От потерянного рая.



ДАУР ЗАНТАРИЯ

*

СУДЬБА ЧУ-ЯКУБА

Из исторических хроник

1

Как-то раз убыхи собирались в поход, и каждое село выставляло одного бойца с десяти дымов. На собрании в Сочи предводителем был назван знаменитый Адаго Берзег Сааткери. В назначенный день на сборы явились два брата — Якуб и Ибрагим.

Предводитель обратил внимание на братьев и спросил, кто они.

— Это сыновья несчастного Коблуха из рода Чу, — ответили ему.

— Почему же отец прислал их, безусых, а не явился сам? — спросил Адаго.

— Отец их обьелся простокваши и свалился, — ответили ему нукеры.

Но Адаго не понравился тон нукеров, и он холодно посмотрел на них, потому что братья выглядели молодцами.

— Почему отец прислал вас, ведь он должен был явиться сам? — спросил Сааткери.

— Отец наш на охоте ранен медведем и не может ходить, — ответил предводителю Якуб, старший из братьев.

— При вас ли оружие и кони? — спросил Адаго Сааткери.

— Есть при нас отцовское оружие да пара жеребцов, что доvezут нас туда и обратно, — ответили юноши.

Адаго понравились братья.

— Древний убыхский обычай таков, что не берут в поход мужчину, который не успел жениться или у которого сына нет. Нас мало, а врагов наших много. Если погибнет мужчина — для нас большой урон, а если этот мужчина к тому же бездетный — то урон вдвойне, ибо вместе с ним погибнут еще не родившиеся убыхские мстители, — сказал Адаго Берзег Сааткери.

Юноши смутились и не смели ответить, но через посредников просили предводителя не препятствовать им, не заставляя их вернуться обратно.

— Что скажут о нас старухи Мацесты, если мы понуро возвратимся назад? Старухи Мацесты скажут: «Вот вышли юноши добывать славу с отцовским сердцем, да вернулись с материнским». Пусть не бесчестит нас предводитель, — просили они.

Задумался старый Адаго и внял просьбе юношей. Он спросил старейшин, и старейшины тоже ответили ему:

— Возьмем их, пусть покажут себя. Отец их отвагой не отличался, но, кто знает, может, из них что-то получится. Воинами не рождаются, а становятся на войне.

Адаго решил, что достаточно одного из братьев. Он взял старшего, а младшего отправил домой.

Отряд из двух тысяч всадников шел осаждать укрепление Хосту. Якуб, старший из братьев Чу, прислуживал старому Адаго и учился у него воинскому мастерству.

Среди храбрецов, которые первыми ворвались в укрепление, оказался Якуб. Пуля попала ему в бедро и прошла насквозь, не задев кости. При отступлении юноша промыл рану, затем, отодрав от бревна кору, нашел муравья и впустил в нее, чтобы муравей выел заразу. Заткнув рану, он перевязал ее тряпкой и никому ничего не сказал. Но это было замечено.

Так в первом же походе отличился убыхский юноша Якуб из рода Чу.

2

Вскоре Якуб шел в поход уже во главе десятка бойцов. При взятии гагрских теснин он с горсткой людей перешел вброд бурную Бзыбь и напал на врага с тыла. С этого дня он стал сотником. Отныне его личное имя произносилось вкупе с родовым именем и звали его не Якубом, а Чу-Якубом.

А в следующем походе, когда убыхи послали в Абхазию десять тысяч конников, Чу-Якуб был назван одним из тысячников. Было ему тогда от роду двадцать пять лет.

Берзеги, самый знатный и влиятельный род среди убыхов, были уязвлены этим. Один из Берзегов, а именно Махматуко, сын старой Хании, сказал в меджлисе:

— Может ли смириться сердце убыха с тем, что во главе воинов, идущих в огонь и презирающих смерть, поставлена голь, вскормленная объедками от наших амбарных крыс?!

Эти слова вызвали не только негодование в душе Чу-Якуба, но и большой спор в меджлисе.

— Не пристало тебе, Махматуко, говорить такое, — возразили ему. — Ты хочешь опорочить лучших из наших юношей. Те, которые якобы вскормлены объедками от наших амбарных крыс, кровью доказали, что они верные сыны родины, в то время как некоторые князья прятались в Стамбуле, чтобы сохранить свой род.

— Нет, не тем защищать наши вольные берега, чьих отцов не пускали в меджлис, — сказал кто-то.

— Самый многоречивый в собрании оказался в бою скромнее черкесской невесты, — возразил другой.

Якуб был потрясен. В свои двадцать пять лет он был трижды ранен в боях. Но самую большую рану нанес ему сегодня Берзег Махматуко, сына которого он когда-то спас от позорного плена.

— Не надо сориться из-за меня, народ, — произнес Чу-Якуб. — Слова, которые я услышал, таковы, что мужчина обязан мстить обидчику, но не время сейчас для распрей. Пусть простит меня народ, что я смею говорить о себе, но я никогда почестей не искал и всегда стоял там, где народ полагал меня нужнее. Сегодня, если позволите, я сложу с себя обязанности даже сотника и встану в ряды простых бойцов.

Он сказал это и вдруг заметил, что народ облегченно вздохнул. Никто не хотел ссор перед походом, и чести Чу-Якуба народ предпочел мир на совете. Якуб действительно не стремился в начальники, но был очень уязвлен. Он покинул меджлис и пошел прочь.

Не успел он выйти, как услышал незнакомый ему голос. Незнакомец защищал его. Но Чу-Якуб не стал слушать и ушел домой. А вечером к нему в дом пришли старейшины и просили от имени народа выступить во главе тысячи.

Позже он узнал, что собрание повернул тот незнакомец, чей голос он услышал уходя. Сколько ни спрашивал Якуб, никто не знал того человека. Было странно, что в такую решительную минуту преданность Чу-Якубу явил незнакомец. Но размышлять было некогда. Поход был трудный, опасный, и у тысячника было много забот.

Чу-Якуб отличился в бою. Слепцы сложили о нем песню. Старейшины говорили о возведении его рода в дворянство. Но неожиданно был похищен и продан в рабство в Турцию его брат Ибрагим.

Чу-Якуб тогда жил уединенно, увлекаясь горной охотой, и отказывался от участия в походах с целью грабежа, часто предпринимаемых неумными Берзегами. Горным путем по лесному бездорожью и снежным хребтам или морем на гребных судах и легких парусниках Берзегии, преодолевая расстояния, внезапно нападали на какое-нибудь селение, грабили его и брали людей в плен. Пленных чаще всего продавали за море, но если было чем занять их дома в условиях военного времени, когда пошли на убыль ремесла и хозяйственные работы, то пленного оставляли, лишив его родового имени и спрятав прядь его волос, как этого требовал вековой обычай. И пленник не мог убежать, куда его волосы оставались в руках у хозяина, ибо в волосах — его судьба, и волосы — это конец нити, за которую хозяин держал его, куда бы он ни попытался убежать. Волосы были залогом его рабской покорности, каким бы отчаянным джигитом ни был он до плена.

Это были домашние рабы. Раб состоял из трех начал: кожа и кости, сотворенные Богом, принадлежали только Богу; мясо, а вместе с ним и сила принадлежали хозяину, ибо и мяса и силы не стало бы, перестань хозяин кормить раба; сам раб владел только своей жизнью, единственным, что он мог отобрать у хозяина.

Плен грозил тогда каждому независимо от его знатности и известности. А тут еще приближался рамадан, и вскоре в Анапу и Трапезунд должны были прибыть мамелюки из Египта, чтобы купить новую партию кавказских юношей для своей гвардии. В такие времена становилось тревожно на всем побережье от Батума до Керчи. Похитители юношей спохватывались только к самому приезду мамелюков и начинали спешно набирать товар. В эти дни в общинах старались держаться вместе, гуляли группами. Дети играли только под присмотром вооруженных мужчин.

Чу-Якуб поехал на выгон, чтобы забрать домой младшего брата, который одиноко пас там коз. Но он опоздал. Брата на месте не оказалось. Не мешкая Якуб разослал своих людей ко всем прославленным джигитам края. Наконец следы брата объявились в Трапезунде. При сопротивлении Ибрагим потерял глаз и потому не был куплен мамелюками и не был увезен в Каир.

Тогда Чу-Якуб не мешкая отправился в Трапезунд на своем паруснике и пришел на невольничий рынок. Следуя обычаю, прежде чем войти в рынок, он купил у евнухов, торговавших справа от ворот, голубя и выпустил на свободу.

Как только он вошел и выкликнул имя брата, тотчас отозвалось с полсотни парней разного возраста, выставленных на торг. Каждый хотел быть купленным горцем, чтобы влачить неволю поближе от родных мест. Но у Якуба едва хватило средств, чтобы выкупить брата, за которого люди Ахмед-бей требовали столь высокий выкуп, что даже черкесский мальчик пяти-шести пядей ростом не мог стоять так дорого. Ибрагим же был выставлен на позорный торг потому, что у него был изъян и его не смогли сбыть с рук, но он был брат Якуба, и Якуб не мог торговаться. Он выкупил брата и уже хотел отправляться с ним домой. Но бей Ахмед, раздосадованный тем, что убых добился своего, решил проучить его и предложил сыграть с ним в шахматы. Бей выставил прелестную черкешенку из рода Хан-Гиреев, а Якуб в случае проигрыша отдавал свой парусник. Трудно было тягаться молодому горцу со старым беем Ахмедом, который был обласкан султаном, имел дворцы в Трапезунде и огромные угодья в его окрестностях, а также был прославлен в боях, носил звание паши, однако при этом горец лучше знал законы хитроумной игры, и в конце концов победа, а вместе с нею и черкесская княжна достались ему. И Якуб, счастливый, поплыл на Кавказ с братом и девицей из рода Хан-Гиреев. «Согласна ли ты стать снохой моего отца и матерью моих детей?» — спросил Якуб княжну уже на паруснике. В знак согласия она опустила ресницы со скромностью, которой черкешенки славились в веках не менее, чем красотой.

Прежде чем вернуться домой, Якуб и Ибрагим повезли девицу в дом ее отца. Их парусник причалил неподалеку от имения князя. Княжна прибыла в ро-

дательский дом как раз в день, когда родня, отчаявшись ее найти, устроила по ней поминки и многочисленные плакальщицы причитали над ее одеждой.

Мужчины пошли навстречу спасителям княжны, на ходу переворачивая газыри с траурной черной стороны на радостную белую.

Князь Хан-Гирей подарил Чу-Якубу часть своего табуна, а мать хотела усыновить спасителя дочери, по обычаю дав ему прикоснуться к груди. Якуб попросил не усыновлять его. Он обещал вернуться через месяц за дарованным табуном. Раньше чем через месяц он прислал сватов и не взял коней.

«Пусть лучше моя дочь станет женой безродного бойца, чем именитого бездельника», — рассудил князь.

Поодаль от четырехугольной хижины отца Якуб выстроил для себя и для своей жены конусообразную хижину — амхару. На свадьбе Берзеги преподнесли Чу-Якубу решение в скором времени произвести его в дворяне. Но весь народ знал, что они завидовали славе Чу-Якуба и затаили вражду.

4

Однажды незнакомый всадник подъехал к воротам Якуба и окликнул его по имени. По обычаю того смутного времени лицо всадника было закрыто башлыком. Якуб вышел навстречу гостю и стал звать его в дом. Но всадник отказался спешиться.

— В это воскресенье придут к тебе люди от Берзегов и станут звать тебя в морской поход на Туапсе. Но ты не соглашайся, потому что они задумали тебя погубить, — сказал Якубу гость.

И с этими словами, не давая Якубу опомниться, ускакал.

«К чему бы это? — стал думать Чу-Якуб. — Правду мне сказал или нет человек, чей голос я уже однажды слышал? Может быть, он решил испытать меня, прослышав, что Берзеги собираются на Туапсе? Или он как друг предупредил меня об опасности, но, остерегаясь Берзегов, пожелал остаться неизвестным?»

Долго он размышлял. Подумал было срочно куда-нибудь уехать. Тогда, если придут люди, отец и брат скажут, что его нет дома. Но тут же отверг это храбрый убых. Он решил ждать, все предоставив воле случая.

Пришло воскресенье. Незнакомец оказался прав. Берзеги прислали к Чу-Якубу людей, оповещая его, что в такой-то срок они собираются в поход и хотят, чтобы он шел с ними.

Якуб пригласил послов в дом и заколол для них быка. А проводив их, он сел и опять стал думать.

— Отчего ты задумчив, хозяин мой? — спросила его дочь Хан-Гиреев, заметив, что муж ее хмуро бродит по двору.

— Задумчив я вот почему, — сказал Якуб и открыл ей свою заботу.

— Егей, и сны у меня были тревожные. Не ходи с ними, — стала просить жена.

Но разве по женскому совету действовал Чу-Якуб?

— Что у тебя за тревога, мой старший брат? — спросил его Ибрагим.

Якуб открылся и ему.

— Егей, мой старший брат. Берзеги не дают тебе покоя! Не ходи! — горячо заговорил младший.

— Что вы там шепчетесь, что у вас за тревога? — спросил братьев отец.

— Шепчемся мы вот почему, — сказал Якуб. — Ищут моей смерти Берзеги. Давно ли они оскорбили меня, а теперь зовут в поход. Между тем до меня дошли слухи...

Но отец Якуба Коблук благодаря сыну пользовался почетом в селе и уже вошел во вкус. К тому же старик всегда почитал Берзегов, и ему льстило их внимание. Неожиданно для сыновей он закричал:

— Как же ты можешь, послушавшись какого-то бродяги, не пойти с теми, кто зовет тебя добывать славу? Старухи Мацесты скажут, что мой сын струсил!

«А может быть, и незнакомца подослали Берзеги, чтобы искусить меня?» — подумал Чу-Якуб.

— Ты прав, отец. Зря я вас утомил, — только и сказал он.

И, не позволив никому больше отговаривать себя, он в назначенный день отправился в путь. «И я пойду с тобой, старший брат!» — попросил младший, но Якуб приказал ему вернуться.

— Больше остерегайся выстрела сзади, а не спереди, старший брат! — просил его Ибрагим.

Услыхав это, разгневался их отец Коблук.

— Чтоб тебе лихо было! — воскликнул он. — Как ты смеешь предлагать старшему брату, чтобы он не доверял друзьям, а воевал, поминутно оглядываясь!

— Егей, где же до сих пор были мы с тобой, храбрецы! — в сердцах сказал Ибрагим отцу.

— Не дерзи отцу, парень! — Чу-Якуб улыбнулся и поскакал со двора.

Небольшой отряд отплывал на гребных судах и фелюгах в море. Многие возражали против того, чтобы двинуться в этот день, потому что вдалеке на море собирались тучи. Но ветер был южный, и предводитель отряда Хании, сын Махматуко, приказал поднимать паруса. Какое-то время море было спокойно, и паруса медленно двигались к западу, но вскоре ветер усилился, и путешественникам пришлось причасть в устье реки Шахе. Отгребая гальку, намытую в устье реки, убыхи ввели фелюги в реку с ловкостью, не раз описанной путешественниками, и отряд стал разбивать шатер, чтобы ждать погоды здесь. С самого начала Якубу не нравилось поведение некоторых спутников: они были то подозрительно приветливы, то отводили глаза. Якуб помогал устанавливать шатер, но был настороже. Однако все же щелк ружейного затвора раздался сзади него неожиданно. Якуб бросил кол, который держал в руках, и резко обернулся. Схаплук, молочный брат Махматуки, держа в руках ружье, давшее осечку, глядел ему в глаза нагловатым взглядом. Одним прыжком Якуб очутился возле него и, выхватив у Схаплуха ружье, с силой ударил его прикладом по голове. И в это время в него выстрелили. Якуб понял, что ранен, но, не растерявшись, еще раз прыгнул и лег за вытащенную на берег фелюгу. Острая боль отдалась в левом боку. Но, не обращая на это внимания, Якуб перевернулся на здоровый бок и стал стрелять. Один за другим взвились дымки от его кремневого ружья.

Другие воины, увидев, что нукеры Махматуки стреляют в своего, с криком вскочили и остановили злодеев. Чу-Якуб ушел, паля в воздух, чтоб пуля не угодила в невинного, и не зная, кого ранил и кого убил.

Берзеге, ходившие за славой, вернулись с убитым Схаплухом и раненым Махматукой. Но Чу-Якуб опередил их. Он увез семью в Бзыбь, а сам бесследно исчез.

Махматуко умер, так и не оправившись от полученной раны. Сыновья его стали разыскивать Чу-Якуба, но не нашли. Тогда они бросились за его родней, но и родственники были укрыты в недоступных местах.

5

Мехмет-Али... Впрочем, этот полководец вряд ли в наше время так известен, как в прошлом столетии, когда его имя часто мелькало на страницах европейских газет и о нем писали Мериме, Дюма и лорд Вольнэй. А был он когда-то владыкой судеб и соперничал с державной Турцией, Блистательной Портой. Так что мне следует рассказать о нем вкратце.

Во время экспедиции Наполеона в Египет султан отправил на помощь мамелюкам Мехмета-Али, командовавшего албанской гвардией турецкой армии. Мамелюки кавказской династии, сотни лет правившие в Египте, лишь формально признавали протекторат Турции, но помощь от нее в борьбе с неистовым франком приняли. В союзе с Мехметом-Али и англичанами мамелюки изгнали французов из Египта. Албанская гвардия выполнила свою миссию, однако Мехмет-Али не торопился в Стамбул с триумфом и отчетом. Вскоре с помощью Мехмета-Али и его гвардейцев мамелюки избавились и от англичан, что опять не дало повода Мехмету-Али отбыть с гвардией в Стамбул. Между тем мамелюки, еще недавно совершенно независимые, неохотно терпели присутствие в

каирском замке самого турецкого паши. И вот при поддержке мятежного албанца — внимательней, читатель! это Восток! — был изгнан сам паша, последний представитель Турции в Египте.

Турецкий султан был силен помешать этому. Чтобы как-то выправить положение, он назначил пашой в Египте самого Мехмета-Али. На первых порах Мехмет-Али это звание принял, желая выиграть время и упрочить свое положение. Но полномочия паши в Египте в условиях всесияния мамелюков едва не превышали полномочия консула. Честолюбивые же замыслы албанца простирались много дальше каирского замка.

Вся полнота власти в Египте снова досталась мамелюкским беям, которые разделили между собой государственные посты и богатства, предоставив Мехмету-Али довольствоваться предложением пышных проводов. Праздную свои победы, мамелюки мучили простой народ — египетских феллахов. Народ поднял мятеж. Это победоносное восстание возглавил Мехмет-Али.

Происходило это таким образом. В один прекрасный день, а именно 1 марта 1811 года, Мехмет-Али пригласил в каирскую крепость мамелюкских беев, прося их принять участие в параде. Мамелюки в праздничных одеяниях появились под крепостью, а народ сверху любовался ими. Но как только шедший впереди подошел к воротам, ворота захлопнулись, а с крепостных стен народ открыл огонь по мамелюкам. Погибли все мамелюки, только один из них прыгнул в пропасть, где конь разбился, но всадник спасся и ушел. Это место до сих пор арабы называют Прыжок мамелюка.

Таким образом, в течение какого-нибудь часа Мехмет-Али стал самым могущественным и богатым египтянином. Он вознамерился потягаться силой с самой Портой. Свободный от косности в военных делах, он строил армию и флот по европейскому образцу. Боевые корабли Египта вышли в море. Мехмет-Али трижды наголову разбил турецкую армию. Только вмешательство России, не желавшей иметь у южных рубежей сильный Египет вместо слабеющей Турции, спасло Стамбул от падения, и Мехмет-Али до конца так и звался наместником султана в Египте.

В 1831 году Мехмет-Али призвал врагов Турции встать под его знамя. И очень скоро среди его военачальников снова появились горцы Кавказа.

В Сирии армия Мехмета-Али, которой командовал его сын, потому что полководец к этому времени уже был немолод, попала в окружение. У солдат истощились запасы муки. Но тут один из воинов изготовил жернова и показал кавказский способ пользования ручной мельницей. Арабы дружно убрали пшеницу и намололи муки, ибо армия была окружена не где-либо, а на полях зрелой пшеницы. Получив муку, армия насытилась, ожила и вырвалась из окружения.

Юноша этот был, как вы, вероятно, догадались по логике повествования, убух Чу-Якуб.

6

Я начинаю чувствовать, что история, которую я рассказываю, и без Египта может показаться неправдоподобной некоторым читателям. Хотя любой человек, которому приходилось рыться в скупых рапортах офицеров и чиновников, служивших на Кавказе в период расцвета джигитства, может подтвердить, что подобные судьбы были тогда почти повсеместны. Но между тем временем с его правдивыми летописцами и нашим лежит гора бульварной и героико-приключенческой ерунды, и поэтому, хоть и не хочется сходить с пути спокойного повествования, придется пойти на уступку маловерам и подтвердить свой сюжет строгим документом. Мне доставляет больше удовольствия скрещивать документ с народной молвой, чем просто излагать вымышленные истории.

Однажды в руки мне попал очерк об убухах, принадлежащий перу известного французского мифолога и лингвиста, знатока кавказских языков Жоржа Дюмезиля. В очерке я встретил имя, уже известное мне по преданию, которое я когда-то записал и с которого и начну это отступление.

Предание рассказывает о происхождении клича «чыу!», или «чоу!». До махаджирства, рассказывали мне, в Убухии был род Чу. Род этот крестьянский, однако с ним должны были считаться даже самые знатные.

Когда убыхи отправлялись на войну и все уже стояли в конном строю, Чу, по обыкновению, опаздывал и приходил последним. Он занимал свое место, предводитель давал знак, что прибыл Чу и можно трогаться, и тогда по рядам пробегаю короткое и быстрое «чу». Даже боевые кони стали воспринимать этот звук как сигнал трогаться. Так появилось междометие «чу», с которым до сей поры джигиты пускают своих коней вскачь.

Я вспомнил эту легенду, когда читал Дюмезиля. Он писал:

«Два села в Маньясе, где еще говорят по-убыхски — Хаджи-Якуб-Кейю и Хаджи-Осман-Кейю, — были основаны членами семьи Чу. Род этот не был дворянским, но в последние годы независимости стал играть большую роль среди свободных простолюдинов... Главами семейств были двое юношей, Ибрагим и Якуб. О первом Джемиль (внук Якуба) ничего не знает и полагает, что Ибрагим погиб еще на Кавказе, до переселения. А Якуб, любитель приключений, оказался среди многочисленных горцев Кавказа, которые откликнулись на призыв Мехмета-Али, когда тот поднял в Каире бунт против султана. В победоносной кампании, окончившейся Кютахьяским договором 1833 года, Якуб отличился своей храбростью и умом. Однажды, когда в Сирии среди полей зрелой пшеницы армия умирала от голода, Якуб, знавший применение ручной мельницы на Кавказе, научил египтян ею пользоваться, и это дало возможность обеспечить каждого воина мерой муки. Благосклонность Мехмета-Али к Якубу была столь велика, что лишь ему одному правитель Египта доверял охранять свой сон. После благополучного завершения войны Якуб был осыпан в Каире почестями. Мехмет-Али подарил ему великолепный дворец. Слух о возвышении Якуба распространился по всему Кавказу, и Берзеги, знатнейший и влиятельнейший род среди убыхов, отправили своих людей в Египет. Эти люди смогли лишь подтвердить достоверность слухов. Тогда Берзеги стали упрекать Якуба в том, что он находится вдали от Убыхии, когда ей угрожает гибель, и обещали дать ему то высокое положение, которое соответствовало бы его нынешней власти. Тоскуя по родине, Якуб уступил их настойчивости и попросил у Мехмета-Али отставки. Когда Мехмет-Али понял, что ему Якуба не удержать, он дал ему корабль, нагруженный сокровищами, тканями и оружием. У Якуба, прибывшего на Кавказ, было столько добра, что потолочные балки корабля, к которым все было подвешено, прогибались от тяжести. Еще до Каира Якуб часто ездил в Стамбул. Однажды в Стамбуле он играл в шахматы: выигравший должен был получить женщину от проигравшего. Он выиграл и вернулся на Кавказ с родной бабушкой Джамиль-бейа...»

7

Итак, в суровую ткань жизни горца неожиданно вплелись сочные нити Востока. Убегая от мести, убыхский юноша Чу-Якуб оказался в Египте, неожиданно возвысился и пробыл там около или более пятнадцати лет. Но в конце концов, побежденный тоской по родине, вернулся в Убыхию.

Сразу же по прибытии Чу-Якуб созвал меджлис и отдал ему все свое имущество. А для себя потребовал, чтобы он и весь его род были произведены в дворянство. Совет был согласен дать имя Якубу и его брату, но не всему роду Чу.

— Не забывайте, что я был вельможей в огромном египетском королевстве. Разве это не выше вашего дворянства?! — сказал Чу-Якуб.

— Оно-то так, отважный Чу-Якуб. Но в Египте власть издревле в руках рабов-мамелюков. Там так заведено. А у нас, убыхов, чистая кровь, и она должна оставаться чистой, — сказал князь Дечен. — Ты же, Чу-Якуб, и мужеством и благородством поднялся выше многих князей и дворян, потому мы ставим тебя и рядом с собой и выше себя. Супруга твоя из рода Хан-Гиреев, так что и потомки твои будут кровью и сердцем созданы для великих дел. Но если мы возвысим твоих сородичей, а они тебе не ровня, то однажды, когда нас уже не будет, наши потомки станут вступать в родство с их потомками. Не может убыхская знать, самая чистокровная на Кавказе, испортить свою кровь.

— Почтение сказавшему эти слова! Слышал я, что предок Деченов приехал как-то торговцем от генуэзцев и, оставшись здесь, стал и дворянином и князем. Верно ли это?

— Так говорят, чтоб собаки вырыли из земли его кости, — произнес недовольный Дечен.

— Разве сокровища, привезенные мной, не дороже его безделушек?

— Не стоит тебе упорствовать, отважный Чу-Якуб, — заговорил другой. — Часть твоих богатств — плата за кровь Берзегов, которую ты когда-то пролил. А на другую часть мы купим оружие, чтобы защищать нашу вольность. Одна родина и у тебя и у нас всех. Прими дворянство, и твоим сородичам потом станет легче достичь этого.

— Нет, народ! Я не могу отказаться от родичей, которые когда-нибудь похоронят меня. Останусь вольным крестьянином. Да не ведает и впредь позора род Чу, как не ведал его до сих пор. Такова моя воля, — сказал Чу-Якуб.

Видя непреклонность Чу-Якуба, собрание решило, что он останется вольным крестьянином, но будет восседать с дворянами как равный. Назначили ему жалованье, которое могло прокормить его и его семью, выделили ему земли. Еще больше Чу-Якуб прославился среди убыхов. И потому когда его старшему сыну приглянулась девица из семейства Берзегов, те не смогли ему отказать.

— О, Якуб, будь не только узденем, но и князем, но оставь ты несчастных своих сородичей! — снова стали уговаривать Якуба Берзеге, когда сын Якуба стал их зятем.

— Я и так князь! — сказал Якуб.

8

Однажды, увлекшись охотой, Якуб не заметил, как заблудился. Вечерело, когда он оказался на аробной тропе неподалеку от незнакомого села. Несмотря на неудачную охоту, он ехал в хорошем расположении духа.

У обочины стояла корова. Она стояла так близко от откоса, что еще шаг другой в сторону — и полетела бы с обрыва.

— Пшейт! — прикрикнул на корову Якуб, чтобы отогнать ее от опасного места.

Корова обернулась к нему и вдруг замычала. Якуб обомлел. Как и все убыхи, он был бесстрашен, но суеверен и боялся дурных примет. Не мешкая он спешил, подбежал к корове и вырвал клоч шерсти. Но корова, вздрогнув, не смогла удержаться и полетела в ущелье. Растерянный и смущенный Якуб постоял у края ущелья, не зная, что делать дальше. Корова погибла, идти в село и расспрашивать, чья она, было ему недосуг да и не к лицу.

Подавленный, он поехал прочь. Он поспешил домой, вдруг почуввав недоброе, и уже затемно въехал в заповедную Мацестинскую чащу. Он пробирался по лесу, торопя коня, но не видел дороге конца. То он поднимался по склону, то спускался в овраг, но когда прошел день пути и его настигла темнота, понял Чу-Якуб, не знавший устали, что напрасно кружил в чащобах Мацесты — он заблудился в знакомых с детства местах. Чу-Якуб скинул бурку и сел под грабом, чтобы спросить у братьев-звезд, как найти дорогу из темного леса к селеньям. Но его братья-звезды на ночь глядя не отпустили усталого убыха, а пригласили его к своим огням, сами сели вокруг него и повели с ним беседу на языке убыхов и языке звезд, ныне редко кому понятных. И скоро сон смежил ему глаза.

А в чутком сне возник перед ним человек. Как это часто бывает во сне, лицо у человека было закрыто. Он что-то прокричал Якубу издали, предупреждая его. «Где-то я его видел, и не раз видел», — подумал во сне Чу-Якуб и проснулся. Он вспомнил Египет.

...По выжженной пустыне, вытянувшись без конца и края, продвигался караван. Паломников было не менее пятидесяти тысяч. Многие были на верблюдах, многие на конях, но большинство шло пешком. Верблюды были сыты, гарцевали кони, и люди были счастливы, отправляясь к святым местам. По обе стороны каравана встали семь тысяч всадников Эмира-хаджи — все в одинаковых облачениях и на конях одной масти. Тридцать семь дней и ночей шел караван. Когда на пустыню опускалась ночь, паломники разбивали пять тысяч

шатров и устраивались на ночлег. Богачи и вожди украшали свои шатры коврами и вышитыми полотнами, зажигали у входов разноцветные светильники. На рассвете снова пускались в путь, охраняемые с обеих сторон отрядом Эмира-хаджи. Паломники уже теряли силы. Густая пыль стояла над караваном. Она мешала дышать. На тридцать восьмой день пути началась моровая язва. Эта зараза, которую приносил южный ветер, для многих была губительна, но Эмиру-хаджи была только на руку, ибо по адату имущество погибших переходило к нему. В трех днях пути от Беддера, когда Эмир-хаджи ехал впереди отряда, где было поменьше пыли, из толпы путников вышел человек и безбоязненно взял его коня под уздцы. Как и положено паломнику, лицо у него было закрыто от солнца белым полотном.

Это случилось так быстро, что телохранители Эмира не успели опомниться.

— Стойте! — приказал Эмир, когда они окружили безумца.

Путник заговорил с Эмиром на убыхском языке.

— Плохи дела на твоей земле, отважный Чу-Якуб! — произнес он.

Чу-Якуб вздрогнул. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как он оставил родину. Он уже успокоился. Брат погиб, умер отец, жена и дети были с ним. Зачем тосковать?

— Мне ли не знать, что делается на Кавказе! — сурово заговорил Якуб.

Но это не было правдой. Давно уже не приходило вестей из Убыхии. Однако сейчас не Чу-Якуб, а Эмир-хаджи говорил в нем, и Эмир приказал связать немедля путника, посмевшего подойти и схватить его коня под уздцы. Охрана тут же связала убыха. Караван продолжал свой путь и на сорок второй день прибыл в Беддер. За спиной у паломников остались Красное море и пустыня. Здесь к ним присоединились другие паломники, из Сирии, столь же многочисленные, как их караван.

В Беддере паломники останавливались на две недели. Четырнадцать дней они совершали молитвы по обряду. Затем направлялись к Каабе, ко гробу пророка Магомета.

Все четырнадцать дней шумел невиданный базар. Купцов, съехавшихся со всего света, было не менее ста тысяч. Сидя в своем шатре, украшенном персидскими коврами и китайскими шелками, Эмир-хаджи играл в шахматы с мудрецами и богачами Индостана. К нему приводили женщин, красотой подобных гуриям.

Но беспокойно было на душе у эмира Якуб-бея. Его сознание по-прежнему мучил дерзкий убых, взявший за поводья его коня. Эмиру казалось, что он где-то уже встречал его.

Ударив по меди, он приказал арабу, сторожившему вход, привести пленника, и стал ждать. Весть, которую ему принесли, была удивительна. Убых бежал. Эмир вскочил и заметался по шатру. Пленник не решился бежать, пока караван шел по пустыне, но убежал, как только прибыли в город! Эмир приказал обезглавить всех, кто охранял убыха. Слуги кинулись исполнять его приказ. Но не стало покоя на сердце Якуб-бея.

Чу-Якуб вспомнил юность, когда выезжал с сотней джигитов в поисках славы, вспомнил собрание меджлиса, где ему нанесли обиду. Боль пронзила ему сердце. Он подумал, что это боль не забытой обиды. Но то была другая боль. То была тоска по родине.

Из этого путешествия вернулся Эмир, как всегда, с большими сокровищами, но теперь его занимала только одна мысль — об Убыхии.

Однако тосковать Якуб-бею долго не пришлось. Вскоре опять началась война.

Давно враждовали Мехмет-Али и турецкий султан Махмуд. Повод для ссоры на сей раз был таков. Султан Махмуд решил преобразовать свою армию на европейский лад, но воспротивились служители веры. Тогда воины Махмуда с головы до пояса обрядили в австрийскую форму, а ниже, как прежде, были широкие штаны и курносая обувь. Сначала Мехмет-Али высылал турецкому султану людей обучать его армию новому ведению войны, но потом вдруг объявил, что султан оскверняет Коран. И снова вспыхнула война.

Мехмет-Али призвал верного убыха и попросил, чтобы Якуб-бей разбил турок, но при этом вся слава досталась сыну Мехмета-Али, который считался предводителем.

В Сирии, под Низабом, войска египтян, которыми, попивая кофе в шатре, командовал сын Мехмета-Али, опять разбили преобразованную турецкую армию. Не выдержав такого удара, скончался султан Махмуд, и на турецкий трон сел его сын Абдул-Меджид. Он немедленно переделал на прежний манер остатки армии.

В этой войне Якуб-бей был тяжело ранен. Мехмет-Али приставил к нему французского лекаря, который усердно лечил раненого, головой отвечая за его жизнь. Не прошло и месяца как Якуб-бей снова сел на коня и повел паломников в Мекку. Уже прошли большую половину пути, и однажды во время привала, пройдя между стражниками, которые по двое были выставлены в семи местах, Эмир-хаджи вошел в покои, куда никто не смел войти, и в темноте приметил силуэт мужчины. Эмир поднял светильник и осветил закрытое лицо незваного гостя. Тот встал и, подойдя к Якуб-бею, преклонил перед ним колени.

— Я вспомнил тебя, юноша, — сказал Якуб-бей. — Открой лицо.

— Стоит ли тебе говорить, как дорог нынче Убыхии каждый воин, — произнес гость, пропустив мимо ушей повеление открыть лицо. — Как нужны твои богатства, когда народу не хватает оружия. Забудь обиды, воин, — твоему народу угрожает гибель!

— Я подумаю, — сказал Чу-Якуб. — А ты ступай!

9

Он вспомнил это и проснулся. «Абаджа!» — хотел воскликнуть Чу-Якуб, но не мог издать ни звука.

Карлики, числом не менее десяти, все на одно лицо, мохнатые, рыжие, посверкивая золотистыми глазами, подняли его и понесли. Они несли его осторожно, боясь разбудить. Якуб хотел шевельнуться, но не мог и, успокоившись, удивленно наблюдал за карликами. А они, посверкивая рыжей шерсткой в лунном свете, несли его к обрыву. «Абаджа, вот абаджа и нашли мне дорогу, хотя вывести меня из лесу, — усмехнулся про себя Якуб, — обрыв над пропастью и мог быть той дорогой, которую я искал». Они зыркали золотистыми глазками, очевидно догадываясь, что он уже не спит, а притворяется спящим. Вдруг на самом краю обрыва возник старик с белоснежной бородой по самый пояс. Он вонзил в землю посох и прикрикнул на абаджа, несших к пропасти Якуба. И они, увидев старика, как озорные ученики, застигнутые учителем, бросили наземь Якуба и кинулись врассыпную. Тут же и старик испарился, как испаряется сон, который в первый миг пробуждения стоит перед глазами.

Чу-Якуб присел, не понимая, то явь или сон. Но все это было наяву, потому что он сидел не на прежнем месте, а на самом краю обрыва. Он встал, улыбаясь, встряхнул головой и пошел вверх по следам, которые были гораздо меньше детской ступни. Абаджа пронесли его довольно далеко. Пришлось подниматься не менее пятисот шагов до места, где вчера он положил бурку и оружие. Он двинулся в путь, и теперь стало ясно, что выход из леса, который он не мог найти вчера, был совсем рядом.

Встречные, видя, что он не отзывается на их приветствия, говорили:

— Вот идет Чу-Якуб, убыхский воин. Несомненно тяжела его ноша. Но на плече его мы видим только крылатую бурку, стало быть, тяготит его боль.

В долине реки Мацесты конь Якуба споткнулся. Еще более растерявшись, он стегнул его плетью. Конь встрепенулся и понесся так, что Якуб не заметил, когда они перемахнули через Мацесту. На другом берегу на большом валуне сидела жена его, одетая в белое.

— Эгей, дочь Хан-Гиреев, что же ты сидишь на белых речных камнях, будто у тебя нет дома? Почему не встречают меня три сына и единственная дочь? И что за радость заставила тебя одеться в белое?

Она встала, взяла его коня за поводья и приникла головой к колену мужа.

— Потому я покинула дом и сижу на берегу, чтобы скорее поведать тебе о нашем горе. Один из твоих сыновей больше не встретит тебя, он не вернулся из похода, куда ходил с братьями жены, Берзегами. Младшие твои сыновья ходят по твоим следам, чтобы разыскать тебя, а дочь горюет над оружием брата. Одежда же я в белое потому, что сын не посрамил ни отца, ни мать и погиб, как подобает мужчине.

Чу-Якуб слушал и не мог спешиться, потому что жена приникла к его колену и орошала слезами.

— Почему ты отпустила сына без моего ведома? — спросил он.

— Ты ушел на два дня и не возвращался три недели. А разве я могла удерживать сына, если Берзегии бросили ему вызов? Вот уже третья неделя как он погиб, — ответила ему жена.

Чу-Якуб заглянул в ее глаза и побелел, как саван. Ему казалось, что он отсутствовал всего только третий день. А тут уже третья неделя как погиб его сын. Он снял башлык и провел рукой по темени: на голове, которую он выбрил перед дорогой, уже отросли волосы. Он понял, что краткой смерти был подобен долгий сон его в чаще. Не солгали ни приметы, ни человек, который явился ему в глубоком забытии. Сдерживая крик, он схватился за голову, а жена, вся в слезах, продолжала говорить.

Берзегии подошли к воротам и окликнули по имени ее сына. По убыхскому обычаю это означало, что сын погиб. Они привели матери его коня с оружием и сообщили, что сына ее они похоронили на месте его гибели.

Теперь начнем наш плач по убыхам, чьи огни угасли. Наши айры настроены, наши голоса звонки, а главное — сами мы живы. Ночь омерзительным циклопом приоткрыла единственный глаз. Кто-то скажет, что это взошел месяц. Но куда же деваться мне, если сто глаз у боли, что опустилась надо мной сама как ночь? Сагярмухва-гушагя!

Где же убыхи, наши гордые братья, которые были хранимы семьей святынями между морем и горами, любили вольность и не желали покоряться ни султану, ни царю?! Неужели исчезли они, как луч, что сверкнет на миг меж облаков? Кому тогда нужны были и отвига их, и вдохновение, и любовь? Если я не услышу ответа на эти вопросы, как мне усидеть под прищуренным глазом ночи и под сотней глаз моей боли, глядящих мне в сердце? Сагярмухва-гушагя!

То ли лгу я сердцу своему, то ли правда, что и убыхи не исчезли бесследно. Потому что смерть их стрелой звеня вонзилась в небо, и я слышу, как эта стрела возвращается, обогнув землю и целясь в сердца всех, кто ее запускал и кто не запускал. Стой, стрела, кричу я, прости нас на этот раз, откажись от мести! Сагярмухва-гушагя!

И я пытаюсь умолить стрелу, чье приближение слышу один я. Говорю в пустоту, продолжая твердить, что и так много крови, что дух не в силах возвыситься и летит над долиной, почти касаясь крыльями земли, подобно тому как близость ненастья клонит полет птиц к земле. Стой, стрела! — молю я, но как остановить то, что уже в полете! Сагярмухва-гушагя!

И я пытаюсь умолить летящую в воздухе стрелу. Стой, молю я в пустоту. Ты не знаешь, но я-то знаю, что, пробив на лету сердца всех, кто запускал тебя и не запускал, опьяненная свежей кровью, ты повернешь свое острие уже к сердцам тех, чью жажду крови ты хотела утолить, стрела слепая. Сагярмухва-гушагя!

И я пытаюсь умолить летящую стрелу. Стой! — молю я. Есть еще мужество и бесстрашие, дерзость и честь, совесть и милосердие — значит, есть еще в жилах человеческих древняя кровь убыхов. Сагярмухва-гушагя!

Чу-Якуб отобрал лиры у наемных певцов — они славили поход Берзегов, в котором погиб его сын. Он отставил охотничье ружье и взялся за боевое. Собрав отряд, он двинулся в края, что называли ему Берзегии. Чу-Якуб захотел своими глазами увидеть тело сына.

Высадившись в Лоо, он отвоевал село, где погиб его сын, и с двумя сыновьями пришел на место погребения. А Ахмата, сына Махматуки, которому он особенно не доверял, Чу-Якуб вел, накиннув ему на шею аркан. Он велел показать могилу сына. Стали копать. Якуб держал накоротке аркан, накиннутый на шею пленному Берзегу. Выкопали тело, которое прекрасно сохранилось, и Чу-Якуб убедился, что смертельная пуля попала сыну в спину. Сомнения быть не могло: его убили Берзегу. Средний сын Якуба схватился за кинжал, чтобы прикончить Ахмата, но Якуб его остановил. Он понимал, что если начнет мстить, то в это дело будет втянуто много народу, а этого он не желал.

— Ступай, — сказал он и освободил Ахмата, внука Хании. — Ступай и не оглядывайся. Придешь в наш дом и скажешь вашей сестре, чтобы она тут же скинула траур, взяла что ей угодно из имущества и ушла из дому. И никого из вашего рода я не должен видеть, когда прибудем с костями покойника. — И отпустил врага, напоследок стегнув его веревкой.

Поручив предводительствовать отрядом другому, Чу-Якуб с прахом прибыл домой. Дав соседям и близким оплакать сына, он в тот же вечер похоронил его. А на другой день, приказав вынести самое необходимое, сжег дом и с родными, близкими и слугами немедля двинулся морем в Турцию. Сагармухвагушага.

«Когда произошла эта трагедия, — рассказывает Жорж Дюмезиль, — Берзегу все еще не выполнили своего обещания и род Чу не был возведен в дворянство. Якуб прибыл в Турцию с многочисленными рабами, родственниками и друзьями и был направлен в Кулак, что неподалеку от Маньяса. Все они были в лохмотьях, совершенно обнищавшие. Якуб отправился в Стамбул, где султан образовал комиссию по иммиграции. Когда Якуб явился к главе этой комиссии (Джемиль-бей уже ничего не знает об этом), тот поднялся и спросил у Якуба, как его звать и не случилось ли ему жить в Египте. Якуб ответил, и чиновник бросился ему на шею со словами: «Я обязан жизнью этому человеку». Действительно, во время войны с султаном Махмудом Мехмет-Али арестовал много турецких подданных, и казнь следовала за казнью. Угадав в одном из осужденных армянина, Якуб пожалел его и спросил: «Если я тебя освобожу, есть ли у тебя возможность исчезнуть из Египта?» Получив утвердительный ответ, он дал армянину возможность бежать.

Теперь, встретившись в Стамбуле с Якубом как с просителем, этот человек обещал ему дать все, что тот пожелает. «Я не хочу денег, — сказал Якуб, — но мой народ живет в Кулаке в нищете». Армянин, возглавлявший комиссию, отправил двенадцать верблюдов, нагруженных всем необходимым, и сказал Якубу, чтобы тот сам выбрал себе местожительство. Якуб обошел окрестности Маньяса и на другой стороне поселка выбрал место для себя, которое теперь носит его имя.

...Посреди деревни, приютившейся на крутом склоне, рядом с огороженным участком, где живет Джемиль-бей, чуть повыше мечети виднеются четыре могилы, за которыми хорошо смотрят. На этих могилах мы с Джемилем часто беседовали по вечерам и однажды совершили молитву: он молился раскрыв руки, я — сложив их.

...Хаджи-Осман-Кейю был основан немного позднее, другим человеком из рода Чу, родственником, но не братом Якуба. По словам Джемиль-бея, Осман хотел присоединиться со своей группой к поселению, уже основанному Якубом, но тот отказался: «Нет, пусть наши куры живут отдельно. Чем меньше мы будем видеться, тем легче договоримся».

Когда спустя двадцать лет ученый приехал вторично в Турцию в поисках знающих убыхский язык, он с огорчением увидел, что число их резко сократилось. «Убыхский язык исчез почти всюду, и это произошло, как меня уверяли ныне отуреченные потомки многих знатных семей (в частности, профессор Мустафа Невзат Псак, директор крупной фармацевтической лаборатории в Стамбуле), по какому-то замыслу или расчету. Малочисленные и рассеянные по всей территории, потерявшие всякую надежду остаться убыхами, они все же хотели быть кавказцами и с этой целью предпочли, в зависимости от местности, слиться с двумя другими большими племенами, состоявшими из их това-

рищей по оружию и изгнанию: с натухайцами, шапсугами и абзахами¹, с одной стороны, а с другой стороны, в более редких случаях, с абхазцами», — пишет Дюмезиль, а в другом месте продолжает: «Подрастающее поколение не хранит и не желает хранить воспоминания о своих невзгодах и даже о древнем происхождении своего народа».

Одной из последних, от кого Дюмезиль получил сведения, была Хандарханум. «У Хандарханум странная судьба. Она — негритянка. Попав в сераль еще совсем ребенком (ее звали там Сейралы Арап), она так и выросла служанкой женщин, занимавших в серале господствующее положение. Таким образом, она изучила убухский и абхазский языки. В настоящее время ей под семьдесят».

11

Основав село, Якуб жил тихо, не ввязываясь в тяжбы и суету соседей. Но вскоре и его село стали беспокоить болгары-мусульмане, обосновавшиеся неподалеку. Они совершали набеги — грабили, воровали скот и уже полгода держали в страхе все села под Маньясом. Случались пропажи и в селе Якуба, и он точно знал, чьих это рук дело. Он послал к болгарам людей и передал им, чтобы они не мешали ему жить, равно как и он не будет мешать им. Но разбойники сочли это предложение за дерзость и пригрозили сжечь село Якуба дотла. Якуб и его люди были настороже, но несколько месяцев все было спокойно. Как-то вечером Якуб сидел на балконе вновь отстроенного дома. К воротам подъехал всадник. По обычаю турок лицо всадника было закрыто. Он пытался унять коня, который все кружил на месте. Якуб вышел его встретить.

— Будь осторожен нынче вечером, — сказал всадник. — На ваше село собираются напасть соседи-болгары.

— Стой! Кто говорит? — спросил Якуб, но тот повернул коня и тронул поводья.

— Стой, хымаго², я не знаю, ты человек, демон или ангел, но ты должен открыться сейчас же.

— Предупреди своих парней, чтобы сегодня были настороже, — повторил хымаго, не останавливаясь.

— Клянусь Мацестой, что не пощажу тебя, если не откроешь лица! — приказал Якуб.

— Если ты хочешь увидеть меня, возвращайся туда, где покоятся кости твоих предков, — бросил хымаго, удаляясь.

Рассердился Якуб, вбежал в дом, снял с гвоздя ружье, но впервые его не слушалась отягощенная рука. Якубу только оставалось смотреть в оцепенении, как незнакомец скрывался за поворотом. Хымаго уже не было, а Якуб стоял и стоял, весь дрожа и обливаясь холодным потом.

— Дочь Хан-Гирея! — позвал он жену. — Кто ж это был?

— Может быть, он дух... — сказала жена.

— Егей, будь он хоть духом, клянусь Мацестой, я его убью, если явится еще раз и не откроется.

Через час Якуб пришел в себя и сказал жене:

— Позови сына. Пусть он ударит в колокол и соберет село, если хымаго и на сей раз сказал правду.

Незнакомец сказал правду. Ночью пришли к ним разбойники, но уже предупрежденные сельчане устроили засаду и уничтожили всех до одного. Община облегченно вздохнула.

Стало спокойно. Горцы, из тех, кто заранее переселился в Турцию, слышав о селе Хаджи-Якуб-Кейю, приходили к Якубу и просились здесь жить. Он давал им земли, помогал встать на ноги.

¹ Натухайцы, шапсуги, абзахи (или абадзехи) — адыгские племена Причерноморья, поголовно выселенные в Турцию.

² Незнакомец (убых.).

Но вскоре неожиданно для Якуба, не выезжавшего из села и не знавшего, что делается в мире, целыми селеньями двинулись горцы сюда, в Турцию. Сначала пришли абадзехи, натухайцы и шапсуги. За ними последовали убыхи.

— Надо мне спешить на Кавказ, — решил Чу-Якуб. — Надо попытаться удержать оставшихся на родине.

12

Не мешкая он стал собираться в путь и звал все село, но соседям не хотелось покидать обжитое место. Даже сыновья не проявили желания ехать с ним. Дочь Якуба была замужем за пашой, сыновья женились и хотели спокойно жить и хозяйствовать.

— Вот что, — сказала его мудрая жена, — ты поезжай один и узнай, примут ли нас там обратно. Если туда нас не пустят, а эти земли мы тоже потеряем — где жить тогда? Ведь мы уже стары.

— И то правда, — сказал Якуб, хотя это было ему не по душе.

Заколов животное, он благословил свой путь и отправился в дорогу.

В Стамбуле он купил парусник и вышел в море один.

Погода была хорошая, Якуб плыл уже целый день. Вдруг он заметил на горизонте вереницу кораблей, плывших навстречу ему.

Корабли шли. Все ближе и ближе. Семь огромных кораблей турецкого флота. Когда они рассекали море, большие волны расходились в стороны и, все увеличиваясь, нагоняли друг друга. Корабли были подобны огромным птицам, упавшим на воду и не могущим подняться на крыльях. Корабли приближались. Якубу пора было повернуть в сторону, чтобы парусник не перевернуло ударной волной. Но он решил непременно понять, кто на корабле.

Он опустил паруса и вцепился в штурвал, поставив парусник носом к надвигающимся волнам. Сначала парусник так сильно накренился вперед, что, казалось, вот-вот перевернется. Потом его подбросило, и он так же сильно накренился назад. Изю всех сил удерживая штурвал, старик работал, зная, что посудина выдержит, пока держится поперек волн, но перевернется, стоит уйти в сторону. Когда его вместе с парусником очередной раз откинуло назад, корабли вдруг исчезли и перед Якубом возникла волна, громадная, как гора. Но Якуб был старый моряк и понимал, что это длину волны он принимал за высоту, оттого что парусник наклонился, и он намертво вцепился в руль, не желая отходить в сторону. Снова парусник подкинуло и наклонило уже вперед. И прямо перед собой он увидел корабль, плывший первым в колонне. Глаза не могли его обмануть. Он увидел, что палубы корабля полны горцев. Но это было одно мгновение, потом парусник бросило назад, и корабль исчез; оставалась волна, что шла на него как скала. Так боролся с волнами Чу-Якуб, пока мимо него не проплыли все шесть кораблей, полных горцев. То и дело возникал перед ним и пропадал очередной корабль; на палубах были горцы, они махали ему руками, что-то кричали ему, но он ничего не мог услышать и не мог разобрать лиц. Наконец прошел мимо последний корабль, волны, уменьшаясь и уменьшаясь, постепенно утикли, и Чу-Якуб, вконец обессиленный, опустился там, где стоял.

Корабли удалялись к югу, и уже ничего нельзя было на них различить. Якуб сидел, тяжело дыша. Наконец он опять поднял голову, чтобы посмотреть еще раз вслед кораблям, и увидел, что они исчезли за серым горизонтом. И сердце его стало равнодушным и пустым, как этот горизонт.

— Устал я, — сказал он и не заметил, что произнес это громко.

— Да, ты устал, отважный Чу-Якуб! — услышал он очень знакомый голос.

Он резко поднял голову. Прямо перед ним стоял тот, кто посещал его, никогда не открывая лица. Прямо перед ним стоял хымаго. Сейчас бешмет на хымаго был белый, и лицо было закрыто белым башлыком. Вспыхнул Чу-Якуб. В этот миг он и не подумал о том, как мог попасть этот человек на парусник, где, кроме него, никого не было.

— Когда ты отстанешь от меня, колдун! — взревел он, схватил его и стал трясти.

Незнакомец поник и, не в силах больше держаться на ногах, рухнул на па-
лубу. Якуб вздрогнул и замер на месте. Его окатило холодом. Он опустился на
колени, подперев рукой голову незнакомца.

— Егей! Кто же ты? — спросил он.

Хымаго едва переводил дух.

— Кто же ты, кто же ты? — спрашивал Якуб, не зная, чем ему помочь.

Хымаго поднял дрожащие руки и, последним усилием оттянув край баш-
лыка, открыл свое лицо. Взревел и отпрянул в сторону Чу-Якуб. Лицо хымаго
было его собственным лицом. Только больше следов мучений и горя было на
этом лице и было оно намного старее.

— Кто ты? — прошептал Якуб.

— Я — твоя судьба.

Чу-Якуб долго не мог произнести ни слова.

— А ты еще старей, чем я, моя юрдивая судьба, — проговорил наконец
он.

— Теперь мне не встать, отважный Чу-Якуб, — заговорила его судьба. —
Теперь я умру.

— Ыйома! — вскричал Чу-Якуб. — Ыйома! Уо ускуо!³

Но судьба его усмехнулась и испустила дух. Среди морских волн Чу-Якуб
успокоил свою судьбу...

Село Чу-Якуба вместе с окрестными землями купил барон Н. родом из не-
мцев. Он задумал разбить английский парк. Для работ барон нанял поселив-
шихся здесь молдаван. Трудолюбивый немец часто сам работал вместе с ними.
Как-то молдаване рассказали ему, что в непогоду на горизонте как призрак по-
является парусник. Барон не поверил, но однажды, когда он рубил заросли
вместе с рабочими, они сказали: «Вот он» — и указали ему в сторону моря. Па-
русник, прозрачный, словно весь из стекла, пронзенный слабыми лучами,
скользя над волной, мчался, мчался к берегу.

— Das ist Illusion, — сказал барон, и видение исчезло.

Перевел с абхазского автор.

³ Нет! Ты не умрешь! (Убых.)

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ВТОРУЮ ЧАСТЬ КНИГИ ИВАНА ОГАНОВА
«ПЕСНЬ ВИНОГРАДАРЯ ОСЕНЬЮ»**

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЗУФАР ФАТКУДИНОВ

*

АФОРИЗМЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Свобода и безнравственность сродни ¹ жидкому кислороду и мазуту: при соприкосновении они взрываются.

² Самая высшая власть — это власть красоты, венчает которую природа.

³ Человек не будет мудрым до тех пор, пока в нем будет больше говорить характер, нежели ум.

⁴ Человек несчастен в той степени, в какой он вынужден жить сообразно необходимости, а не по своим желаниям.

⁵ Если счастье хоть как-то измеримо и имеет предел, то несчастье в собственных глазах — без конца и без края.

⁶ Душа опускается в преисподнюю не только оттого, что человек благодаря греховным деяниям возносится по социальной лестнице, но и потому, что он возносится при этом в собственных глазах.

⁷ Готовых поделить счастье много, но беда в том, что счастливых очень мало.

⁸ Кто счастлив чужим счастьем, тот несчастен и от несчастья других.

⁹ Апатия народа — это летаргический сон, из которого его чаще выводят в ад диктатуры корыстные авантюристы.

¹⁰ Разъединенность народа обусловлена не столько отсутствием этнического единства или единомыслия, сколько дефицитом доброты и сострадания.

¹¹ Дух воинственности и экспансионизма коварен: приносит народу чужие богатства, но отвергает свои собственные — трудолюбие, творческое мирное созидание и милосердие.

¹² В смутные, лихие времена люди больше интересуются жизнью других, и прежде всего окружающих и знакомых, а в годы благоденствия это их занимает меньше всего.

13

Тоталитарные государства возникают не столько по велению рока в образе коммунизма или фашизма, сколько по желанию народных масс, стремящихся одним махом перейти из царства бедности в царство изобилия.

14

Самый первый и верный сигнал о бездарности правительства — это ухудшение жизни народа, а самый последний — разгул уголовщины, это всегда знаменует собою приговор общества об отставке правительства.

15

Народ приобщается к великому планетарному сообществу по имени человечество со дня его рождения, а к цивилизованному миру — со дня чтения священных книг: Корана, Библии, Талмуда.

16

Тщеславие сильной природы ищет свою реализацию в основном в трех направлениях: в завоевании власти, в богатстве, в творческих высотах.

17

Чем безнравственнее общество, тем больше людей охвачено тщетными надеждами.

18

Надежда — милая утешительница души и предвестница радости — чаще приходит к нам, чем отчаяние, но и реже сбывается.

19

Парадоксы человеческой природы: насколько легко человек передает власть над собой другим лицам (избирая правителей, поступая на службу или совершая правонарушения и т. п.), настолько трудно он берет власть над самим собой.

20

Самая могущественная власть над человеком — власть природы (сон, необходимость питания и другие естественные потребности), вторая — власть чувств и страстей, третья — власть труда и повседневных забот, четвертая власть — социально-политическая, пятая — власть человека над самим собой (самая слабая).

21

Ни одному правителю в истории человечества еще не удалось (и вряд ли удастся) быть справедливым в отношении своих подданных, не обладая компетентностью в государственных делах.

22

Смерть по своей сути чудовищна, в ней заключены потрясающие разум немислимые крайности: она скупа — не оставляет умершему ничего, она щедра — никого не забудет, всех оделит своей милостью, она жестока — лишает жизни дорогих людей; она милосердна — умерщвляет тиранов и заклятых врагов; она сильна — перед ней падают ниц даже императоры и короли; она слаба, так как не в силах уничтожить жизнь на земле.

23

Люди труднее переносят критику их убеждений, веры, чувств, нежели конкретных поступков, даже если они продиктованы теми же убеждениями.

24

Идеалы не становятся догмами, а догмы становятся идеалами, если в основе их лежат вечные истины: свобода, равенство, доброта, благочестие и т. д.

25

Насколько человек уменьшает круг своих страстей и желаний, настолько он уменьшает круг внешней зависимости, а значит — увеличивает личную свободу.

26

Чем больше власти над самим собой, тем меньше шансов потерять власть над другими.

27

Народ, веками претендующий на авторство великих концепций о человеке, природе и развитии общества, должен признать и трагично-печальное авторство в великих ошибках и заблуждениях.

28

Вечная мечта творческих личностей — о вечности своих творений.

29

Грех перед Всевышним не в том, что человек не умеет делать добро, а в том, что он не хочет делать его.

30

Самый большой вклад бездарного правителя в благополучие государства — это добровольный уход.

31

Когда нет настоящего (в эпоху перемен), молодость живет будущим, а старость — прошлым.

32

Войну заваривают грязные политики и жестокие авантюристы, расклеивается ее простой народ, а выгоду извлекают — чиновные воры.

33

Реальные и надуманные основания для мучений духа, соперничая друг с другом, терзают нас, и неизвестно, которые из них губительнее.

34

До тех пор пока мы, читая «Корабль дураков» великого Себастьяна Бранта, не будем находить в себе те черты, которыми обладают многочисленные пассажиры этого уникального ковчега, сей «летучий голландец» будет бороздить людской океан.

35

Мудр тот, кто держит в уме настоящее и будущее, а в сердце — настоящее и прошлое.

36

Вежливость, рожденная взаимной неприязнью, — плод осторожности, а не культуры.

37

Империи никогда не перестраиваются, империи только распадаются — таково веление истории.

38

Не только отдельные люди, но и целые народы, не обладающие собственностью, более склонны к крайним поступкам, к радикализму, нежели те, кто обременен собственностью: им есть что терять.

39

В глазах женщины мужчина умен настолько, насколько он послушен ей.

40

Чем короче чувственная память у человека, тем длиннее путь к настоящей любви.

41

Если есть на свете святой человек, то это непременно — мать.

Если говорить о высшей духовной чистоте и ее силе, то первоначальным источником, неиссякаемым родником является — мать.

Если говорить о самой высшей преданности между людьми в этом мире, то ее будет олицетворять — мать.

42

Каждый человек сеятель если не разумного, доброго, вечного, то уж обязательно — тревоги в собственной душе и еще больше в душе чужой.

43

Жалость к самому себе чаще приходит через обиду на людскую несправедливость, нежели от действительных неудач.

44

Политик — это прежде всего раб собственного «я» и лишь потом — борец за идеалы свободы и права человека.

45

Некомпетентность по разрушительной силе сродни идиотизму.

46

Когда народ на своей исконно исторической земле не является хозяином, то его национальный дух — это дух крайностей.

47

Самый устойчивый деспотизм — это деспотизм изменчивой моды, страстей и наживы.

48

Ошибки, а точнее преступления (поражения), правителей всегда сводятся к трем вещам: нанесению экономического ущерба государству, нарушению прав и свобод человека, разжиганию межнациональных конфликтов.

49

Степень откровенности мужа и жены уравнивается своеобразно: муж более откровенен с женой, чем с любовницей, в собственных делах, жена более откровенна с любовником в своем интимном прошлом, чем с мужем.

50

Единственная на свете тень, которая не затмевает детей, а высвечивает и делает их видимыми, заметными в обществе, — тень славы предков.

51

Существует политическая закономерность: правые, достигая власти, обычно левеют, левые же правеют, если, конечно, те и другие — здравомыслящие люди.

52

Глупость слышна в те моменты, когда человек должен молчать, а он — говорит, или когда нужно говорить, а он — молчит.

53

Вожди всегда видят себя впереди народа, а собственные дела ставят их далеко позади него.

54

Чем сильнее диктат власти — тем слабее он перед диктатом личных связей; чем демократичнее государство, тем слабее диктат личных связей.



О ЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН

*

НЕ ПЛАЧЬТЕ, ГЛАЗКИ ГОЛУБЫЕ...

Старик со старухой, старуха со старухой и старуха отдельно — вот и все Ряполово. А находится эта забытая деревенька где-то посередке между бывшей вотчиной бояр Романовых и родиной Ивана Сусанина. Говорят, будто знаменитый дед Мазай, заячий заступник, тоже родом из этих мест...

Мы не шли, а буквально продирались сквозь «улицу» бывших Деревенек. Ни малейшего намека на человеческое жильё! Вероятно, среди растительного беспорядка скрывались какие-то развалины изб, остатки фундаментов, но теперь их накрыли сверху джунгли крапивы и жалкого, рахитичного осинника. Борьба между нашими ногами и свирепыми злаками складывалась в пользу злаков. А ведь тут помимо двух десятков домов были еще когда-то скотный двор, конюшня, кузница, сыродельня. Природа превратила место обитания человека в неприглядные трущобы из крапивы, иван-чая и жизнерадостных колючек. Это все, что осталось от Деревенек.

Мы шли и шли, вроде как выгуливали себя, и Василий Егорович больше помалкивал, высматривая среди растительного хлама стебельки мяты, зверобоя и чистотела. А сам я тогда не мог отличить целебные травы от сорняков, которые оставляет после себя человек, точнее — брошенное человеческое жильё. Я надеялся найти хоть какие-то приметы жизни и спотыкался о битые кирпичи, вросшие в землю нижние венцы срубов, проржавевшие кастрюли и моховые кочки, которые снизу представляли собой груды гниющего тряпья. А ведь люди жили здесь поколениями, разбивали пашни и огороды, заводили скотину, растили детей.

И вдруг взметнуло их на крутом повороте.

— Умные разбежались, а дураки тут остались. Вот я первый дурак и есть, — сказал Василий Егорович, набравшись в молчании некой мудрости и стараясь не выдать своего волнения. Давно он не бывал в этих местах. — Ничего... сопим еще в обе дырки.

Если у меня, горожанина, вид трущобной, необитаемой деревни вызывал только чувство жалости, то для него она была частью жизни, большой памятью. Здесь он когда-то бригадировал, сюда нахаживал каждое утро, по-своему стуча в окна и выгоняя народ на колхозную барщину. Что тут скрывать, такое тоже бывало. По своей воле люди не шибко-то бежали на работу, хоть и годы были голодные.

Жители Деревенек привыкли жить вольно: и за колхоз держались, хоть и трудодень был «шиш да маленько», и сами не плошали. Каждый устраивался как мог: кто огородничеством пробавлялся, кто на охоту и рыбалку похаживал, кто лес валил, подрядившись к районным заготовителям, кто помоложе — тот в город подавался, гонимый переселенческим зудом, всеми правдами и неправдами добывая необходимые справки. А кто посмелей и понахальнее, гнал синевато-мутную бурячную «жижку» и толкал ее на рынке из-под полы...

Эх, Деревеньки, Деревеньки! Если разобраться по-настоящему, погубили вас не столько пристрастие к питию и желание ударить в город, сколько сама Система, а в ее лице — уполномоченные разных мастей и калибров. Каких только благ не сулили они простодушным хуторянам, чтобы те оставили отчий угол и перевезли свои дома на «большую землю» — к центральной усадьбе колхоза: хватит, мол, жить раками-отшельниками, надо строить крупнейший в стране животноводческий комплекс! Усердствуя в пропагандистском рвении,

партийные кликуши, по сути дела, погубили деревеньку-невеличку. А у многих крестьян просто-напросто отбили охоту работать на земле, кормить себя и страну. И в душах произошел медленный, но неотвратимый распад сознания, жизнь пошла наперекосяк. Мускулы разучились работать, мозг — мыслить, глаза — воспринимать радость жизни.

А тут еще в середине 70-х постановление о неперспективных деревнях, одни из которых, по мысли властей, должны умереть, другие — баснословно разбогатеть. И снова едут уполномоченные в Деревеньки, снова раздаются бодрые призывы вперемежку со скрытой угрозой: закроем медпункт, школу, отключим электричество! Хорошо бы подсчитать, хотя бы приблизительно, суммарный итог урона, нанесенного сельскому хозяйству верноподданными аллилуйщиками. И если бы их жертвами были только одни Деревеньки!..

Василий Егорович очертил рукой круг и сказал, что в радиусе примерно пяти—семи километров за последние десять—двадцать лет прекратили существование Борисовское, Завражье, Ломки, Жилино, Елуево, Овсянниково, Лиходейки, Екимцево, Вармален, Миснево, Ондраково. По сути дела, дышат на ладан Федорово, Абросьево, Гусенево, Окулово, Юркино, и близок час, когда там не останется трудоспособного населения. Да и наше Ряполово того гляди тоже отдаст Богу душу. А ведь деревня была, какую поискать!..

* * *

Умели предки выбирать землю для своих поселений! Куда ни помотришь — всюду лес, река, церковь с колокольней, и пашенной земли много, и солнечный свет отовсюду сочится, и душа как на дрожжах всходит. Такое вот было Ряполово. Красивое селение, домовитое, ладное, с четырьмя разбросанными краями — Сабановский, Митревский, Масловский, Верекинский (по фамилиям четырех помещиков, которые совместно владели деревней). Место открытое, удобное и картинное!

Правда, от барской усадебки с остатками фруктового сада и маленького парка, увенчанного грациными гнездами, сохранились одни воспоминания. Церковь — как почти все церкви срединной России — смотрит на мир черными провалами глазниц, и внутри ее витает смрадный дух разложившихся удобрений. Все тропинки от храма давным-давно затянуло гусиной травой. Валяются без всякой надобности мешки с удобрениями, ржавые запчасти для комбайнов и тракторов, груды цветастого тряпья, куски толя, обломки кирпичей и еще бог знает чего. Василий Егорович шутит: если собрать весь ряполовский металлолом и отправить на переплавку, крупнейшая в Европе домна Череповецкого комбината могла бы работать как минимум сутки. А сколько у нас таких деревень?

В темных, скособоченных избах Ряполова есть что-то от застывшей, прекратившей свой бег жизни. Как озябшие, нахохлившиеся птицы, выстроились они в линию на покато взгорье и угрюмо поскрипывают на ветру деревянными суставами. В ненастную погоду деревня замолкает: ни людских голосов, ни лая собак, ни звяканья ведер у родника. Это похоже на детскую игру «замри». И только охрипшая ворона на столетней березе, уныло шелестящий дождь да редкий дымок над крышей говорят о том, что жизнь еще продолжается и движется согласно своей природе.

«Живем, как зайцы на острове», — с тоской говорит восьмидесятидевятилетняя Анна Ивановна Петрушевская, патриарх Ряполова и моя ближайшая соседка. И не одна она так говорит: это могут подтвердить мать и дочь Сухановы, обе пенсионерки, да Василий Егорович Иванов с супругой Манефой Ивановной. Ну а я и еще трое семейных дачников не в счет. Мы живем здесь кто два, кто от силы пять месяцев в году и пусть худо-бедно, но все же поддерживаем порядок в своих домах и на огородиках.

О нэпе 'здесь до сих пор вспоминают взахлеб. Но именно потому и вспоминают, что на эту короткую вспышку всеобщего благоденствия пришлось лучшие годы Ряполова. 70 крестьянских дворов и прежде жили вполне безбедно, а тут, в середине 20-х, мужика словно прорвало: кто кого перегонит по производству ржи, мяса, молока, шерсти, льна. У Черного омота, что на речке Мезе, где любил охотиться в былые годы сам Николай Алексеевич Некрасов, встала водяная мельница. Общими усилиями была построена начальная школа, отремонтирована церковь. Большой серебряный колокол, отлитый на деньги прихожан, благовестом гудел на десятки верст. Василий Иванович Харламов основал колхозную фабричку и за год с небольшим буквально завалил Кострому своим сырокопченым товаром. Поблизости, в Ломках, с ним успешно кон-

курировали братья Орловы, которые, помимо домашней колбасы, выпускали пять сортов сыра, творог и фирменную сметану в специальных горшочках. Ничего привозного не было, но всего хватало: одних молокосдатчиков насчитывалось 96 человек, излишками мяса торговало почти полдеревни. А сколько здесь было кузнецов, пекарей, кондитеров, маслоделов, бондарей, сапожников! Был даже свой нищий, Крылов Иван Никифорович, но у себя в деревне он не побирался. До того пригожим и сытым показалось Ряполово уездному начальству, что сюда решили перевести волостной центр...

На месте заросшего ряской пруда, где нынче даже лягушки не живут, в пятнадцати метрах от моего дома, когда-то стояла лавка-магазин купца Грызлова. И чего, говорят, там только не было: икра черная и красная трех сортов, колбаса медвежья, колбаса языковая, копченая столичная, полукопченая краковская! Головки сахара на прилавке высились, как стога. «Осенней скуки друг» — водочка переливалась всеми цветами радуги в пузатых бутылках. Из конфет самыми дешевыми считались «раковые шейки», из хлебобулочных изделий — местные холмовские баранки. Как пчелиная матка, магазин Грызлова был облеплен бочками с рыбой разных пород и засолов, мешками муки четырех сортов, листами кровельного железа, ящиками с мелким скобяным товаром.

Островком сытости и довольства подошло Ряполово к началу 1930 года, когда по соседству, в Абросьеве, начал раздувать пары бедняцкий колхоз «Броневики» с двумя десятками зычных глоток и парой тощих коров. А с другого фланга, из Михайловского, соловьем разливался «Боевик», заманивая доверчивых селян в свой коллективистский рай. И не устояло Ряполово перед таким соблазном — стало называться «Новой жизнью». Понаехали коммуняки, известные своей ленью и сварами, закрыли лавку, колбасную фабричку, сырзавод. Заодно прикрыли и зубастую газетку «Борона», выпуск которой только-только наладил волостной староста Павел Федорович Федоров, вскоре угодивший в лапы ОГПУ. И началась вакханалия...

Лучшие хозяева были вырублены коллективизацией, другие разбежались, рассеялись по городам и стройкам, упокоились на погосте, а остальные примирились с участью подневольного эмбриона. И даже находят радость в этом своем состоянии. Ведь рабство тоже выбирают свободно. Если человек раб по своей сути, значит, таков его удел, он сам так решил...

А что такое свобода в обывательском представлении? Волюшка вольная, море по колено! «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!» Запою, запью, загуляю, а там хоть трава не расти. Воля — это чувство подневольного человека, который всю жизнь осторожничал, оглядывался и подчинялся, а теперь вырвался из узды. Подлинная свобода зиждется на фундаменте личной нравственности, чувстве справедливости, уважении к национальным традициям, своей и чужой собственности. Свобода — процесс длительной эволюции, удел человека культурного, индивидуально развитого, но мы прошли этот курс усеченно, «в два счёта на ять».

Конечно, первобытнообщинное единогласие в коллективе дает определенную защищенность и одновременно возможность спрятаться за чужую спину, работать спустя рукава. Всегда, во все времена и эпохи, были свои лодыри, пройдохи, мошенники, хапуги. Но было чувство греха, понимание неотвратимости кары за совершенный грех, и на этом держалась вся народная нравственность. Если раньше лодырь знал, что он лодырь, что он выглядит преступником в глазах соседей, он потому и сачковал скрытно, прячась, как тать ночной, от посторонних взглядов, чувствовал себя волком, окруженным красными флажками. Но с появлением колхозов сачок вышел из подполья, расправил плечи — научился «линять», «пудрить мозги», «облапошивать», «проворачивать дельце». Самый страшный порок колхоза в том, что он убил в человеке личность, производителя и хозяина, внушив ложную уверенность: гораздо безопасней ошибаться вместе со всеми, нежели быть правым в одиночку. Согласие со взглядами стаи освобождало от необходимости думать и самостоятельно принимать решение. Одним словом, феномен крестьянина был разрушен и приведен к безлично-коллективистскому знаменателю.

И все-таки сопротивлялись люди. Ни в каких народных легендах не прославленные, ни в каких церковных святцах не записанные — но подлинные герои, подлинны мученики.

Не так давно, копаясь у себя на повети в груди старья, оставшегося от прежнего хозяина, я случайно наткнулся на желтые, ломкие листочки с полувыцветшим текстом. По всей видимости, это был черновик письма, адресованного в высшие инстанции. О чем же размышлял ряполовский летописец Алексей Харлампиевич Харламов, строитель ныне принадлежащего мне дома?

«Наломали вы, черти, дров с русским крестьянином. Хотите с нами в дурачка сыграть в последний раз, и чтоб карманы набить за чужой счет? А кто кормить вас будет, думали? Мы хоть дураки дураками, а разбираемся с лаптем. Плохого бога и телята лизут, а вы своего боженьку за ноженьку — да и об пол бряк... Грабеж и разорение — вот и вся ваша власть, уничтожение невинных семейств. А кто посылает вам хлеб, молоко, мясо, племенных жеребцов? Нешто без нас обойдетесь или на нищие колхозы надеетесь?.. Ты, товарищ партия, сиди уж лучше в своих креслах и ешь, откуда тебя кормят, а на чужой каравай рта не разевай...»

Я не знаю, послал ли Харламов свое письмо наверх и какие выводы там сделали, но его не тронули. Видимо, Система дала осечку. А ведь мужик был (по словам Василия Егоровича) «шебутной и крикучий», все куда-то рвался, все к чему-то призывал, и всюду стремился быть первым — «хоть на ленивом мерине, но впереди». На всех сходках и собраниях не было ему равных в споре. Хотя к концу жизни, измордованный, изрядно натерпевшийся от колхозных нервов, замкнулся в себе и потерял вкус к словесным баталиям. Умер Алексей Харлампиевич на девяносто третьем году жизни, а в восьмидесят, говорят, еще ходил в Кострому пешком — полста верст туда и обратно.

В течение тридцати лет ряполовская «Новая жизнь» бесконечно объединялась и разъединялась, меняла, как перчатки, названия и руководителей, пока не явился наконец ангел-спаситель комсомольского возраста, бывший шахтер Анатолий Пономарев, тридцатый по счету председатель. Сильный ум, феноменальная память, ударная, образная речь, да и сам по себе — парень что надо! Будущий дважды орденносец, кандидат сельхознаук, вечный правофланговый пятилеток. Герой документальной повести «Истоки радости». Он и ему подобные словно договорились соблюдать правила известной игры: «да» и «нет» не говорите, «черное» и «белое» не берите. Они играли на клавиатуре партаппарата и при этом извлекали нужные аппарату звуки, хладнокровно рассчитывая и подсчитывая, что им с этого будет. Главное тут не оплошать, не промахнуться и вовремя высочить в дамки. У них все было схвачено, все о'кэй. Хваткие, между прочим, людишки, тертые и оборотистые, с располагающей внешностью провинциальных говорунов, и дело свое знали, и начальство чли в меру, не впадая в лакейскую угодливость, и выпить были не промах, и внешне держались как свои в доску парни — что в поле, среди народа, что на митингах, что в кабинетах обкома и ЦК.

Пonomарев предлагал строить крупнейший в костромском заволжье механизированный мясо-молочный комплекс с высокими надоями и низкими затратами труда. Обещал большие трудодни, белые халаты, отдельные коттеджи с городскими удобствами. И изверившийся было мужик сдвинулся с орбиты, оторвался от почвы, налаженного быта, традиций, освященных веками, и пошел ломать свою судьбу во имя неизвестного будущего.

Согласитесь, мужика не так-то просто сдвинуть с места, его непробиваемость и консерватизм к разного рода новациям прекрасно выразили наши писатели-классики. Но уж коли крестьянина удалось чем-то увлечь, в чем-то переубедить, он доходит во всем — в добре и зле, в мудрости и дурости — до крайних пределов.

То, что произошло с жителями Ряполова и других окрестных деревень, вообще ни в какие ворота не лезет. Народ словно сорвался с якорей, сжег за собой корабли. И потянулись ряполовцы к центру сельсовета Кузнецово, поближе к строящемуся агрокомплексу, чтобы «вкусить радость эксперимента», который, по мысли обкома, должен был воплотить коммунистическую мечту в зримый образ.

А брошенные поля тем временем зарастали нежитью поганой, лес наступал на сенокосные угодья и пастбища, глушил культурные травы. Там, где шумели и полнились добром деревни, теперь стояли пустые избы под ненастным небом, брошенные в грязи трактора, продуваемые навывлет коровники с оружием от голода скотом. Ну а те, кто оставался на земле, ни во что не вмешивались, ни во что не вникали, словно зараженные каким-то сектантским отвержением к жизни: день прошел — и ладно. Иные даже бахвалились: хоть и бедно живем, зато сами с усами, нас не трожь, и мы тебя в обиду не дадим. Были бы еще пенсионеры, можно понять, а то ведь здоровушие, с воловьими ручищами мужики, кровь с молоком. Нашли себе сонное пристанище посреди лебеды и комариной скуки и отбывали жизнь как наказание. Коровы у них доились, как козы, а картошка родилась, как орех. Но главное: произо-

шел медленный, но неотвратимый распад сознания, всем все стало до феньки. Деревня словно вышла из нравственных берегов, как весенняя Межа с ее опасными руслами, прижимами, перекатами, с ее завихрениями и подводными течениями, несущими грязь, мусор, донную взвесь, кору, накипь. Как будто открылись невидимые шлюзы, и отовсюду, из всех щелей и грязных закоулков выползли и поперли бесы. Как будто там, где был когда-то свет, все обьялось тьмой. И страшной всего то, что хотя ряполовцы более или менее отчаялись в этой жизни, но их отчаяние было какое-то тихое и скорее всего равнодушное, притерпелое. Платят — и ладно; как все, так и мы. Стадная психология! Помните, в Екклесиасте: «Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках; так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Вот и на ряполовских мужиков нашла пьяная пагуба, да так крепко привязала к себе, что боже ты мой. Нельзя сказать, что раньше здесь много пили: нет, деревня никогда не слыла притоном для расхристанных ханыг. Пили согласно веками установленному чину: гуляли на Рождество, масленицу, Пасху, потом прибавили Первомай, День Победы и так далее. На Петров день семьями ездили в Екимцево, на зимнего и вешнего Николу — в Хорошево (где это селение, я не знаю; память о нем почти выветрилась), на Ильин день — в Абросьево. Казанскую Божью Матерь справляли в Белой Реке, Преображение — в Деревеньках, а Вознесение — в деревнюшках Баран, Вармалеи и Лиходейки.

На праздники, бывало, мужики дрались — стенка на стенку, по всем правилам деревенских рыцарских турниров. Бабы, известное дело, судачили, хороводы водили да срамные частушки орали. Мудрые старухи, забравшись на печь и собрав вокруг себя ребячью мелкоту, сказки-побаски, сказывали, былины, небылицы и заговоры. Раскрепощенная душа крестьянина была погружена в эти праздники, как в материнское лоно, и вместе с другими родственными душами ощущала себя как некий орден со своим неписанным кодексом морали. Словом, гуляли в Ряполове, как говорится, на приволье времени и просторе веков, в чистой, вольной, здоровой среде.

Но после оттока большинства жителей в Кузнецово стали пить, не дожидаясь праздника, по поводу и без повода: с утра врезал — целый день свободный. В форменных алкашей, хапуг, прохвостов вырождались потомки некогда славных ряполовских фамилий. Пьяный гудец в деревне набирал обороты.

Дядя Миша Пухов, мой сосед, и Вася Хорь из Абросьева, ныне оба покойные, рассказывали мне, как хоронили здешнего бригадира. Как-то набрался он «под Октябрьскую» на колхозном активе, но показалось мало, а домой идти неохота. Решил пошукать по родственникам и знакомым — может, кто поднесет стопку? Ходил по ряполовским домам, даже в Абросьево забрел, и всюду канючил, унижался, плакал. А на подходе к своему подворью вспомнил, что в хлеву лежит заначка с остатками браги. Какой бес попутал бригадира, он уже не скажет, но бражку он вылакал вместе с дрожжевой заправкой — густой желтой жижей, оставшейся на дне десятилитровой банки. И все — смерть!

Хоронили его по-быстрому, без отпевания и неизбежного по такому поводу нашествия родни и начальства. Покойник сутки пролежал в тепле, с трудом поместился в наспех сколоченной домовине. А как на кладбище пошли — тут все и началось. Несут мужики гроб и слышат: трык... трык! Будто доски гробовые потрескивают, будто ворочается бригадирово тело в тесной камере. И юшка желтая с винным запашком снизу каплями набухает. Чертовня какая-то! Оробели мужики — казалось, войну прошли, всякого навидались, а тут вроде как мертвец оживает. Не растерялся один Миша Пухов: «Бегом, ребята!» Прибежали на кладбище, быстро-быстро зарыли тело, приняли по стакану и тут только начали приходить в себя... «Бражка проклятая... она во всем виноватая, — призналась потом вдова. — Он ведь ее вместе с дрожжами ухайдакал!» (А дрожжи, как известно, имеют свойство бродить и искать выход из замкнутого пространства.)

— Стрелять их надо, гадов, на месте!

Ох как огорчила меня недавно добрейшая Прасковья Никифоровна! Такая славная, хлебосольная старушка, такая по-домашнему мудрая хлопотунья-бобылка из соседней полувымершей деревни. Ничто так не огорчает и не расстраивает в людях, как затемнение в нравственном сознании. Уж от нее я этого никак не ожидал! Кажется, не первый год бываю у нее в гостях, знаю в подробностях ее жизнь и жизнь ее близких — и вдруг такие слова: «Стрелять их надо, гадов, на месте!»

Каждое событие дает волну, которая настигает тебя независимо от того, где ты находишься. В данный момент телевизионная волна останкинских «Новостей» окатила Прасковью Никифоровну во время вечернего чаепития. Показывали эпизоды грузино-абхазской войны: обугленные развалины, обезображенные трупы, плачущие матери с детишками на руках. И толпы пленных, сопливых, в сущности, мальцов в ободранных комбезах, с зажатыми на затылке кистями рук. В глазах их метался пережитый страх.

— Господь с вами, Прасковья Никифоровна! — оторопел я. В это время на экране разъяренные жители пытались учинить самосуд. — За что же их расстреливать?

— А ты видишь, что делается?! — Старуха кипела от гнева, ерзала на стуле, взмахивая руками, словно пыталась взлететь. — Ишь, моду завели, инородцы хреновы: чуть что не так — сразу за наган. Чем меньше народец, тем пуще палит... Не-ет, — решительно заявила Прасковья Никифоровна, — хочешь не хочешь, а расстреливать придется. Десяток... другой... третий. Чтоб другим неповадно было. А то всю страну по кусочкам растащат.

Не берусь ни оценивать, ни советовать, кому как лучше: всем народам вместе или каждому в отдельности. Тут можно столько наломать дров, и все равно никому не угодишь. Речь о другом: выпали из нашего сознания такие очевидные и простые вещи, как совесть, человечность, элементарная жалость к слабому... Я сказал Прасковье Никифоровне: если дать уничтожить военнопленных («Десяток... другой... третий. Чтоб другим неповадно было»), то это неизбежно перекинется и на мирное население. Чем дальше будет углубляться национальная рознь, тем больше потребуются жертв. Чуть что не так — и лишник долой. Разве так можно?

Нет, она никак не отреагировала на мои слова. Да и на кой ляд ей были эти слова, когда на ее веку столько расстреливали, сажали, столько поломали и искалечили невинных душ. Отца ее раскулачили и сослали на Крайний Север, старших братьев отправили следом — там все и сгнули. Под винными парами пустяковый проступок совершил ее сын — шесть лет лагерей только за то, что ночью залез в сельский Дом культуры и вырядился в Деда-мороза, а дружку своему вынес костюм Снегурочки. Домой из лагеря он вернулся матерым воругой, и она выгнала его с порога. Изверилась, ох как изверилась Прасковья Никифоровна, и душа ее неволью зачерствела.

А что сейчас делается в стране, где зеленые мальчишки с тупыми, перекошенными лицами убивают, жгут, грабят нищее население, где разбой гуляет по городам, весям и кладбищам, где многие либо спились, либо проворовались, где до недавнего времени нами правил бровастый манекен с двумя пудами орденов, любитель поделуев на свежем воздухе; где политиком называют демократа-скороспелку с номенклатурными замашками, коммерсантом — спекулянта, взятку — «процентом со сделки». У этих людишек полностью атрофировано чувство стыда. Разум есть, кой-какое красноречие, минимум внешней культуры, а стыда нет и, видимо, никогда уже не будет. Совесть никогда не проснется.

Сейчас, мне кажется, мы переживаем совершенно невиданный процесс, когда идет ломка человеческих характеров, привычных связей, устоявшихся приоритетов. Как будто треснула система отношений, выраженная в евангельской строке: «да» так «да», «нет» так «нет», а остальное от лукавого. Как будто прежняя культура поведения иссякла, испарилась. Уникальное время, оно бывает в истории государства примерно раз в тысячу лет, когда старая культура распалась, а новая еще не сложилась. И страна и люди пребывают как бы в затмении, столбняке или в ожидании апокалипсиса. И потому — все можно, никаких сдерживающих начал.

Даже язык наш и тот зафиксировал эту житейскую грязь и вседозволенность. Живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман (Гоголь), понесся по самым мерзким и грязным закоулкам отеческой речи, когда одно крепкое, соленое словцо из трех букв в сопровождении энергичных глаголов способно вогнать вас в краску. Язык живет, пока жив народ, а народу сейчас ох как муторно. Вот и расцвел наш язык ядовитыми цветами...

Вспоминаю, как ряполовский мальчишка Вовка Набатов удил рыбу из бочки с дождевой водой. Наловил карасиков в пруду, где стояла когда-то грызловская лавка, вывалил их в бочку и от нечего делать решил проверить, будут ли они клевать снова... И что поразительно: клевали, как миленькие клевали! До чего же глупая рыбка! Ну ведь попалась уже на крючок с наживкой, разорвала себе все жабры — остановись, казалось бы, одумайся в насытом своем инстинкте. Так нет, толкаясь, как бабы в очереди, карасики в

слепой доверчивости снова шли на червячка, снова трепыхались в воздухе, палили в отчаянии глаза и плюхались в кадушку с дождевой водой...

Я подумал о том, что нынешние колхозники сродни этой простодушной рыбешке. Обидная аналогия? Еще бы! Но, как говорится, кого люблю, того и бяю. Оно, быть может, больше, зато здоровее.

Кажется, в наше время нет положения более трагичного, чем то, в какое попали пролетарии колхозных полей. Они находятся как бы под двойным психологическим гнетом. С одной стороны, слоной тушей давит на мужика директорско-председательское лобби с его управленческой челядью, продолжающее ратовать за «светлые идеалы» коллективизма, пытаясь разыграть крестьянскую карту против рынка, частной собственности на землю и фермерства. С другой стороны, поднимает голову голодный городской люд вкуче с пенсионерами, привыкшие по дешевке брать овощи, мясо, молоко и поставленные нынче в такие условия, что хоть криком кричи и волком вой. А кто виноват во всем этом, рассуждает иной владелец теплого туалета? Да, конечно же, пропившие совесть лодыри-колхозники, разучившиеся работать!

Несправедлива участь? Это как сказать, смотря в какую сторону повернуть. Ведь в жизни все так перемешано! Природа крестьянина раскрывается в единстве далеко расходящихся, часто противоречивых черт, и покрыть их общим знаменателем невозможно. Уж сколько раз его обманывали сладкими посулами, обещаниями райской жизни в самом ближайшем будущем, но жить становилось все хуже и хуже. А крестьянин — как тот карасик из бочки. Он всегда верил или делал вид, что верит. Покупался десятки раз на дешевую наживку и продолжал выполнять отведенную ему функцию.

Шутка ли сказать: двадцать шесть «коренных обновлений и преобразований» пережили доверчивые селяне. Вспомним некоторые из них начиная с 50-х годов: урезание личного подсобного хозяйства, запрещение косить сено для личного скота, насильственное внедрение кукурузы, распашка лугов и полей до уреза реки, запрет на черные пары и травопольную систему, внедрение уравниловки независимо от результатов труда... Однако обманывать можно тех, кто сам хочет обмануться или кому выгодно быть обманутым. Одни крестьяне поняли, какую игру затеяли с ними верхи, плюнули на все, работали через пень-колоду, спустя рукава. И жили себе, поживали, держа про запас немудрящую поговорку: назови хоть горшком, только в печь не сажай («Колхоз делает вид, что нам платит; мы делаем вид, что работаем»)... Другие превратились в ловких, ухватистых приспособленцев с несмыслимой печатью совка. Жадные до дармовщины, это они кричат сегодня недавнему прошлому: не пропади ты пропадом, а появишься ты снова! И наверно, прав был Оскар Уайльд, когда писал, что есть только один класс людей, более алчных, чем богатые, — это бедные... Третьи — из новоиспеченных пенсионеров — копались в своих огородах, чтобы только зиму перезимовать и лето перелетывать, без привязанностей к упорному крестьянскому труду. Зато на тех, кто пытался оживить эти полудохлые подзолы, эти трущобного вида подворья без петушиного крика и запахов свежего навоза, смотрели как на личных своих врагов. Главное для них: не живи лучше меня!.. Четвертые до чертиков спилились, обленелись, превратились в заурядных роботов-трудяг. Пятые... Эх, да что тут говорить!

В 1977 году агрокомплекс в Кузнецове посетил тогдашний предсовмина России Михаил Соломенцев. Все было в высшей степени благопристойно: белые халаты, зарево фотовышек, радостно-угодливые лица даярок и зоотехников. Главу правительства вел под локоток лично Анатолий Степанович Пономарев, колхозный генерал, сообщая на ходу лучезарно-отчетную цифирь и нагнетая среди сопровождающих его лиц обстановку лживого оптимизма. Животноводческий комплекс находился тогда на режиме особого благоприятствования (корма завозили из Подмосковья), и хвататься было чем. А то, что в пяти-десяти километрах от него вымерли и продолжали вымирать отрезанные бездорожьем десятки деревень вроде Ряполова, считалось как бы мелочью. Что, разве Соломенцев не знал об этом? Уверен, что знал. Но в его модель социализма не вписывались «эти бедные селенья, эта скудная природа», и совесть его не отягощали сомнения.

У навозной кучи Пономарев вдруг остановился, потемнел лицом. Но, поднаторевший в номенклатурной игре, мигом пришел в себя — заговорил о чем-то шутливо-насмешливом и жестом гостеприимного хозяина увел свиту в другую сторону.

Свидетелями этой сценки были рабочие комплекса, стоявшие в сторонке, и Василий Егорович в их числе. Они все видели: за навозной кучей валялось

десятка два дохлых бычков, от них уже запах пошел. Может быть, кто-нибудь забил тревогу, бросился к премьеру России? «Ваше партийное высочество, вам лапшу вешают на уши! Не верьте этому благополучию: мы тут перед вашим приездом три дня дерьмо выносили и полы скоблили. Да и бычки — совсем не случайная накладка. Они дохнут у нас постоянно». Так нет, никому даже в голову не пришло развеять показушный туман. Стояли, похохатывали, травили баланду, перемывали косточки Соломенцеву с Пономаревым, а потом стали скидываться и выяснять, чья очередь бежать в магазин за бормотухой по случаю такого торжества.

Им ввали свержу, они поддерживали эту ложь снизу, и все были довольны друг другом.

* * *

Василий Егорович Иванов — последний крестьянин Ряполова. Да и крестьянином-то стал, когда вышел на пенсию. А до этого в колхозе кем только не числился: полеводом, скотником, подсобным рабочим, бригадиром, пастухом — одним словом, рабом «агрогулага», получая шипс с условным маслом.

Впрочем, нет — вкусил и он не лишнюю приятности жизнь: в течение пяти лет был бессменным председателем ревизионной комиссии, приобщен, так сказать, к тайнам пономаревского двора. Жаль, что мы познакомились так поздно и я не успел проследить все этапы его неожиданного взлета. Говорят, «сурьезный» был мужчина, с портфельчиком ходил и в галстук, изображая на лице неутраченную заботу о государственных интересах и тайную гордость оттого, что волею судеб вовлечен в некую «сицилистическую» (не от слова «социализм», а от слова «Сицилия») корпорацию, повязанную круговой порукой верных председателю лиц. (Эх, Василь Егорыч! Видать, и ты не избежал искуса власти?!)

Но вышел на пенсию — и как с гуся вода. Как будто выбросил износившуюся пару сапог. На лице — ни малейшего намека на то, что был допущен под высокую руку, в поведении — ни единого признака службистского самознания. Он с ходу оправился от начальственного недуга и стал тем, кем был задуман при рождении, — хорошим, в сущности, мужиком, с которым можно и детей крестить, и секретами поделиться («Об этом будет знать только грудь белая да титочка левая», — любимая Егорыча поговорка), и попить-погулять всласть. И вернулись к нему, как к блудному сыну эпохи социального затмения, все исконные крестьянские навыки и привязанности. Просто до поры до времени они дремали в нем, дожидаясь подходящего часа.

Сейчас это хозяин хоть куда: корова, телка, теленок, свиноматка, десятка полтора курей, два больших огорода и гектара три сенокосных угодий. Прежде еще дюжину овец содержал и вовек с ними б не расстался, да вот у дочки с зятем, живущих в Костроме, подошла очередь на «Запорожец».

Хорошее хозяйство у Василия Егоровича, и дом у него хороший, правильный, и налицо все прочие блага умелой и старательной работы на себя. Ничто ему, кажется, не мешает: ни козни сельсовета, ни месть завистников, ни командно-административная Система, на которую нынче принято вешать всех собак. Земли (бери — не хочу!) — сколько душа желает. Но вот психология у Егорыча колхозная. Сидит и долго еще будет сидеть в нем этот гвоздь псевдоколлективизма, эта покорность судьбе, довольство малым, боязнь, как бы чего не вышло.

Года четыре назад решил он продать Вертушку, кормилицу божьей милостью: на ее молоке выросли мои дети. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец: состарилась Вертушка. Василий Егорович собрался отвести ее на ферму комплекса, обещали заплатить по пять рублей за килограмм живого веса. (Здесь и далее приводятся цены по состоянию на 1988 год.)

— Так мало?! — возмутился я тогда. — Это же форменный грабеж! Уж лучше продать кооператорам.

— А где их найдешь, кооператоров? — обреченно нахмурился Егорыч.

— Ну хорошо... К черту кооператоров, будем торговать сами! — распорядился я за него. — Из филейной части можно сделать хороший шашлык. Что такое шашлык — знаете? (Он не знал, и мне пришлось ему объяснить.) Очень выгодное и ходовое блюдо. Сто граммов шашлыка — два рубля пятьдесят. Это по-божески! Кусок хлеба — бесплатно. Один день торговли у тракта Кострома — Сусанино — и две тыщи у вас в кармане.

Глазки у Егорыча заблестели и забегали: товарооборот его вполне устраивал. Но вдруг он спохватился:

— Да что это... мне нельзя. Я здешний.

Действительно, всю жизнь он ничем никогда не торговал — что будут говорить в округе: выскочка? спекулянт? хапуга?.. Пьяный взбрык, глупое лихачество — это понятно, это можно простить. Но торговля! И тогда я предложил свои услуги.

— Да к тебе платить придется? — забеспокоился Василий Егорович.

— А вы как думали! — сказал я, наступая на горло его меркантильности. — С каждого проданного килограмма — семь процентов моих. Договорились?

Старик расцвел, развеселился, и бес кольнул его в ребро: побежал доставать бутылку, чтобы «благословить» хорошую идею. Но история эта окончилась плачевно: то ли Егорыч одумался, то ли чего-то напугался. Короче говоря, осенью погнал он бедную Вертушку на приемо-сдаточный пункт комплекса, и заплатили ему вместо обещанных пяти около четырех рублей за килограмм живого веса. Такую цену назначила ловкая приемщица по фамилии Кормилец.

Вообще Егорыч — приметная личность в сельсовете. Сколько раз замечал: стоит кому-нибудь в разговоре произнести «Ряполово», первым делом вспоминают Васю Иванова, и на лица людей появляется блуждающая улыбка. Как будто знают что-то такое, а говорить не хотят. Как будто договорились соблюдать некую тайну, в которой местному человеку известны все правила смеховой игры, а приезжому только и остается что развести руками. Первое время я недоумевал, удивлялся, а потом, когда познакомился с ним поближе, и сам стал улыбаться...

Василий Егорович по части выпивки великий мастак. Гладиатор застолья и певец возвышенных деревенских баллад, закадычный частушечник. Но в отключку он никогда не впадает, сохраняя при всех обстоятельствах задумчивое достоинство и желание продолжить начатое дело. («У-у-у, сатаноид! Все пьет-пьет и никак не упьется!» — ворчит на него жена, Манефа Ивановна. «Я не от водки такой, — мгновенно парирует последний крестьянин. — Я — от жизни. Жизнь тоже крепкий напиток».)

— Вы как, Василь Егорыч? — обычно спрашиваю я, когда весной приезжаю в Ряполово. Такой у нас за двенадцать лет знакомства установился ритуал.

— А что... есть? — делает он невинные глаза, хотя прекрасно знает, что есть, ибо что это за мужик, который едет в бог знает какую тмутаракань, не прихватив с собой продолговатой округлости предмет. Тело его в этот момент по мере приближения к столу принимает форму стопарика.

Черты первобытно-божественной простоты сочетаются у Егорыча с каким-то природным аристократизмом, когда он берет этот стопарь. Берет как дорогую хрупкую вазу, такую несовместимую с его заскорузлыми, в заусеницах пальцами, и пьет маленькими, нежадными глотками, как бы удивляясь новизне напитка. Закусывает молча, весь обращенный в тайну переваривания пищи. И если прислушивается к чему-то, то это несомненно хор жаждущих воскрешения клеток и хромосом, зов самой плоти, взыскующей умного и постепенного насыщения. Смотреть на него в этот момент — сущее удовольствие. Написал — и у самого засосало под ложечкой.

Медики говорят, что среди мужского населения встречается примерно 5 процентов особо стойких натур, кому алкоголь даже при значительных дозах не наносит ощутимого вреда и даже, говорят, способствует расцвету личности, что выражается в несметном потоке слов-самородков из золотого запасника отечества. Думаю, что среди этих 5 процентов Василий Егорович играл бы заметную роль. По знанию всяких историй, быличек и небылиц он даст фору любому краснобаю, и если бы у журнала была такая возможность, он бы печатал их из номера в номер в течение года. Хотите одну для затравки?

Это история о том, как Василий Егорович крепил советско-американскую дружбу и что из этого вышло... Вообще Егорыч единственный из знакомых мне солдат-ветеранов, кто прошел всю войну (аж с 22 июня), не получив ни единого ранения. Вот такой везунчик этот разведчик-связист, младший сержант-гвардеец из 25-й кавалерийской дивизии имени Григория Ивановича Котовского, кавалер двух боевых орденов и пяти медалей. И почему-то всегда, когда речь заходит о войне, ему припоминаются смешные и нелепые случаи, которые с ним приключались: и как он «напугался», «оплошался», и как написал, и какой нагоняй получил от начальства, — и почему-то он всегда оказывался в дураках. Я всегда слушаю его с тихой улыбкой: если люди выхваляются недостатками — значит, прячут где-то в глубине свои достоинства, ибо, вытащив их на свет божий для всеобщего обозрения, они не то что потеряют свою привлекательность, а просто превратятся в новую форму недостатков. И это, наверно, тоже чисто русская черта...

— Так, слушайте... «Встреча на Эльбе», — объявляет Василий Егорович, собирая глазами внимательных слушателей, таких же, как я, дачников, потому что своим, местным, он уже успел наесть этими историями. Те из нас, кто знаком с его творчеством, заранее начинают улыбаться и даже трястись от беззвучного смеха.

Помнится, еще в студенческие годы, читая Платона, я удивился его вполне серьезным рассуждениям о вреде... письменности. Да-да, вот так — черным по белому! Письменность выставляет барьеры на пути общения людей, утверждал философ. Если раньше они вели диалог по принципу «рассказчик — слушатель», то теперь с помощью письменных знаков они искусственно отсекаются на «писателей» и «читателей». Если раньше, собираясь у костра, греки слушали историю взятия Трои из уст бродячего певца, то теперь им придется «услышать» ее с листа папируса под названием «Илиада», а это не одно и то же. Где паузы, мимика, жестикация, неповторимая интонация и внешность рассказчика? На долю читателя остаются лишь начертания букв и безличные знаки препинания...

Вот с этой платоновской поправкой и имеет смысл поведать историю яполовского героя, тезки знаменитого Теркина... Итак, Эльба, май сорок пятого, крохотный костерок на берегу немецкой реки, у которого кашеварят бойцы-котовцы гвардейского отделения младшего сержанта Васи Иванова.

— И вдруг — американцы. Плывут на резиновых лодочках, руками машут и палят с радости в воздух. Они еще с утрачка кричали с того берега, вроде как в гости напрашивались. И вот — здрасьте — пожалуйста! — нагрянули. Все такие уросливые, мордастые, глаза навькате.

— Негры, что ли? — спрашиваю я.

— Да нет, просто маленько выпимши... — поясняет Егорыч. — И по плечам нас охаживают, и большие пальцы выкидывают: ой, молодцы! ой, Русь! — и все такое... Тут Ванька, вестовой, на фасон давит: «Как это понимать, мистеры-гвистеры? У вас там, говорят, в Америке, с голоду пухнут и имперьялизм бесчинствует, а вы такие гладкие, веселые да здоровучие. Буржуи небось?» «Да нет, — говорят, — не буржуи, — и смеются. — Дюже харчисто не живем, но сыты». А угощать их чем, Америку? Угощать-то и нечем, окромя пшенной каши да сухого молока, опять-таки мериканского. Вот положеньице-то! Ребята мои стоят, с ноги на ногу переминаются и все как ушибленные. Наш мужик, пока стакан не примет, для разговору бесполезен. А Америка все понимает — будь спок! Она хоть лопочет по-своему, а жизнь понимает правильно, по-нашенски. Наливает нам из фляжек какой-то красенкой жижки, ром, кажись, называется. На язык вроде вкусно, а градус не тот. Ну, помычали мы маленько с Америкой, пальцами объяснились. Еще раз махнули, холодной кашей закусил. А отвечать чем? Отвечать-то и нечем. Только в ноздре раззело от этой красноты и в животе бурчит. Его подкормить нать. Гляжу я на своих ребят, а у них глаза в одну сторону скошены. Правильное направление, котовцы, намек ваш понял!.. А там, понимаешь, крытая машина стоит со спиртом, для начальства приготовленная, а караул чужой. Да что мне какой-то вшивый караул, когда я двенадцать винзаводов брал — от Бердичева до Берлина! Предлагаю план захвата: ты, Ванек, берешь шланг резиновый, у Абдулки есть пробой. Делаем дырку в борту, протыкаем пробку в бочке со спиртом — и туда шланг. «А Америку куда?» — спрашивают. «Америку используем как отвлекающий маневр, — объясняю. — Пусть караулу зубы заговаривает. Кто тронет, ежли они союзники. Скандыбаем потихоньку». Смотрю я на наших гостей. «Вы как, говорю, мужики, — согласные?» А они чуть на шею не вешаются: да мы, говорят, завсегда согласные! По-русски-то — ни бэ, ни мэ, ни кукареку, а такой, понимаешь, сообразительный народ... Ну, мы это дело обтыпали будь спок, комар носа не подточит. Всю тару, какая была, задействовали: ведра, котелки, фляжки... сапоги тоже наполнили. Идем обратно босые, а в сапогах-то и булькает. И воспаренье винное в голову бьет... ну прямо как в раю. Сладко погуляли! А утром просыпаемся... мать честная!.. У Америки обувку сперли. Были у них, понимаешь, такие ботинки здоровучие, со стальной пластиной изнутри — и как корова языком. Что делать? Я к своим котовцам: а ну выворачивайте вещешки! Везде обыскал — пусто. Никто ничо не видел, никто ничо не знает. Нам стыдно, Америке стыдно; ей ведь, горемыке, домой нать вертаться, перед начальством отчитываться. Схватились за часы, а их тоже нет — стибрили. Вот положеньице-то! Так и проводили ни с чем. Кое-как захихнули их в резиновые лодочки, дали опохмелиться — и гуляй, Америка!

* * *

Прошлым летом пришел ко мне Егорыч в тревожном настроении: бродят подозрительные личности вокруг деревни («На вид грузинской, кажись, нации»), к земле приглядываются, прицениваются к постройкам — где, что, чье и за сколько...

— На корню хотят скупить Ряполово, понимаешь? Денег девать некуда, мать их разьети! Слыхано ли дело, чтоб на родину Сусанина да и Кавказ переселять?! На кой хрен нам такое «сулико»? Кабы еще земля была стоящая, можно понять. А то кочки одни, комары да лягушки. Картошка и та жить не хочет. Осклизлая вся, как пьянь базарная!.. И чего тут рыщут эти абреки, чего вынюхивают? Не отдадим Ряполово! Нету таких законов...

Верно, законов таких нет, чтобы продавать землю направо-налево и неизвестно кому. Но ведь, было дело, продавали Ряполово. И не при помещиках-крепостниках, а в эпоху развитого социализма: в 1982 году 1150 ряполовских гектаров с лихой подачи Пономарева перешли в ведение Костромского УВД. Тогда это втихую называли арендизацией.

Словечко звучит привычно для советского уха. Что-то слышится родное во всех этих «ациях»: экспроприация, коллективизация, арендизация... Какие выгоды преследовал председатель, продавая колхозную землю (говорят, сама Москва дала добро), это сейчас уже «коммерческая тайна». Но на куплю-продажу деревня никак не отреагировала, потому как изверилась окончательно и бесповоротно.

Для ведения подсобного хозяйства областная милиция нагнала сюда подневольную рабсилу из «аликов» и «наркоматов» (выражения Василия Егоровича: алкоголики и наркоманы, находящиеся на принудительном лечении в системе ЛТП). И взялись они за ряполовские уголья с таким несокрушимо искренним хамством, как все привыкли делать в этой жизни, независимо от того, куда и на какие работы бросало их милицейское начальство. Выполнил ты норму или не выполнил — никого это не интересует; отрубил положенные восемь часов — аллюр три креста, а на землю плевать. Пусть плачет бензиновыми слезами!

Если раньше окрестности деревни были оккупированы проржавевшими селяками, плугами, гусеницами от тракторов, бесформенными завалами минералки, то сейчас к ним прибавились несметные полчища мелкой стеклотары в виде «Саши», «Наташи», «Консула», «Жди меня», «Не грусти» и прочей парфюмерии. Но больше всего флаконов из-под ублюдочного «Пингвина» и ядовито-зеленой пузырящейся жидкости под названием «Мажор». И такого же «мажорного» типа подобрался контингент из десятка полтора проворных забулдыг, которых любвеобильные жены раз примерно в два года отправляют на побывку в ЛТП. Здесь с ними работают с помощью УРТ (условно-рефлекторная терапия): дают выпить водки, намешанной с какой-нибудь лекарственной дрянью, и ведут к огромной ванне, куда все коллективно блюют.

Но изворотливый ум алкаша найдет десятки способов избежать этой процедуры — и тут бессильны и медицинские препараты, и надзиратели с дубинками. Подобно пионеру, который «всегда готов», узник ЛТП устремляется на поиски злачного зелья. Даже находясь в крошечной глуши российского бездорожья, где до ближайшего магазина — как до ближайшей звезды, он всегда найдет чем распотешить душу. И тут кто во что горазд. Элтэпэшный повар, к примеру, наладил у себя производство спирта из краденого сахара и гонит его в лесу. Наливает литр воды в большую миску, растворяет в ней килограмм рафинада и на две недели зарывает в муравейник, где всегда ровная температура. И несть числа таким природным «винзаводам» вокруг деревни! Муравьи забираются в миску, пьют сахарный настой, выделяя при этом муравьиный спирт. Повар процеживает его, разбавляет пополам с водой — и настойка готова. С ее помощью он регулирует свои отношения с охраной.

Не знаю, в чем тут дело, но забуддыжистый люд почему-то возлюбил мой дом. Идут косяком, как паломники в Ясную Поляну. Одни идут прощупать обстановку, чем можно в будущем разжиться у хозяина-москвича, или просто погутарить. Другие — с целью одолжить трояк (это в прошлом, конечно) или же «поправить пошатнувшееся здоровье». Каждый по-своему любопытен, а вот хитрован Дон Хозе потряс меня актерскими способностями. (Почему Дон Хозе? А очень просто: он любит «Кармен», но не оперу, а одеколон.)

Элтэпэшник врывается в избу с истошным криком и падает передо мной на колени: «Помру, начальник! Ей-бо, помру! Дай опохмелиться!» Вид у него такой, что я действительно думаю, что помрет человек: сердце-то не камень. Но водки у меня нет, и он довольствуется одеколоном, лосьоном или, на ху-

дой конец, чаем. Однако после второго захода я раскусил эти уловки и выгнал его из дома. Тогда Дон Хозе изменил тактику. Он стал появляться на моем участке, когда я с детьми уходил в лес или на речку: чинил изгородь, колоч дрова, приносил доски, косы, мотки бечевки, воровал у повара тушенку и пищевые концентраты — и таким образом вынуждал меня проявлять ответное «бескорыстие» в виде четвертинки или бутылки портвейна. (Василию Егоровичу очень это не нравилось.)

А потом стал нахаживать начитанного вида товарищ по кличке Покойник. Тот вообще ничего не просил: сидел в тени на лавочке, болтал босыми ногами и сосал продолговатые лимонного цвета карамельки, которые в народе зовут покойничками. Он с интересом рассуждал о политике, о «черных дырах» вселенной и при каждом удобном случае отпускал артистические матюки. Странное дело: ничего не пил человек, а всегда был под мухой. «Таких, как я, два только в мире. Один здесь, другой — в Алжире», — с удовольствием декламировал Покойник, поглощая карамельки и запивая их теплой водой. Однажды он принес мне газетную вырезку, кажется, из «Труда», где сообщалось о некоем алжирском бизнесмене, в желудке которого завелась целая коллекция дрожжевых грибов. «Весь в меня! — ликовал элтэпэшник. — Организм — один к одному!»

Я сначала ничего не понял, и Покойнику пришлось посвятить меня в курс дела. Оказывается, когда он ест сахар или что-то близкое к сахаридам, например, сосет леденцы, те попадают в тонкую кишку, вступают во взаимодействие с дрожжевыми грибами, в результате выделяется алкоголь, который мгновенно бьет в голову. Дешево и сердито! Вообще-то все сладкое быстро бродит в нашем тепло-влажном организме. Но только у двух счастливых в мире имеются чудо-грибы, гарантирующие им постоянное состояние навеселе.

Кто это был на самом деле — физиологический уникум, мошенник или просто оригинал, любитель розыгрышей, — я так и не узнал, потому что Покойник исчез так же быстро, как и появился. А вместе с ним исчез и сам ЛТП, прости его, Господи! Теперь вместо «аликов» учреждение 15/3 Костромского УВД привозит сюда на сельхозработы так называемых химиков — не пьяниц, не наркоманов и не преступников, а так... мелких бытовых хулиганов. В тюрьму их не берут, а сюда — пожалуйста...

* * *

И еще раз пытались продать ряполовские угодья. Но уже в другие, «постпономаревские», времена. Думаю, эта купля-продажа могла бы сыграть историческую роль в судьбе деревни, повернуть ее к иной системе ценностей... Но, увы, не получилось, и осатанелые колхозные тетки до сих пор переживают несостоявшуюся сделку как свою личную победу: да мы бы этим гадам капиталистам красного петуха пустили! Сами всю жизнь проишачившие в колхозе, ушедшие на покой с мизерной пенсией, эти вонпельники с «частнособственническими инстинктами» решили про себя, что сыновья и внуки тоже должны повторить их судьбу.

«Гады капиталисты» — это канадские духоборы, вольные хлебопашцы и животноводы-фермеры. Поволжские, тамбовские, тульские мужики в третьем и четвертом поколении. Лет сто назад их предки, отличавшиеся аскетическим презрением к плотской жизни, покинули Россию из-за религиозных преследований. Очутившись на краю света, в Канаде, они распустили домашний скот и сами запряглись в плуги из милосердия к животным. Но надолго их не хватило: жить-то надо, детей кормить надо. И вот духоборы, доходившие в своих деяниях до крайних пределов с их самозабвенной страстью к труду, становятся едва ли не лучшими хозяевами на американской земле...

Но время вносит свои коррективы. У кого-то из четвертого колена русских фермеров заговорили гены, и он решил вернуться на свою историческую родину. И не один, заметьте, а подбив с собой еще с десяток семейств. Наше правительство не возражало. Духоборам на выбор предложили несколько вариантов в разных областях. Они собирались перевезти с собой две тысячи голов высокопородного скота, разборные дома, технику, фермы, домашнюю утварь — все вплоть до иголки. Единственное, что хотели приобрести на месте, — тракторы «Кировец». И дело уже склонялось к тому, что они поселятся на территории Кузнецовского сельсовета, по соседству с Ряполовом. Но что-то, как всегда, не сработало в начальственных сферах, и русские канадцы отправились на Алтай...

А Ряполово так и осталось Ряполовом.

«Деревня обескровилась, обездушилась, разодухотворилась, — цветисто выразился мой приятель-литератор, каждое лето навещающий меня в Ряполове. — Она сорвалась с места, и в обозримом будущем я не вижу, как она вернется на круги своя. Возможно, этот процесс уже необратим».

Звучит, согласитесь, как приговор. Да и что, собственно, можно возразить, если тебя окружает почти необитаемая местность с вязкой, непроницаемой тишиной, с домами-полуразвалюхами и свирепыми зарослями чертополоха, молча вопрошающая неизвестно у кого неизвестно что. Даже старая ворчливая ворона, которую я знаю лет десять, уже не столько каркает, сколько хрипит и хрюкает. И если прислушаться, можно отчетливо различить не «кар-р-р», а именно «крах!». Даже не унывающий Василий Егорович и тот впадает в периферийную ущербность, когда выпьет. Как будто в нем повернули выключатель, и свет погас. Уже не ядреные частушки («Я девчонку за титьчонку, а титечка холодная. Видно, в городе живет — такая благородная!») тешат душу последнего крестьянина, а жалостливые песнопения предков: «Не плачьте, глазки голубые. Не плачьте, не мучайте меня. Не знали вы, кого вы полюбили, о чем вы думали тогда...»

Переходя на прозу, Егорыч окольно поясняет:

— Нервные клетки работают вместе, а умирают поодиночке. Так по телеку передавали. Значит, и мы умираем, как нервные клетки, раз все разбежались?

И он с горечью сравнивает себя с забытой, невыкопанной картошкой, которую оставили в осеннем поле. Эту мысль, наверное, подкинул ему кто-то из возвращенцев.

Последнее время деревню стали навещать бывшие ряполовцы, ныне костромичи. В основном пожилые очкастые мужики при полном параде модных аксессуаров. Все едут и едут: прямо паломничество ко святым местам! То ли очумели от асфальтового ада городов, то ли тоска гложет по родному пепелищу. Забираются в джунгли своих развалившихся скворечников, пьют горькую, с мамкой-таткой разговаривают, старших братьев вспоминают, льют слезы — и втихую, как тати ночные, минуют Ряполово, чтобы поспеть к последнему автобусу.

Иные приезжают с детьми и внуками, приглядываются, принимают, прощупывают обстановку, заводят разговоры: надо то, надо се. Советуют Егорычу расширить посевы, взять кредит в банке, обзавестись малогабаритной техникой. Внушают ему, что если он этого не сделает, то рано или поздно найдется другой хозяин, помоложе и половчее... но не дай Бог, если земля попадет в чужие, корыстные руки.

Что-то носится в ряполовском воздухе, это точно, неуловимые толчки перемещают деревню. Вот и дорогу уже проложили к Кузнецову, и «химики» обещают скоро убраться, и Валентин, сын бабы Насти Сухановой, переехал на жительство в Ряполово и объявил себя фермером.

Так что... не плачьте, глазки голубые!



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. АНДРЕЕВА

*

ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАСКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ

В давние времена — они кажутся давними по тому объему событий, что легли между нами и ими, — биографию начинали с перечисления предков. Вероятно, это внимательное всматривание в земные истоки личности имеет смысл.

Отец Даниила Андреева, известный русский писатель Леонид Николаевич Андреев, родился на Орловщине, на той удивительной русской земле, которая была родиной стольких — прекрасных и разных — русских писателей. По семейному преданию, отец Леонида Андреева был внебрачным сыном орловского помещика Карпова (имя пока неизвестно) и дворовой девушки Глафиры. Барин выдал девушку за крепостного сапожника Андреева — отсюда фамилия. Мать Леонида Николаевича, Анастасия Николаевна, — осиротевшая дочка разорившегося польского шляхтича Пацковского.

Матерью Даниила была Александра Михайловна Велигорская, по отцу полька. Фамилия Велигорские — русифицированная форма родового имени одной из ветвей графов Виельгорских (правильнее — Виельгурских), лишенных титула и состояния за участие в восстании 1863 года. По женской линии Александра Михайловна — украинка. Ее мать, бабушка Даниила, — Евфросинья Варфоломеевна Шевченко. Фамилия Шевченко (вообще очень распространенная на Украине) не совпадение, а родство с Тарасом: Варфоломей Шевченко был его троюродным братом, свяжком и побратимом.

Все эти родовые нити и сплелись 2 ноября 1906 года (н. ст.) в существе, появившемся на свет в Берлине: это был второй сын Леонида Николаевича и Александры Михайловны, названный своей матерью Даниилом.

Даниил Леонидович всю жизнь был равнодушен к своему происхождению, никогда не пытался проводить какие-либо генеалогические изыскания. То, что изложено здесь, — результат разысканий сотрудников Орловского литературного музея и киевлянки Ольги Васильевны Ройцynoй, жены троюродного брата Даниила, Анатолия Мефодьевича Левицкого.

Грозно и ясно встала над колыбелькой новорожденного сама Судьба.

Двадцатипятилетняя, совершенно здоровая, любимая мужем Шурочка умерла вскоре после рождения своего второго сына от того, что тогда называлось послеродовой горячкой. Во многих воспоминаниях современников остался ее милый, светлый облик; осталось и описание того, какой трагедией была ее смерть для Леонида Николаевича. Иногда он предстает просто обезумевшим от горя. Новорожденного — причину смерти жены — он не мог видеть. Казалось, что ребенок обречен. Но в Берлин из Москвы приехала старшая сестра Александры Михайловны, Елизавета Михайловна Доброва. Она увезла в Москву осиротевшее существо, в ком едва теплилась жизнь, и ребенок обрел чудесную семью, которую иначе как родной нельзя и назвать. До шести лет им неотрывно занималась мать Елизаветы и Александры, Бусинька, Евфросинья Варфоло-

меевна Шевченко. Волевая и властная, она пользовалась безоговорочным искренним уважением всех окружающих — близких и дальних.

Пожалуй, в современном нашем Вавилоне, с башнями, которые падают задолго до середины стройки, уже почти неразличимы облики прежних городов. А ведь каждый город имел свой неповторимый духовный облик, ложившийся печатью и на жителей его: тверичанин отличался от петербуржца, москвичи были иными, чем орловцы. Отличный от другого облик имела и интеллигенция каждого города.

Детству и юности Даниила Андреева сопутствовала Москва.

Кремль, входя в который ребенок в любое время года снимал головной убор, невзирая на вопли няньки: он знал, что в Кремль иначе входить нельзя.

Храм Христа Спасителя. Напрасно спорить об его архитектурном совершенстве или несовершенстве — это был символ Москвы, и образ Белого Храма над излучиной реки неотделим от творчества Андреева.

Очень типичная для прежней Москвы семья Добровых жила в Малом Левшинском переулке. До шестидесятих годов там стоял двухэтажный домик, ничем не примечательный. Был он очень стар, пережил еще пожар Москвы в дни Наполеона. Такие дома в Москве так и назывались донаполеоновские.

Добровы занимали весь первый этаж, а кухня и всякие подсобные помещения были в подвале, куда вела крутая и узкая лестница.

Входная дверь была прямо с переулка — большая, высокая, с медной дощечкой: «Доктор Филипп Александрович Добров». Войдя в дверь, надо было подняться по нескольким широким деревянным ступеням, а встречало всех входящих огромное, во всю стену, очень красивое зеркало. Дальше большая, белая, со стеклами дверь вела налево, в переднюю. Направо из передней была дверь в кабинет Филиппа Александровича, в котором позже жил его сын, Александр Филиппович, потом это была комната Даниила Леонидовича, а еще позже наша с ним, любимая, которая в книге «Русские боги» осталась в названии одной из глав — «Из маленькой комнаты».

Налево из передней вела дверь в зал. Его я уже застала разделенным занавесками на несколько клетушек, в которых ютилось все старшее поколение семьи: Филипп Александрович, Елизавета Михайловна и еще одна сестра — Екатерина Михайловна, по мужу Митрофанова.

Это произошло после революции, когда весь русский традиционный и отвечающий человеческим потребностям быт был изуродован уплотнениями и коммуналками, не принесшими счастья никому, изуродовавшими не меньшее количество человеческих судеб, чем война, тюрьмы и лагеря.

А в счастливом детстве Даниила зал играл большую роль. Дом Добровых был патриархальным московским домом, а значит — хлебосольным и открытым. Открытым для очень большого количества самых разных, самых не согласных друг с другом людей, которых объединяли интеллектуальный уровень, широта интересов и уважение друг к другу.

Отголоски этого я еще застала, как застала огромный стол в передней части разгороженного зала, раздвигавшийся по праздникам при помощи вставных досок, по-моему, метров до пяти в длину.

Соседней с залом комнатой в прежние времена была спальня Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны, и у двери, разделявшей эти две комнаты, точнее — у замочной скважины, торчал маленький Даниил, разглядывая и Шаляпина, и Бунину, и Скрябина, и актеров Художественного театра, и Горького, и многих, многих еще гостей Добровых.

Даниил не только любил Добровых — их любили все, — не только воспринимал эту семью как родную, но говорил много раз: «Как хорошо, что я рос у Добровых, а не у отца».

Детская комната Даниила располагалась дальше по коридору, ведущему из передней в глубину квартиры. Ее я совсем не застала, только по его рассказам знаю, что вдоль всей комнаты на уровне детского роста шли нарисованные им портреты правителей выдуманной династии — отголосок поразившего детскую душу впечатления от «галереи царей» в Кремле: на потолке этой галереи

были выложены мозаикой замечательные портреты великих князей и царей московских.

Писать он начал очень рано, еще в детстве. Писал стихи и прозу — огромную эпопею, где действие разворачивалось в межпланетном пространстве. Планеты были не те, что нам известны, а все выдуманы. Они обладали собственными религиозными культурами, естественно, основанными на сведениях, вычитанных из детского изложения греческих мифов, но с очень симпатичным собственным добавлением: кроме полагающихся по традиции богов верховных, богов войны и богинь любви, там был еще и придуманный им бог Веселья.

До школы Даниил учился дома. У него был учитель — к стыду своему, я забыла его имя, — очевидно, умный человек и талантливый педагог. Живой и шаловливый мальчишка по уговору с этим учителем смирял свой характер за две воскресных награды: если он всю неделю вел себя «хорошо» (вероятно, это понятие было очень растяжимым), то в воскресенье учитель рисовал ему одну букву индийского алфавита и вез его по Москве новым (для него) маршрутом трамвая.

Зная, какое веселое, ласковое детство было у этого избалованного, доброго, изобретательно-шаловливого мальчугана, удивляешься следующему рассказу.

Евфросинья Варфоломеевна умерла, когда любимому внуку было шесть лет. Внук заболел дифтеритом, бабушка, ухаживая за ним, схватила тот же дифтерит. Внук выздоровел, бабушка умерла.

Выздоровивший ребенок не видел ни ее смерти, ни похорон. Не знали, как ему об этом сказать.

Александра Филипповна, старшая дочь Добровых, взяла на себя трудное дело. Она стала рассказывать ребенку, что Бусинька в больнице, выздоравливает, очень его любит, но соскучилась по своей дочке, его маме. Для того чтобы с ней увидаться, надо умереть, но Бусинька беспокоится, как Даня к этому отнесется. Постепенно старания Александры Филипповны привели к тому, что мальчик написал бабушке письмо, в котором отпустил ее к дочери, в рай.

Но тоска по бабушке, желание увидеть незнакомую мать и сложившееся в детской душе четкое представление о смерти как дороге в рай привели к неожиданному результату. Летом после разлуки с Бусинькой Добровы и Даниил жили на Черной речке, где был дом Леонида Андреева (но не в этом доме), и мальчика поймали на мосту, когда он собрался топиться — не от горя, а от страстного желания увидеть потерянных близких.

Детство сменилось отрочеством, которое совпало с революцией и разрухой. Жизнь стала трудной и голодной, каждая семья искала способов выжить. Ф. А. Добров составил какие-то необыкновенные дрожжи, очень полезные и пользовавшиеся большим спросом, они так и назывались: дрожжи доктора Доброва. По-видимому, их надо было пить, и непонятно, почему никто в семье, включая самого изобретателя, не сохранил рецепта...

Дрожжи сообразно с заказами по всей Москве разносили дети — Даня и Таня, его подруга с трехлетнего возраста, соученица по школе и друг до конца жизни Татьяна Ивановна Оловянишникова, по мужу Морозова. Начав с этих деловых походов, Даниил потом всю свою юность бродил по Москве один, зачастую с вечера до утра.

Добровы были православной семьей. В доме праздновали все церковные праздники, соблюдали посты; но не было в них никакой нетерпимости: все, соприкасающиеся с этой семьей, были свободны в своих убеждениях, высказываниях и даже сомнениях.

Одним из близких друзей дома была актриса Художественного театра Надежда Сергеевна Бутова. Из ее ролей я знаю только роль матери Ставрогина в «Бесах». Вот она и открыла пятнадцатилетнему Даниилу глубину и духовную красоту православной обрядности, что он помнил с благодарностью всю жизнь.

Но религиозным он был не по воспитанию, не по традиции, а по всему складу своей личности.

Учился он в частной гимназии, которую окончил уже как советскую школу. Гимназия была основана Евгенией Альбертовной Репман и Верой Федоров-

ной Федоровой. Помещалась она в Мерзляковском переулке и так и называлась — Репмановская.

Даниил очень любил гимназию, и, по-видимому, было за что любить. Об атмосфере, необычной для учебного заведения, говорит такой факт. После революции Евгения Альбертовна жила в Судаче, в Крыму. Больная, с парализованными ногами, она не имела средств к существованию. Поэтому бывшие ученики гимназии, окончившие ее где-то в двадцатых годах, ежемесячно собирали для нее деньги. Так продолжалось до начала войны; большую роль в сборе этих денег играл Даниил.

Я думаю, что его мечта о создании особой школы — мечта всей жизни, нашедшая отражение в «Розе Мира» (воспитание человека облагороженного образа), — какими-то своими душевными истоками коренится в своеобразной атмосфере этой школы. Эта мечта — создание школы для этически одаренных детей; не юных художников, биологов или вундеркиндов-музыкантов, а детей, обладающих особыми, именно этическими душевными качествами.

В одном классе с Даниилом училась девочка — я назову только ее имя, Галя, — которую он полюбил в детстве и любил очень много лет. Она не любила его, и всю их юность и молодость отметила печать этих сложных отношений: глубокой дружбы и неразделенной любви. Позже был период и разделенного чувства, а то, что так расплывчато называется дружбой, — глубокая душевная заинтересованность друг в друге, взаимное, лишенное всякого эгоизма желание добра, понимание, — сохранилось до самой его смерти.

Галя была человеком редкого благородства, обаяния и женственности. Ей посвящен цикл стихотворений «Лунные камни».

Здесь надо бы начать рассказывать о юности Даниила Андреева. Но я не буду этого делать. Это несвоевременно. Очень темные и опасные круги прошел он в годы своей юности. Нет, не был он ни пьяницей, ни развратником, ничто «темное» в обычном смысле этого слова не присутствовало в его жизни. В этой жизни все наиболее существенное всегда лежало в плоскости иррационального. Главная тяжесть страшных дорог, пройденных им в юности, также была в плоскости нереальной. Если б не было этих темных дорог, не написал бы он многого написанного им — писатель пишет то, что знает своей душой; выдумывать ничего нельзя — не будет искусства в выдумке.

Ко времени юности относится его первая женитьба на сокурснице по Высшим литературным курсам, на которые он поступил после окончания школы. Женитьба была странная, и он, конечно, был виноват перед этой женщиной, что знал и всю жизнь помнил. А она ему заплатила за зло дружбой на всю жизнь. Она же и начала много позже хлопоты о его освобождении, а когда я вернулась из заключения, помогала мне хлопотать о нем.

Мне хочется отметить, что всю жизнь Даниила сопровождала искренняя, преданная дружба женщин.

Окончив литературные курсы, он понял, что печататься не будет. Никакие колебания, никакие затемнения души никогда не касались творчества, вернее — его правдивости. Места в советской действительности того времени Даниилу Андрееву — поэту — не было.

Выход нашел для него двоюродный брат, сын Филиппа Александровича Доброва, Александр Филиппович. Сам он, окончив Архитектурный институт, не смог стать архитектором после перенесенного энцефалита и работал художником-оформителем. Он обучал Даниила Леонидовича писанию шрифтов, это давало возможность зарабатывать на скромную жизнь.

Писать же Даниил не переставал никогда.

Четкие черты личности определили и особенности его творчества.

¹ Насколько я знаю из рассказа Даниила, среди всевозможных затей двадцатых годов была похожая на эту. Была известна судьба троих, связанных с чем-то вроде такой группы: один из них утонул, спасая тонущего; второй ушел в пещерный монастырь на Кавказе; третий заменил сына для матери ушедшего в монахи.

Ощутимое, реальное — употребляя его термин — переживание иной реальности. Таким в пятнадцать лет было для него видение Небесного Кремля над Кремлем земным.

Ошеломляющее по своей силе и многократно испытанное переживание близости Святого Серафима в храме во время чтения Акафиста Преподобному.

Предошущение образа чудовища, связанного с сутью государства, позже понятого им и описанного.

Ощущение, почти видение демониц, властвующих над Великими городами.

Мощное, полное счастья прикосновение к тем, кого он позже назвал Стихиями, — прекрасным сущностям, духам земных стихий.

Отношение Андреева к природе нельзя назвать любовью к ней, понимая под словом «любовь» то, что обычно понимается: эстетическое любование и осознание живительности незагрязненной экологической среды. Для него в прямом, а не в переносном смысле все кругом было живое: Земля и Небо, Ветер и Снег, Реки и Цветы.

Я помню, в какой восторг привела его заявлением, что не сомневаюсь в реальном существовании домовых и дружу с ними — потому у меня дома и уютно...

Он ходил босиком всегда, когда только удавалось. Говорил, что совершенно по-разному чувствует землю в разных местах. На мое возмущение: «Ну, земля, это я понимаю, но что можно почувствовать на грязном городском асфальте!» — ответ последовал: «Безличное излучение человеческой массы, очень сильное».

Все, что написано в большом его труде «Роза Мира» о природе, пережито им непосредственно, как и в тех главах книги «Русские боги», которые посвящены этой теме.

Летом он бывал и под Москвой и в Крыму, но больше всего любил уезжать в Трубчевск. К сожалению, я не помню, как он впервые туда попал. Но раз попав, он был навек очарован этими местами. Он уходил в многодневные пешие путешествия, почти всегда один, босой, со скудным запасом немудреной еды (ел вообще мало) и курева — курильщик был заядлый. Ночевал в случайном стоге сена, в лесу на мху. Эти путешествия откликнулись многими стихотворениями. А поэма «Немереча» — просто описание одного из таких странствий.

Мы познакомились в марте 1937 года. Познакомил нас человек, очень близкий и ему и мне. Он по телефону вызвал Даниила на улицу. Мы подошли Малым Левшинским переулком к небольшому дому, а навстречу из двери этого дома вышел высокий, худой, стройный, несмотря на сутуловатость, человек с очень легкой и быстрой походкой. Шел сильный снег, и так я и запомнила: блоковский ночной снегопад, высокий человек со смуглым лицом и темными узкими глазами. Очень теплая рука. Так он вошел в мою жизнь, а я вошла в Добровский дом, как все его называли.

В 1937 году этот дом был таким: «старики» Добровы — Филипп Александрович, уже оставивший работу во 2-й Градской больнице и имевший небольшую частную практику; Елизавета Михайловна, по профессии акушерка, тоже уже не работающая. Вместе с ними жила и третья из сестер Велигорских, Екатерина Михайловна. Она работала медсестрой в психиатрической больнице, считая, что душевнобольные больше всех нуждаются в заботе и доброте. Все трое, как я уже говорила, жили в большой комнате за занавесками, а передняя часть этой комнаты служила общей столовой, и там же стоял рояль, на котором по вечерам играл Филипп Александрович. Кроме «стариков» и Даниила, в третьей комнате, принадлежавшей семье, жила дочь Добровых, Александра Филипповна, и ее муж, Александр Викторович Коваленский, очень интересный человек большого, своеобразного, какого-то «холодно-пламенного» ума. Переводчик Конопницкой, Словацкого, Ибсена, он сам был очень незаурядным поэтом и писателем. Не печатался. Читал написанное немногим друзьям. Все его произведения уничтожили на Лубянке — он и его жена были арестова-

ны по нашему делу. В молодости Даниила Александр Викторович имел на него большое влияние, подчас подавляющее.

Добровы так и не отвыкли жить с открытой дверью. И была эта дверь открыта в переднюю, где проходили все жильцы квартиры и все посетители, а среди жильцов была и женщина, получившая комнату по ордеру НКВД. И потеряли они в 1937 году столько друзей в недрах Лубянки! Перечисление погибших было в одной из глав романа «Странники ночи», которая называлась «Мартиролог».

Этот роман Даниил Леонидович начал писать в 1937 году. До него работал над поэмой «Песнь о Монсальвате», в некоторой степени основанной на средневековых легендах. Эту поэму он не закончил и никогда больше к ней не возвращался.

С 1937 года, по существу, шла уже наша общая с ним жизнь, сначала как очень близких друзей, позже как мужа и жены. Так, как жили мы, жил целый круг людей в те годы, поэтому я попытаюсь рассказать, какой была эта жизнь.

Подавляющее большинство жило в то время очень бедно. Почти все обитали в коммунальных квартирах, куда по большей части были насильно впихнуты совершенно чуждые люди, несовместимые друг с другом.

Сейчас говорят, что в то время были частые снижения цен. Возможно, этого я не помню; зато хорошо помню, как мы покупали масло в количестве ста граммов или кусочек колбасы — она действительно была очень вкусна, и сортов было много, только все на цену смотрели... А в провинциальные города посылали посылки с макаронами.

Но это было лишь фоном, на котором разворачивалась настоящая жизнь. А ею, настоящей жизнью, были прекрасные концерты в Большом зале Консерватории; были встречи с друзьями — по три-четыре человека, с приглушенными (от соседей) беседами на самые, казалось бы, отвлеченные темы, для нас самые главные.

Даниил Андреев, пишущий поэму о Монсальвате, был не только понятен в своей захваченности этими образами, он был бесконечно дорог и необходим нам. Потому что для нас, русских — то есть причастных российской культуре, — тема сокрытой святости, несущей духовную помощь жаждущим этой помощи в окружающем нас страшном мире, была, вероятно, самой драгоценной.

Возможно, поэтому и не шла в те годы в Большом театре опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»: не только мы понимали насущность сокрытой святости, но и те, кто разрушал храмы — святости явные; кто преподавание истории в школах свел к тенденциозному рассказу о бунтах и революционных движениях, где за Спартакосом непосредственно следовали крестьянские войны в Германии; кто выламывал кресты на могилах Владимира Соловьева, Языкова и Хомякова.

Православная Церковь с вырванными, как языки, колоколами совершала Литургию. Нет слов, чтобы выразить преклонение перед этим немеркнущим подвигом, он не замутится никогда никакой внешней, наносной неправдой. Церковь пронесла тихий огонь свечей в руках, скованных кандалами.

А на концертах в Консерватории звучала музыка Вагнера, и там мы слышали звон колоколов Монсальвата, а в Большом театре даже шел «Лозенгрин» — скорее всего по недомыслию...

Не знаю, как описать ту атмосферу обессиливающего, тошнотворного страха, в которой жили мы все в те годы. Мне трудно очертить границы этого «мы» — во всяком случае, это все те, кого я знала.

Я думаю, что такого страха, в течение столь долгого времени, не испытывал никто во всей истории цивилизованного человечества. Во-первых, по количеству слоек, им охватываемых; во-вторых, потому, что для этого страха не надо было никакой причины. И конечно, по многолетней протяженности этого калечащего души ужаса. Неправда, что 1937 год («тридцать проклятый...» и т. д.) был самым страшным. Просто в этом году огромная змея под-

ползла вплотную к коммунистам, вот и причина крика. А началось все с начала, с 1917—1918 годов.

Лично для меня ощущение этой удавки на горле, то ослабевающей, то затягивающейся, возникло в 1931 году — мне было шестнадцать лет, когда арестовали моего дядю по процессу Промпартии. Полное ужаса ожидание — вот этой ночью придут за близкими! — знали все женщины. Многих, которые целыми ночами сидели, замерев в этом ожидании, или, рыдая, металась из-за получасового опоздания мужа с работы — взяли на улице! — просто уже нет в живых. А некоторые и сейчас боятся об этом рассказывать.

Эта жизнь, очень реально описанная, была фоном сложного действия, разветвляющегося в романе «Странники ночи».

В застывшей от ужаса Москве, под неусыпным взором всех окон Лубянки, ярко освещенных всю ночь, небольшая группа друзей готовится к тому времени, когда рухнет давящая всех тирания и народу, изголодавшемуся в бескрылой и страшной эпохе, нужнее всего будет пища духовная. Каждый из этих мечтателей готовится к предстоящему по-своему. Молодой архитектор Женя Моргенштерн приносит чертежи храма Солнца Мира, который должен быть выстроен на Воробьевых горах. (Кстати, на том самом месте, где выстроен новый университет.) Этот храм становится как бы символом всей группы. Венчает его крест, и присуща ему еще одна эмблема: крылатое сердце в крылатом солнце. Руководитель, индолог Леонид Федорович Глинский (дань страстной любви Даниила к Индии) оказывается автором интересной теории чередования красных и синих эпох в истории России. Цвета — красный и синий — условны, но условность эта понятна: синий как первенствование духовного, мистического начала, красный — преобладание материального.

Может быть, самая большая потеря, связанная с гибелью романа, — Москва, жившая в нем. Это не были описания Москвы того времени, а именно сам живой, многоплановый, трагический город!

На первом исполнении Пятой симфонии Шостаковича в Большом зале Консерватории встретились герои романа. Мы и правда были на этом концерте. В романе как бы описывалась симфония, часть за частью раскрывалось ее содержание, данное гениальным композитором через музыку. Какое счастье, что мы не были знакомы с Дмитрием Дмитриевичем! Не удалось бы ему отказаться от такой расшифровки, потому что она была правильной — написана Пятая симфония о том, как человеческую душу давит разнуздавшаяся стихия зла, и остается душе только молитва, которой симфония и заканчивается.

Ряд героев романа был развитием какой-либо стороны личности автора: индолог Глинский, поэт Олег Горбов, археолог Саша Горбов, совершенно по-андреевски влюбленный в природу. Он в начале романа возвращался из Трубчевска в Москву.

Роман, конечно, шел от традиции Достоевского, страстно любимого Даниилом Андреевым. Это не было подражанием Достоевскому, но проблемы романа были сродни проблемам романов великого писателя и по своей русскости, и по причастности этих проблем к общечеловеческим — Добра и Зла и их проявления в мире.

Даниил всегда приходил в гости с тетрадкой стихов или с новой главой романа. Однажды он сказал мне: «Лучшее, что во мне есть, это мое творчество. Вот я и иду к друзьям со своим лучшим».

Он был очень застенчив и совершенно не способен «блистать в обществе». Поэтому свою незаурядность мог проявить не непосредственно, а как бы отделив от себя, как это делает художник.

Война застала его за работой над романом. Он зарыл рукопись в землю и вернулся к стихам. Написал цикл стихотворений «Янтари», посвященный реальной женщине, — ее образ косвенно отражен был в романе. Работал над поэмой «Германцы», но не закончил ее — в конце 1942 года его мобилизовали.

Филипп Александрович Добров скончался за два месяца до начала войны, Елизавета Михайловна — осенью 1942 года, Екатерина Михайловна — в середине войны. Даниил, вернувшись, ее уже не застал.

По состоянию здоровья он был нестроевым рядовым. Сначала состоял при штабе формирующихся в Кубинке, под Москвой, воинских частей; позже, зимой 1943-го, в составе 196-й стрелковой дивизии шел ледовой трассой Ладоги в осажденный, страшный Ленинград. Но об этом написана его поэма «Ленинградский Апокалипсис», одна из глав «Русских богов», и незачем мне ее пересказывать.

После Ленинграда были Шлиссельберг и Снявино — названия, которые забываемы для людей, переживших войну, так же как Ельня, Ярцево и много, много других...

Служа в похоронной команде, хороня убитых в братских могилах, Даниил Леонидович читал над ними православные заупокойные молитвы.

Подтаскивая снаряды, надорвался и попал в медсанбат. Там его и оставили санитаром; два человека постарались сохранить ему жизнь: начальник госпиталя Александр Петрович Цаплин и врач Николай Павлович Амуров.

В последние месяцы войны из действующей армии отзывали специалистов для работы в тылу. Горком графиков, членом которого он был как художник-шрифтовик, вызвал его с фронта, и последнюю военную зиму Даниил Леонидович служил в Москве, в Музее связи, художником-оформителем.

Конечно, имея возможность бывать дома, он вернулся к работе над романом. Когда рукопись романа была извлечена из земли, оказалось, что неопытный конспиратор зарыл ее очень плохо: написана она была от руки, чернилами, и чернила расплылись.

Он начал все сначала, теперь на машинке, кстати, когда-то принадлежавшей Леониду Андрееву и случайно оставшейся в Москве. Переработанное произведение, помнится, от главы к главе становилось значительнее.

По окончании войны близкие друзья Даниила, географы Сергей Николаевич Матвеев и его жена Мария Самойловна Калецкая, обеспокоенные нашей действительно вопиющей материальной неустроенностью, нашли для него неожиданную форму заработка. (Я, член Союза художников, не могла найти никакой работы, кроме изготовления копий.) Вместе с Сергеем Николаевичем Даниил написал небольшую книгу о русских исследователях Горной Средней Азии. От Матвеева здесь было имя уважаемого ученого и конкретный материал, со стороны Андреева — литературная обработка этого материала. Работа не была творчеством, это было честной, искренней, научно и литературно квалифицированной популяризацией.

Тоненькая книжка вышла в Географгизе. В 1946 году последовал следующий заказ: книга о русских путешественниках в Африке. Даниил работал над этой, тоже небольшой, книжкой с горячим увлечением, хотя и разрывался между ней и романом.

Материал он разыскивал в Ленинской библиотеке. Однажды пришел сияющий и сообщил мне, что нашел сведения об африканской реке, названной именем Николая Степановича Гумилева. Что Гумилев был любимейшим поэтом Даниила Андреева, рядом с Лермонтовым, Алексеем Константиновичем Толстым и Блоком, можно не писать — это ясно из стихов, да и не могло быть иначе.

Книжка о русских путешественниках в Африке была написана, набрана, и набор рассыпан. Больше я о ней ничего не знаю.

В апреле 1947 года Даниилу Леонидовичу было сделано странное предложение: лететь в Харьков вместе с двумя-тремя спутниками и прочесть там лекцию на материале своей еще не напечатанной книги о русских путешественниках. Что это было, мы так никогда и не узнали. Скорее всего чекистская инсценировка от начала и до конца.

Рано утром 21 апреля за Даниилом приехала легковая машина, в которой сидели кто-то в штатском, безличного вида, и, тоже в штатском, любезно суетившийся «устроитель». Я, стоя у дверей, провела его. По дороге на аэродром его арестовали, а я получила из Харькова телеграмму якобы за его подписью о благополучном прибытии.

За мной пришли вечером 23 апреля. Обыск длился четырнадцать часов. Конечно, взяли роман — его и искали — и все что только было в доме рукописного или машинописного. Утром увезли и меня — тоже на легковой машине.

Для характеристики атмосферы того времени: из всех жильцов квартиры в переднюю, когда меня вводили, вышла одна, Анна Сергеевна Ломакина, сама, как и ее муж, отсидевшая, мать маленьких детей. Она подошла ко мне, поцеловала и дала немного черного хлеба и несколько кусочков сахара. Я благодарно запомнила это — так не поступали от страха.

Даниила много раз забирали на Лубянку на два-три дня в предвоенные годы: была такая система превентивных арестов на дни советских праздников. На фронте тоже был какой-то вызов, о котором он вскользь рассказал.

Позже по «делу Андреева» взяли многих родных, друзей, знакомых. Потом к нашей «преступной группе» прибавляли уже и незнакомых, просто «таких же».

Героев на следствии среди нас не было. Думаю, что хуже всех была я; правда, подписывая «статью 206», то есть знакомясь со всеми документами в конце следствия, я не видела разницы в показаниях. Почему на фоне героических партизан, антифашистов, участников Сопротивления так слабы были многие из русских интеллигентов? Об этом не любят рассказывать.

Понятия непорядочности и предательства в таких масштабах отпадают. Многие из тех, кто оговаривал на следствии себя и других (а это подчас было одно и то же), заслуживают величайшего уважения в своей остальной жизни.

Основных причин я вижу две. Страх, продолжавшийся не одно десятилетие, который заранее подтачивал волю к сопротивлению, причем именно к сопротивлению органам. Большая часть людей, безусловно достойных имени героев, держалась героически короткое время и в экстремальных по отношению к их обычной жизни условиях. У нас же нормой был именно этот, выматывающий душу страх, именно он был нашей повседневной жизнью. А вторая причина та, что мы никогда не были политическими деятелями. Есть целый комплекс черт характера и правил поведения, который должен быть присущ политическому деятелю — революционеру или контрреволюционеру, это все равно, — у нас его не было.

Мы были духовным противостоянием эпохе, при всей нашей слабости и беззащитности. Этим-то противостоянием и были страшны для всевластной тирании. Я думаю, что те, кто пронес слабые огоньки зажженных свечей сквозь бурю и непогоду, не всегда даже осознавая это, свое дело сделали.

А у меня было еще одно. Я не могла забыть, что напротив меня сидит и допрашивает меня такой же русский, как я. Это меня много раз обманывало, и так меня ловили на все провокации, какие только придумали. И все же даже теперь, поняв, как недопустимо была не права тогда, я не могу полностью отрезать «нас» от «них». Это разные стороны одной огромной национальной трагедии, и да поможет Господь всем нам, кому дорога Россия, понять и одолеть этот страшный узел.

И еще надо сказать: все, кого брали в более поздние времена, знали, что о них заговорит какой-нибудь голос, что существуют какие-то «права человека», что родные и друзья сделают все, что будет в их силах. В те годы брали навек. Арест значил мрак, безмолвие и муку, а мысль о близких только удешевляла отчаяние.

Наше следствие продолжалось девятнадцать месяцев: тринадцать на Лубянке во внутренней тюрьме и шесть в Лефортове. Основой обвинения был антисоветский роман и стихи, которые читали или слушали несколько человек. Но этого прокурору было мало, и к обвинению была добавлена статья УК 57-8, Даниилу Леонидовичу «через 19» — подготовка террористического акта, мне и еще нескольким «через 17» — помощь в подготовке покушения. Эта галиматья — дело шло о покушении на Сталина — была основана на вполне осознанном и четком крайне отрицательном отношении к Сталину, которое сейчас стало почти обязательным, но был «многих всегда неправ» что русский народ го-

тов преклоняться перед кем угодно и весь поклонился Сталину; преклонялись в основном те, кому это так или иначе было нужно.

Реалистичность романа сыграла утяжеляющую роль. О героях его допрашивали как о живых людях, особенно об Алексее Юрьевиче Серпуховском, отличавшемся от остальной группы готовностью к действиям, а не мечтам. Именно Серпуховский не имел прообраза в окружении Андреева. Он был им почувствован, уловлен во всем трагическом мареве той жизни — его не могло не быть. Естественно, что понять процесс творчества писателя следственные органы не были в состоянии и упорно добивались — с кого списано. Тем более что в подтверждение верной интуиции Андреева и одновременно бдительности органов чуть позже нас была арестована группа людей, которые могли бы быть и героями романа и нашими знакомыми. Но не были.

Долго у нас искали оружие. Его тоже не было. Судило нас ОСО — тройка. Это значит, что никакого суда не было и однодельцы друг друга не видали. Нас поодиночке вызывали в кабинеты и «зачитывали» приговоры. Даниил Андреев как основной проходящий по делу (теперь это называется «паровоз») получил двадцать пять лет тюремного заключения. Я и еще несколько родных и друзей — по двадцать пять лет лагерей строгого режима. Остальные — по десять лет лагерей строгого режима.

Надо сказать, что двадцатипятилетний приговор в то время был высшей мерой. На короткое время в Союзе смертная казнь была заменена двадцатипятилетним заключением. Только поэтому мы и остались в живых. Немного раньше или немного позже были бы расстреляны.

После следствия Даниил Леонидович и я видали акт о сожжении романа, стихов, писем, дневников и писем Леонида Андреева маленькому сыну и Добровым, которых он очень любил. На этом акте Даниил Леонидович написал (помню приблизительно): «Протестую против уничтожения романа и стихов. Прошу сохранить до моего освобождения. Письма отца прошу передать в Литературный музей». Думаю, что все погибло.

Даниил Андреев отправился во Владимирскую тюрьму. Несколько человек (в том числе я) — в мордовские лагеря.

Сергей Николаевич Матвеев умер в лагере от прободения язвы. Александра Филипповна Доброва умерла в лагере от рака. Александр Филиппович Добров умер от туберкулеза в зубово-полянском инвалидном доме, уже освободившись и не имея куда приехать в Москве.

Может показаться странным то, что я сейчас скажу. Когда мы встретились с Даниилом и были неразлучны уже до его смерти, мы почти ничего не рассказывали друг другу о следствии и заключении. Пути мы прошли параллельные и понимали друг друга с полуслова, а рассказывать было не нужно.

Я знаю, что условия Владимирской тюрьмы были очень тяжелы. Также знаю, что там сложились крепкие дружеские отношения у многих заключенных, очень их поддерживавшие.

В разное время с Даниилом Леонидовичем были: Василий Витальевич Шульгин; академик Василий Васильевич Парин; историк Лев Львович Раков; сын генерала Кутепова; грузинский меньшевик Симон Гогиберидзе, отсидевший во Владимире двадцать пять лет; японский «военный преступник» Танака-сан. Искусствовед Владимир Александрович Александров, освободившийся раньше всех, помог по просьбе Даниила разыскать и привести в порядок могилу Александры Михайловны и ее матери, Бусиньки, на Новодевичьем кладбище. Конечно, сокамерников было за годы, проведенные в тюрьме, гораздо больше, но я не помню их имен.

Одно время камера Владимирской тюрьмы, в которой оказались вместе некоторые из перечисленных мною, получила шуточное название «академической». К ним подселили уголовников. Количества я не знаю, а «качество» легко себе представить: по уголовной статье тюремный приговор получали только настоящие преступники.

«Академическая» камера спокойно встретила пришельцев. В. В. Парин стал читать им лекции по физиологии, Л. Л. Раков — по военной истории, а Д. Л. Андреев написал краткое пособие по стихосложению и учил их писать стихи.

А еще эти трое заключенных — Парин, Раков и Андреев — написали двухтомный труд «Новейший Плутарх» — гротескные вымышленные биографии самых разнообразных деятелей. Л. Л. Раков снабдил это уникальное произведение чудесными рисунками.

А о плохом Даниил рассказывал, например, так: «Знаешь, носовые платки — великая вещь! Если один подстелить под себя, а другой сверху, кажется, что не так холодно».

Теперь я должна попытаться написать о самом главном, о том, что является основой творчества Даниила Андреева, в том числе и истоком книги «Русские боги».

Сделать это трудно, потому что придется говорить о вещах недоказуемых. Те, для кого мир не исчерпывается видимым и осязаемым (в крайнем случае, логически доказуемым), для кого иная реальность — не меньшая реальность, чем окружающая материальная, поверят без доказательств. Если наш мир не единственный, а есть и другие, значит, между ними возможно взаимопроникновение — что же тут доказывать? Те, для кого Вселенная ограничивается видимым, слышимым и осязаемым, — не поверят.

Я говорила о моментах в жизни Даниила Леонидовича, когда в мир «этот» мощно врывается мир «иной». В тюрьме эти прорывы стали частыми, и постепенно перед ним возникла система Вселенной и категорическое требование: посвятить свой поэтический дар вести об этой системе.

Иногда такие состояния посещали его во сне, иногда на грани сна, иногда наяву. Во сне по мирам иным (из того, что он понял и сказал мне) его водили Лермонтов, Достоевский и Блок — такие, каковы они сейчас.

Так родились три его основных произведения: «Роза Мира», «Русские боги», «Железная мистерия». Они все — об одном и том же: о структуре мироздания и о пронизывающей эту структуру борьбе Добра и Зла.

Даниил Андреев не только в стихах и поэмах, но и в прозаической «Розе Мира» — поэт, а не философ. Он поэт в древнем значении этого понятия, где мысль, слово, чувство, музыка (в его творчестве — музыкальность и ритмичность стихов) слиты в единое явление. Именно такому явлению древние культуры давали имя — поэт.

Весь строй его творчества — образный, а не логический, все его отношение к миру как к становящемуся мифу — поэзия, а не философия.

Возможны ли искажения при передаче человеческим языком образов нематериальных, понятий незнакомого нам ряда? Я думаю, что не только возможны, но неминуемы. Человеческое сознание не может не вносить сюда привычных понятий, логических выводов, даже просто личных пристрастий и антипатий. Но, мне кажется, читая Андреева, убеждаешься в его стремлении быть, насколько хватает дара, чистым передатчиком увиденного и услышанного. Никакой «техники», никакой «системы медитаций» у него не было. Единственным духовным упражнением была православная молитва да еще молитва «собственными словами».

Я думаю, что инфаркт, перенесенный им в 1954 году и приведший к ранней смерти (в 1959), был следствием этих состояний, был платой человеческой плоти за те знания, которые ему открылись. И как ни чудовищно прозвучат мои слова, как ни бесконечно жаль, что не отпустила ему судьба еще хоть нескольких лет для работы, все же смерть — не слишком большая и, может быть, самая чистая расплата за погружение в те миры, которое выпало на его долю. В «Розе Мира» он вводит понятие Вестник — художник, осуществляющий в своем творчестве связь между мирами. Таким он и был.

Василий Васильевич Парин, советский академик, физиолог, атеист, очень подружившийся в тюрьме с Даниилом, с удивлением рассказывал мне: «Было такое впечатление, что он не пишет, в смысле «сочиняет», а едва успевает записывать то, что потоком на него льется».

Не писать Даниил не мог. Он говорил мне, что два года фронта были для него тяжелее десяти лет тюрьмы. Не из страха смерти — смерть в тюрьме была вполне реальна и могла оказаться более мучительной, чем на войне, — а из-за невозможности творчества.

Сначала он писал в камере на случайных клочках бумаги. При шмонах эти листки отбирали. Он писал снова. Вся камера участвовала в сохранении написанного, включая «военных преступников» — немцев и японцев, которые, не зная языка, не знали, что помогают прятать, — это была солидарность узников.

После смерти Сталина и Берии было заменено тюремное начальство. Начальником режима стала Давид Иванович Крот, облегчивший режим, разрешивший переписку и свидания с родными. Во Владимирскую тюрьму на свидания, продолжавшиеся час или два, стала ездить моя мать, а я в мордовском лагере стала получать открытки и письма, исписанные стихами, мельчайшим почерком, который, вероятно, вконец измучил лагерного цензора.

Вот тогда и были написаны черновики «Розы Мира», «Русских богов» и «Железной мистерии»; восстановлены написанные до ареста «Янтари», «Древняя память», «Лесная кровь», «Предгорья», «Лунные камни»; написан цикл стихотворений «Устье жизни». Отрывки из поэмы «Германцы», которые он вспомнил, вошли в главу «Из маленькой комнаты» книги «Русские боги».

Время шло. В 1956 году начала работу хрущевская Комиссия по пересмотру дел политзаключенных. Эти комиссии работали по всем лагерям и тюрьмам. На волю вышли, я думаю, миллионы заключенных. На том лагпункте, где была я, из двух тысяч женщин к концу работы комиссии осталось 11. Один из «великих арестантских путей», железная дорога Москва—Караганда, через Потьму летом 1956 года всеми поездами везла освобожденных, а вдоль путей стояли люди и приветственно махали этим поездам.

Меня освободили в самом конце работы комиссии и очень буднично — надзиратель вошел в барак и сказал: «Андреева, собирайся с вещами, завтра выходишь на волю».

Я и вышла — в золотеющий мордовский лес. 15 августа 1956 года была в Москве, 25 августа — на первом свидании с мужем во Владимире.

Мы увиделись в малюсенькой комнате. Он уже ждал меня, его привели раньше. Очень худой, седой, голова не была обрита, как полагалось заключенным. О радости нечего и говорить — поднял меня на руки. Надзирательница смотрела на нас, полная искренних сентиментальных чувств, и не видела, как Даниил под столиком, нас разделявшим, передал мне четвертушку тетради со стихами, а я ее спрятала в платье.

Комиссия снизила ему срок с двадцати пяти до десяти лет. Оставалось еще восемь месяцев, но не это было страшно, а то, что при освобождении по концу срока не снималась судимость, а это значило — отказ в прописке в Москве. А он умирал, и это знали все. И он знал.

Такое решение комиссии было вызвано его собственным заявлением, на эту комиссию поданным. По смыслу оно было таким:

«Я никого не собирался убивать, в этой части прошу мое дело пересмотреть. Но пока в Советском Союзе не будет свободы совести, свободы слова и свободы печати, прошу не считать меня полностью советским человеком».

Было ясно, что надо хлопотать об еще одном пересмотре дела, но прежде всего надо было спасти черновые рукописи, созданные в тюрьме. Поняв, что для пересмотра его привезут в Москву, мы договорились, что все рукописи он оставит в тюрьме. Узнав, что его привезли на Лубянку, я поехала во Владимир как бы на свидание. Меня провели к начальнику режима Давиду Ивановичу, о котором я упоминала. Он сказал мне, что Даниила Леонидовича увезли в Москву, а потом отдал мне мешок с вещами, оставленный Даниилом. В автобусе по дороге в Москву я уже выхватывала из мешка тетради с черновиками стихов и «Розы Мира». Там была нарочитая путаница: тапочки, книжки, тетрадки, рубашка и т. д. Но Давид Иванович знал, что отдает мне, и сделал это сознательно.

А начавшееся в Москве переследствие совсем не обещало благополучного конца.

Даниил Леонидович рассказывал, что допросы были только днем и запись вела стенографистка. Очень скоро по характеру задаваемых вопросов он понял, что следователь собирает материал для нового срока, шьет дело.

Я пробилась на прием к этому следователю — передо мной был персонаж сталинского времени: крупный, тяжелый, большелицкий, с ледяными выпуклыми глазами. Я не помню короткого и ничего не значащего разговора с ним. Было ясно: безнадежно. Новый срок.

В лагере на очень короткое время скрестилась моя дорога с четырнадцатилетней дорожкой по лагерям одной женщины — надеюсь, что она жива; ее имя — Валентина Пикина. В 1956 и 1957 годах она, реабилитированная, работала в ЦК, занимаясь восстановлением в партии реабилитированных коммунистов. С ней меня и свели реабилитированные старые коммунистки, отбывавшие срок в Мордовии. По ее совету я написала отчаянное заявление о том, что моего мужа, смертельно больного, допрашивают и я прошу — как странно это сейчас прозвучит! — психиатрической экспертизы. Как В. П. все сделала, я не знаю, но Даниила перевели в Институт имени Сербского, который не был тогда тем черным местом, каким стал позже. Через три-четыре месяца последовало заключение: лабильная психика. Это значило, что роковое заявление, из-за которого ему оставили срок, хотя и уменьшенный, он мог написать в состоянии депрессии. А она может наступать и проходить.

Вот как это выглядело для него по его рассказу — он не знал о моих хлопотах, связи между нами не было никакой, кроме передач.

На одном из допросов его спросили об отношении к Сталину. «Ты знаешь, как я плохо говорю». Это была правда: он был из тех, кто пишет, но не любит и не умеет говорить — из застенчивости. «Так вот, я не знаю, что со мной произошло, но это было настоящее вдохновение. Я говорил прекрасно, умно, логично и совершенно убийственно — как для «отца народов», так и для себя самого. Вдруг я почувствовал, что происходит что-то необычное. Следователь сидел неподвижно, стиснув зубы, а стенографистка не записывала — конечно, по его знаку». После этого не зафиксированного допроса его и увезли к Сербскому.

Утром 21 апреля 1957 года он вышел на свободу из двери огромной крепости на Лубянке в залитую солнцем Москву и пришел на Кузнецкий мост, 24, в приемную, где я его ждала, застыв от волнения. Мы взялись за руки и пошли в Подсосенский переулок к моим родителям, потому что ничего своего у нас не было.

Началась последняя глава жизни Даниила Андреева.

Жили мы где попало: у моих родителей, у друзей на даче, в Доме творчества в Малеевке (это сделал Союз писателей), в деревне за Переславлем-Залесским, в деревне на Оке, в Доме творчества художников на Северном Кавказе. Даже снимали крошечную квартирку в Ащеуловом переулке в Москве.

Первый год мы просто нищенствовали: друзья собирали и приносили нам деньги, стараясь, чтобы мы не знали от кого. Через год Даниилу Леонидовичу заплатили по специальному ходатайству Союза писателей за самую маленькую из книг Леонида Андреева, к тому времени изданных, и дали персональную пенсию — 1200 рублей старыми деньгами, то есть 120 новыми. Можно было заплатить за квартиру, снятую сначала на деньги моих родителей и друзей, и окружить умирающего всем, что только могло облегчить его болезнь. Я искать работу не могла, от него нельзя было отойти, да и сама я, как оказалось, была очень серьезно больна.

В. В. Парин сделал все что мог для спасения жизни друга: его лечили в кардиологическом отделении Института имени Вишневского, где он за последние два года жизни несколько раз лежал. А меня медсестры научили оказывать первую помощь вместо «неотложки».

Едва кончался очередной сердечный приступ, он брался за работу.

Удивительные были эти два года! Когда я сейчас смотрю на то, что называется «литературным наследием Даниила Андреева», я не понимаю, как мог смертельно больной, только что вышедший из десятилетнего заключения, бездомный, ничего не имеющий человек столько сделать (да еще перевести по подстрочнику несколько японских рассказов Фумико Хаяси, изданных уже после его смерти)!

Мы жили как бы внутри его мироздания, только по необходимости соприкасаясь с реальным миром. Настоящей реальностью было то, что он писал, а он читал мне каждую страницу, каждое стихотворение.

Одним из праздников, отметивших возвращение, было посещение Большого зала Консерватории. Исполнялась одна из симфоний Шостаковича — я не помню какая и не помню, кто дирижировал, хотя, мне кажется, это был Мравинский, — для нас переключка с тем, таким памятным, исполнением Пятой симфонии.

Даниил отказался от предложения подняться на лифте, даже рассердился: «Как ты не понимаешь, что для меня важно именно подняться по этой лестнице! Эта лестница — один из самых драгоценных символов возвращения в Москву!» И поднялся. Медленно, с остановками, но по той широкой белой лестнице, которая так дорога настоящим москвичам.

Даниил Леонидович требовал, чтобы никто, кроме меня, не знал о его работе над «Розой Мира». Требовал, чтобы я уничтожала все письма, приходящие на его имя, — для того чтобы, если арестуют еще раз, ни один человек не был крепко связан с нами. У него совершенно не было чувства безопасности. Наоборот, он считал, что слежка за нами идет по-прежнему. А «мы» это было его творчество.

Я же, подчиняясь его требованиям, считала такое состояние результатом тюремного шока, зная, что никто не возвращается из заключения с неповрежденной психикой. Оказалось, что поврежденная психика была у меня, неизлечимо доверчивой и легкомысленной. А прав был он.

Освободившись, мы были встречены любящими друзьями Даниила. Были и новые друзья. Одной из таких была молоденькая племянница сокамерника Даниила, очень о нас заботившаяся. Она была на заметке в ГБ, потому что ездила на свидание с дядей. Когда она стала часто бывать у нас, ее вызвали и предложили сообщить о том, кто у нас бывает, а главное — что Андреев пишет. На ее слова о ставших известными ужасах и несправедливостях, которым подвергались такие люди, как мы, в сталинские годы, ответ был прост и выразителен: «Что-то было напрасно, а что-то и нет. Некоторым людям самое место именно там, откуда их выпустили».

Абсолютно порядочная и умная девушка поступила просто: мягко отдалась от нас, чтобы иметь возможность не отвечать ни на какие вопросы. Рассказала она мне все уже через несколько лет после смерти Даниила.

Это был 1957 год.

Стенокардия Даниила Леонидовича имела ярко выраженный эмоциональный характер. Естественно, что никаких физических нагрузок нельзя было допускать, их и не было. Но любое волнение, любое сильное впечатление, даже радостное, вызывало сердечный приступ.

Работа подвигалась. Болезнь тоже. Наперегонки.

Осенью 1958 года мы поехали в Дом творчества художников, в Горячий Ключ на Северном Кавказе. В Доме творчества, в долине, жить, как оказалось, Даниилу было нельзя из-за испарений самого Горячего ключа. Мы сняли маленький белый домик на горе, и наступила последняя — слава Богу, прекрасная — осень его жизни.

Золотели огромные чинары, уходившие в совершенно синее небо, внизу огнем горел подлесок азалий; в крохотной кухне я по вечерам топила печку, и был наш любимый живой огонь. За печкой свистели сверчки, а ночью перед порогом ложился хозяйский пес, дворняга, трогательно подружившийся с нами.

Я даже уходила писать пейзажи, чему радовались мы оба: это было похоже на нормальную жизнь.

Но к сильным приступам загрузинных болей добавились приступы удушья.

12 октября 1958 года он закончил «Розу Мира». Я вернулась домой с этюдником и подошла к нему — он работал в саду. Дописав последнюю строчку, он

сказал мне очень серьезно и печально: «Я кончил книгу. Но знаешь, не рад. Как у Пушкина:

Миг вождеденный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?»

А это был конец. С этого момента болезнь пошла все быстрее и быстрее. Было такое чувство, будто ангел, поддерживавший его все время, с последней строчкой этой книги тихо разжал руки — и все понеслось навстречу смерти.

В начале ноября 1958 года я с трудом довезла его до Москвы.

Не перечислить, даже не вспомнить всех чужих людей, которые помогали нам в эти два года. Я была одна непосредственно около него и постоянно обращалась к первым встречным за помощью, никогда не встречая отказа.

В конце февраля 1959 года мы наконец получили пятнадцатиметровую комнату в двухкомнатной коммуналке, и друзья, взяв его из больницы, на руках внесли на второй этаж дома № 82 по Ленинскому проспекту — тогда это был последний дом города, дальше начинались пустыри.

Наступили последние сорок дней жизни. Они были совсем нереальны. Умирал он тяжело. Мистически эта душа, видно, должна была еще что-то искупить на Земле. А реально — я не давала умереть: не отходила от него, вцеплялась во врачей, требуя еще что-то сделать, по существу, продлевала агонию. А в промежутках был его мир, потому что рукописи он не выпускал из рук и погружался в них, едва становилось чуть легче.

Друзья, сменяя друг друга, приезжали каждый день, привозили все необходимое и сидели в кухне, ненадолго заходя в комнату — больше он не выдерживал. Соседка, совсем чужая и совсем простая женщина, с утра забирала двоих детей и уезжала к родственникам до вечера.

Ни с кем не хотел он говорить о своей болезни, удивлял тем, что помнил и расспрашивал о том, что было важно для вошедшего.

Однажды продиктовал мне список тех, кого хотел бы видеть на своих похоронах — это он так выразился... Список я передала Борису Чукову, верному молодому другу, и тот постарался выполнить волю Даниила. Он же сделал прекрасные фотографии за месяц до смерти.

Совсем незадолго до конца попросил меня прочесть ему сборник «Зеленою поймой». Я прочла и посмотрела на него. На глазах у него были слезы. Он сказал как о чужом: «Хорошие стихи».

Он умер 30 марта 1959 года, в день Алексея — Божьего человека. Похоронен на Новодевичьем, рядом с матерью и бабушкой, на месте, купленном в 1906 году Леонидом Андреевым для себя.

В 1958 году нас познакомили с замечательным московским священником, протоиереем Николаем Голубцовым. Отец Николай исповедовал и причащал нас, а 4 июня 1958 года он обвенчал нас в Ризположенском храме на Шаболовке. В пустом храме, без хора, с двумя друзьями-свидетелями и двумя храмовыми прислужницами.

Через четыре дня мы отправились на пароходе Москва — Уфа в наше свадебное путешествие. Было прекрасно, и чувствовал он себя тогда еще сносно. А рукописи были с нами. Однажды он, сидевший на палубе, позвал меня. Я выбежала из каюты. Мы подходили к Ярославлю, было раннее утро, и сквозь редящий туман сияли ярославские храмы. Это образ той поэмы, «Плаванье к Небесному Кремлю», которую он не успел написать.

С черного хода с помощью нянечек отец Николай прошел в палату, где последний раз лежал Даниил, чтобы исповедовать и причастить его. И дома, совсем перед смертью, тоже исповедовал и причащал. А потом отпевал, сначала дома, потом в Ризположенском храме. Гроб стоял на том же месте, в приделе св. Екатерины, где за восемь месяцев до этого нас венчали.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Д. ШТУРМАН

*

У КРАЯ БЕЗДНЫ

Корниловский мятеж глазами историка и современников

Среди множества стереотипов советского исторического мышления, которые бессознательно воспринимались нами еще в детстве и затем сопровождали нас всю жизнь, представление о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове как о белогвардейце-монархисте, реакционере и потенциальном диктаторе было одним из самых устойчивых. Оно долго не вызывало у большей части моего поколения никаких сомнений (разумеется, я говорю о тех, кого знала). Мелкий эпизод эпохи керенщины, одно из доказательств правоты Ленина и большевиков, свергнувших Временное правительство, не более. Между тем не только за рубежом с начала 20-х годов выходили объемистые тома недоступных для нас материалов и документов, но даже в СССР конца 20-х и начала 30-х годов еще публиковались документы и материалы, опровергавшие стереотипные советские представления о так называемой корниловщине, октябрьском перевороте и гражданской войне.

Ленин уже в июле 1917 года обвинял правительство Керенского в бонапартизме. Вместе с тем он характеризовал «диктатуру» Керенского до июля как «диктатуру бутафорскую», лишь после июля устремившуюся к обретению настоящей, реальной власти.

«Корниловщина» выглядела в ретроспективной большевистской интерпретации как попытка свергнуть Временное правительство справа. Хотя в 1917 же году еще и большевики не оперировали такой трактовкой безоговорочно.

В 1928 году в ленинградском издательстве «Красная газета» в серии «Из белых мемуаров» вышла книга «Мятеж Корнилова». В ней после вступительных статей А. Ильина-Женевского и Вл. Лаврецкого были опубликованы отрывки из воспоминаний А. И. Деникина, А. Ф. Керенского, П. Н. Краснова, А. С. Лукомского, П. Н. Милюкова, В. Д. Набокова, Б. В. Савинкова и В. Б. Станкевича о Корнилове и его попытке изменить роковое течение революции. Все высказывания мемуаристов даются по этому изданию. В ряде случаев в тексте указаны источники, из которых брали отрывки составители сборника.

Итак, предоставим слово тем людям, которым советская историография более шестидесяти лет (1929—1991) в слове отказывала.

Прежде всего мы видим в этих воспоминаниях картину того развала воюющей армии, который большевики скоро объявят основной своей разрушительно-завоевательной тактики. Картина эта не могла не потрясать и не возмущать до глубины души тех, чьи судьбы были кровно связаны с российской государственностью, с российской армией, а именно таковы многие авторы сборника. Они хотели спасения армии от разложения и России — от поражения в войне. Некоторые из них были безоговорочными противниками левого экстремизма и бесхребетной покорности Временного правительства этому экстремизму. Не разбираясь в тонкостях партийной политики, они не могли не восставать против движения армии и страны к неизбежному поражению в войне. Другие авторы входили во Временное правительство и были левыми радикалами (Савинков, Керенский). Но пораженцами не были и они. Как же видятся им из эмиграции Корнилов и его неудавшаяся акция?

Вот что говорит В. Б. Станкевич («Воспоминания 1914—1919 годов», гл. IV, V, VI. Берлин. Изд. И. Ладжжикова), выполнявший по поручению Временного правительства обязанности комиссара Северного фронта, которым командовал генерал Деникин: «Деникин показался мне олицетворением трагедии русской армии. Он был слишком военным, может быть, даже узко военным человеком, настолько, что, быть может, даже старые недочеты уже не бросались в глаза. Но зато теперь он понимал, что армия разваливается. Сжившийся с определенными условиями в армии, он внезапно увидел ее в новом свете: карикатурным извращением всех прежних устоев и оснований. Но что же делать? Уйти и очистить место более покладистым и подлаживающимся? Уйти из армии, еще стоящей на фронте, еще не окончившей войны? Пусть сами обстоятельства заставят сделать это, пусть бунтующие солдаты арестуют или новое правительство само устранил. Но Деникин добровольно из армии не уйдет. Но он, конечно, не дорожит своим местом, не подлаживается, наоборот, он ищет конфликта, он старается быть резким, он отводит душу горьким, хотя часто заведомо бессильным словом... Он не был против революции. Но он не был связан с революцией настолько, чтобы понимать или даже стараться понять ее трагедию. Он понял бы революцию, которая заключила бы мир, и боролся бы с нею, если бы видел, что этот мир гибелен для России, и, может быть, примирился бы с нею, если бы мир был бы «сходен»... Но революцию, которая требовала наступления, а в то же время разрушала устои, на которых покоилась вся сила армии, — такой революции он не мог и не хотел понять...»

Спросим себя: кто на месте Деникина мог бы понять такую революцию, обнаружить логику в поведении такого правительства?

Станкевич очень подробно рассказывает о настроении солдатской массы, не желающей воевать, о большевистской фронтовой газете «Окопная правда» (после ее запрещения — «Окопный набат»), большевистских агитаторах в каждой части, в каждом подразделении, о безуспешной пропагандистской борьбе комиссаров Временного правительства против дезорганизации, дезертирства, антивоенных и антиправительственных устремлений солдат. Отметим то, что часто отмечали комиссары Временного правительства в своих отчетах: вся большевистская печатная и устная пропаганда велась на языке народной массы. Смысл ее всегда сводился к простейшим вещам, понятным и близким массе солдат: мир, земля, вольная воля, достаток. Комиссары, листовки и циркуляры Временного правительства говорили языком книжным («барским») и мысли излагали противоречиво-заковыристые и отвлеченные (война до победы — ради торжества справедливости, честь, верность союзникам, патриотизм, дисциплина во имя революции и т. п.).

Временное правительство звало солдат умирать за революцию, за «землю и волю», большевики звали солдат бросить фронт, чтобы жить, чтобы немедленно идти делить землю соседней-помещиков.

Для людей естественно уходит от войны, от горя, от смерти. Что может гнать человека на войну? Чувство ее неизбежности для него и его близких или железное принуждение. Чувства необходимости этой войны ни у солдат, ни у большинства офицеров к тому времени уже не было. Большевистские агитаторы непрерывно внушали солдатам, что их гонят умирать ради обогащения буржуазии. Офицерский корпус дезориентировали отречения царя и Михаила. А принуждение было снято легкомыслием советской (первой самокооптации) и «временной» (самокооптированной же) демократии. Вот типичное рассуждение правительственного комиссара Станкевича о «новых», «правильных» взаимоотношениях между солдатами и офицерами в условиях тяжелой войны: «В ротах, полках и дивизиях выдвигались новые офицеры, действительные руководители солдат. Начиналось сближение часто с совершенно неожиданной стороны: с чтения газеты ротой, с организации развлечений, спортивных игр. Научились пользоваться новыми порядками и учреждениями с выгодой для дела и без всякого ущерба для себя. Пovyпишали себе библиотеки. Но дело все же шло очень медленно, и офицерский вопрос оставался сложным до последних дней».

Пока большевики его не «упростили».

И все это — на позициях, во время войны и, главное, под разрушительным напором большевиков «и примкнувших к ним».

Настроенный очень благожелательно по отношению к своему правительству, комиссар фронта Станкевич тем не менее вынужден сделать вывод: «И все-таки армия, быть может, могла бы выдержать натиск ослабленного войной противника... Но она не могла выдержать комбинированного удара в тылу и на фронте».

Большевики понимали, что без армии правительство не устоит ни перед какой мало-мальски организованной силой. Правительство старалось не понимать, что теряет армию и вместе с нею — все гарантии прочности своего режима.

Когда под натиском Ставки и генералитета правительство вроде бы и попыталось принять некоторые меры к упорядочению дел в армии, развал в ней достиг такой степени, что уже нельзя было обнаружить виновных и подлежащих каре. От Ставки до последней инвалидной команды нельзя было определить и уточнить, кто в самой армии виноват в ее развале, в ее расползании, растекании во все стороны вязкой, киселеобразной массой, которую нельзя ни остановить, ни повернуть вспять...

Генерал П. Н. Краснов, человек и деятель совершенно иного, чем Станкевич, типа, иного ранга, сословия, мировоззрения, рассказывает о том, что происходило в армии и в Войске Донском после того, как «комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению постольку поскольку». Это относится даже к казачеству, казалось бы, далеко не революционному.

Армия устала воевать, не видела цели этой войны и воевала плохо еще до февральской революции 1917 года. Может быть, Временному правительству и следовало заключить мир, сохранив верные ему подразделения армии для внутренних целей. Солженицын («Красное Колесо»), знающий этот вопрос в совершенстве, полагает, что не надо было и вступать в эту войну, что мир уже в 1916 году был России необходим. Но если уж Временное правительство намеревалось идти со своими союзниками в войне до конца, следовало бы прежде всего укрепить тыл и фронт, дисциплинировать армию и не осчастливливать ее однозно несвоевременной демократизацией. Это укрепление армии и тыла было бы, по всей очевидности, невероятно трудным, но возможным — вплоть до августа 1917 года. Именно такое укрепление фронта и тыла и предлагал Временному правительству Корнилов.

Советская историческая традиция внушала поколениям советских людей представление об агрессивно-буржуазном Временном правительстве и о «соглашательстве» добольшевистских Советов. Между тем санкционировали развал армии именно эти добольшевистские Советы, а соглашательским было Временное правительство, которое шаталось между генералитетом и Советами, но, как правило, оказывалось на поводу у Советов. Советы же действительно стали не только соглашательскими, но и фиктивными (вплоть до августа 1991 года) — после победы большевиков. Только тогда установилась настоящая диктатура. Ничего подобного и не снилось не только позирующему перед объективом истории Керенскому, но и Корнилову, пытавшемуся всего-навсего остановить развал армии и крах воюющего государства, верховным военачальником которого он был. Краснов так описывает несостоятельность первых корниловских попыток навести необходимый армии для войны порядок пропагандистскими и административными средствами (письменные обращения, призывы, приказы): «Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: долой войну. Подавай нам мир и землю. Мир по телеграфу» (разрядка Краснова). А приказ настойчиво звал к войне и победе.

Именно по причине несоответствия обращения и приказов Корнилова строению армии Керенскому, решившему после долгих переговоров с ним и многих шатаний предать Корнилова, а потом и большевикам так легко было объявить законопослушного генерала мятежником и предателем, монархистом, искателем личной власти и т. д. и т. п. Армия хотела это услышать и в это поверить. Далее Краснов пишет: «Делалось страшное, великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду». Это по поводу «бросков» Керенского от совдепа к корниловцам и обратно.

Все в стране жаждали «сильной власти», в том числе и железнодорожники, которые на исходе драмы остановили своим саботажем Корнилова. (Сарказм исторической судьбы: они попадут под Троцкого; он наведет порядок на транспорте.) Но тогда достаточно было довести до пролетарского слуха, что Корнилов требует введения чрезвычайного положения, необходимого, чтобы продолжать войну до победы, как широкие массы народа его возненавидели от всей души. И только лозунги большевиков, подкрепленные растущей организованностью и централизацией их пропагандистских и штурмовых отрядов, попадали, как говорится, в струю.

Солженицын в последних Узлах «Красного Колеса» показал: шла исторически роковая тяжба, победить в которой могла только та из сил, которая делала ставку на распад, а не на укрепление и оздоровление армии, жаждущей

самоликвидации. Эта сила ради своей победы была готова на все: на поражение России в войне, на любой мир с немцами, на какие угодно аннексии своих территорий — лишь бы лишив правительство армии и одолев его, сформировать затем новые, собственные вооруженные силы с целью завоевания родной страны.

Корнилов долго пытался договориться с Керенским в июле — августе 1917 года; генерал Духонин не отказался признать законным даже большевистское правительство, и только бессудное, зверское убийство Духонина в присутствии Крыленко окончательно восстановило большую часть генералитета и офицерства развалившейся армии против большевиков. Но и тогда нашлось немало офицеров различных рангов, готовых сотрудничать с большевиками по разным причинам, в том числе и из надежды спасти российскую армию и воссоздать крепкую российскую государственность.

Приведу еще одно высказывание генерала Краснова, точнее, его обращение к солдатам полка на станции Дно по дороге к Пскову, куда предполагалось стянуть войска, идущие за Корниловым:

«Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова.

— Мы должны исполнить приказ нашего верховного главнокомандующего как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг повиноваться».

Солдаты не возражали, но «солидный подпрапорщик, вахмистр со многими георгиевскими крестами», ответил Краснову: «Только вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и другой изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в Ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело. Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда — с нашим удовольствием, мы свой солдатский долг отлично понимаем».

И Краснов ничего не смог противопоставить большевистскому тезису «и тот изменник, и другой изменник». Кому изменники — над этим солдат не задумывался. Керенский гнал его на войну с немцами. Корнилов не только гнал на войну, но еще и хотел взять в ежовые рукавицы уже привыкшую к неповиновению солдатскую вольницу, пьяную своей свободой. «Срдатская правда» была, безусловно, с большевиками: «Долой войну, даешь землю, волю и буржуйские капиталы!» Под аккомпанемент этой «правды», в которой все было ложью, кроме тождественности ее настроению армии, генералитет не мог уже осуществить своих планов.

Краснов рассказывает и о положении в Петрограде, об одинаковой растерянности и Керенского и сторонников Корнилова, о пустоте вокруг и правительства и Корнилова, одиноких — одно в своей нерешительности, другой в решимости.

Социалист Керенский, хотя и чувствовал необходимость мер, предлагаемых Корниловым, с которым вел переговоры два месяца, не решался на эти меры. Они так или иначе сводились к военной диктатуре над обеими столицами, транспортом и фронтом, к борьбе с Советами, главными защитниками Приказа № 1¹, к уничтожению двоевластия и к тотальной войне против большевиков. Если бы Керенский и Корнилов действовали заодно, даже в августе 1917 года победа над левой контрреволюцией и разрушительными тенденциями для них была еще мыслимой. Но Керенский пребывал в характерной для всей социалистической (небольшевистской) демократии России позиции сидения между двух стульев. Первый — сильная правая демократическая государственность с вводным периодом диктатуры; второй — «свобода, равенство, братство» в трактовке прекраснородушных социалистических и прогрессистских литераторов, возомнивших себя политиками. И Корнилов был принесен Керенским — главой государства в жертву престижу Керенского-революционера, утолическому предрассудку безграничной свободы. Принеся эту жертву, Керенский утратил свою последнюю реальную опору и защиту от могучего натиска контрреволюции слева — от большевизма.

В. Б. Станкевич следующим образом описывает ситуацию июля — августа 1917 года (в его терминологии «левые» — это Керенский и К^о, «правые» — все, кто стоит правее Керенского):

«Аграрные беспорядки, падение производительности на заводах параллельно со все растущей требовательностью рабочих, понижение личной безопасности, постоянные случаи грабежей и убийств, совершаемых безнаказанной и вооруженной толпой, словом, все признаки, что война национальная начинала переходить в войну социальную, напугали правые и умеренные круги. На демократизм, на волю народную, на Учредительное собрание надежды были уже

¹ Знаменитый Приказ № 1 (1/14.3.1917) Петроградского совета, по которому дисциплинарная власть в армии передавалась практически в руки солдатских комитетов.

отброшены: ведь муниципальные выборы по всей России дали подавляющее большинство социалистам. И выдвигается формула: выборы при современных условиях не могут дать точной картины разумной воли народа². К личным мотивам напуганных, терроризированных, идущих навстречу материальному разорению людей присоединились и для многих безусловно доминировали мотивы государственного порядка: власть слишком слаба, не хочет и не умеет приказывать массе, которая стала нестойкой на фронте, и это грозит русскому государству и всему будущему страны величайшими бедствиями. Не спрашивать, не советовать, не убеждать, а приказывать и принуждать надо. И начинаются судорожные поиски власти, которая могла бы не убеждать, а только приказывать».

Крайности будто бы сходятся, и чисто формально политическая позиция «правых» кажется близкой к позиции большевиков. Но: 1) «правые» (напомним: все, кто стоял правее социалиста Керенского) хотели бы сохранить государство и не посягали на его экономический уклад. Более того: многие среди них стремились, во-первых, модернизировать этот уклад, очищая его от пережитков докапиталистических, во-вторых, по наведении устойчивости в стране и в армии восстановить и расширить демократические правовые основы государственной жизни; 2) «правые» и особенно «умеренные» (кадеты) искали сильной власти, а большевики намеревались и готовились такой властью стать (сильную власть не ищут — ею становятся; в противном случае смешно надеяться на исполнение собственной программы «искателей», а не программы признанной ими над собой власти). Но сила с порядочностью, гуманностью и уважением к чужим интересам и правам совпадают редко. В больших движениях мировой истории, представленных документами, это случалось считанные разы. Вытащить же страну из глубочайшего хаоса в терпимый порядок без мер твердых и резких вообще возможно ли?

«Правые» и «умеренные» хотели (от кого-то, не от себя) сильной власти и поэтому тяготели к Корнилову, но не поддержали его на деле ничем существенным. Они слишком боялись «безумного настроения» массы, «когда кронштадтские матросы собирались идти походом, всем флотом, на Петроград, когда приходилось вступить в дипломатические сношения с Красноярской республикой, основанной солдатчиной, опьяненной революцией и бездельем» (Станкевич). Иными словами — когда с безумцами уже надо драться всерьез.

Как тут не запросить у судьбы сильной власти?.. И как в то же время осмелиться поддержать эту сильную власть, не будучи уверенным в победе? «Как раз противоположную эволюцию проделывало левое крыло общественности, — пишет Станкевич, имея в виду Керенского, себя и других более «правых», чем большевики, социалистов. — С таким же беспокойством следя за признаками растущей анархии и болезненными психическими процессами в массах, левые круги сочли наиболее правильным идти на уступки в социальной области, в особенности в аграрной, дать так много, чтобы не оставалось ничего требовать, подкупить массы, купить у них повиновение».

Уточним: «Левые круги» пытались «купить массы» не реальными уступками, не действительным разрешением аграрного вопроса, а лишь посулами, прикрывавшими самую реальную защиту интересов буржуазии. Массы это отлично поняли и отвернулись от Керенского», — комментируют Станкевича его издатели-коммунисты (знать бы, где и чем они кончили, эти комментаторы). Разумеется, это очередная псевдоисторическая тенденциозная подтасовка: «левые круги» (Керенский и К^о) до того дозацищали «буржуазию», что отдали ее и себя на самосуд устроителям и участникам бунта, ничего доброго народу не давшего. А большевики на гребне этого бунта (который они сперва развязали, а потом беспощадно усмирили) вошли в историю (и еще из нее не вышли).

Не решаясь твердо связать себя с умеренно-консервативными кругами, с патристическим офицерством, способным противостоять бушующей, разлагающейся стихии, «левые круги» подписали приговор и себе и своему народу.

Станкевич, поклонник Керенского, комиссар правительства, с одной стороны, уверяет, что никогда не придавал значения «всяким планам справа — реальной опасности там не было, и можно было надеяться, что после урока корниловского восстания никто не подумает повторить его». С другой стороны, он вслед своему кумиру Керенскому оплакивает «ошибочный шаг» Корнилова, после которого возникли «полная дезорганизация и расстройство» в армии, «так как приходилось с величайшим трудом уговаривать солдат встать под команду своих офицеров... Солдатская масса, увидевшая, как генерал, Верховный главнокомандующий, пошел против революции, почувствовала себя со всех сторон

² Похоже на большевистскую аргументацию против выборов в Учредительное собрание: все, что не дает перевеса им, то не выражает «разумной воли народа».

окруженной изменой, а в каждом человеке, носящем погону, — предателя». Но ведь это неправда, — это сознательное или подсознательное искажение фактов ради самооправдания и оправдания своих партийных лидеров! Армия развалилась до выступления Корнилова, а выступление это было отчаянной попыткой остановить развал армии; «мятежный генерал» выступил не против республики, а против ее распада, развала и уже совершенно отчетливого призрака идущей на смену бесильной керенщине бесплодного российского якобинства. Станкевич не мог не знать о долгих переговорах, которые Корнилов и Крымов вели с Керенским и Савинковым: об этом писали в газетах вслед за событиями. Ошибкой было не выступление Корнилова, а затяжка, неорганизованность этого выступления, оставленного в фазе замаха. Операция проведена не была.

Керенский же, предав своего Главковерха и призвав на помощь против него большевиков, совершил не ошибку, а преступление. Но он до своей (весьма благополучной и поздней, «при враче и нотариусе», как писал Роман Гуль) смерти в Нью-Йорке этого не понял и не признал.

От человека, пытавшегося спасти положение, открестились все.

Выдвиженец ЦИК Совета генерал Черемисов, назначенный командующим Северного фронта, начал ликвидацию последствий корниловской попытки с того, что принялся распекал войсковой комитет за... «правизну».

Все тот же Станкевич воспроизводит диалог:

«— Вы придерживаетесь слишком правой линии поведения. Поэтому солдаты не доверяют вам, и вам нужна воинская сила. Будьте немного левее и тогда обойдетесь без всяких броневых дивизионов.

— Самый правый в комитете я, — ответил Виленкин³. — Что же касается других, то, если сложить года, проведенные членами комитета на каторге за левизну их убеждений, получится число большее, чем число ваших лет, г-н генерал. И если бы задача теперь была в том, чтобы быть левым и подыгрывать под настроение масс, то я давно сидел бы здесь на вашем месте, внесенный на руках солдат».

Вся над пропастью, правительственные, но не управляющие ничем специалисты производят ошеломительные маниловские монологи о проникновении в душу солдата посредством спортивных игр и военных университетов. Они не воюют и не заключают мира с немцами. Они стараются подкупить солдат (и большевиков) своей покладистостью. Они говорят о деталях и оттенках будущего, которого у них нет. Они заняты всем чем угодно, кроме поисков путей спасения собственной власти и своей страны.

Казалось бы, можно было понять обстановку, когда в сентябре 1917 года, после ареста Корнилова, Станкевичу, по его же собственным словами, «пришлось столкнуться со стихией чистого большевизма» на матросском собрании в Ревеле (Таллинне). Незадолго до этого генерал Черемисов объявил матросам, что армии не нужна дисциплинарная власть, что сознательные солдаты могут сражаться и побеждать и без таковой. «Волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватили всю толпу» при малейших попытках заговорить о каком-то упорядочении военной жизни, свидетельствует Станкевич. Но вместо того чтобы сожалеть о нелепом отказе Керенского своевременно объединиться с Верховным для нормализации положения, Станкевич прежалко оправдывается в попустительстве... Корнилову со стороны Временного правительства, словно до корниловской попытки навести порядок в армии и в тылу дела шли лучше, словно недопущение правительством корниловского посягательства на вмешательство в дела тыла изменило течение событий в пользу Временного правительства. Более того: Станкевич и позже, уже из эмиграции, оглядываясь на минувшие события, ставит Корнилова на одну доску с... большевиками:

«Но если после большевистского восстания, в июле месяце, многие находили, что необходимо было на страх массе обрушиться карами на лидеров большевизма, не особенно разбираясь, кто прав, кто виноват (!), то так же законны были требования суровой репрессии теперь по отношению к тем, кто был с Корниловым. Государственная власть, которая хотела быть достойной этого имени, должна была железной рукой расправиться с мятежниками, не останавливаясь даже перед невинной жертвой (!), лишь бы суровостью запугать массы, лишь бы не превратиться в пугало, на которое не боятся садиться птицы. Это, может быть, было бы злодеянием, но таким, которым создается сильное правительство. Керенский не пошел на такое злодеяние. Прав он или нет?»

Комментарий редакторов ленинградского издания: «Керенский не пошел на это (что Станкевич называет «злодеянием» и что в действительности было самой элементарной мерой обороны. — Д.Ш.), т. к. он был слишком тесно свя-

³ Комиссар фронта.

зан с правыми кругами, которые были ему необходимы для борьбы с большевиками и которых он боялся отшатнуть «расправой» с Корниловым и другими мятежниками».

Если Керенскому нужны были «правые круги» «для борьбы с большевиками», то почему он не принял протянутой за два месяца до «мятежа» руки Корнилова и не обрушился на большевиков в армии и вне армии, когда еще имелись островки организованности во всероссийском хаосе? Почему он так медлил с арестом большевистских лидеров, что дал им скрыться в те дни, когда играючи мог с ними справиться? Ведь это действительно были бы «элементарные меры обороны»! Временным правительством они предприняты не были. Зато на разгромленный корниловский генералитет правительство накинулось со всей доступной ему суровостью.

Станкевич — сподвижник Керенского — отождествляет большевистское июльское выступление с мятежом Корнилова, как безграмотные нынешние публицисты отождествляют ГКЧП и генералов Франко или Пиночета, словно не видя, не понимая диаметральной противоположности в направленности этих событий. Он приравнивает попытку большевиков разрушить государственный строй уже республиканской России и взорвать ее государственную машину к попытке Корнилова эту машину усилить, укрепить, ввести в правовые рамки военного времени российскую жизнь.

Потеряв армию, не справившись с тылом, Временное правительство потеряло все. Станкевич, вероятно, спросил бы нас: «А вы хотели бы увидеть в революционном демократическом правительстве Ленина или Сталина?» Нет, почему же? К примеру, человека типа и масштаба Столыпина, но облеченного доверием верховной власти и общества и не отторгаемого ни первой, ни вторым, человека твердого, практичного, решительного, нравственного...

Но Россия 1917 года его не выдвинула: на одном полюсе она сконцентрировала безволие и близорукость, на другом — безнравственность и тактическую изощренность. Безволие не рискнуло опереться на силу, протянувшую ему руку. Зато безнравственность и тактическая изворотливость не остановились ни перед чем. Народ, в котором не успело сложиться мощное третье сословие, мощный средний класс, легко входит в экстремистские колебания — от «правой» стены к «левой» пропасти. Парадокс этот и заставляет, по-видимому, Солженицына с 70-х годов снова и снова говорить о том, что стране, лишенной демократических правовых традиций, нужен плавный переход к либеральному образу мыслей и жизни, необходимо в переходный период правительство не деспотическое, не свирепое и не беспощадное, но достаточно твердое, чтобы осуществить такой переход. Необходимо, но где его взять? Тогда не нашлось. Столыпин был в свое время убит накануне отставки; Корнилов — предан теми, кому достаточно долгу предлагал защиту.

Чего же конкретно хотел Корнилов? Что могла принести России его победа или совместная деятельность с ним правительства, судя по документам движения?

Генерал Деникин («Очерки русской смуты», т. II. Изд. Поволоцкого. Париж), издаваемый наконец и в России, подробно рассказывает историю корниловского движения. Точно и метко звучит первое же замечание Деникина, включенное советскими издателями в их сборник, очевидно, с целью опорочить Керенского близостью к потенциальному диктатору: «В борьбе между Керенским и Корниловым, которая привела к таким роковым для России результатам, замечательно отсутствие прямых политических и социальных лозунгов, которые разъединили бы борющиеся стороны».

Корнилов не боролся с политической программой правительства, крайне расплывчатой: он хотел остановить развал фронта и тыла.

Свою программу Корнилов изложил уже 30 июля, совещаясь с министром путей сообщения. Тогда же он развернул ее в своей записке Керенскому. Верховный предлагал своему правительству провести мероприятия, обязательные во всякой стране, ведущей тяжелую, длительную войну, тем более в стране, переживающей в военное время грандиозный политический переворот. Характерно, что Ленин, едва захватив государственную власть, немедленно и беспощадно осуществил в интересах своей диктатуры все предложения Корнилова плюс такие репрессивно-террористические нововведения и преобразования, которые Корнилову и не снились (они просто не лежали в области представлений Корнилова о возможном и нужном). Смотрите хотя бы следующую ленинскую директиву:

«ЧЛЕНАМ СОВЕТА ОБОРОНЫ... Хлеб перестал подвозиться. Чтобы спасти, нужны меры действительно экстренные... Наличный хлебный паек уменьшить для неработающих по транспорту; увеличить для работающих. Пусть

погибнут еще тысячи, но страна будет спасена»⁴ (разрядка моя. — Д. Ш.).

Нет никаких оснований сомневаться в том, что слово «страна» в данном контексте означает «большевистская власть».

30 июля 1917 года Корнилов сказал: «Для окончания войны миром, достойным великой, свободной России, нам необходимо иметь три армии: армию в окопах, непосредственно ведущую бой, армию в тылу — в мастерских и на заводах, изготовляющую для армии фронта все ей необходимое, и армию железнодорожную, подвозящую это к фронту». Похоже ли это на директиву Ленина? Требования Верховного главнокомандующего элементарны — в том случае, если Россия намерена была продолжать войну (а Керенский вроде бы намеревался ее продолжать).

На том же совещании 30 июля 1917 года Корнилов предложил, «не касаясь вопроса — какие меры необходимы для оздоровления рабочей и железнодорожной армий», предоставить «разобраться в этом вопросе специалистам... для правильной работы этих армий они должны быть подчинены той же железной дисциплине, которая устанавливается для армий фронта».

Корнилов составил докладную записку для Временного правительства, в которой, по словам генерала Деникина, «указывалось на необходимость следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории России в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-революционных судов, с применением смертной казни за ряд тяжчайших преступлений, преимущественно военных; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов и установления их ответственности перед законом».

Можно задумываться над тем, было ли в конце июля 1917 года правительство Керенского еще в состоянии осуществить эти меры, но бесспорная необходимость этих мер для восстановления боеспособности армии и сохранения режима не вызывает сомнений.

С полным к тому основанием говорит генерал Деникин о «двоедушии, которое проявил Керенский»⁵ и которое сделало неизбежным окончательный разрыв между ним и верховным командованием.

Это даже не двоедушие (то есть не сознательно лживое маневрирование), а органическая двойственность российского «левого» интеллекта, стремящегося совместить несовместимое, не делая решительного выбора между более или менее определенными позициями своих ближайших соседей справа и слева. Быть демократом, не защищая свободы от посягательств; быть сильным, не принимая мер для своего укрепления. Боясь скатиться до практики диктаторской, не принимать вообще никаких мер во имя стабилизации своего политического положения; страшась чрезмерной, на его взгляд, крутости и прямоты Корнилова, опасаясь, что Корнилов в своем стремлении дисциплинировать, упорядочить фронт и тыл может смести и соглашательского премьера с его кабинетом, Керенский начинает подумывать о принятии на себя обязанностей Верховного главнокомандующего. Между тем вся его нынешняя и предыдущая министерская и председательская деятельность уже доказала его полную неспособность вывести страну и армию из тупика. И он не без оснований боится, что Корнилову и его сподвижникам это ясно.

3 августа Керенский, Савинков и Корнилов безрезультатно обсуждают записку Корнилова, которую затем перерабатывает и смягчает военное министерство. Обо всем, что происходит между Керенским, военным министерством и верховным командованием, становится сразу же известно Совету, и в начале августа в газетах поднимается буря против еще не принятой (даже в ее существенно смягченной форме) записки Корнилова. Особенную ярость вызывает пункт о введении смертной казни в тылу за деяния, опасные для страны и армии⁶.

9 августа Керенский наотрез отказался подписать законопроект о введении смертной казни в тылу (за военные преступления). Военное министерство под давлением Керенского несколько раз переделывало докладную записку Корнило-

⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 81.

⁵ Ленин обвинял Керенского в «бонапартизме». Если, по словам современников, Керенскому и была в какой-то степени свойственна актерская аффектация Наполеона (толстовского Наполеона, во всяком случае), то ни политической решительностью Наполеона, ни его тактико-стратегической одаренностью Керенский не обладал. Исторические роли обоих тоже глубоко различны.

⁶ Вспомним, с какой легкостью и в каких масштабах Ленин восстановил смертную казнь, как только большевики пришли к власти. Кстати, закон о смертной казни на фронте был применен военно-революционными судами Временного правительства до октября 1917 года считанное число раз, а до корниловского выступления — ни разу (об этом свидетельствует множество документов). Большевики же открыли эру бессудных расправ с офицерами и землевладельцами еще до своего прихода к власти, руками взбудораженной ими солдатской массы и крестьянской толпы казнь своих противников в тылу и на фронте. После же прихода Ленина к власти самосуд и бессудный расстрел сразу же становятся повседневными, будничными, обиходными явлениями.

ва, оставив неизменной (по общему смыслу) только ее теоретическую преамбулу и сведя на нет все практические предложения. Тем не менее Корнилов подписал и эту записку, дабы не разрывать отношений с Керенским и не компрометировать перед ним военное министерство. Он еще надеялся на возможность убедить правительство в своей правоте и действовать исключительно легитимно.

10 августа после нового обсуждения принимается следующее «решение»: «...правительство соглашается на предложенные меры, вопрос же о их осуществлении является вопросом темпа правительственных мероприятий; что же касается... милитаризации железных дорог и заводов и фабрик, работающих на оборону, то до обсуждения этого вопроса ввиду его сложности и слишком резкой постановки в докладе он подвергнется предварительному обсуждению в надлежащих специальных ведомствах».

Можно ли считать каким-то решением это изворотливо-бессодержательное резюме?

Керенскому, вероятно, казалось, что в этом «решении» он ловко совместил позиции и «правых» (Корнилова), и «левых» (Советов), и собственную. В действительности же это административное блудословие было тождественно смертному приговору, вынесенному Временным правительством самому себе.

После новых устных и письменных доказательств со стороны Корнилова необходимости срочно противопоставить какие-то энергичные меры развалу армии и деятельности большевиков на фронте и в тылу Керенский дает 20 августа согласие на «объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, то есть для борьбы с большевиками» (Б. Савинков, «К делу Корнилова»). Нет ли в этих словах согласия на то, что неделей позже попытается совершить Корнилов, решившийся действовать самочинно, поскольку правительство и не подумало провести это свое же собственное решение в жизнь?

В какой мере Корнилов изменил Временному правительству, если согласно одному из протоколов Ставки (с участием Савинкова как управляющего военным министерством) день объявления военного положения приурочивался к подходу к столице конного корпуса, причем все собеседники — как чины Ставки, так и Савинков, и полковник Барановский (начальник военного кабинета Керенского) — пришли к заключению, что «если на почве предстоящих событий кроме выступления большевиков выступают и члены Совета, то придется действовать и против них»; причем «действия должны быть самые решительные и беспощадные» (А. И. Деникин, «Очерки русской смуты»)? Но накануне эсеры (партия Керенского!) провели в Петроградском Совете резолюцию о полной отмене смертной казни как в тылу, так и на фронте.

Судя по ряду источников, Керенский, с одной стороны, лгушился перед членами правительства и офицерами Ставки, утверждая, что он только и ждет выступления «левых, дабы умыть руки», снимая с себя ответственность за их разгром. С другой стороны, он до 26 августа не представляет проекта о введении в Петрограде и его окрестностях военного положения на обсуждение своего правительства, всячески оттягивая то или иное решение этого вопроса, уклоняясь даже от прямых, лобовых требований Корнилова и правительства ответить что-либо определенное по этому поводу.

«Мерами правительственной кротости» (Деникин) Керенский надеялся сдержать натиск «слева». Путем лавирования и проволочек он пытался остановить натиск «справа».

Но у него и его коллег оставалось все меньше и меньше реальной власти. Правительство не могло говорить всерьез ни о каких государственных мероприятиях и нововведениях прежде всего потому, что не имело силы для их осуществления. Оно вроде бы не собиралось подчиняться программе большевиков, но и не приняло из рук Корнилова единственно возможного орудия упрочения своего положения — пока еще верных Ставке войсковых подразделений.

Мы уже говорили, что только большевики из всех сил, соперничавших в политической жизни России, не жаждали сильной власти над собой, а хотели и готовились стать ею сами. Готовились сознательно, с момента основания своей партии, следуя «Коммунистическому манифесту» Маркса и Энгельса и не гнушаясь в борьбе за власть никакими средствами. Зато либерально-демократические круги и движения, как правило, уповали на положительные процессы во властных структурах, ждали от них перспективной и благоприятной политики,

наконец — решительности и силы. Но даже и став (без особых своих усилий) яковы властью, они не проявили твердости сами.

Значит ли это, что демократам и либералам, участникам борьбы за власть или вошедшим в нее, следовало бы воспринять свойства и методы большевиков?

Отнюдь нет. Но и либерально-демократические и либерально-консервативные силы имели (тогда, как и теперь) гораздо более перспективную для России программу, чем большевики (а сегодня — коммуно-«нашисты»): одни из них хотели не насильственного скачка в неведомое, а утверждения в русской жизни правовых и экономических начал, освоенных Англией, Францией и Америкой — их союзниками; другие — развития плодотворных начал органически русской жизни (в конечном счете — той же либерализации, но в русских традиционных терминах, при сохранении монархии). Но вершина власти ко времени переговоров с Корниловым была, к несчастью, социалистической, то есть утопической. И жесткие утописты-большевики были ей ближе либералов-прогрессистов и консерваторов. К этому идеологическому родству следует прибавить тщеславно-позерский характер, поверхностность и недалекновидность Керенского-человека, его маниловское фразерство.

Генерал Деникин среди причин провала корниловского движения называет и «нравственную подавленность офицерства, укоренившуюся интуитивно в офицерской среде внутреннюю дисциплину и отсутствие склонности и способности к конспиративной деятельности». Последним качеством в российском обществе 1917 года обладали только профессиональные «левые» экстремисты (большевики и «левые» эсеры, причем первые — с более далеко идущими планами, чем вторые). Утопизм крайних сил относился к их программе-максимум, к строительной, мнимоконструктивной части их идеологии. В политической же тактике они (по крайней мере большевики) были реалистами. Все остальные политические движения постфевральской России просто жили — большевики и те, кто примыкал к ним вплотную, жили, чтобы захватить власть.

Укрепить положение Временного правительства эсер Керенский генералу Корнилову не позволил, опасаясь, по-видимому, реставрации монархии и потери власти. Между тем, по свидетельству генералов — участников движения, в нем было очень мало монархистов; большинство готовилось лишь оказать сопротивление ожидаемому большевистскому выступлению или предупредить его. «Один только лозунг выяснился совершенно твердо и определенно — борьба с Советами» (все более большевизирующимися), — пишет Деникин.

По-видимому, судя по ряду воспоминаний и фактов, последнее царствование скомпрометировало себя в России настолько, что и монархисты по убеждениям «никакой нежности к династии не питали» (генерал Краснов). Даже крайний из «правых», В. Пуришкевич, говорил на суде большевистского трибунала: «Но как мог я покушаться на восстановление монархического строя — который, я глубоко верю, будет восстановлен, — если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по-моему, быть монархом? Назовите это лицо. Николай II? Больной царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Весь трагизм моего положения как идеолога-монархиста в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани».

Среди приверженцев Корнилова в Петрограде были и трехсторонние провокаторы: от Керенского, от Советов, от большевиков. Об аморфной петроградской «организации», так и не оказавшей корниловцам-армейцам никакой действительной помощи, Деникин пишет: «Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов ее членов, так как, по словам руководителя группы, “в республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось; казалось естественным, что Россия должна быть республиканской, отсюда и пошло название Республиканский центр”» (разрядка моя. — Д. Ш.).

При приеме в организацию «“никого не спрашивали, во что веруешь; достаточно было заявления о желании борьбы с большевизмом и о сохранении армии”». Первоначально руководители Республиканского центра ставили себе целью “помощь Временному правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и проч.”, потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота».

К концу августа Республиканский центр числил в Петрограде до 4 тысяч человек и располагал известными средствами, предоставленными ему рядом состоятельных лиц. Кроме этой распыленной группы, организационно почти не оформленной, существовал еще Главный комитет офицерского союза с конспи-

ративным центром во главе. О нем генерал Деникин говорит: «Не задаваясь никакими политическими программами, комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения диктатуры — единственного средства, которое, по мнению офицерства, могло еще спасти страну».

Работа комитета в основном велась незаконспирированно, Временное правительство знало о ней и относилось к ней отрицательно; Керенский и Брусилов (до вступления Корнилова в должность Верховного главнокомандующего) попытались даже связать работу Главного комитета офицерского союза с... Советами рабочих и солдатских депутатов, так что к моменту выступления Корнилова офицерский союз не располагал ничем, кроме намерений и предполагаемого сочувствия фронтовых офицеров. Генерал Деникин, перечисляя имевшиеся, по его убеждению, в августе 1917 года *«реальные средства в руках тех, кто хотел перестроить тонущую в дебрях внутренних противоречий верховную власть, чтобы спасти страну от большевизма»*, заключает: «Но в пределах этих ничтожных технических средств всякая активная и тем более насильственная борьба была заранее обречена на неуспех, если она не имела широкого общественного основания». Она его не имела — вот основной ключ к трагедии.

Со стороны умеренных и либеральных кругов, от октябристов до членов партии народной свободы (кадетов), представлявших буржуазию, бюрократию и широкие слои разнообразной интеллигенции (деятелей умственного труда), Деникин определяет это отношение так: *«Сочувствие, но не содействие»* (разрядка моя. — Д. Ш.).

Со стороны всех слоев общества, расположенных влево от кадетов, от либеральной интеллигенции, — неприязнь, антипатия, ненависть, непроходимые дебри неведения и безразличия в толщах народа, не затронутых фронтовыми интересами и политическими страстями.

«Сочувствие, но не содействие» — характернейшее отношение тогдашней и нынешней российской «публики» (образованной части общества) к лицам и группам, пытающимся делом, энергично, твердо отстаивать ее же, этой части общества, идеи. Антипатия (но не противодействие, не борьба) по отношению к лицам и группам, чьи устремления носят роковой для общества, для страны и для них, либералов и демократов, характер.

Февральская демократия непрерывно оглядывалась то вправо, то влево, без конца (умозрительно, наугад) подсчитывала, какое количество людей думает так, как она, а какое иначе. А в жизни (и, следовательно, в истории) бывают минуты, когда человек не вправе изменять самому себе, своему чувству правды и целесообразности, даже если с ним не согласны все. Такая решимость, разумеется, не оправдывает наперед вершителя злого дела, которое не становится лучше от убежденности преступника в своей правоте. Дело должно быть достойным. Но отсутствие такой решимости не оправдывает и человека, не посмеявшегося отстаивать правое дело только потому, что он не решился драться с его противниками, составлявшими некое большинство (или меньшинство). По-видимому, пассивность или активность (безответственность и ответственность) сами по себе ничего не решают: в каждом случае они неотделимы от дела, которое осуществляется или не осуществляется тем или иным человеком (группой или организацией).

В корниловском движении вся сочувствующая ему часть общества не действовала, а выжидала, не беря на себя ответственности за резкий поворот событий. Кроме того, как и по отношению к антитеррористической политике Столыпина, преобладающая часть даже и умеренно либеральной общественности не принимала и самого «военно-полевого», «чрезвычайного» языка требований Корнилова. Между тем они, эти его требования, «в простом преломлении военного мышления получали форму весьма элементарную: с большевиками или против большевиков» (Деникин). И следовало быть против.

«Как же определялась политическая физиономия предполагавшейся новой власти? За отсутствием политической программы мы можем судить только по косвенным данным: в составленном предположительно списке министров, кроме указанных выше лиц⁷, упоминались Керенский, Савинков, Аргунов, Плеханов; с другой стороны — генерал Алексеев, адмирал Колчак, Тахтамышев, Третьяков, Покровский, граф Игнатъев⁸, князь Львов. По свидетельству князя Г. Трубецкого, этот кабинет должен был, по словам Корнилова, «осуществлять строго демократическую программу, закрепляя народные свободы, и поставить во главу угла решение земельного вопроса». А включение в кабинет Керенско-

⁷ Филоненко, Аладын, Завойко.

⁸ Тот самый, который написал «Пятьдесят лет в строю».

го и Савинкова должно было служить для демократии гарантией, что меры правительственного принуждения не перейдут известных границ и что «демократия не лишается своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний» (Деникин).

Где же здесь реакционно-реставраторские устремления и планы?

Мы не будем приводить свидетельства (вплоть до сочинений Троцкого и показаний Керенского и Савинкова по делу Корнилова включительно) того, что Керенский и его военное министерство знали все о подготовке Корнилова к «оккупации» большевизированного Петрограда, к разоружению боявшегося отправки на фронт петроградского гарнизона и к введению военного положения в обеих столицах, на военных предприятиях, на транспорте и, уж конечно, на фронте (последнее звучало бы юмористически, если бы не было столь трагично). Знали, двусмысленно соглашались, уклончиво санкционировали или, по крайней мере, не вмешивались — и беззастенчиво предали в последний момент.

Большевики, конечно, не включили «в свой кабинет» «любимых вождей» демократии, и ее «наиболее ценные завоевания» не были большевиками сохранены. Предатели не получили своих сребреников: их ослабили пособниками и орудием корниловского «мятежа». Лишь через шестьдесят лет начала в России приподниматься железная завеса над тем, как все это было. О чем думал в предсмертные дни на родине (в советской тюрьме) Савинков, я не знаю. История его возвращения и гибели общеизвестна. Но Керенский, дожив в эмиграции до глубокой старости, так и не понял своей роковой роли (я не знаю лучшего исторического портрета, чем Керенский в «Красном Колесе» Солженицына: весь — как на ладони).

Керенскому только путем передергивания фактов и подтасовки свидетельств и документов удалось на следствии по делу Корнилова (сентябрь 1917 года) квалифицировать попытку корниловского наступления на Петроград как мятеж против Временного правительства, не как попытку действовать в его защиту решительней, чем действовало оно само. Во всяком случае, 27 августа Ставка, по ряду свидетельств, была потрясена, когда телеграф передал ей распоряжения, свидетельствующие об отказе Керенского от сотрудничества с Корниловым.

Положение Корнилова в те последние дни августа, когда он от томительных переговоров с правительством попытался перейти к делу, было уже безнадежным: за время, которое было потеряно из-за проволочек Керенского, окончательно разложилась армия, в том числе и войска, на которые надеялся опереться Корнилов. Потеряв терпение, Корнилов в своем воззвании от 27 августа объединил Временное правительство с большевиками, чем вызвал обиду и всех членов правительства, и той части общества, которая знала истинное положение дел. Корнилов писал, что «Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри».

Это обращение должно было испугать Керенского и его окружение смертельно: оно заключало в себе прямое обвинение в государственной измене в военное время. Союз с большевиками против Корнилова стал, таким образом, для социалистов Временного правительства окончательно оправданным.

Если бы в воззвании было сказано, что не «действует в полном согласии», а «действует словно бы в полном согласии» или «действует объективно в полном согласии», то корниловская характеристика вполне соответствовала бы политическому и историческому смыслу поведения Временного правительства и Советов, хотя, разумеется, так или иначе их раздражила бы. Они действительно «убивали армию и потрясали страну внутри». Это не могло не радовать большевиков и военных противников России и очень облегчало задачи тех и других. Но беда была в том, что доводы и обвинения Корнилова пугали, раздражали и воссоставляли против него и Временное правительство, и неуклонно левеющие Советы, и солдатскую массу. Корниловские воззвания производили на солдат впечатление, обратное замыслу и надеждам их автора: Корнилов боролся за боеспособность армии, которая не хотела воевать и видела возможность не воевать в победе главных противников Корнилова — большевиков.

Российская трагедия — одно из самых ярких свидетельств того, что народы ошибаются не реже, чем отдельные люди, из которых они состоят. Оценка предателями демократии действий генерала Корнилова свелась к нелепой формуле: после «подавления (?) мятежа» они констатировали «преступность способов борьбы, правильность целей ее» («...подчинение всей жизни страны

интересам обороны»). Так передает эту формулу генерал Деникин; так звучит она в показаниях Керенского, в уклончивых, изворотливых периодах Савинкова, в кадетских газетах того времени и в других документах.

Но правительство в лице Керенского и Савинкова именно о таких «способах борьбы» и договаривалось с генералом Корниловым, ибо все предыдущие «способы» разбились о пропаганду большевиков, о нежелание армии воевать, о тот режим, который насадили в армии Советы и само Временное правительство! Речь велась в первую очередь о применении новых способов стабилизации власти: Корнилов ни о чем, кроме введения чрезвычайного положения, кроме ужесточения стабилизирующих фронт и тыл репрессий, и не говорил с правительством.

Каких еще способов «подчинения всей жизни страны интересам обороны» ждала от Корнилова «публика» (в правительстве и вокруг него), если Савинков характеризует ситуацию так: «Начало июля было началом так называемого тарнопольского разгрома. За исключением кавалерийских частей, ударных батальонов и немногих пехотных полков, наши войска бежали перед втрое слабейшим противником. Я был свидетелем этого бегства, свидетелем, как доблестные защитники родины умирали, не поддержанные резервами, брошенные на произвол судьбы своими товарищами. Большие дороги, проселки, даже поля были покрыты толпами беглецов, бросавших винтовки, бросавших орудия и если не бросавших обозы, то лишь потому, что у противника не было кавалерии. Стихийное бегство невозможно было остановить речами и резолюциями. Оно было остановлено броневыми машинами. Это был уже не первый случай, когда на Юго-Западном фронте пришлось применить вооруженную силу».

Это из одной телеграммы Савинкова, комиссара Юго-Западного фронта, военному министру и в Ставку (№ 124, от 7 июля 1917 года). А это из другой его телеграммы по тем же адресам (№ 125, от 9 июля 1917 года): «Дороги запружены. Много дезертиров. Большая часть без винтовок, с ранами в левую руку. Посетил позиции по Серету. Настроение пестрое. Неудачи отношу на большевистскую пропаганду, на не редкую неудовлетворенность командного состава, на нерешительность и колебания полномочных органов революционного большинства по отношению к армии».

Только один вопрос был бы уместен, если бы судить пришлось не Корнилова, а тех, кто спровоцировал Корнилова своими переговорами и доверием на почти безнадежное предприятие и ему же в решающий момент изменил: хотели вы сохранить свою власть и довоевать до победы над Германией в союзе с Антантой или не хотели? Если хотели, как вы могли надеяться остановить развал «словами и резолюциями»? Почему позволили анархии и демагогии перейти роковую грань распада армии? Если не хотели воевать, почему не нашли в себе смелости прекратить войну миром? Но бессмысленно задавать вопросы теням прошлого. Надо задавать их себе и пытаться на них ответить.

Временное правительство не смогло дать стране ни мира, ни войны. Оно не сделало выбора, не посмело быть честным с самим собой и сказать себе и другим, как сказал себе и другим генерал Корнилов, что вне введения чрезвычайного положения, вне военной диктатуры — на время войны и в определенных областях жизни — выхода нет.

Послушайте, как рассуждает Савинков (комиссар фронта, а потом управляющий военного министерства в правительстве Керенского):

«Нерешительность и колебания попытался прекратить генерал Корнилов (разрядка моя. — *Д. Ш.*). 10 июля вечером генерал Корнилов пригласил меня и М. М. Филоненко к себе в ставку. Мы нашли там г-на Завойко. Г-н Завойко прочитал нам текст составленной им телеграммы на имя министра-председателя, в которой генерал Корнилов требовал введения смертной казни на фронте. Когда г-н Завойко кончил читать, генерал Корнилов обратился ко мне и М. М. Филоненко с вопросом, разделяем ли мы мнение, изложенное в телеграмме. Мы ответили, что разделяем вполне (разрядка моя. — *Д. Ш.*). Однако я счел нужным прибавить, что нахожу, что телеграмма составлена в таких ультимативных выражениях, что дает повод истолковать ее как угрозу Временному правительству в смысле неизбежности утверждения единоличной диктатуры в России. Я отметил также, что в этом случае генерал Корнилов встретит во мне врага».

И Савинков предложил смягчить текст телеграммы, на что Корнилов, как и много раз позднее, согласился без спора. Он часто и долго шел на уступки правительству и людям правительства, надеясь разбудить в них энергию и чувство ответственности за Россию.

Затем, с участием Савинкова, был составлен новый текст телеграммы (жаль, что у нас нет первого, не смягченного по требованию Савинкова):

«Армия обезумевших темных людей, не ограждавших властью ю систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя назвать полями сражений, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Это бедствие может быть прекращено, и этот стыд будет смыт или революционным правительством, или если оно не сумеет этого сделать, то неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестие, вместе с тем уничтожат завоевания революции и потому тоже не смогут дать счастья стране. Выбора нет: революционная власть должна стать на путь определенный и твердый. Лишь в этом спасение родины и свободы. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня сознательного существования донныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для ее реорганизации на началах строгой дисциплины и дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право увидеть лучшие дни. Необходимо немедленное, как мера временная, исключительная, вызываемая безвыходностью создавшегося военного положения, введение смертной казни и учреждение полевых судов на театре военных действий. Не следует заблуждаться: меры кротости правительственной, расшатывая необходимую в армии дисциплину, стихийно вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдержанных масс, и стихия эта проявляется в буйствах, насилиях, грабежах, убийствах. Не следует заблуждаться: смерть не только от вражеской пули, но и от руки своих же братьев непрестанно витает над армией. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценою гибели немногих изменников, предателей и трусов. Сообщаю вам, стоящим у кормила власти, что время слов, увещаний и пожеланий прошло, что необходима непоколебимая государственно-революционная власть. Я заявляю, что, занимая высокоответственный пост, я никогда в жизни не соглашусь быть одним из орудий гибели родины. Довольно! Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего. 3911. Генерал Корнилов».

Со своей стороны вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова. Комиссар Савинков».

Эта телеграмма, которую когда-нибудь вырежут наши потомки на цоколе памятника Корнилову, была позднее дополнена требованием (со стороны Корнилова) введения военных законов на транспорте и в военной промышленности, а также привлечения к военно-революционному полемому суду лиц, совершивших военные преступления в тылу. Можно ли удивляться тому, что человек с такой силой убежденности в своей правоте (непоправимо подтвержденной историей) рискнул выступить самостоятельно, когда окончательно убедился в бездейственности правительства? И кем бы он был, если бы даже не попытался этого сделать?

Была ли надежда на успех в июле и даже в августе, если бы правительство мыслило и действовало решительно, заодно с Корниловым?

Напоминаем: в конце октября 1917 года Ленин требовал от ЦК РСДРП(б) осуществления переворота немедленно — до того, как обольщенный петроградский гарнизон будет отправлен на фронт и заменен частями, не распропагандированными большевиками. Мы неоднократно встречаем в собраниях сочинений Ленина и Троцкого и в приложениях или комментариях к ним проговорки о том, что петроградцы не хотели возвращаться на фронт и готовы были на все ради победы большевиков, обещавших немедленный мир. Если 25 октября (7 ноября) 1917 года в армии еще были части, способные защитить правительство, что же говорить об июле и августе!

Интересна оценка Б. В. Савинковым армейских большевиков:

«В сущности, «большевиков» в настоящем значении этого слова в действующей армии почти не было, то есть почти не было убежденных людей, защищающих определенную политическую программу. «Большевизм» выражался в неисполнении боевых приказаний и в подстрекательстве к такому неисполнению, в попытках братания и в пропаганде немедленного и на любых условиях мира с Германией. Подстрекателями и пропагандистами являлись или бывшие жандармы и городовые, или социалисты, до переворота принадлежавшие к «Со-

юзу русского народа» и другим подобным организациям, или демагоги из офицеров, надеявшиеся сделать быструю и построенную не на боевых заслугах карьеру⁹. Эти «большевики» имели в полках успех, потому что эксплуатировали естественное и труднопреодолимое нежелание рядового солдата идти в бой и рисковать своей жизнью». «Идейные» большевики, знакомые Савинкову по эмиграции, партийным дискуссиям и т.п., эксплуатировали то же самое «естественное чувство» (а заодно и много других «естественных чувств»).

Керенский всячески доказывал позе, что он не провоцировал действий Корнилова своими полуторамесячными с ним переговорами и перепиской. Он неоднократно отводил от себя обвинение в том, что в самоубийстве генерала Крымова, конный корпус которого должен был по заданию Ставки войти в Петроград и ввести в нем военное положение, немалую, возможно, решающую роль сыграло эффектно разыгранное Керенским недоумение и возмущение акцией Корнилова—Крымова. Знакомство с фактами и документами доказывает, что двойственность поведения и мироощущения Керенского и его окружения, путаность их политического и исторического мышления обеспечили лобсуду большевиков.

П. Н. Милюкова невозможно, сохраняя хоть какую-то объективность, обвинить в белогвардейско-монархической идеологии, однако и он в 20-х годах симпатизирует Корнилову, а не Керенскому, не «правительству, подчинившемуся большевизму». У Милюкова и его единомышленников есть, по-видимому, все основания утверждать, что, «несмотря на неумелость в ведении заговора, на многие неблагоприятные обстоятельства, сыгравшие роковую роль, заговор до последнего момента мог бы увенчаться успехом, если бы не трусость и нечестность петроградских руководителей...»¹⁰.

Керенский двинул на транспорт и в армию массу агитаторов от правительства и Советов, в том числе множество большевиков, которым ничего не стоило дезорганизовать окончательно и транспорт, и движущиеся к столице войска Корнилова. Таким образом, Керенский ударил дубиной по руке, протянутой ему из Ставки с целью его спасения.

После своей бескровной, но роковой для Временного правительства победы над испугавшим его своей решительностью Корниловым Керенский пытается сам внести упорядоченность и государственную дисциплину в армейскую и гражданскую жизнь России. Он добивается лишь того, что те же советские и большевистские агитаторы, которые помогли ему, объявив генерала изменником, разложить и остановить войска Корнилова, теперь с удесятеренной наглостью саботируют правительственные распоряжения и предложения, объявляя (в которой раз!) предателем самого Керенского.

По свидетельству П. Н. Милюкова, после «неудачной» попытки провести корниловскую программу (уже под началом нового Верховного главнокомандующего — самого Керенского) «произошли ужасные сцены самосуда над офицерами в Выборге, в Гельсингфорсе и в Або». Как только солдаты узнали о попытке Корнилова установить военную диктатуру, солдатская извечная ненависть к «белой кости» и всеобщее нежелание воевать обрушились на первых попавшихся офицеров. Мы не будем ужасать читателя сценами кровавых расправ над офицерами в присутствии их жен и детей...

Уже после явной неудачи своей попытки Корнилов, которому правительство предлагает капитулировать, посылает Керенскому пять условий своей капитуляции, больше похожих на ультиматум победителя, чем на прошение побежденного (впрочем, Корнилова никто и не победил: ему просто не удалось ни на кого опереться в своей попытке спасти Россию, и эта попытка захлебнулась, увязла в трясине безвластия и безволия). Вот эти условия, которые, по-видимому, должны были заставить правительство одуматься на краю пропасти:

«1) Если будет объявлено России, что создается сильное правительство, которое поведет страну по пути спасения и порядка, и на его решения не будут влиять различные безответственные организации, то он немедленно примет со своей стороны меры к тому, чтобы успокоить те круги, которые шли за ним. Генерал Корнилов еще раз заверяет, что лично для себя он ничего не искал и не ищет, а добивается лишь установления в стране могучей власти, способной вывести Россию и армию из того позора, в который они ввергнуты ны-

⁹ Примечание советских редакторов: «Это упрощенное, вульгарно-обывательское объяснение стихийного стремления широких солдатских масс к миру как нельзя лучше характеризует политическую близорукость тех групп, к которым принадлежал в 1917 году Савинков». Что близорукое, то близорукое были группы, ничего не скажешь, редакторы правы.

¹⁰ Мил ю к о в П. Н. История второй русской революции, т. 1. Вып. 2. София. 1921.

нешним правительством. Никаких контрреволюционных замыслов ни генерал Корнилов, ни другие не питали и не питают.

2) Приостановить немедленно предание суду генерала Деникина и подчиненных ему лиц.

3) Считает вообще недопустимым аресты генералов, офицеров и других лиц, необходимых армии в эту ужасную минуту».

И еще два-три пункта в том же духе и стиле.

Очевидно, всей меры, всей полноты беспомощности, бессилия, близорукости и самовлюбленной беспринципности Керенского Корнилов с его прямолинейно честным мироощущением еще не представлял себе даже 30 и 31 августа.

Начальник военного кабинета Керенского генерал Барановский телеграфирует от его имени в Могилев, где генерал Алексеев медлит с арестом Корнилова:

«Главверх требует, чтобы генерал Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия (?) взволнована свыше меры, и все грозит разразиться взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв, в форме выступления Советов и большевиков, ожидается не только в Петрограде, но и в Москве и в других городах. В Омске арестован командующий войсками, и власть перешла к Советам. Обстановка такова, что медлить больше нельзя. Или промедление — и гибель всего дела спасения Родины, или немедленные и решительные действия и аресты указанных вам лиц. Тогда возможна еще борьба. Выбора нет. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет генералу Алексееву решение, и он примет его немедленно: арестуйте Корнилова и его соучастников. Я жду у аппарата вполне определенного ответа, единственно возможного, что лица, участвующие в восстании, будут арестованы... Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Нельзя дальше так разговаривать. Надо решиться и действовать»

Генерал Алексеев (повторяется март семнадцатого?) решился, «задействовал» и арестовал... того человека, который с начала июля 1917 года хотел и пытался спасти Керенского и Россию от угрозы «в форме выступления Советов и большевиков».

Корнилов был убит в гражданской войне, в 1918 году на Кубани. Он бежал из-под ареста по настоянию своих соратников и семьи и погиб, не узнав той дальнейшей судьбы России, которую Керенский, доживший до восьмидесяти девяти лет, наблюдал из Европы и США.

П. Н. Милюков так заканчивает свои воспоминания о крахе корниловского движения: «Подача отставки всеми министрами в ночь на 27 августа и окончательный уход некоторых министров в ближайшие дни положили конец существованию второго коалиционного правительства и начали собой новый кризис власти, еще более затяжной и болезненный, чем предыдущий. Отношение Керенского к движению Корнилова и добровольная сдача Корнилова Алексееву вечером 1 сентября глубоко изменили положение в этом кризисе самого Керенского и тех «соглашательских» элементов, на которых держалась самая идея коалиции. Третья коалиция после целого месяца переговоров кое-как наладилась. Но все понимали, что это будет уже последняя попытка сохранить государственность на той позиции «буржуазной революции», которую все считали необходимой, но слишком немногие проявили готовность защищать последовательно и серьезно».

Началась агония власти.

Есть очень заманчивая ловушка на пути познания: отыскание аналогий, параллелей, симметрии между познаваемым и уже известным. С одной стороны, как же без этого? Сравнительный метод — сколько открытий на его счету, сколько сходного в людях и в их деяниях! С другой стороны, сравнительный метод велит видеть не только сходство, но и различия, не одну повторяемость, но и неповторимость, единственность каждой частности бытия. А между тождественным и неповторимым — третья особенность: группы, типы — категоричная близость явлений, не снимающая ни индивидуальной неповторимости, ни моментов всеобщего в них (давно исследуемое философией триединство).

В «перестройке» и августе 1991 года есть нечто от февраля и августа 1917 года, но нет между этими четырьмя историческими феноменами тождественности, которую им иногда придают по обе стороны бывшего железного занавеса. Алкснис, Макашов, Стерлигоф (равно как и гекачеписты) не Корнило-

вы не только из-за совершенной несопоставимости личных уровней. Они не Корниловы также и по причине решительной несимметричности исторических обстоятельств, хотя, конечно, некоторые из этих лиц себя Корниловым ощущают. Мужественными спасителями отечества и его традиционных устоев от разрушительной демагогии либеральных болтунов. Но они не продолжают и не возобновляют дела Корнилова по спасению отечества, а завершают дело большевиков по его разрушению. При этом им уже не удастся, как удалось большевикам, собрать распадающуюся империю и установить свою железную власть на семьдесят лет (с 1985—1987 годов власть уже не железная). Победив, они принесли бы с собой нечто еще более худшее, чем даже большевики, и не для одной только России.

Каковы основания утверждать, что они, субъективно (как и многие другие решительные и сотрясенные люди) жаждущие восстановления былой мощи отечества и несомненно в большинстве своем — его благоденствия, по крайней мере для русских, толкают его к жестокому и необратимому краху?

Прежде чем попытаться ответить на свой вопрос, замечу: возникает впечатление, что ни непреложности причин, ни близкой возможности такого краха не видят не только решительные сторонники реставрации коммунистической империи, которых не впервые парадоксально поддерживает и часть монархистов. Не осознают этих причин и опасного автоматизма их действия и многие сторонники либеральных реформ. Эти либералы и демократы полагают, что в экономике можно с реформами не спешить. Они уповают и по сей день на их плавность и постепенность. Время, четвертое измерение земного бытия, не воспринимается ими как нечто неумолимое и объективное. Они не видят, что резервы времени для плавности и постепенности экономических преобразований, которые имелись еще даже в 1985—1986 годах, исчерпаны.

В 1917—1921 годах большевики разрушали не только политические, культурные, духовные, психологические формы существования, присущие Российской империи. Они разрушили окончательно в 1917—1933 годах (с короткой заминкой нэпа) все нормальные для современного общества способы хозяйственного существования огромной страны. Не скупясь на чужую кровь, они заменили все органичные способы этого бытия формами хозяйствования, для больших социальных систем противоестественными.

С помощью насилия, лжи, демагогии можно одни политические установления заменить другими; можно долго насиловать и убивать культуру; можно посредством принуждения, лжи, воспитания вменять обществу в неукоснительный долг исповедание тех или иных идеологических догм. Хотя, конечно же, общество, человек будут повреждаться в этих тисках, но физическая сила власти, при ее информационно-идеологической монополии, может сохранять это уродливое бытие, то есть длить вырождение общества и человека, сравнительно долго.

В 20—40-х годах то одному, то другому эмигрантскому движению и деятелю чудилось, что большевики возродили и увеличили имперскую и национальную мощь России. Именно это обстоятельство во многом обусловило причудливые и зачастую трагические судьбы российской эмиграции, не миновавшие и некоторых авторов приведенных нами отрывков. Признал «великую историческую роль» Сталина на закате своих дней, в 1942—1943 годах, П. Н. Милюков; позволил заманить себя в СССР и то ли покончил с собой, то ли был выброшен из окна (или в лестничный пролет) на Лубянке Савинков. Станкевич, по словам глубоко привязанного к нему, но этих взглядов его не разделявшего Р. Гуля, в своей выходящей в Берлине газете «Жизнь» в сентябре 1920 года писал: «Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем!» — так звучит лозунг русской левой демократии. Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что, если рискнуть и вместо «ни к красным, ни к белым!» поставить смелое, гордое и доверчивое: «и к красным, и к белым!» — и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина! Дальше Станкевич слал панегирики и «гению и гиганту» Ленину, «сотрясающему мир», и «чудесному герою Врангелю».

Из-за этой иллюзии часть первой эмиграции отвернулась от второй, военного времени: последняя, знавшая большевизму цену, была воспринята многими бывшими белыми как изменница делу России. А эти «белые» большевиков с великой Россией успели к тому времени в своем сознании отождествить. Один из самых трагических сюжетов, воплотивших в себе эту подмену понятий, — судьба семьи Эфрона—Цветаевой: муж — сначала белый офицер, потом агент и террорист органов в Европе, возвращенец, кончивший арестом пыточным следствием и расстрелом; дочь — французская совпатриотка, возвращенка, многолетняя узница и ссыльная в СССР; сын — пропавший без вести

то ли советский солдат, то ли узник... Судьба великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой, ее путь от «Лебединого стана» до петли в Елабуге, известна...

Долго большинству наблюдателей не было понятно, что власть эта, в политике не просто твердая, а беспощадная, стремящаяся к оруэлловскому абсолютному произволу, в других фундаментальных отношениях совершенно бессильна, бесплодна и неотвратимо всеразрушительна. Саморазрушительна в том числе. Поразительно, что огромная «перестроечная» публицистика этому обстоятельству, наукой давно открытому и объясненному, не придает существенного значения. Разработка этой проблемы начата политико-экономической мыслью еще в конце XVIII века и завершилась на строгой математической основе на стыке экономики, политической экономии, биологии, теории информации, общей теории управления (кибернетики), учения о «больших системах», этики, истории, философии во второй половине XX века.

Огромный статистический материал, его анализ и обобщения в методологиях и методиках ряда наук сводятся к простому выводу: системам такого уровня сложности, как организм, общество, биоценоз и т. п., свойственна определенного рода внутренняя самоорганизация. При ее разрушении они удовлетворительно решать задачи своего выживания не могут. Способы этой самоорганизации (соотношения авторитарности и либерализма, коллективизма и индивидуализма, патернализма и независимости, дискретности и непрерывности, суверенитета и централизма и т. п.) варьируются в разных культурах и при различных национальных менталитетах по-разному. Но главное остается общим: импульсы хозяйственной самоорганизации должны быть сильнее воли (произвола) общесистемного центра.

Воля потому приравнивается здесь нами к произволу, что никакой центр не может действовать в таких обстоятельствах иначе как слепо. Ибо количество заключенной в «больших системах» информации бесконечно. К тому же они еще и динамичны, и заключенная в них информация непрерывно и неуловимо меняется. Всеобъемлюще управлять ими расчетно-математическими методами из поставленного над ними центра невозможно: удовлетворительных команд для такой сложной и динамичной структуры нельзя за конечное время рассчитать. Нельзя даже собрать для них необходимую и достаточную информацию и ее проанализировать в реальные сроки. С того момента как в системе уничтожается самоорганизация (в современном обществе последнюю осуществляют политическая демократия и конкурентные рынки: товарный, ценных бумаг и капиталов; рабочей силы; информационный, культурно-эстетический), в ней начинается накопление неполадок («шумов»), которые, достигнув критического, катастрофического уровня, систему неизбежно разрушают.

В России этот процесс начался в ноябре 1917 года и продолжается до сих пор.

По мере нарастания «шумов» вырождение системы неотвратимо ускоряется. Автоматических механизмов пресечения, смягчения или замедления кризисных процессов она в себе не несет. О бессилии поставленного над системой центра регулировать необъятное мы уже говорили. «Перестройка» началась потому, что Горбачев и его тогдашние единомышленники были осведомлены о катастрофическом нарастании темпов и масштабов вырождения экономики и природной среды СССР.

Надо было немедленно начинать вносить в еще централизованную, еще политически относительно покорную систему элементы хозяйственной самоорганизации, способные постепенно вывести ее из тупика социализма. В конце же тупика зияла пропасть и пламенел ядерный гриб. Об этом предупреждали многие ученые и мыслители. Горбачев в своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (ни больше ни меньше!) писал, что получает такие предостережения, и даже не отказал им в благонамеренности, но просил подобных трудов ему более не присылать: он решительно не намеревался изменять «социалистическому выбору». И не намеревается (конец 1992 года) по сей день. Ельцин уже в 1988—1989 годах, а в 1990 году — четко, с твердой личной убежденностью и с трезвым инженерным пониманием структурной причины движения системы в тупик, заявил о принятии им вышеупомянутых научных выводов и о своем разрыве с социализмом и коммунизмом. Он был первым с 1917 года российским лидером, это сделавшим, и тем вошел в историю навсегда. Понял он и неотложность вмешательства в естественный для данной системы ход событий.

Все же те, кто независимо от своих целей утверждает, что они сначала наведут порядок (?) в экономике, политике, межнациональных и прочих внутрисоциальных отношениях, то есть стабилизируют ситуацию, а уже потом

пойдут к рынку, что они остановят зашедшую в тупик (на наш взгляд, еще по-настоящему и не начавшуюся) реформу, перепроверят ее, продумают другие ее пути и двинутся к рынку постепенно, медленно, менее болезненно для народа, — в очередной раз впадают в утопию. Действительно, надо и стабилизировать обстановку, и корректировать пути реформы, а может быть, и менять их, но все это необходимо делать на ходу, не замедляя, а ускоряя темпы воссоздания самоорганизации. Иначе не поспеть за ростом темпов распада.

Так что стерлиговы—анпиловы в данном случае продолжают дело не Корнилова—Крымова—Деникина, а большевиков. Они объективно (быть может, и сами того не ведая) стремятся завершить большевистское дело, ибо доводят распад, задействованный ленинцами, до фазы необратимости.

То же и самые благонамеренные замедлители реформ, их неторопливые, беспечные переигрыватели и постепеновцы из корпуса технократической и военно-промышленной номенклатуры. Они не могут (или делают вид, что не могут) понять главного: думать и действовать необходимо с минимальным разрывом во времени между этими процессами. Времени на долгие раздумья нет.

В нынешней России и в преобладающей части русской публицистики зарубежья господствует роковое заблуждение, которого избежал, наверное, лишь один Солженицын. Но чтобы охватить миропонимание Солженицына, надо без предубеждений прочесть хотя бы его «Красное Колесо». У современников для этого нет времени. Условия их быта и бытия не способствуют душевной сосредоточенности. Мысля урывками, с чужих слов, проще всего принимать желаемое за сущее. В годы смуты желанней всего стабильность. Поэтому (и со знаком «плюс» и со знаком «минус», в зависимости от политической ориентации) потомкам видятся как в Столыпине, так и в Корнилове в качестве главных достоинств сила, твердость, решимость. На самом же деле Столыпин был царским чиновником, государственным служащим и силы (полномочий) реализовать твердость своего характера, свою прямоту и ясность своих представлений не имел. Он был блокирован со всех сторон. Рукой Богрова двигало, по меткому выражению Солженицына, «идеологическое поле» общественного сознания, прежде всего — радикального. Способствовала осуществлению геростратова комплекса Богрова киевская охранка, то есть вроде бы махровые ретрограды. А завтрашний день нависал над Столыпиным неотвратимой отставкой (царской чете было с ним комфортно). Так что достаточной силой в административном смысле слова Столыпин не обладал. Кроме того, и ему и Корнилову было в высшей степени свойственно чувство субординации. Не конформизма и угодничества, а именно субординации как синонима государственной дисциплины, чувства долга и уважения к правопорядку.

Обобщенно — сила обоих была в объективно неутопическом характере их позиций. Конкретно необходимых полномочий и сроков для достаточно радикальных действий Столыпину судьба не отпустила, а Корнилов не взял на себя ответственности вовремя перешагнуть через субординацию.

Слабость же и «право-левых» оппонентов Столыпина, и растерзавших вырытое из могилы тело генерала Корнилова красных, и нынешних псевдоконсерваторов (невозможно и, главное, нечего уже им консервировать), мянущих себя Столыпинскими и Корниловскими, — в безнадежном утопизме их планов и намерений. Им суждено только растлевать, убивать и разрушать.

Пользуясь случаем, возражу (не впервые) еще одному распространенному заблуждению: Русь, Россия вовсе не кружилась по замкнутому циклу «застой — реформы — революция — деспотия — застой» (начать можно с любой точки) тысячу лет. Циклические смены более или менее стабильных, подвижных, смутных, жестких и относительно свободных (или мягких) периодов характерны далеко не только для России. До 1917 года, в особенности после реформ Александра II, обобщенная историческая траектория России в экономическом и правовом отношении представлялась сочетанием все ускоряющегося роста — и колебательного процесса с его подъемами и спадами. 1917 год эту линию перерубил. История страны потекла по другим законам. Корнилов попытался остановить этот поворот малой кровью. Чуть позже не удалось и большой.

Как это на первый взгляд ни странно, дело генерала Корнилова старались продолжить глубоко штатские и сугубо легитимно действующие люди — Ельцин и его единомышленники, хотя в своем политическом поведении они больше напоминают Керенского. Но ведь и Корнилов очень долго, непростительно долго пытался сообразовать свои действия с беспринципной нерешительностью Керенского и его окружения. Так что нет здесь никаких безоговорочных аналогий и антитез. Ясно одно если Ельцин и его помощники и сторонники, по-

добно Корнилову, будут слишком долго пытаться согласовать свои действия с силами сознательно или бессознательно разрушительными, то крушение — неизбежно. И оно будет страшней, чем тогда. Тех ресурсов, того колоссального запаса моральной, экологической, экономической прочности, которые были у России 1917 года, у нынешней России нет. Из нее неммыслимо выжимать соки еще семьдесят пять лет. И не подо что это делать: иллюзии тоже на исходе. Точнее, если какие-то стойкие мифологемы и иллюзорные цели и остались, то они у разных групп, группок и единиц — свои, разные, стимулирующие взаимные столкновения, а не соподчиненность одной силе. Кроме того, перечисляя опасности, начинать следует с главного дефицита — с дефицита морали, рождающего немотивированную агрессию всех против всех.

Говоря о неотложности реконструктивно-созидательных мер, направленных против распада (в том числе и распада под маской стабилизации), я не имею в виду неизбежности силового вмешательства. Я говорю об овладении ходом событий. В июле—августе 1917 года невоенные меры были уже заведомо обречены на провал. В наше время — чем более отодвигается овладение ситуацией со стороны неподдельно реконструктивных и здравомыслящих сил, тем более вероятными становятся, во-первых, силовой характер вмешательства, во-вторых, бессилие любого его варианта. Время работает против прекрасного и бездеятельного оптимизма.

Я не хочу заниматься натяжками, поэтому не буду искать современных аналогов остальным участникам тогдашней драмы. Но и тогда казалось, и теперь видится так, что жизнь стала намного свободнее по сравнению с предыдущей эпохой. Тогда свобода оказалась прологом небывалого рабства. Прологом к чему она окажется на этот раз? Мы постоянно забываем о том, что свобода — это не более (но и не менее) чем возможность выбора, а значит, и синоним личной ответственности. Керенский в свое время выбрал предательство, Корнилов — промедление в необходимой акции, общественность — перекос «влево». Будущее возникло как равнодействующая всех выборов. Всегда приходит момент, когда люди или их потомки платят за выбор.

Если только остаются потомки...

**ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
НЕИЗВЕСТНУЮ ПЬЕСУ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
«НОЕВ КОВЧЕГ»**

Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и
комментарии Н. В. Корниенко

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Предварительные итоги XX века

Н. ЛЕЙДЕРМАН, М. ЛИПОВЕЦКИЙ

*

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, или Новые сведения о реализме

Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма...

О. Мандельштам, «Путешествие в Армению».

1. О КРИЗИСАХ

Старый парадокс: можно ли уличить во лжи человека, говорящего: «Я лжец»? Так и с постмодернизмом. Сколько ни найдешь аргументов, кажется, достоверно подтверждающих тот неутешительный факт, что отечественный литературный постмодернизм застрял в тупике глухого кризиса (будь то очевидное старение «новой волны», увязание в самоповторах, засилье одних и тех же, уже опустошившихся, приемов, опрокидывание «крутого» постмодерна в свою противоположность — в авангард, причем самого традиционного, «заумного», толка), что ни скажи, на все у апологетов «крутизны» готов универсальный ответ: ну и что, мол, постмодернизм кризисен по определению.

Самое обидное, что так оно и есть.

Вполне объективные американские культурологи Н. Конди и В. Падунов, спокойно доказав органичность отечественного постмодернизма и неприложимость к нему социокультурных объяснений, выработанных в контексте западной цивилизации («Это просто другая телеология», — уточняют они), тем не менее уверены, что кризисность, пусть иная по происхождению, собственно, и порождает эффект постмодернистской ситуации. Вот почему «словарь постмодернизма» не претерпел существенных изменений в постсоветской транскрипции и напоминает родственный язык, только записанный в другом алфавите — смерть мифа, конец идеологии и единомыслия, появление многомыслия и разномыслия, критический взгляд на институты и институционализированные ценности, движение от Культуры к культурам, поругание канона, откат от метаповествования, «утрата значения», «дематериализация героя»...».

Конди и Падунов весьма последовательно отследили логику самореализации постмодернизма — от начала и до исхода. Начало было, можно сказать, ярмарочно-праздничным; калейдоскопическая пестрота и яркость всех этих клочков, осколков, лоскутьев обесмысленного мира ошеломляла, веселила глаз. Есть ведь и в хаосе своя прелесть. Азарт бесконечного обновления, интрига открытий, ветер движения. Демократическая вольность в обращении с общепризнанными идолами и святынями. Веселая игра в относительность всего и вся. Но веселье в жанре «пира во время чумы».

Все эти откровения и преобразования постмодернизма привели к культурной ситуации, которая, мягко говоря, не вселяет оптимизма. В этой связи уместной кажется горькая гипотеза Мераба Мамардашвили об отражении в культуре

антропологической катастрофы, «то есть перерождения каким-то последовательным рядом превращений человеческого сознания в сторону антимира теней или образов, которые в свою очередь тени не отбрасывают, перерождения в некоторое зазеркалье, составленное из имитаций жизни».

Формула постмодернизма, не так ли? Да, неотменимая заслуга отечественного (по крайней мере) постмодернизма состоит в том, что он запоянил этот «антимир теней» пестрым, хаотичным, живым многоголосьем языков культуры, оттенков, таким образом, открывшуюся иллюзорную действительность. Но именно потому — вот где парадокс! — он обернулся тем, что Мамардашвили называл символом смерти. Смерти реальности прежде всего. Кстати, наблюдаемые в текущей постмодернистской словесности автоматизация и выхолащивание самих «символов смерти» служат свидетельством того, что наступил кризис кризиса.

«Невыносимая легкость бытия», невесомость всех доселе незыблемых абсолютов (не только идеологических, но и онтологических, не только общечеловеческих, но и личностных) — вот то трагическое состояние духа, которое выразил постмодернизм.

Однако, как, скажем, в романе Милана Кундеры, названием которого мы воспользовались выше, неизбежно наступает момент, когда онтологическая тяжесть оказывается предпочтительней релятивистской легкости:

«...действительно ли тяжесть ужасна, а легкость восхитительна? Самое тяжкое бремя сокрушает нас... оно придавливает нас к земле. Но в любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью мужского тела. Стало быть, самое тяжкое бремя суть одновременно и образ самого сочного наполнения жизни. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее. И, напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны. Так что же предпочтительнее: тяжесть или легкость?»

И здесь не помогают кивки на «конец истории», из которого-де автоматически следует тотальная неизбежность и постмодернизма как «конца всему». Помнится, уже в «Докторе Живаго» было сказано о двух историях. Одна — вечная история, это о ней рассуждает Николай Николаевич Веденяпин, говоря, что «человек живет не в природе, а в истории и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению <...> Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме». Это ее, вечную историю человеческой личности, Юрий Живаго представлял себе «наподобие жизни растительного царства», думая, что «истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет». И такая история, разумеется, не может быть окончена, а разве что заглушена или даже прервана. И то лишь на время, потому что речь идет об истории Духа Живаго, развивающегося по органическим законам бытия.

Однако в романе есть и образ другой истории, той самой, которая прерывает вечную историю человечества, — это история катастроф XX века, проходящих всегда под лозунгом «перedelки мира» и отмеченных метой «стадной безличности». Результаты этих процессов однозначны: «Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века... И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такую, какой изображали ее художники новейшего времени».

Вот эта, другая, катастрофическая, история, может быть (дай-то Бог!), и завершилась. Но только к ней и относится «конец истории». Постмодернизм возникает как духовный исход из этой страшной истории. Не потому ли на Западе первые классические образцы постмодернизма появляются уже после второй мировой войны, а у нас лишь с середины 60-х годов, после поражения оттепели (Вен. Ерофеев, И. Бродский, А. Битов с «Пушкинским домом»? Исход, за которым можно ожидать (хочется ожидать!) возвращения души человека в уже забытые, утраченные масштабы вечной истории личности.

Однако, похоже, миссия постмодернизма исчерпывается этой ролью Харона-перевозчика. Во всяком случае, на такую гипотезу наталкивают, с одной стороны, судорожные антраша постмодернизма, пытающегося удержать угасающий интерес публики, а с другой — интеллигентно-корректное оживление интереса к реализму, недавно похороненному «всерьез и надолго». Тому есть

веские свидетельства. Скажем, цикл статей о современной прозе, напечатанных Андреем Немзером в «Независимой газете» за 1992 год. Это одновременно и текущая хроника возрождения реализма, и небольшая, не академическая (то есть нескучная) по форме, но вполне строгая по мысли монография о том принципиально новом облике, который обретает сегодня русский реализм. Еще одно свидетельство — статья Карена Степаняна «Реализм как заключительная стадия постмодернизма» («Знамя», 1992, № 9). В ней прежде всего обозначен эстетический феномен: глубокое органическое проникновение совершенно постмодернистских элементов в традиционно реалистическую поэтику и возникающий эффект взаимного освещения этих, казалось бы, противостоящих друг другу художественных систем. Названы и писатели, в текстах которых этот эффект наиболее явствен: Вл. Маганин, Л. Петрушевская, М. Харитонов, А. Королев («Голова Гоголя»).. На наш взгляд, стоит продолжить этот ряд новеллистикой С. Довлатова, «Псалмом» Ф. Горенштейна, «Монограммой» А. Иванченко, прозой молодых авторов — А. Дмитриева («Воскобоев и Елизавета»), М. Палей, П. Алешковского («Старгород»), А. Верникова... Хотя речь, конечно же, не об именах, а о масштабах явления — впрочем, весьма значительных. К. Степанян прямо рассуждает о «новом реализме» и называет такие, по его мнению, определяющие (и отличающие от постмодернизма, несмотря на близость отдельных приемов) качества, как, во-первых, вера авторов «в реальное существование высших духовных сущностей» и стремление «обратить к ним (именно к ним, а не в свою веру) читателя»; и во-вторых, попытки «синтеза традиционно идейного взгляда на мир с субъективным», подчеркнуто личностным и индивидуальным.

Нам, правда, кажется, что такие сочетания принципов нетрудно обнаружить, например, еще в символистском романе, у А. Белого или Ф. Сологуба; укладывается в эту модель и русская проза В. Набокова. Так что, как говорится, тут есть вопросы. Неясно и то, зачем понадобилось это подключение к реалистической поэтике художественного арсенала постмодернизма — каковы, строго говоря, смысл и роль постмодернистских приемов в «новом реализме»? Или, может быть, это всего лишь модные побрякушки? Непонятно, действительно ли обновляется реализм или же перед нами просто еще один пример постмодернистской экспансии? Наконец, так ли уж нов «новый реализм»? Ведь кризис реализма был громогласно объявлен еще в конце XIX века. И что же? И в XX веке реализм вовсе не умер. Те самые принципы, которым следовали Пушкин и Толстой, Гоголь и Достоевский, лежат в основе таких шедевров XX века, как «Тихий Дон» и «В окопах Сталинграда», «Один день Ивана Денисовича» и «Жизнь и судьба»... Значит, художественная система классического реализма, этот великолепный «инструмент» эстетического освоения мира как социума и личности как социального феномена, обнаружила свою работоспособность и в новую эпоху, в жесточайших обстоятельствах «советской ночи». (А может, именно такие обстоятельства, до крайности обострившие социальный пафос искусства, и притормозили процессы расшатывания и трансформации классического реализма?)

Но XX же век дает первые примеры глубочайших структурных мутаций реализма. Черты «нового реализма» просматривались в прозе А. Ремизова и Е. Замятина, Б. Пильняка и М. Булгакова. Но наиболее явственно они проступили в поэзии О. Мандельштама и Б. Пастернака 30-х годов, в знаменитых романах А. Платонова. Присмотримся к опыту этой «новизны».

2. О ПОСТРЕАЛИЗМЕ

Еще в 1924 году Евгений Замятин писал: «Все реалистические формы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство... Основные признаки новой формы — быстрота движения (сюжета, фразы), сдвиг, кривизна (в символике и лексике) — не случайны: они следствие новых математических координат». А ведь это, в сущности, призыв к какому-то новому реализму. Новому, но — реализму! Ибо метод, прогнозируемый Замятиным, вбирает в себя «идею-страсть» классического реализма — устремленность к постижению всего спектра связей между человеком и миром, но теперь, в XX веке, он стоит перед несравненно углубившимся представлением о личности и бесконечно раздвинутым представлением о действительности.

Кризис традиционного русского реализма, по-видимому, раньше и острее других ощутил Достоевский. Именно он, опережая свой век, увидел вместо целесообразного космоса разверзшуюся бездну и, ужаснувшись ей, стал, с одной стороны, подвергать сомнению самое мироустройство, а с другой — лихорадочно, интенсивно искать разрешения противоречий в широком спектре ценностей — от Божьей воли до слезинки ребенка. Но в той или иной степени этот кризис ощутили все крупные реалисты, они все: от Толстого до Чехова, от Горького до Бунина, — искали способы преодоления внутренней неспособности реализма постичь «бездны». Но и само художественное сознание рубежа XIX—XX веков искало иные (символистские, авангардистские), лежащие за пределами реализма пути освоения мира, оказавшегося сложнее, таинственнее и страшнее, чем его полагала прежняя реалистическая парадигма.

Думается, права Н. В. Драгомирецкая, когда в своей книге «Автор и герой в русской литературе XIX—XX вв.» полемически утверждает, что в русской литературе XIX века (в том числе и у Достоевского) господствует монологизм — не только как стилевой, но и как общеэстетический принцип. Реалистическое освоение мира еще не порывает с категорическим императивом предшествующих нормативных систем. Художник-реалист, как и его предшественники, тоже вводит в систему своих эстетических координат некую изначальную позицию, заданную религиозной, просветительской или какой-либо иной авторитетной «инстанцией». Эта позиция может лишь мерцать в некоей общей идее, в самом предварительном замысле вещи, но все равно автор с нею соотносит творимый им художественный мир. (Случаи «выпадения» из замысла редки, но не забудем, что они лишь в реализме стали возможны: как следствие исследовательской установки этого метода на анализ отношений характеров и обстоятельств.)

Исходная аксиома «презумпции позиции»: в жизни есть смысл! (Версия традиционного монологизма.) Или наоборот: в жизни нет смысла! (Версия модернизма.) Однако в XX веке многие, очень многие художники не решились ни утверждать, ни отрицать. Они решились задаться непредрешенным вопросом: а есть ли в жизни смысл?

И они изменили самое содержание понятия «творческий замысел», «идея». У них творческий замысел перестал быть некоей гипотезой, требующей реализации или проверки. Творческий замысел стал вопросом. А самый процесс творения стал полным драматизма перебором вариантов ответа, где утверждения сменяются сомнениями и отрицанием, а открытия опровергаются новыми данными.

Так рождается новая «парадигма художественности». В ее основе лежит универсально понимаемый принцип относительности, диалогического постижения непрерывно меняющегося мира и открытости авторской позиции по отношению к нему. Творческий метод, формирующийся на основе такой «парадигмы художественности», мы называем *постреализмом*¹.

Постреализм невозможно объяснить лишь качественными «приращениями», происходившими и происходящими внутри традиционной реалистической системы. Не объяснить его и контаминациями, синтезом старого реализма с модернизмом. Хотя оба эти процесса — саморазвитие и синтез — свою роль в формировании постреализма играли и играют.

Однако принципиальная новизна постреализма видится в том, что в основе его лежит новая эстетика. Ее первооткрыватель — М. М. Бахтин.

Сегодня уже стали общепризнанной классикой его теоретические идеи: об амбивалентности народной карнавальной культуры; о полифоническом романе как форме, узаконивающей равноправие всех голосов и отсутствие последнего слова о мире; взгляд на роман как на такое жанровое образование (метажанр, сказали бы мы), которое, в противоположность эпосе, ориентируется на живую, становящуюся современность и на характер незавершенный (он «или больше своей судьбы, или меньше своей человечности»); наконец, его теория

¹ Дело не в термине (наверное, термин можно найти и поудачнее), а в существовании нового метода, в его ориентации на принципиально новую систему отношений между человеком и действительностью. Может быть, придется термин «экзистенциальный реализм», предложенный одним из образованнейших поэтов нашего времени, Геннадием Айги? Хотелось бы привлечь внимание к его высказыванию: «Я думаю, что в советское время была создана все-таки литература, которая, наверное, выживет... Мне кажется, осуществился экзистенциальный реализм. Никакой не социалистический, но реалистический. Не зная Кьеркегора, не зная даже слова «экзистенциализм», именно Платонов, Зошенко и обзриуты создали великую экзистенциальную литературу. И абсурд появился не случайно раньше, чем он закрепился на Западе. Встал вопрос веры без веры» («Вопросы литературы», 1991, № 6, стр. 11). Можно спорить с Геннадием Айги об отдельных именах, но говорит он о чем-то весьма близком по существу, по семантическому полю к тому, что мы предложили назвать постреализмом.

художественной прозы, «романного слова» как глубоко диалогизированной структуры. Но если рассматривать эти идеи не порознь, а вместе (тем более что и разрабатывались они в одном хронологическом потоке — с конца 20-х до начала 40-х годов), то перед нами предстанет целая эстетическая система с достаточно определенными творческими ориентирами. В сущности, Бахтин заложил основы новой, релятивной эстетики, которая предполагает взгляд на мир как на вечно меняющуюся, текучую данность, где нет границ между верхом и низом, вечным и сиюминутным, бытием и небытием.

И в этих своих теоретических поисках Бахтин не был одинок. Тогда же, в начале 30-х годов, Осип Мандельштам написал эссе «Разговор о Данте», которое Л. Е. Пинский точно назвал — «своего рода *ars poetica* О. Мандельштама». И хотя Мандельштам никак не мог знать более поздних рукописей Бахтина, а Бахтин не мог знать эссе поэта, написанное в Старом Крыме в 1933 году и впервые опубликованное лишь в 1967 году, близость, доходящая до перекличек идей, поразительна².

Но Мандельштам более обстоятелен в осмыслении новых принципов поэтики. Требуют очень внимательного изучения его отношение к слову («Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку»), его рассуждения о «гераклитовой метафоре», «подчеркивающей текучесть явления», о «кинетически раскаленном сравнении», которое «никогда не диктуется нищенской логической необходимостью». Наконец, его рассуждение об «обращаемости и обратимости» поэтической материи, иллюстрируемое таким шокирующим сравнением: «Развитие образа только условно может быть названо развитием. И в самом деле, представьте себе самолет — отвлекаясь от технической невозможности, — который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технических немислимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обуславливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора».

Обстоятельное изучение теоретических идей, которыми, как перенасыщенный раствор, наполнено блистательное эссе Мандельштама, еще впереди. Однако даже по приведенным выше фрагментам видно, что здесь речь идет о какой-то новой, релятивной, в сущности, поэтике, о некоем новом творческом «инструментарии», который дает возможность эстетически осваивать мир как дискретный, амотивированный, энтропийный хаос, проникать в его суть.

Так закладывались основы эстетики и поэтики постреализма. Но художник, исходящий из релятивной парадигмы, стоит перед необходимостью самоопределения в одном фундаментальном вопросе: а как же совмещается эстетика абсолютного сомнения, неостановимого изменения, дискретного существования с извечной «о-граниченностью» искусства — с его тягой к космосу, к уравновешивающей гармонии, с его неумиряющей надеждой на миг, когда можно было бы воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»?

С открытием релятивности мира появляется соблазн освятить его авторитетом релятивистское сознание. Но если сознание капитулирует перед мировой энтропией, тогда — конец: вся система человеческих ценностей идет вразнос.

«...если нет единой нити времени, если бытие не непрерывно, если мир не цел», расколот щелями на розные, чуждые друг другу куски, — то все эти книжные этики, построенные на принципе ответственности, связанности моего завтра с моим вчера, отпадают и замещаются одной, я бы сказал, щелиной этикой. Формулу? Вот: за все оставленные позади щели я, переступивший щель, не отвечаю. Я — здесь, поступок там: назад. Свершенное мной и я — в разных мирах; а из миров в миры — нет окон». Так рассуждает персонаж рассказа Сигизмунда Кржижановского «Собираетелль щелей» (1922), который автор читывал в Коктебеле у Волошина и на Никитинских субботниках. Вот вам совсем не бахтинская «философия поступка»: вместо «не-

² Вероятно, Мандельштам был знаком с бахтинской книгой «Проблемы творчества Достоевского». На это предположение наводит следующий фрагмент из «Разговора о Данте»: «Понятие скандала в литературе гораздо старше Достоевского, только в тринадцатом веке, и у Данта, оно было гораздо сильнее. Дант нарывается, напарывается на нежелательную и опасную встречу с Фаринатой совершенно так же, как проходимцы Достоевского нагакивались на своих мучителей — в самом неподходящем месте».

алиби-бытия» — циничное, абсолютное «алиби-бытие», опирающееся на ту же, столь дорогую Бахтину, идею всепроникающей его релятивности.

Однако такая логика была глубоко чужда людям «породы» Ахматовой и Пастернака, Мандельштама и Платонова. Ясное, горькое, трагическое осознание хаоса (и не только постигаемого отвлеченной мыслью, но и самого что ни на есть конкретного — государственного, социального, нравственного, буквально ломившегося «в калтурные стены московского злого жилья») не примиряло их с духовным релятивизмом. Д. Е. Максимов вспоминает, что в 1941 году Ахматова, объясняя ему замысел «Поэмы без героя», раскрыла старую книгу статей Вячеслава Иванова «Борозды и межи» на странице, где были отчеркнуты такие строки: «Не религиозная настроенность нашей лиры или ее метафизическая устремленность плодотворны сами по себе, но первое, еще темное сознание сверхличной и сверхчувственной связи сущего, забрезжившее в минуты последнего отчаяния разорванных сознаний, в минуты, когда красивый kaleidoscope жизни стал уродливо искажаться, обращаясь в дьявольский маскарад, и причудливые сновидения переходить в удушающий кошмар». Комментарий Д. Е. Максимова: «Мы знаем, что Ахматова, применяя суждение В. Иванова к своей поэме, считала, что в ее «Триптихе» действительно проявляется «глухонемое» осознание «связи сущего»...»

Особую весомость этому ощущению «связи сущего» придает то, что оно пришло к Ахматовой в те же годы, когда писался «Реквием» («Это было, когда улыбался / Только мертвый, спокойствию рад...»). А между тем парадокс Ахматовой не случаен. Чем острее она и художники близкого ей мировосприятия и масштаба ощущали хаос, тем настойчивее стремились они к поиску «связи сущего».

Когда-то Александр Блок постулировал: «Хорошим художником я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не в нем и не на нем) <...> творит космос». Настоящий художник, строго говоря, всегда вступает во взаимодействие с хаосом бытия, но всегда эти отношения носили монологический характер: художник либо подчинял хаос жизненных явлений предзаданному закону гармонии (нормативное искусство); либо исходил из гипотезы о гармоническом миропорядке и корректировал эту гипотезу, отважно погружаясь в спутанную вязь характеров и обстоятельств (ненормативное и в особенности традиционно-реалистическое искусство); либо, отринув надежды на гармонию, в изолированном фрагменте хаоса находил высшую истину мира, дисгармоничную по определению (таков, по выражению В. Махлина, «альтернативный монологизм» модернистского искусства). А в соцреализме, в отличие от мучительного, пугающего, сумбурного хаоса модернизма, вновь воцарялся космос. Космос даже не нормативный, а скорее директивный. Космос, убивающий ищущую мысль и не допускающий отступления от канона. Но в этом космосе был порядок, правда, не гармония лада, а тотальный порядок, но все же... он был пропитан фатальным оптимизмом, он гарантировал счастье.

Вот на каком фоне зарождается и набирает силы совершенно новая художественная стратегия — именно та, о которой размышлял Блок: стратегия диалога с хаосом. Нам уже приходилось писать о диалоге с хаосом как о структурной основе литературы постмодернизма (см. «Новый мир», 1991, № 7).

Постреализм приходит к диалогу с хаосом своим, независимым путем, хотя, пожалуй, корни у этих течений XX века общие; и кроме того, сегодняшний постреализм во многом подпитывается постмодернистскими открытиями и даже, более того, восполняет ту культурную работу, которая постмодернизму оказалась не по плечу. О чем речь? Прежде всего о том, что постмодернизм, парадоксально осмыслив образ культуры в качестве наиболее адекватного аналога, а точнее «представителя» бытийного хаоса, и выстраивая сложную культурологическую поэтику, в ходе своей эволюции «потерял» конкретного живого человека с его болью, с его судьбой: человек постепенно оказался замещенным пучком взаимоисключающих культурологических ассоциаций.

Постреализм же, начиная с его первооткрывателей, никогда не порывает с конкретным измерением человеческой личности. Именно через человека и ради человека он пытается постигнуть хаос; бесстрашно бросается в его пучину, чтобы понять алогичные законы хаоса и найти в них телеологическую связанность — то, что могло бы стать целью и оправданием единственной человеческой жизни, со всех сторон окруженной «обстоятельствами» хаоса. Это выражается прежде всего в том, что, ничуть не игнорируя окружающую действительность, не порывая с исследовательским пафосом «старого» реализма, постмодернисты строят такую «парадигму художественности», в которой принципы

традиционного реализма структурно соотносены с диалектически противоположными художественными установками.

Детерминизм у них сочетается с упорным поиском внекаузальных связей. Отсюда характерное для Ахматовой и Пастернака, Цветаевой и Мандельштама парадоксальное совмещение почти архитектурной четкости лирического сюжета, высокой интеллектуальной связности образов с невиданным доверием к просодии — звуковым метафорам, инерции ритма, к интонационным ауканьям и отголоскам, понимаемым как инструменты интуитивного нащупывания связей между сердцами, между душой и миром, между существованием и бытием.

А социальность и психологизм у них вступают в неразрывный контакт с исследованием родового, природного, космического, метафизического слоев человеческой природы. Отсюда та сращенность социально-типического, даже густо замешанного на натурализме, с трансцендентным, абсолютно духовным в платоновском «сокровенном человеке», отсюда же и характерная структура художественного мира у Платонова — модель умозрительного социального эксперимента в соотношении с образом Бытия-Небытия, таинственного, прекрасного и ужасного.

Наконец, образ в постреализме, как правило, строится так, что сама его структура предполагает амбивалентность эстетической оценки. Оценка становится не разрешимой проблемой и для автора и для читателя. (Достаточно вспомнить те аттестации, которые современная критика давала инженеру Николаю Вермо из «Ювенильного моря» — от восторженно-патетических до разоблачительно-иронических. Такой разброс оценок был запрограммирован текстом.)

Тогда же, в 30-е годы, стали проступать контуры нового конструктивного принципа, адекватного новой «парадигме художественности». Его суть состоит в моделировании образа мира как диалога (или даже полилога) весьма далеко отстоящих друг от друга культур, прежде всего культур современных и архаических. Отсюда активизация памяти жанра народной причити в «Реквиеме» Ахматовой, отсюда сопряжение социального сюжета с библейской антиутопией о строительстве Вавилонской башни и с архетипом сказок о царстве смерти в «Котловане» Платонова. Отсюда же столь характерное для зрелого Мандельштама отчетливое взаимопроникновение последнего, «современного» плана и плана культурософского или легендарного (мандельштамовский «человек эпохи Москвошвей» легко входит в роли пушкинского Вальсингама и еврея-изгоя Александра Герцовича, ему душевно родственны и «писатель-гоголек», «веком гонимый взащей», и «неизвестный солдат», гибнущий в аравийском месиве).

В «Чевенгуре» и «Воронежских тетрадах», в «Поэме без героя» и «Спекторском» новая система принципов художественного освоения мира только-только начинала складываться. Но уже в них, в первых произведениях постреализма, вновь восстанавливается космос. Это новый, релятивный космос, космос из хаоса, открывающий цельность мира в его дискретности, единство и прочность — в отгалкивании противоположностей, устойчивость — в самом процессе бесконечного движения.

Такой космос не примиряет с хаосом и не навязывает ему никаких умозрительных «чертежей». Но он по меньшей мере все же упорядочивает хаос диалогическим приемом сторон, организующим, но не замыкающим упорный труд мысли. Космос, который открывался в первых произведениях постреализма, не успокаивал, но направлял сознание к пониманию происходящего и тем самым укреплял сопротивляемость человека не только казарменному единомыслию, но и духовному релятивизму.

Своевременно задушенный, этот опыт, как у нас и заведено, не был усвоен по-нормальному — через цепь преемственности литературных поколений. Писателям 60 — 80-х годов пришлось ускоренными темпами проходить курс повторения пройденного, порой делая открытия того, что было ранее открыто, но — «велено забыть». Но все же, начиная с периода оттепели, продвижение явное, трансформации разительны. Юрий Трифонов — от «Студентов» к «Времени и месту» и «Опрокинутому дому», Владимир Маканин — от «Прямой линии» к «Утрате» и «Лазу», Фридрих Горенштейн — от «Дома с башенкой» к «Псалму», Иосиф Бродский — от «Пилигримов» и «Художника» к «Осеннему крику ястреба» и «Назиданию». И впрямь — «дистанция огромного размера».

Но лишь сегодня, в 90-е годы, на финише всего XX века, есть основания говорить о постреализме как об определенной системе художественного мышления, логика которого стала распространяться и на мэтра и на дебютанта, как о некоем набирающем силу литературном направлении, где объединены единой «парадигмой художественности» эпические романы и лирические миниатюры, эссе и пьесы, эссе и афористика и такие жанры и стили, которым еще нет

имени (попробуйте, например, найти в традиционном жанровом каталоге «ячейку» для маканинского «Сюжета усреднения»).

Но дорога, в сущности, лишь начинается. Гении, открывшие ее в 20 — 30-е годы, успели только выбрать направление движения от развилки эпох.

3. О ЛОГИКЕ ХАОСА

Торжественное празднование конца литпроцесса повсеместно прошло с большим подъемом, местами даже с ликованием. Оно и понятно. С. Костырко недавно напомнил об уже подзабытой сугубо номенклатурной природе «литпроцесса» прежних десятилетий. Но он же в отличие от многих отделяет «литпроцесс» как факт идеологии (этот-то действительно угас: последний его всплеском была журнальная война времен «перестройки») от литпроцесса как вполне объективной многомерной формы, вне которой литература, к сожалению, еще не научилась существовать. «Он, разумеется, никуда не делся, — пишет С. Костырко, — просто критика перестала его видеть. Постигание современного литературного процесса требует прежде всего навыков эстетического мышления, навыков, которыми критика наша не обладает, — привычный образ литпроцесса всегда лежал в сфере общественно-политической жизни, а не эстетической». Отсюда же, добавим, и проистек тот конец литературы, о котором так долго говорили наиболее продвинутые «авангардисты».

Но попробуем взглянуть на исчезнувший «литпроцесс» со своей колокольни: поинтересуемся, какие ответы дает текущая проза на вопрос о смысле хаоса. И оказывается, что, во-первых, чуть не все сколько-нибудь памятные произведения вовлечены в поле этого вопроса, во-вторых, вариантов ответов не так уж много, и, в-третьих, эти варианты стягиваются в единую логику, некий постреалистический метасюжет.

Тезис: «Священные книги»

Первый вариант — его можно назвать универсалистским — отчетливо прступает по крайней мере в трех крупных публикациях последнего времени: это «Псалом» Фридриха Горенштейна («Октябрь», 1991, № 10, 11, 12; 1992, № 1, 2), «Монограмма» Александра Иванченко («Урал», 1992, № 2, 3, 4) и «Репетиции» Владимира Шарова («Нева», 1992, № 1, 2). В сущности, все это современные варианты Священного Писания — запрограммированного, как известно, на прозрение в потоке бытия Высшего Замысла — настолько глобального, что человек его в принципе рационально постичь не может.

Апелляция к мифу прямо, наиболее непосредственно, следует из логической непостижимости самой художественной сверхзадачи постреализма — поиска смысла в хаосе, закона в абсурде существования. Ведь миф убеждает не доказательством закономерности, а ее демонстрацией. Внекаузально — но существует, и все тут. Объяснить невозможно, а закон — вот он, налицо. При этом в современных «священных писаниях» в отличие, скажем, от романов Булгакова или Пастернака намеренно задается «горный» масштаб повествования. Если и не «небесный глас», то «Божье око». Панорамный обзор соответственно «умельчает» отдельные судьбы до роли крупиночек Вечности. Но это не уничтожение человека, а осознание его места и доли в пространстве Вечности. В итоге на первый план выходит эпическая любовь к человеку вкуче с трезвой философией неутешительно объективной меры вещей. Ближе всего это опять-таки к Платонову, в прозе которого, как показала в своих работах Н. Малыгина, именно таким образом реализуется постоянная ориентация на архетипы Апокалипсиса. В сущности, и наши романисты создают свои версии Апокалипсиса — конца XX века.

Так, Горенштейн пишет историю земной жизни Антихриста, по Библии — «противника Бога», фальшивого двойника Иисуса Христа, но насколько же незначительной — по библейским меркам — предстает эта жизнь! Парадокс в том, что Дан-Антихрист, при всей своей внешней заурядности, настойчиво называет Христа своим Братом. И горенштейновский Антихрист своей жизнью в русском XX веке доказывает свое право на такое братство — доказывает непрерывным, непрестанным, безвинным страданием, из которого, собственно, и складывается рядовая судьба русского еврея.

На сходном парадоксе строится и «Монограмма» Иванченко: он исследует духовную метаморфозу своей Лиды Черновол, библиотекарши из маленького уральского городка, с ее обычной долей страданий и одиночества и обычной же (но оттого ничуть не менее тяжелой) ношей памяти о муках матери, пережившей и «раскулачку», и ссылку, и сиротство, и лагеря, — и вот эта обычная Лидя устает сана Шестого Патриарха, хранителя буддистской пре-

мудрости. А Шаров вообще не без скрытой иронии театрализует сам жанровый принцип новейших Книг Бытия: его персонажи, обычные крестьяне, сначала по воле Никона и под началом французского актера Сертана, а затем по собственному побуждению репетируют, а точнее, живут в сценах Нового Завета несколько веков кряду, с абсурдным постоянством ожидая близкого конца света и второго Пришествия — вплоть до эпохи ГУЛАГа, в которую вся эта мистерия, достигнув ярчайшего цветения, гибнет.

По контрасту с «Мастером и Маргаритой» и «Доктором Живаго» бросается в глаза и то, что в этих романах нет ничего похожего ни на пастернаковскую концепцию Христа как символа индивидуальности, неповторимости духовной субстанции человека, ни на булгаковский артистизм по отношению к сакральному сюжету. Напротив, налицо максимальная близость к каноническому тексту, густая цитатность или же (случай Шарова) полная имитация бесстрастной документальности изложения. По сути дела, в этих романах нашло свое предельное, крайнее выражение представление о мире как тексте, только лишённое постмодернистской шутливости — воспринятое «с последней прямоотой». Если мир есть текст, то у этого текста должен быть автор и, следовательно, надобно наконец без иллюзий, без самообмана вчитаться в этот текст, проанализировать его глобальную логику. Трезво, четко, по-исследовательски, без восклицаний.

Однако почему так плохо сопрягается этот «библейский» тон с тем, о чем этим отстраненным тоном рассказывается: с жуткими «казнями Господними», с нечеловеческими мучениями, выпавшими на долю обычного человека — не святого, не мессии, не праведника — в XX веке?

Почему-то с жесткой неизбежностью и библейские философствования Горенштейна, и буддистские медитации Иванченко по мере чтения очень скоро ощущаются как отягчающий довесок, как нечто мешающее не только читателю, но и самим романистам. (А Шаров, тот в конце «Репетиций» сам ломает собственную эпическую манеру — предлагая вместо истории общины, множества, не расчлененного на индивидуальности, сугубо «романтическую» историю любви Ильи, Рут и Анны.) Прямые философские проповеди не то чтобы упрощают и огрубляют живую философскую пластику романных образов, психологических коллизий, сюжетных решений — нет, эти мудрые поучения вообще из другого измерения.

Впрочем, среди вселенского кошмара абсурдных судеб, переполненных страданиями и ужасом, моменты гармонии действительно наступают. Но наступают вопреки ожиданиям не только героев, но и, кажется, самих авторов. Когда, например, Горенштейн завершает свой роман картиной «святого семейства Антихриста», склеенной чаши, последним элементом которой становится греховное, сатанинское соитие Дана-Антихриста со своей приемной дочерью, то вот это и есть гармония, противоречащая всем ожиданиям. Кстати, и то, что «награда и спасение гонимых», ради которой и пришел в мир Дан-Антихрист, оборачивается тем счастьем телесной любви, которое Дан дарует встреченным им девушкам и женщинам, — это тоже не просчет романиста (как считает Вяч. Вс. Иванов, просто «счастливая неразумная страсть»): это все, чем можно наградить и спасти в мире, захлебнувшимся в потоках ненависти, — другого варианта спасения в самом романе (а не в авторских метафизических рацеях) просто нет.

Точно так же и в «Монограмме» А. Иванченко все медитации учат погружению в Себя, осознанию Пустоты всего внешнего по отношению к «я». Но на самом-то деле и здесь высший миг гармонии абсолютно противоречит излагаемому в сутрах Вероучению, ибо это миг счастливого растворения матери в бытии своего, и даже не своего по крови, приемного, но все равно до боли родного ребенка: «Весь мир, спотыкаясь, спеша, втягивался в эту алчущую воронку нового бытия, но странно: чем больше углублялся, разрастался, сиял, обретал новые краски и запахи мир внешний, тем больше меркнул и обесцвечивался ее, Лиды, внутренний мир, она стала забывать свое детство, любимые мелодии, стихи, запахи, даже слова, даже звуки, которые в стихии ее внутренней жизни всегда были связующей силой».

Пожалуй, лишь в «Репетициях» Шарова (видимо, благодаря сюжетной обнаженности конструктивного приема) это противоречие осознано самим автором. В его романе роли, назначенные людям на репетициях новозаветных сцен, становятся структурой порядка их жизни и жизни следующих за ними поколений — так, напрямую, осуществляется Замысел: «...в них жил не фатализм, а понимание, что иное устройство невозможно, один Господь способен определить и рассчитать пути и стремления людей — иначе хаос и смута, а так они — часть пускай и несовершенного, но миропорядка, упор делался именно на то, что часть порядка, а любой порядок лучше, чем смута, — это они знали точ-

но и давно». Причем все ужасы и смуты, с которыми им реально приходится столкнуться (от ссылки за ересь до гражданской войны и коллективизации), для них оправданы постоянным ожиданием конца света и готовностью к последним испытаниям перед Вторым Пришествием. Но судьба участников репетиций доказывает, что наиболее адекватное воплощение сформировавшийся общий порядок жизни, освященный общей идеей, находит в структуре гулаговского лагпункта, организованного на месте деревни, в которой осели ссыльные. В лагере «апостолы» становятся «кулаками», «римляне» — вольнонаемными, а «евреи» — эсками. Но здесь же, в лагере, впервые происходит рождение личности: впервые среди репетирующих появляются индивидуальные, а не ролевые характеры, происходят истории любви, не запланированные, кажется, «сценарием», истории странные, фантастические, болезненные... Но именно такая вот история любви дает жизнь единственному претенденту на роль Христа — мальчику, который уклонился от общего пути. «До гати ему оставалось всего несколько сот метров, тех метров, которые вчера не успели пройти его мать и отец, и он почти прошел их, но у самой гати свернул в сторону. Дальше он уже был не еврей». Именно этот выросший мальчик и оказывается тем человеком, который поставляет документы о репетициях рассказчику — и только-то, ни чудес, ни Пришествия, ни конца...

Гармония, как следует из этих романов, реально, а не умозрачительно рождается лишь в момент абсолютно частного, единственного и обычного существования, никак не соотношенного со всеобщим Замыслом и даже, по существу, противостоящего ему. Потому-то претендент на роль Христа у Шарова и доказывает свое право на эту роль, когда сворачивает в сторону от векового круга мшанниковских «евреев». Но это действительно конец всеобщей истории: ведь выход из мира священных репетиций автоматически обесценивает обретенную роль, это шаг в «невозможное», с точки зрения сакрального канона, измерение, где вновь пришедший Христос превращается в неприметного Кобылина, о котором и сказать-то нечего, кроме того, что он поставляет документы.

...У поэта Ларисы Миллер есть два стихотворения 1989 года, своего рода диалогическая «сцепка», поразительно точно выразившая именно то состояние духа, о которое разбились попытки современных постреалистов выстроить новые священные писания. Вот эти стихи. Первое — о богооставленности, о провале надежды на всеобщее и универсальное спасение, точнее, на всеобщую систему ценностей:

И речи быть не может
О том, что Бог поможет.
Он сам разут и наг,
Лишен малейших благ.
Он сам гоним и болен.
И с мертвых колоколен
Ни звука — немота
На долгие лета...
И век безумный длится,
И некому молиться.

И второе — о хрупких опорах для человеческой души в этой разверзшейся пустоте:

Но в хаосе надо за что-то держаться.
А пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
Которых не смыли дожди проливные,
За ежесекундный простой распорядок
С настольною дампой над кипой тетрадок,
С часами на стенке, поющими звонко,
За старое фото и руку ребенка.

Нельзя не увидеть связи этого мироощущения с принципами релятивной эстетики, в которой в буквальном смысле все зависит от точек отсчета. А в мироздании рухнувших и скомпрометировавших себя всеобщих систем отсчета: от Высшего Замысла, перечеркнутого неодолимой властью хаоса, до государства, народа, класса, оказавшихся лишь частными вариантами все той же власти хаоса, — в этом мироздании единственной реальной точкой отсчета, вернее, бесчисленным множеством равноправных точек отсчета оказываются частные локусы человеческих особей: отъединенных друг от друга океаном хаоса единичных, но, в сущности, и потерянных, оторвавшихся от подавляющих, но и согревающих больших «организмов», вынужденных заново переживать, каждый

по-своему, свои индивидуальные и изолированные мифы творения, грехопадения, изгнания (и так далее по текстам Священных Книг)³.

Напрашивается, правда, еще одна гипотеза... Диалог разных типов культур, архаической и современной, воплощенный в сопряжении далековатых жанровых «языков», — в сущности, привычный атрибут словесности XX века вообще и художественной структуры постреализма в особенности. «Индивид XX века существует, сознает и мыслит в промежутке многих культур», — утверждает В. С. Библер, один из интереснейших современных философов. Но почему же тогда попытки создать священное писание о жизни обычного российского человека XX века отторгают саму жанровую модель Священного Писания? И это несмотря на нацеленную цитатность, каноничность и т. п. Может быть, потому что опыт Священного Писания недостаточен? При всех своих универалистских преимуществах? Может быть, в этих масштабах теряется то малое, что уцелело под прессом «казней Господних», что дает человеку ощущение собственной, неразмеченной неповторимости? Может быть, так современное художественное сознание ставит под вопрос религиозный путь выхода из хаоса? И — бросает человека одного: ему не на кого больше надеяться, ему не от кого ждать ответа, ему не с кем разделить бремя ответственности.

Когда-то Л. Пинский, завершая философский разбор «Короля Лира», писал: «Человек впервые со всей остротой осознает свою бесприютность, бездомность — и неустроенность; нестроенность, недостойность мира, в котором он живет. Тем самым личность впервые во всей мере осознает *свою* ответственность за все, что происходит кругом (патетическое восклицание Лира Глостеру: «Ты видишь, что творится на свете?»).

Возлагать, как добрый, верный Кент, ответственность на ход светил, на природный, от нас не зависимый порядок вещей, на «космос» Великой Цепи Бытия — равно недостойно, как и наивно... Но масштабы зла в жизни плохо согласуются и с верой во всемогущее и всеблагое Провидение: знаменитое восклицание отчаявшегося, хотя все еще верующего Глостера в его устах сугубо впечатляюще:

Мы для богов — что мухи для мальчишек:
Им наша смерть — забава.

Человечество впервые осознает, что <...> ему не на кого надеяться, кроме себя. Личности — быть может, впервые в истории человечества — становится *стыдно* за себя и за других, за целое, за свой — и не свой — дом.

За этими суждениями — не только интуиция филолога, великолепного интерпретатора Шекспира, но и опыт эзика, прошедшего университеты ГУЛАГа. Здесь не аллюзии, а дальние, может быть, подсознательные аналогии.

Не такова ли духовная ситуация в наши дни? Точнее — не обострилась ли она до крайнего предела сейчас, когда «распалась связь времен», идеологическая, иллюзорная, кстати, связь, куца, отделившая нас от всех предшествующих столетий, от всего человечества, но накрепко впитавшаяся в мозг и кровь не одного поколения, оправдывавшая и объяснявшая смысл будничных мук и лишений, питавшая суррогатом самоуважения. Без всего этого — одинокий человек под пустым небом. Но эта ситуация, при всей жестокости, благотворна хотя бы тем, что экзистенциальные вопросы приобретают массовый характер, коллизию Лира в той или иной мере переживает каждый. Вопрос лишь в том, доходит ли до «частного» человека, что вопреки разладу и деградации можно остаться человеком лишь при условии ответственной причастности к окружающему хаосу?

Антитезис: De Profundis

Поискем ответ на этот вопрос в текстах, принадлежащих к другой ветви нынешнего постреализма: к той самой, где мироздание ограничено семейным кругом и «я» в полном объеме обнимает мир своей деятельностью — и своей личной ответственностью и своей виной. И чтобы не играть в поддавки, разго-

³ Парадоксальным образом в контексты универалистского постреализма втягиваются и новые варианты осмысления соцреалистических Священных Книг и традиций. Что, собственно, и неудивительно, учитывая специфическую религиозность коммунистической доктрины и сугубую функциональность соцреалистической литературы. Один из примеров такого типа проанализирован Сергеем Косгырко в статье «Чистое поле литературы» — это «Омон Ра» Виктора Пелевина («Знамя», 1992, № 5), повесть, в которой, по справедливому истолкованию критика, даже кошмары антиутопии в известной степени оправданы экзистенциальной тоской «отдельно взятого» частного человека. Другой пример, куда более объемно развивающий близкую, в сущности, релятивную концепцию социалистического мира, к сожалению, нашей критикой пропущен: это роман Аркадия Львова «Двор» («Дружба народов», 1991, № 2, 3, 4), выворачивающий наизнанку идеологему «коллективной семьи» и традиций коллективистской утопии соцреализма.

вор о логике хаоса, открывающейся (или не открывающейся) в частном семейном мире, надо начинать с беспощадной, «чернушной», жестокой — какой еще? — чудовищной, кошмарной, пыточной и т. п. прозы Людмилы Петрушевской. Скажем, с повести «Время ночь», заслужившей в критике сравнения с описаниями взаимной ненависти шаламовских доходяг или же страданий человека, раздавленного нестерпимой тяжестью.

Петрушевская сама провоцирует такие оценки, доводя будничные, бытовые коллизии (знакомые, по крайней мере, по ее же новеллистике) до последнего края. Мотив повседневного быта, где-то уже на грани с небытием, настойчиво прочерчен автором через всю повесть, начиная с эпиграфа, из которого мы сразу узнаем о смерти повествовательницы, «поэта» Анны Андриановны, и кончая финалом, где, собственно, эта смерть и происходит. Причем, несмотря на то, что смерть, так сказать, «не объявлена», ее приход подготовлен постоянными ощущениями «сворачивания» жизни, неуклонного сокращения ее пространства — до пятачка на краю, до точки, до коллапса наконец: «Все, больше нам сюда дороги нет, этот дом я держала про большой запас, на совсем уже крайний случай. Теперь все...» «Теперь эта попка исправно служит в армии, дело уже кончено». «Как быстро все отцветает, как беспомощно смотреть на себя в зеркало!» «А потом — как лавина стала таять жизнь, но опустим над этим завесу тайны, тайна есть у всякого, в том числе и у могилы...» И перед финалом: «Настало белое, мутное утро казни»...

Собственно, и сюжет повести выстроен как цепь необратимых утрат. Матерью — дочери и сына, женой — мужа, дочерью — матери, и самое страшное, бьющее насмерть: бабушкой — внуков. До предела все накалено еще и оттого, что жизнь происходит в ситуации нормальной крайней, нищеты. Когда семь рублей — большие деньги, а даровая картофелина — подарок судьбы, и вообще еда — событие, а значит, и каждый кусок на счету, да на каком! «Акула Глотовна Гитлер, я ее так один раз в мыслях назвала на прощанье, когда она съела по два добавка первого и второго, а я не знала, что в тот момент она уже была сильно беременна, а есть ей там было-то нечего совершенно...»

Вот — будничное лицо хаоса. Вот — «край света за первым углом», а точнее, за дверью семейной кухни. Здесь дисгармония бытия доведена до истерического визга, до ежедневной пытки, до оксюморонов бытового языка.

Хаосом чревата и «бессмертная любовь» главной героини. Ведь, в сущности, «Время ночь» — повесть об испепеляющей любви. Во-первых, это любовь, поглотившая душу самой Анны Андриановны. Можно вслед за Б. Кузьминским осудить «пафос, который навязывает быту повествовательница». Но нельзя не расслышать иступленную, захлебывающуюся от умиления любовь к дочери, сыну, внуку, заглушаемую наружным хамством и оттого превращающуюся в особую рода садизм. Во-вторых, эта любовь, которой Анна Андриановна стремится поглотить все вокруг себя. Любовь деспотическая, ревнивая: когда мать ревнует дочь к ее мужчинам, а внука к своей дочери, когда «маленький мой» неизбежно тянет за собой «сволочь неотвязную».

Здесь, кстати, четко просматривается характерное для постреализма взаимоналожение конкретно-социального и общеродового, онтологического планов. Анна Андриановна у Петрушевской — это отлично узнаваемый тип женщины-совка. Кормилицы и поилцы, добытчицы, за-все-про-все ответчицы. Она самой жизнью, скупой на понимание и любовь, поставлена в монологическую позицию: за все потери и неудачи она требует себе компенсации любовью. Требуется! От детей в первую очередь! И оскорбляется, лютует, ненавидит, мстит, когда свою энергию любви ее дети отдают не ей, а другим.

Но в то же время эта любовь героини — при всем уродстве — не перестает быть великой и бессмертной. Это, собственно, и есть попытка жить ответственностью и только ею. Одно не отменяет другого. Причем у Петрушевской эта парадоксальная двойственность оценки воплощена в самой структуре повести.

Никто из писавших о повести почему-то не заметил, как сквозь «чернуху» у Петрушевской просвечивает идиллия. «Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки... Единство жизни поколений (вообще жизни людей) в идиллии в большинстве случаев существенно определяется единством места, вековой прикрепленностью жизни поколений к одному месту, от которого эта жизнь во всех ее событиях не отделена» (Бахтин). У Петрушевской таким единым местом, где протекает жизнь поколений, стала типовая малометражка, и философский смысл «вековой прикрепленности жизни» обретает все — вплоть до продавленностей на диване («...пришла моя очередь сидеть на этом диванчике с

норочкой»). Больше того, у Петрушевской бабушка — мать — дочь повторяют судьбы друг друга «дословно», ступают след в след, совпадая даже в мелочах. Анна ревнует и мучает Алену точно так же, как Сима ревновала и мучала Анну, а «разврат» Алены в точности запараллелен с молодыми годами Анны, даже душевная близость ребенка с бабушкой, а не с матерью уже была — у Алены с Симой, как теперь у Анны с Тимой; даже лютование по поводу аппетита зятя («...все сжирает у детей») не новость; даже ревность Алены к Андрею отзывается в неприязни Тимы к Катеньке, даже кричат все одинаково («...неся разинутую пасть... на вдохе: и... Аааа!») — «какие еще старые, старые песни, однако!». Но и эти безысходные рефрены вписываются в идиллическую логику: «Единство места жизни поколений ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же жизни. Единство места сближает и сливает колыбель и могилу... детство и старость... Это определяемое единством места смягчение всех граней времени существенно содействует и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности времени» (Бахтин). Детство и старость — в лице маразмизирующей бабушки Симы и несчастного, голодного, истеричного Тимы; колыбель и могила — читай: «наше говно и пропахшие мочой одежды» рядом с «запахами мыльца, флоксов, глаженных пеленок». Даже вечные скандалы с дочерью, зятем, матерью из-за еды тоже «оправданы» памятью жанра: «Еда и питье носят в идиллии или общественный характер (сцены столования по гостям и в пионерлагере в повести. — М. Л.), или — чаще всего — семейный характер, за едой сходятся поколения, возрасты. Типично для идиллии соседство еды и детей...» (Бахтин).

Идиллическая «память жанра» заставляет ощутить иную, не постигаемую героиней, но объективно поступающую в образы повести философию любви. Идиллия напоминает о том, что в отношениях поколений любовь — это по преимуществу не диалог, а эстафета. Любовь своих родителей к себе мы не возвращаем обратно, а передаем дальше — своим детям, а те еще дальше... И здесь психологический корень вечной боли матерей. Разрешение этой драмы требует огромной мудрости и самопожертвования. Иначе — трагедия, превращение кровного родства в кровавую вражду:

Но и это не все.

Ведь если не будет и отдачи благодарностью, оборвутся живые нити... Дочь почему-то отдает дневники своей умершей матери печатать. Тривиальный литературный прием стал у Петрушевской символом душевной связи.

Но еще раз подчеркнем: вечный скандал и мудрая философия, кошмар и идиллия не одолевают друг друга. Они существуют у Петрушевской одновременно. В едином человеческом измерении.

Что и говорить, оксюморонные сочетания. Но Петрушевская крайне настойчиво пронизывает созданный ею же образ ежедневного хаоса совершенно иррациональными качествами гармонии. Не потому ли и ночь, по традиции — время хаоса, становится для ее героини часами счастья материнства и разговоров с Богом? Это во-первых.

А во-вторых, похожая, казалось бы, алогичная модель мира выстраивается и у других авторов, причем стилистически весьма далеких от мэтра. Скажем, в умной и тонкой психологической повести Андрея Дмитриева «Воскобоев и Елизавета» («Дружба народов», 1992, № 7). Или же в «Старгороде» Петра Алешковского — к сожалению, до сих пор не напечатанном целиком, хотя и знакомом по отдельным ярким публикациям в «Литературке», «Столице», «Октябре», цикле рассказов, замечательных тем, что в них в контекст абсурдной идиллии (или же идиллии абсурда) вписана пестрая мозаика народной жизни. А в «Кабирин с Обводного канала» Марины Палей в точно такой же контекст вписана Вечная Женственность, *natura naturata* во всей ее горько-веселой амбивалентности.

В связи с этой прозой и ее поэтикой вновь вспоминается Мандельштам: «Дант — антимодернист. Его современность неисчислима, неисчислима и неиссякаема». Не заявлен ли в этих словах один из принципов постреалистической поэтики? В постмодернизме время исчезает: все растворяется в надвременном универсуме культурных знаков разных эпох. В постреализме, напротив, передний план конкретного времени, среды, ситуации и т. п. ничуть не дематериализован: он интересен, он тщательно выписан. Он дорог автору как его родная современность, его, изнутри освоенный, фрагмент вселенной, его, только ему принадлежащий отрезок Вечности. По Мандельштаму, современность — это ценность. Это сущее в его живом и веском воплощении. Надо сохранить контакт с со-временностью как сущим вариантом вечности. А не конструировать Вечность по своим представлениям.

Можно поддерживать этот контакт так, как это делают Петрушевская или А. Дмитриев, П. Алешковский, М. Палей, А. Верников: через цепкость восприятия фактуры существования, химической формулы воздуха, которым дышишь. А можно так, как делает это Маканин — через постоянную интеллектуальную обращенность к потоку современности, через напряженные попытки извлекать зерно опыта — нередко даже в форме притчи — из иррациональных глубин частного бытия.

Причем Маканин далеко не сразу приходит к той системе художественного мышления, которую мы называем постреализмом. Яркая деталь: как меняется место образа слабоумного в мире Маканина (то, что дурачок, идиот более других подчинен власти хаоса — кажется, очевидно). В «Предтече» полубезумный Якушкин — близорукий бунтарь против «самотечности». В «Где сходилось небо с холмами» композитор Башилов вновь ощущает гармонию с породившим его талант мелосом лишь тогда, когда, вместе с поселковым дурачком Васиком, оказывается «не от мира сего», — лишь тогда приходит «сама собой Минута, когда темноту и тишину вдруг прорезал высокий чистый голос ребенка». В «Отставшем» придурковатый Леша-маленький инстинктивно «слышит» золотоносную жилу.

А в «Лазе» слабоумие лишено всякого поэтического ореола и уж тем паче печати избранности — «их сын огромный парень, четырнадцати лет, переболевший в детстве и теперь в своем развитии медленно наверстывающий упущенное. Он плохо делает движения руками, особенно мелкие (не умеет застегнуть пуговицу), плохо говорит (каша во рту)... громадный, с кроткими глазами ребенок лет пяти...». И все же нет для Ключарева никого роднее, беззащитнее, любимее — до щемящей боли, до слез («Не выдерживая его взгляда, Ключарев обычно отворачивается, но его мальчик успевает заметить... и, слыша неслышные тихие сотрясения отца, говорит: «Не нана. Не нана...»).

В «Лазе» вообще все так: спокойное благополучие подземного мира воспринимается героем как короткая передышка, и не более. Да и сама жизнь внизу выглядит какой-то ненастоящей, игрушечной. Потому и смерть здесь легка и — мимолетна, бесследна («Некоторые оглянулись. Но в общей увлеченности мало кто заметил...»). Напротив, в верхнем мире смерть товарища становится для Ключарева событием огромной важности — ритуал захоронения требует от людей, близких умершему, нечеловеческих усилий, ставит их самих на грань жизни и смерти. Но если легкость смерти отдает обесцениванием существования, то через тяжесть бытия парадоксальным образом воплощается живая ценность человеческого пути. Потому-то и больной, слабоумный сын для самого Ключарева ни в коем случае не помеха, но дар жизни, высшее оправдание всей его колготни.

«Каково Логосу в Хаосе?» — вопрошал недавно П. Вайль. По-видимому — и «бытовой» постреализм, как в версии Петрушевской, так и в версии Маканина, тому свидетельство, — логос сегодня если и выживает, то лишь внутри хаоса, как его неявный, неосознаваемый, но реальный «металлан».

Есть во всех этих текстах нечто мистическое. «Верую, ибо абсурдно!» — вот внутренний закон этой прозы, нацеленно прозревающей в глубине хаоса смыслы, дающие человеку трагическое оправдание его страшной жизни. У этой веры, как и полагается, есть свои символы (символы метафизической укорененности в хаосе): больной ребенок, любовь-ненависть, «время ночь», палки для слепых из сна Ключарева в финале «Лазы».

Но как человеку элементарно выдержать, выдюжить безнадежную тяжесть этих смыслов, этой веры? Как, если хаос разрушает все привычные связи, если человек в полной мере ощущает одиночество и заброшенность? Достанет ли одиноких сил?

Синтез: диалогическое воображение

Именно потребность ответить на вопросы этого типа и породила третий вариант нынешней постреалистической прозы — вариант собственно диалогический

Тут есть различные попытки, но состоявшейся можно признать лишь одну. У авторов этой статьи нет единого мнения насчет того, достоин ли роман Марка Харитоновича «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» столь высокой награды, как Букеровская премия за лучший русский роман 1992 года, но нет сомнений в том, что этот роман — явление в высшей степени показательное для новейших литературных исканий. Правда, вряд ли можно согласиться с К. Степаняном, предположившим, что этот роман станет столь же каноническим для отечественного постмодернизма, как «Имя розы» для западного. Причем такой взгляд уже утрируется («классика русского постмодерна») и тиражируется. Это довольно странно, поскольку роман Харитоновича лишь элементами своей поэтики

связан с постмодернизмом («фантический жанр», амбивалентный образ культуры, «каталог самоценных мгновений»), но та логика, та системная связь, которая и объединяет эти элементы в художественную целостность, для постмодернизма абсолютно не характерна. Вот эту-то логику и постараемся тезисно обозначить (наш полный разбор романа помещен в журнале «Русский курьер», 1993, № 2).

Разумеется, можно было бы призадуматься над прототипами Милашевича, сопоставить его, к примеру, с Розановым (как это сделал в своей рецензии на «Линии судьбы...» А. Немзер), но в том и дело, что М. Харитонов так умело погружает нас и в стиль, и в логику, и в жизнь своего философа, что хочется говорить именно о Милашевиче как о совершенно самостоятельном мыслителе. Верхний пласт его рассуждений, откомментированных Лизавиным как «провинциальная философия», выглядит прямым ответом на вопрос об общем знаменателе, потребном для диалога. Этим знаменателем Милашевич считает банальное, рутинно-повседневное, пошлое — «сор жизни», одним словом. Но раз так, почему же Антону Лизавину, стоящему в одной из бесконечных в своей бессмысленности очередей, на ум приходят совсем иные мысли Милашевича, к примеру, о том, что будничная жизнь может обернуться «преступлением перед временем»? Выходит, и Милашевичу и Лизавину мало гармонии с миром на уровне «общего знаменателя». Томит неполнота самоосуществления. Не зря же Лизавин ощущает скрытую, но напряженную связь, существующую между записками случайного знакомого, диссидента Максима Сиверса, и Милашевичем, между Сиверсом и собой. А ведь Сиверс рассказывает о своей странной болезни — аллергической реакции на пошлость, узорсть, ограниченность, короче, на всякого рода неполноту.

Неполнота, в сущности, вовсе не означает ограниченности. Больше того, именно неполнота восприятия жизни в интеллектуальном мире оказывается главным доказательством индивидуального бытия. Милашевич, тот готов признать право на свою неповторимую точку видения мира даже за растениями, даже за неживыми предметами. Эта точка единственна в бытии, именно поэтому неполнота гарантирует уникальность личности и личного опыта. Так — через слабость, через неполноту — парадоксально переосмысливается в романе уже знакомый нам вопрос о судьбе индивидуалистических ценностей в сдвинувшейся, сплошь относительной реальности, ведь идея неполноты — она прямо сопряжена с осознанием действительности как сплошь относительной. Тоже уже знакомый мотив.

Но в том-то, видно, и состоит мука и драма русского интеллигента и интеллигентного самосознания вообще, что замешено это самосознание на тоске по недоступному в принципе, на стремлении во что бы то ни стало неполноту духовного опыта и знания преодолеть.

Один вариант этого преодоления — революционная утопия, расцвет которой наблюдает Милашевич, а распад — Лизавин. Это путь унификации, приведения всех к единой точке зрения, заранее объявленной исчерпывающе полной и всеохватной.

Но есть и другой вариант: его-то пробует реализовать Милашевич, а по его следу — Лизавин и в конечном счете сам Марк Харитонов. В сущности, весь роман представляет собой сложный многослойный и многоголосый обоюдострый диалог между Миром и Текстом. Как затягивает и героя, и автора, да и читателя этот процесс разгадывания подоплеки и истинного смысла (да и есть ли он, единственный, однозначный?) фантических записей, как интересно следить за тем, как одна и та же запись поворачивается то так, то эдак, то вообще заново высвечивается в неожиданном контексте! Но постепенно выясняется: то, что казалось литературной игрой, оригинальным словесным «кубиком Рубика», было в действительности кровавым, болезненным веществом жизни Милашевича. «Так больно, так тяжело. Неужели не слышишь? Ну вот же я, вот! Ты трогаешь пальцами вещество моей души, моего ума». Больше того, понимаешь, что поиски связей между фантиками адекватны тем поискам смысла и логики в смятенном мире, которыми жил Милашевич: «...в каждом сцеплении таилось что-то, непредсказуемое для ума. В разраставшемся из частиц мироздании все было связано со всем... как будто продвигаешься во сне, в неверном, нереальном пространстве, и вдруг возникает из другого измерения, вырастает перед тобой твердое — и ударяешься о него и чувствуешь: это на самом деле боль, тут смерть взаправду».

И уже нет ничего удивительного в том, как Антон Лизавин, разгадывающий загадки Милашевича, замечает, что, оставаясь самим собой, смотрит на мир и глазами Милашевича. Она чувствует, что собственной жизнью комментирует фантики Милашевича, а те в свою очередь комментируют его жизнь.

Это и есть преодоление неполноты бытия диалогом: ибо «мы понимаем других через себя, как понимаем себя благодаря другим, ибо через каждого из нас лишь открывается путь к каким-то общим глубинам... Там, на глубине, все наши соперничества и метания, измены и даже убийства из ревности служат, возможно, отбору и продолжению общей жизни; но там же коренится что-то, чего так просто не объяснишь: безнадежное ожидание, верность вопреки смыслу и даже самой смерти, как будто есть для тебя на свете единственное осуществление, способное завершить полногу».

Но диалог с хаосом предполагает не обузданье хаоса изнутри (как верится), а мучительное интимное сопряжение с ним. И потому Милашевич, казалось бы нашедший то, к чему стремился всю жизнь, раздавлен «невыносимой полнотой» своего счастья. Да и Лизавин, озобоченный диалогом с Милашевичем, дважды теряет любимую женщину (ее немота, молчание — знак несостоявшегося диалога), лишь задним числом узнает о самоубийстве Сиверса — «и не избыть вины».

И Милашевич, и Сиверс, и сам Лизавин делаются личным опытом одиночества — непреодолимого, трагического, беспросветного. Но оказывается: они едины в своем одиночестве. И потому — они не одиноки в своем одиночестве!

Причем к этому сознанию может прийти только Лизавин. Потому что это он заряжается духовной энергией всех этих одиноких философов и вступает в контакт с ними. Их уже нет, а он все равно восстанавливает их рассыпавшуюся на фантики мысль, жизнь. Он уже вместе с ними — и вместо них — ведет свой поединок с энтропией.

Характерная переключка: в «Бамбочаде» (1930) Константина Вагинова тоже были герои, целенаправленно коллекционировавшие и даже изучавшие конфетные обертки. Но у Вагинова фантики — это последние осколки, рудименты погибшей цивилизации, трагикомический символ культурного распада. У Харитонова все наоборот: фантики становятся символом духовной связи между людьми и эпохами. Не классической, не освященной традицией, но связи.

Спасительным оказывается сам процесс диалога с Другим. Именно диалогическое сопряжение своего личного хаоса с хаосом Другого порождает парадоксальное ощущение соответствий, логики, не отрицающей, однако, абсурдности каждой отдельной жизни. Лишь при условии обращенности и открытости к диалогу с Другим фантики и осколки жизни могут сложиться (а могут и не сложиться) в линии судьбы. Своей собственной судьбы — вот что главное.

Комментатор Бахтина М. Холквист так поясняет экзистенциальную структуру диалогизма: «История субъективности представляет историю того, как Я получаю Себя от других: только через категории другого Я могу стать объектом моего собственного восприятия. Я вижу Себя таким, каким — по моим представлениям — видят меня другие. Для того чтобы оформить Себя как целое, я должен делать это изнутри. Иными словами, Я по отношению к Себе выступаю как автор по отношению к персонажу («I author myself»)). Этот процесс «авторизации» человеком самого себя через другого и воплощен в сюжетной, психологической, стилистической ткани романа Марка Харитонова, Процесс диалога во имя смысла, такого же незавершенного и неокончательного, как и сам этот процесс. Но удивительно светлого — вот в чем все дело.

4.0 СМЫСЛЕ И СВОБОДЕ

В августовской книжке «Нового мира» за минувший год случился спор, который не вызвал, в сущности, никакого резонанса в нашем литературном истеблишменте. А между тем он, на наш взгляд, коснулся каких-то важных, нервных точек современной ситуации; во всяком случае, к постреализму эта достаточно отвлеченная дискуссия имеет самое непосредственное отношение. Речь идет о «Виде из окна» А. Гениса и полемическом комментарии к этому эссе — «NB на полях благодетельного абсурда» И. Роднянской. Напомним: А. Генис, как всегда остроумно и изящно, доказывал, что весь XX век прошел в борьбе различных версий романтизма и классицизма — «в результате логика постоянно проигрывает все сражения: смысл растворяется в бессмыслице. И если подводить итог этой долгой битвы, то победителем окажется не классицистская «правда», а романтическая «свобода», которой XX век нашел свой синоним — абсурд». Победа абсурда, по Генису, состоит в том, что он «учил не умирать, а жить в непонятом мире... Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает заглянуть в его глубину». Именно усвоивший уроки абсурда маскулэт «сумел справиться с хаосом, заставив его вещами, — он мблрировал пустоту». И. Роднянская интерпретирует эту концепцию как ти-

пичную реакцию на «долговременную утопическую интоксикацию», породившую предубежденность против всякого правдоискательства, смыслоискательства... Ее возражения просты и спокойны. Во-первых, «вносит, привносит смысл во вселенную только релятивист с целью более удобного ее описания; прямо противоположная позиция — предполагать во вселенной наличие смысла (ибо ничто не противоречит такому предположению) и искать его усилиями ума, сердца и воли». А во-вторых, «человек — тварь вертикальная» и без смысла жить не может: только сегодня, по-видимому, происходит «экзистенциальное углубление» самих представлений о смысле существования, связанное с освобождением от «пут социоцентризма».

В сущности, перед нами философски обнаженное столкновение двух духовных стратегий: постмодернистской (Генис) и классической (Роднянская). С одной стороны, диалог с хаосом — в форме игры в прятки; с другой — вера в преодолимость хаоса через приобщение к предзаданным высшим истинам.

Как следует из тех опытов, о которых шла речь выше, постреализм избирает некий третий путь, в известной степени снимающий противостояние постмодернистской и традиционалистской (в том числе и реалистической) стратегий, но не примиряющийся ни с той, ни с другой. Постреалисты остаются верны традиции классического реализма в том отношении, что они — «смысловики». Но ищут смысл, не предполагая его наличия во вселенной. Ищут безостановочно, бесстрашно, исступленно.

Что может быть радостнее беспредельной свободы познания? «Как можно пребывать среди чудесной зыбкости и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от вождления и наслаждения вопросом?» — восклицал Ницше, раньше других ощутивший наступление новой культурной эры и давший этой эре броский девиз: «Бог умер». Но он же первым и сказал о космическом ужасе бездн, в которые ввергает человека его ненасытный поиск смысла бытия. «"Какую меру истины может вынести человек?" — вот вопрос всей жизни неустранимого мыслителя», — пишет в известной биографии Ницше Стефан Цвейг. И продолжает: «Но для того чтобы до конца понять эту меру способности познания, он должен, преступив границу безопасности, достигнуть высоты, где оно уже невыносимо, где последнее познание уже смертельно, где свет слишком близко и ослепляет взор».

А ведь авторы постреалистических текстов не ставят вопрос о «мере истины», в их системе отсчетов истина не знает себе меры, она есть высшая и абсолютная ценность. Но как же это мучительно — стараться все додумывать до самого конца, сознавая в полной мере бесплодность этих попыток. Один из самых первых «сокровенных людей» Платонова, изобретатель фантастической машины Маркун, признавался себе: «Мне оттого так нехорошо, что я много понимаю». Правда, Маркун не очень-то распространяется насчет того, что же он такое понимает и почему это понимание не облегчает, как всегда считалось, а утяжеляет ему жизнь. Но зато в прозе Маканина и Иванченко, Петрушевской и Горенштейна, Шарова и Харитоновой с анатомической тщательностью исследуется процесс погружения человека в трясину бытия, барахтанья в ней, прохождения сознания по всем кругам экзистенциального «адрая» (так предложил назвать эту нашу жизнь Владимир Микушевич) — до самого дна, оказывающегося на поверку еще одним вариантом ускользающей от «дочерпывания» реальности... И в этом отношении постреализм не утешает. Он отказывается от всех без исключения иллюзий спасения, сказок для взрослых, игр в жмурки, заговоров и заклинаний.

В своем поиске смысла бытия современный постреализм обнаруживает пустоту. Образ пустоты — одна из главных эмблем постреалистической модели мира: это пространственный эквивалент бессмысленности и безнадёги. (Семантически родственны ему образы бытового круговращения поколений у Петрушевской, бесконечной очереди у Маканина, пепелища у Харитоновой, бегства гонимых по круговому маршруту у Шарова.)

Философы «серебряного века», впервые столкнувшись с такой ситуацией, предлагали выход, в общем-то, традиционный: «Современное сознание разорвано, все в нем разобщено, органический центр потерян, а центр этот может быть лишь сверхчеловеческий», — писал в 1908 году Н. А. Бердяев и вместе с другими мыслителями своего круга стал строить религиозную утопию «сверхчеловеческого центра».

Постреализм же — и в этом он не расходится с постмодернизмом — констатирует: там центра нет, там тоже пустота. Но если постмодернизм приходит в своей эволюции к эстетике карнавального приятия пустоты и немoty и

далее останавливается, повторяя зады авангардизма начала века, то постреализм ищет выход: *contra spem spero!*

Методом проб и ошибок современный постреализм приходит к крайне жесткому нравственному императиву: надо научиться жить не упоая! Обреченному жить в пустоте остается только один путь — заполнять пустоту собой. И вовсе не того ради, чтоб удобнее ее описывать (как полагает И. Роднянская), а по причинам куда более серьезным.

Достаточно вспомнить в этой связи стихотворение Иосифа Бродского «Назидание» (1987). Нарочито прозаизированное перечисление способов самосохранения в азиатской пустыне явственно вырастает в философскую метафору взаимоотношений личности с мировым хаосом. Недаром человек в этом стихотворении находится под постоянной угрозой смерти или агрессии, одолевает пространство, лишенное ориентиров и также исполненное опасностей.

Демоны по ночам
в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам
может легко заблудиться: шаг в сторону — и кранты.
Призраки, духи, демоны — дома в пустыне. Ты
сам убедишься в этом, песком шурша,
когда от тебя останется тоже одна душа.

В этом мире господствует случай, и «никто никогда ничего не знает наверняка». Наконец, в этой реальности человек в полной мере безнадежен — надежда на спасение или на исход исключена: «Все равно, почему». Что остается здесь человеку? Всегда быть готовым к самому худшему, стараться раствориться в хаосе, стать его незаметной частицей — «старайся не выделяться... сам теряй очертанья» и т. п.

Но в стихотворении как бы вторым планом звучат назидания и иного рода. О том, как превращать поражение в победы: «Лежа в горах — стоишь, / стоя — лежишь, доказывая, что лишь / падая ты независим. Так побеждают страх...» О том, как вопреки всему сохранить верность избранному пути: «Остановившись в пустыне, складывай из камней / стрелу, чтоб, внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней, / в каком направлении двигаться...» О том, как держать дистанцию и от проводника и от будущего, как не спешить, сохраняя свой ритм движения. О том, как в зыбкой реальности создавать островок гарантированной прочности: «Переплывай на ту / сторону только на сбитом тобою самом плоту...» Так, исподволь, подготавливается парадоксальное итоговое назидание, на первый взгляд противоречащее всему предыдущему, —

когда ты невнятно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.

Бродский убеждает в том, что в пространстве хаоса у человека все-таки есть устойчивая точка отсчета, незыблемая система координат — это он сам, конкретный и уникальный. И создавая свою личную зону отчуждения от хаоса, он наполняет своими усилиями экзистенциальный вакуум и тем самым вносит в мир смысл. Это и есть то, что Платонов когда-то называл веществом существования, а Бродский именует теперь критерием пустоты. Как видим, вся художественная модель мира у Бродского — впрочем, и в постреализме вообще — организована вокруг смыслообразов частной и индивидуальной человеческой жизни. Внеличностные ценности любого рода или тиражирование личных вариантов существования в качестве рецептов всеобщего спасения здесь отгораются самой атмосферой художественного мира.

И в самом деле, раз обрушивается надежда найти объективный, всеобщий, вне- и надличный смысл бытия (который, как ни искали, так и не нашли авторы «универсалистских» романов), раз человеку остается лишь привносить свой, сугубо личный, единичный, случайный, иррациональный (чаще всего), а порой и явно абсурдный смысл в хаос, то далее придается напряженно перерабатывать эти субъективные смыслы в объективные — через экзистенциальный диалог, через сопряжение собственной «фантической» трагикомедии жизни с «фантиками» такого же единственного другого. Так постепенно усилиями самого человека, пусть и носящими «броуновский» характер, через ломку и разрушение («Разрушится, глянь, новое зеленеет что-то разрушительное тоже, как-то по костям себя собирает и живет...» — Л. Петрушевская) выращивается, про-

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ...

вернется, создается логика хаоса, смысл абсурда. И это не словесные оксюмороны, а универсальные категории человеческого существования, в коем небрежливо осуществляется бытие.

Только так: «из себя», собой заполняя пустоту, человек находит смысл. Ибо только так он может оправдать свою духовную сущность — действительно «вертикальную». Да-да, это все тот же старый, как мир, гуманизм, об ущербности которого много чего говорится. Однако гуманизм, который открывается в произведениях постреализма, — это гуманизм невиданного отчаяния и столь же невиданной выскательности. Это отчаянное сострадание человеку, обреченному на существование под бременем экзистенциальной несвободы. И это выскательное взваливание на плечи человека миссии Бога-творца. Творца смысла из вселенской бессмыслицы — не важно, что этот смысл действителен в мире этого человека и иллюзорен для другого. Единственного живого существа, которое способно заполнить и обустроить пустоту, превратив ее в Дом для себя и для близкого, столь же одинокого, как ты, человека. И не важно, что это «дом на ветру», если воспользоваться емкой метафорой А. Верникова.

Эта, постреалистическая, концепция человека и мира требует капитальной переориентировки всей системы этических и онтологических координат культуры. Вернее, само становление этой концепции «проявляет» происходящие в глубине сдвиги. И прежде всего это коснулось таких фундаментальных ценностей, как свобода и смысл.

«Размышляя о том, что лежит в основе художественного творчества и что лежит в основе того удовольствия, которое мы от него получаем, я прихожу к простому выводу, что творчество не имеет никакого другого содержания, кроме свободы. О чем бы писатель ни писал, творчеством, мне кажется, становится то, что он пишет тогда, когда внутри того, что он пишет, конечная цель — свобода» — это категоричное утверждение Фазила Искандера и в самом деле может быть воспринято как обобщение опыта целой культурной эпохи. Во всяком случае, в русской литературе. И в модернизме «серебряного века», и в классике 20-х годов, и в литературе Сопротивления, и в шедеврах Булгакова, Ахматовой, Шаламова и Пастернака; и во всем диапазоне неофициальной литературы — от Набокова до Солженицына, от Синявского до андерграунда; да и в той части подцензурной литературы, что создавалась «фронтовиками» и «шестидесятниками», — везде свобода осознавалась как высшая духовная ценность, как главное условие и одновременно главная цель творчества. «Посохой мой, моя свобода — сердцевина бытия...» (Мандельштам).

Но если крайней формой «романтической свободы», как утверждает А. Генис, оказался абсурд, то не означает ли это, что «свободоцентричная» эстетика зашла в тупик? И не ярчайший ли пример этого тупика — кризис постмодернизма, в котором сам процесс построения текста превращался в процесс оформления адоматического сознания, сама поэтика словесного артистизма приобретала значение творчества духовной раскрепощенности?

В постреализме же привычное представление о смысле как о прямом следствии свободы, ставшее аксиомой сознания XX века, преобразуется в ее неприменное условие, такое условие, без которого сама свобода превращается в безделку, игрушку, пустышку, — в постмодернистскую «легкость бытия». И у Петрушевской, и у Маканина, и у Харитоновой, и у Иванченко осознание человеком самого себя необходимо предполагает несвободу — даже больше того, поиск желанной личной зависимости. Так, Анна Андриановна из повести Петрушевской умирает не от чего иного как только от утраты этой обременительной зависимости, напрочь лишавшей ее свободы, но зато несущей единственный осязаемый, конкретный, деятельный смысл ее ужасного существования. Пока она собачилась с дочерью, или прихватывала картофелины для внука, или меняла замаранные простыни под матерью — она жила. Когда от всех этих постылых забот она было освободилась, ей стало нечем жить, осталось лишь умереть.

В произведениях постреалистов проблема свободы и смысла получает парадоксальное разрешение: лишь в полной мере проникнувшись экзистенциальной осмысленной несвободой, человек может выдюжить под бременем свободы выбора и возвыситься до нравственной ответственности за единственную в пространстве и времени точку бытия, занятую уникальной человеческой личностью и судьбой⁴.

⁴ Близкое к подобному представлению о категории смысла глубоко и детально разработано современным австрийским психологом и философом, создателем «логотерапии» Виктором Франклом. По его мнению, «человеческое бытие всегда стремится за пределы самого себя, всегда устремляется к смыслу. Тем самым главным для человеческого бытия является не наслаждение или власть и не самосуществование, а скорее осуществление смысла». Франкл утверждает, что смыслосуществование, во-первых, обуславливает способность человека изменяться и тем самым выводит его из роли «жертвы обстоятельств», а во-вторых,

Мы, разумеется, не забываем о том, что постреалистическая концепция свободы вызрела в прозе Платонова и «Воронежских тетрадах» Мандельштама еще в ту пору, когда общество погружалось в бездну невиданного тоталитарного гнета и террора. Но наиболее последовательно и все более широко и противоречиво идея свободы как индивидуального онтологического смыслоосуществления разрабатывается только сейчас, когда мы пробуем выкарабкаться из тектонического провала. Похоже, что раньше других современных писателей пришел к этой художественной философии и эстетике Бродский, правда предварительно пройдя через школу модернизма и постмодернизма. В последнее время на основе новой, «смыслоцентричной», системы координат он проверяет на прочность ориентиры, которые помогли бы человеку изнутри структурировать хаос, — здесь вспоминаются своды правил не только из «Назидания», но из многих других посланий и поучений Бродского 80-х годов. «Доклад для симпозиума», «Примечания папоротника» и «Примечания к прогнозам погоды», экологии и письма — все это ошутимо ироничные перифразы древних дидактических традиций. Однако серьезности в них не меньше, чем пародийности.

И если по меньшей мере в стиливых пристрастиях Бродского слышится явная отсылка к классицизму, то, предположим, в поэзии Т. Кибирова, прозе многих современных авторов (от Л. Улицкой до А. Кабакова) Н. Иванова или М. Золотоносов находят черты «нового — метафизического — сентиментализма». А в прозе И. Митрофанова Андрей Немзер расслышал явственные переклички с романтической прозой молодого Горького. Не резонно ли будет предположить, что разворачивание «смыслоцентричной» парадигмы размещает изнутри объем новой культурной эпохи и что постреализм последнего времени — лишь первый шаг нашей литературы в этом пространстве? И может быть, вся эта новая эпоха будет отмечена адогматическим неотрадиционализмом?

Вот ведь и явный претендент на роль поэтического лидера отечественного постмодернизма Тимур Кибиров признается: «...я хочу попытаться остаться традиционным поэтом и «чувства добрые лирой пробуждать». (Я рисковую свою репутацию авангардиста свести совсем на нет.) В то же время хотелось бы, чтобы это была хорошая литература, чтобы это не было скучно, то есть заставить читателя, который не любит — и справедливо — ни морализаторства, ни дидактики, которого тошнит от сентиментализма, от пафоса, все это принять».

В основе традиционной культуры, как пишет В. И. Брагинский, известный исследователь средневековых литератур Востока, лежит «концепция Абсолюта, под которой подразумевается Бог как Высшая Личность, все созидающая и всему придающая смысл, или безличное Единое, надмирный Закон, подобный китайскому Дао».

Ну о каком Абсолюте можно говорить после всего, что мы увидели за свой короткий век: после невиданных кровопролитий, социальных катастроф, охватывающих целые материи, взлетов и падений колоссальных империй? Какой традиционализм может сегодня соблазнить сознание, воочию убедившееся во всепроникающей релятивности?

И все же... Может быть, как раз предельно обострившееся сознание смертельных опасностей, ежедневно угрожающих жизни и обнаживших онтологический хаос как универсальный вселенский закон, вынуждает самым настойчивым образом искать, пусть хрупкие, пусть субъективные, но — константы бытия. Конечно, понятие Абсолюта здесь будет не очень-то точным, скорее условным. Ибо то, что может претендовать на звание Абсолюта сегодня и сейчас, само по себе неустойчиво и релятивно. Это оксюморонный Абсолют: на одном его полюсе хаос как «безличное Единое, надмирный Закон», а на другом — частный человек со своим уникальным экзистенциальным смыслом как «Высшая Личность, все созидающая и всему придающая смысл». Диалогические отношения между этими полярными противоположностями и определяют внутренне напряженное бытие такого Абсолюта.

Возможно, ими и будет продиктован нервный и неровный пульс новой культурной эпохи?

увеличивает ответственность человека «за то, что он делает, кого он любит и как страдает». В силу этого именно осуществление смысла личного бытия становится главным фактором внутренней свободы. А не наоборот! Даже в концлагере (а Франкл прошел через Освенцим), по наблюдениям ученого, человек сохранял внутреннюю свободу в зависимости от осознания смысла своего индивидуального бытия: «В конечном счете получалось, что телесно-душевный упадок зависел от духовной установки, но в этой духовной установке человек был свободен!» (Ф р а н к л В. Человек в поисках смысла. М. «Прогресс». 1990).

КОРОТКО О КНИГАХ



И. СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. М. «Радуга». 1992. 256 стр.

Эта книга в свое время (1934) вызвала недовольство Рахманинова, и он согласился на ее издание, лишь зная тяжелое материальное положение О. фон Риземана, музыканта, критика, оказавшегося, как и он сам, в эмиграции, но в несравнимо более суровых условиях. (Помощь соотечественнику, кстати, черта, заметно проявившаяся в эмигрантский период жизни Рахманинова, что не очень-то отличало, скажем, того же, не менее обеспеченного, И. Ф. Стравинского...) Рахманинов в последней корректуре, взяв на себя типографские расходы, выбросил восхваления «самому себе» (книга-то говорит, главным образом, его словами), вписанные переусердствовавшим соавтором, и исправил фактические ошибки, хотя некоторые из них в спешке так и не были замечены. Книга до последнего времени оставалась одиозной для отечественного рахманиноведения (и не переиздавалась на Западе), и потому такой дотошный исследователь, как З. А. Апетян, не включила ни одного фрагмента из нее ни в трехтомник «Литературного наследия» С. В. Рахманинова (1980), ни в двухтомник «Воспоминаний о Рахманинове» (пять изданий). И вот книга вышла на русском. Закрыв глаза на отношение к ней самого Рахманинова, можно приветствовать этот шаг издательства «Радуга». И не только оттого, что каждое новое слово о наших выдающихся современниках, будь то Шостакович, Прокофьев или вот Рахманинов, у нас, не избалованных биографической литературой вообще, вызывает неподдельный интерес. Нам дана возможность услышать голос самого Рахманинова — все же он диктовал эту книгу, — рассказывающего о своей жизни до 1931 года (здесь его беседа с О. фон Риземаном обрывается). К тому же Рахманинов не оставил мемуаров, и перед нами единственный, пусть условно, но мемуарный документ.

О себе Рахманинов говорил, что на 85 процентов он музыкант, а на 15 процентов человек. В этой же

книге он на 15 процентов музыкант и на остальные — человек (еще одна причина недовольства близких композитора, ждавших книги о музыке). Некоторые особенности характера Рахманинова здесь прорисованы особенно выпукло: его темперамент, его упорство в работе (или порой наоборот, полное пренебрежение ею, когда она «не шла»), независимость его натуры — последнее полностью совпадает с оценками мемуаристов. Рахманинов и Риземан удачно дополняют кое-что, казалось бы, хорошо известное. Вот Рахманинов играет в Америке с Густавом Малером. Воспоминаний русских музыкантов о великом Малере, к сожалению, сохранилось так немного, что ловишь каждое слово Рахманинова о нем. То же можно сказать и о беглых зарисовках личности А. Н. Скрябина — еще один пример человеческой широты Рахманинова, никогда не выступавшего на стороне своей «партии» против Скрябина в 10-е годы. Но, конечно, самое интересное — рассказ о студенческих годах, сложные отношения с выдающимся педагогом Н. С. Зверевым, частным образом воспитывавшим одаренных подростков; воспоминания о П. И. Чайковском, покровительствовавшем и юному Сереже. А приводимая в книге реакция музыкантов-эмигрантов на исполнение в Москве в 1931 году кантаты-поэмы «Колокола» и последовавшие затем резкие нападки советской прессы на это уникальное исполнение (Рахманинов тогда ведь ходил в «белоэмигрантах») воспринимается сегодня как еще одно горькое, но своевременное напоминание... Конспективность изложения событий жизни Рахманинова (и Рахманиновым), конечно же, влечет за собой много вопросов, а героизированный облик его самого, некоторый излишний пафос мешают увидеть в нем трагическую фигуру, какой он вынужденно стал, оторванный от родины, вечно не удовлетворенный сделанным.

Музыка Рахманинова сегодня переживает у нас бум, свидетельством которого был и первый конкурс пианистов имени Рахманинова. Однако впереди — серьезная переоценка его творчества в целом. Думается, ближайшее будущее покажет, кто же та-

кой на самом деле С. В. Рахманинов: только ли автор двух гениальных религиозных сочинений «Литургии Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощного бдения» (1915) и бездны посредственных и устаревших произведений крупной и малой формы; или же он — композитор «для пианистов», которые всегда будут играть его фортепианные пьесы, полные неподдельного лиризма и национального чувства; или же он кто-то третий, еще неведомый нам, на что, увы, полная шаблонов книга О. фон Риземана дать ответа все же не в состоянии...

*

II. ГЕНРИХ НЕЙГАУЗ. Воспоминания. Письма. Материалы. Составитель Е. Р. Рихтер. М. «Имидж». 1992. 415 стр.

Удивительно живая книга — столько в ней персонажей, говорящих, спорящих вокруг одной, объединяющей их, дорогой для них личности, которую уже при жизни прозвали «Генрих Великий», — Генриха Густавовича Нейгауза. Если музыка — некий «скрытый дух», то именно он, этот дух, помогал многим в те тяжелые годы, когда жил и творил Генрих Нейгауз. Не только ученикам, не только коллегам, но и тому же О. Мандельштаму, написавшему бессмертные строки о «мастере Генрихе», тому же Б. Л. Пастернаку, А. Г. Габричевскому, многим, многим другим и прежде всего тысячам посетителей его концертов... В хоре мемуаристов, звучащем в этом сборнике, все голоса как-то очень уместны, милы и трогательны, даже те, которые, вспоминая Учителя и Друга, сбиваются на свою персону (он-де «заметил меня», «похвалил», «признавал»). Поклонение не превратилось в панегирик, Генрих Густавович не превратился в икону. Видно, громкие слова, пустые похвалы, никогда не льнувшие к Г. Г. Нейгаузу при жизни, не льнут к нему и в книге (заслуга составителя). Мемуаристы сумели запомнить множество конкретного в его внешности, привычках, и разумеется, в воззрениях на искусство и жизнь, на педагогику и исполнительство, запомнить то, что противится всякой «иконописи». Когда В. В. Горностаева пишет о раздражительности Г. Г. Нейгауза на студентов в последние годы его работы в Московской консерватории и о том, как это раздраженное состояние улетучивалось на глазах, лишь только он сам прикасался к клавишам, как преобразала его сама музыка, как смягчала его, — возникает образ не просто живой и одухотворенный, но глубоко трагиче-

ский. Образ этот подкрепляется эпизодом в тех же воспоминаниях, когда Генрих Густавович предстает читающим вслух стихотворение Бараташвили в переводе Пастернака «Цвет небесный, синий цвет...», как бы обращая его к себе, к своей судьбе.

Уникальность Нейгауза-педагога (и шире — всей его натуры), пожалуй, точнее других выразил его ученик, пианист и дирижер Игорь Жуков: «Нейгауз — вершинная точка одной из пирамид, высшая концентрация определенных художественных, философских, нравственных воззрений. Вершина эта, подобно жерлу вулкана, извергала и излучала столько живительной энергии, что вокруг (и далеко вокруг!) зарождалась новая жизнь». Сказано абсолютно верно: жизнелюбие артиста питало его педагогику, позволяло находить тех, в ком таилась «новая жизнь». Это свойство позволило Нейгаузу открыть талант Святослава Рихтера, и не только его одного. Главнейший его подвиг — воспитание такого количества полноценных талантов, какого не смог дать ни один из его коллег. Имена этих музыкантов и по сей день украшают концертные площадки не только России, но и всего мира.

Генрих Густавович был европейцем и по рождению, и по воспитанию, и по образованию. Он был типичным гуманистом начала XX столетия, каких породил у нас в стране «серебряный век», а в Западной Европе те же 10—20-е годы знаменовали собой сопротивление интеллигенции наступающему варварству и бездуховности. Нужно сказать, что этот гуманизм строился на довольно ограниченной интеллектуальной базе. Скажем, любовь к немецкой культуре XIX и XX веков (в литературе и философии к Т. Манну, А. Швейцеру, Ф. Ницше и другим) заслонила от Нейгауза многие другие пласты мировой и отечественной культуры; привязанность к Шопену, романтикам, Брамсу (хотя и редко, но гениально он играл Баха) сузила музыкальный кругозор — современная музыка осталась вовсе недоступной Генриху Нейгаузу. Эта узость, конечно, была объяснимой (а по сравнению с интеллектуальной базой многих коллег выглядела широтой) и никак не сказывалась она на природном величии таланта Нейгауза — пианиста и педагога.

Воспоминания тех, кто знал Г. Г. Нейгауза, дополняют его не публиковавшиеся ранее стенограммы и письма. Быть может, книге не хватает обобщающей статьи, но хор мемуаристов сам по себе звучит такой чистой «одой к радости», одой, в честь Г. Г. Нейга-

уза, что останавливаешь себя: а нужна ли здесь какая-то «алгебра»?

*

III. А. М. ПРУЖАНСКИЙ. Отечественные певцы. 1750—1917. Словарь. М. «Советский композитор». 1991. 424 стр.

Солидный этот том, кажется, стал последним серьезным изданием фирмы, еще недавно славившейся своей превосходной книжной продукцией. (Вот и книга «Георх Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы», готовившаяся там, вышла в другом месте.) Аркадий Михайлович Пружанский медленно, но верно долгие годы готовил этот уникальный справочник в двух частях и вот успел (!) выпустить первую. Здесь мы найдем все о русских певцах до 1917 года: их биографии, указание на их литературные и композиторские работы (в том числе неопубликованные), библиографии основных работ о них, дискографии (хотя бы описательно) и даже портретные изображения в рисунках или на фотографиях. Справки даны предельно подробно, начиная от всех артистических имен (во всех браках и все псевдонимы) и кончая списками исполненных партий (в том числе «первые исполнения») и партнеров. Но не только подробности подкупают, а сама манера изложения артистических биографий — с удивлением обнаруживаем, что энциклопедическую справку, оказывается, можно превратить в увлекательную миниатюру о жизни и деятельности артиста. Слава Богу, от академизма Большой Советской, Краткой литературной или Музыкальной энциклопедий отходим, так, подумалось, можно и справочники писать человеческим языком, не лишая их информативности и объективности. Автор сумел сухую информационность, неизбежную в издании такого типа, украсить штрихами — оценками и характеристиками. Оценки почерпнуты из известной или забытой, но хорошо изученной Пружанским литературы, вплоть до архивных источников; справочник, таким образом, вышел за свои формальные пределы и стал тяготеть к учебному пособию по истории русского вокального искусства, что, конечно, тоже можно поставить «в зачет» автору. Ему даже удастся заострить внимание на отдельных выдающихся событиях в исполнительской практике того или иного певца, и это «особое» оттеняет

«характерное». Так, например, акцент на камерном репертуаре расширяет наши представления о возможностях оперного вокалиста, не просто напоминая о его творческом диапазоне, о репертуаре вообще, но о богатых голосовых возможностях. То, что Аделаида Большка (она же Скомпска, она же Шавинская, она же графиня Диченгейм-Брохоцка), «солистка Его Величества», голос которой в опере был «каскадом жемчужных брызг», была лучшей исполнительницей романсов Чайковского и Рахманинова, дает представление о точном месте этой певицы на русской сцене в конце прошлого — начале этого века. Внимание к отдельным партиям, обычно «смазанным» в специальной литературе, партиям, имевшим особое значение в карьере артиста и порой более значительным, чем привычные «репертуарные», говорит об удивительной зоркости А. М. Пружанского. Умение найти градацию в творческих достижениях певцов делает эти биографические «медальоны» емкими и рельефными. Может быть, маловато в них указаний на «недостатки» и «просчеты». Так, скажем, А. П. Бонавич не справлялся со всем вагнеровским репертуаром (из-за этого в Большом театре в Москве так и не могли поставить «Тристана и Изольду», Тристан Бонавича оказался провалом), это можно было отметить. Иногда автор изменяет своей методе избегать общих слов, давать аргументированные мини-характеристики от себя или цитируя авторитетные источники, это касается прежде всего певцов XVIII—первой половины XIX века; как хорошо было бы услышать здесь живой голос современников! Отметим минимальное число упущений: в статье о С. В. Акимовой следовало бы указать еще одного аккомпаниатора — М. В. Юдину (выступали вместе в начале 20-х годов), в статье о И. В. Ершове, в целом превосходной, пропущено имя дирижера Э. А. Купера, с которым певец много пел. Автор не принял во внимание книгу «Эмиль Купер. Статьи. Воспоминания. Материалы» (М. 1988), в которой содержится богатый материал и для освещения русской вокальной культуры двух первых десятилетий нашего века. Ее нужно принять к сведению особенно для статьи о Шалляпине во второй части издания, видимо, подготовленного. Увидит ли оно свет?

Анатолий Кузнецов.

SUMMARY

The poetry section comprises poems by Elena Gilyarova, Yulia Pokrovskaya, Alexander Mironov, Roman Solntsev, Sergey Gribov and Larisa Miller.

Eugene Laputin's novel «The Taming of Harlequins», in which the influence of Vladimir Nabokov's style is evident, is a specimen of modern Russian prose of a new generation of writers, also represented by Victor Pelevin, whose story «The Yellow Arrow» is a blend of satire and fantasy.

Also in the issue is an essay of well-known Russian prosaist Vladimir Makanin «Quasi», a story by a modern Ab-Khasian writer Daur Zantaria «Tchu-Yakub's Destiny» and «Portraits» by Andrey Sergeyev, in which the author writes in a stylized manner about his contemporaries, some of them well-known, other obscure.

In «Writer's Dairy» there are original «Aphorisms and Thoughts» by Zufar Fatkudinov.

The section «Sketches of Our Times» contains an essay by Oleg Larin «Don't Cry, Blue Eyes...», about the life of modern Russian village.

The section «Diaries. Memoirs» encloses biographical essay by Alla Andreyeva «The Life of Daniel Andreyev Told by His Wife», with vivid details of the tragic fate of the famous Russian poet, religious thinker and mystic.

The section «Publications and Reports» presents a treatise by Dora Sturman (Israel) «At the Edge of a Precipice», dealing with the circumstances of the so-called «Kornilov Mutiny» which took place in the summer of 1917.

In the series of publications «Preliminary Totals of the XX Century» there is an essay by Naum Leiderman and Mark Lipovetsky (Ekaterinburg) «Life After Death...» in which these literary critics put forward their views about modern Russian prose and make an attempt to introduce the term «postrealism».

In the section «Briefly About Books» Anatoly Kuznetsov reviews new books about music and musicians.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОРИГИНАЛ-МАКЕТ НОМЕРА
ИЗГОТОВЛЕН В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АДАПТ».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор А. О. Петров

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации №138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 22.03.93 г. Подписано к печати 5.05.93 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.- журн. Высокая печать. Объем 16 п.л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 Уч.-изд.л.

Тираж 52 000 экз. Зак. 2154. Цена: в России — 90 р., в странах СНГ — 200 р.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

24/2 - 00

Индекс 70636

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1993 ГОДА
И В 1994 ГОДУ**

«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ.** Литературный сопромат: христианство и словесность;
- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман, книга вторая);
- АНДРЕЙ БИТОВ.** Ожидание обезьян (продолжение книг «Птицы» и «Человек в пейзаже»);
- В. БОГОМОЛОВ.** В кригере (повесть);
- АЛЕКСАНДР БОРЩАГОВСКИЙ.** Обвиняется кровь (фрагменты книги);
- РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА.** Борьба с логосом (эссе);
- ЭММА ГЕРШТЕЙН.** Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);
- ОЛЕГ ЕРМАКОВ.** Чаепитие в преддверии (рассказ);
- СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.** Заколдованный створ (роман);
- ИЗ ДНЕВНИКА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА;**
- ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ.** Эссе о литературе (из наследия);
- АЛЕКСЕЙ КИВА.** *Intelligensia* в час испытаний;
- ИГОРЬ КЛЕХ.** Хутор во вселенной (повесть);
- ИГОРЬ КЛЯМКИН.** Общество и реформа;
- АНТОН КОЗЛОВ.** Государство и коррупция;
- МАРК КОСТРОВ.** Как уцелеть в наше время? (советы болотного жителя);
- АЛЛА ЛАТЫНИНА.** На льдинах лавр не расцветет (о богатстве и бедности в русской литературе);
- А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА.** К истокам «Тихого Дона» (глава из книги);
- АНДРЕЙ НЕМЗЕР.** Гоголь и современная проза;
- ЕВГЕНИЙ НОСОВ.** Темная вода (рассказ);
- ИВАН ОГАНОВ.** Песнь виноградаря осенью (фрагменты книги);
- ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Ну, мама, ну (сказки, рассказанные детям);
- АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ.** Ноев ковчег (пьеса, из наследия);
- К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ.** Из частной переписки;
- АЛЕКСЕЙ ПУРИН.** Опыты Константина Вагинова;
- И. РОДНЯНСКАЯ.** О философической интоксикации в текущей словесности;
- БОРИС САДОВСКОЙ.** Пшеница и плевелы (повесть, из наследия);
- ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН.** Заметки из зала Конституционного суда;
- ОЛЕГ СЕМЕНОВ.** Искусство ли — искусство нашего столетия?
- С. М. СОЛОВЬЕВ.** Детство (главы из воспоминаний);
- СПОР О СВОБОДЕ СОВЕСТИ: ВЛАДИМИР СЕМЕНКО — РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА;**
- ИРИНА СУРАТ.** Пушкин как религиозная проблема;
- Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ.** Письма к М. К. Морозовой;
- БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ.** Деревенские рассказы;
- ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.** Гаяне и Маргарита (рассказы);
- ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.** Музыкальные увеселения от Ромула до наших дней;
- АСАР ЭППЕЛЬ.** *Aestas sacra* (рассказ);
- а также другие произведения.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!